

Эдгар Аллан По. Рассказы

Колодец и маятник

*Impia tortorum longas hic turba furores Sanguinis innocui, non satiata, aluit. Sospite nunc patria,
fracto nunc funeris antro, Mors ubi dira fuit, vita salusque patent.*

*(Клика злодеев здесь долго пыткам народ обрекала И неповинную кровь, не насыщаясь,
пила. Ныне отчизна свободна, ныне разрушен застенок, Смерть попирая, сюда входят и благо и
жизнь (лат.))*

*Четверостишие, сочиненное для ворот рынка, который решили построить на месте
Якобинского клуба в Париже*

Я изнемог; долгая пытка совсем измучила меня; и когда меня наконец развязали и усадили, я почувствовал, что теряю сознание. Слова смертного приговора -- страшные слова -- были последними, какие различило мое ухо. Потом голоса инквизиторов слились в смутный, дальний гул. Он вызвал в мозгу моем образ вихря, круговорота, быть может, оттого, что напомнил шум мельничного колеса. Но вот и гул затих; я вообще перестал слышать. Зато я все еще видел, но с какой беспощадной, преувеличенной отчетливостью! Я видел губы судей над черными мантиями. Они показались мне белыми -- белей бумаги, которой я поверяю эти строки, -- и ненатурально тонкими, так сжала их неумолимая твердость, непреклонная решимость, жестокое презрение к человеческому горю. Я видел, как движенья этих губ решают мою судьбу, как эти губы кривятся, как на них шевелятся слова о моей смерти. Я видел, как они складывают слоги моего имени; и я содрогался, потому что не слышал ни единого звука. В эти мгновения томящего ужаса я все-таки видел и легкое, едва заметное колыханье черного штофа, которым была обита зала. Потом взгляд мой упал на семь длинных свечей на столе. Сначала они показались мне знаком милосердия, белыми стройными ангелами, которые меня спасут; но тотчас меня охватила смертная тоска, и меня всего пронизало дрожью, как будто я дотронулся до проводов гальванической батареи, ангелы стали пустыми призраками об огненных головах, и я понял, что они мне ничем не помогут. И тогда-то в мое сознание, подобно нежной музыкальной фразе, прокралась мысль о том, как сладок должен быть покой могилы. Она подбиралась мягко, исподволь и не вдруг во мне укрепилась; но как только она наконец овладела мной вполне, лица судей скрылись из глаз, словно по волшебству; длинные свечи вмиг сгорели дотла; их пламя погасло; осталась черная тьма; все чувства во мне замерли, исчезли, как при безумном падении с большой высоты, будто сама душа полетела вниз, в преисподнюю. А дальше молчание, и тишина, и ночь вытеснили все остальное.

Это был обморок; и все же не стану утверждать, что потерял сознание совершенно. Что именно продолжал я сознавать, не берусь ни определять, ни даже описывать; однако было потеряно не все. В глубочайшем сне -- нет! В беспомысленности -- нет! В обмороке -- нет! В смерти -- нет! Даже в могиле не все потеряно. Иначе не существует бессмертия. Пробуждаясь от самого глубокого сна, мы разрываем зыбкую паутину некоего сновиденья. Но в следующий миг (так тонка эта паутина) мы уже не помним, что нам снилось. Приходя в себя после обморока, мы проходим две ступени: сначала мы возвращаемся в мир нравственный и духовный, а потом уж вновь обретаем ощущение жизни физической. Возможно, что, если, достигнув второй ступени, мы бы помнили ощущения первой, в них нашли бы мы красноречивые свидетельства об

оставленной позади бездне. Но бездна эта -- что она такое? И как хоть отличить тени ее от могильных? Однако, если впечатления того, что я назвал первой ступенью, нельзя намеренно вызвать в памяти, разве не являются они нам неожиданно, неведомо откуда, спустя долгий срок? Тот, кто не падал в обморок, никогда не различит диковинных дворцов и странно знакомых лиц в догорающих угольях; не увидит парящих в вышине печальных видений, которых не замечают другие, не призадумается над запахом неизвестного цветка, не удивится вдруг музыкальному ритму, никогда прежде не останавливавшему его внимания.

Среди частых и трудных усилий припомнить, среди упорных стараний собрать разрозненные приметы того состояния кажущегося небытия, в какое впала моя душа, бывали минуты, когда мне мнился успех; не раз -- очень ненадолго -- мне удавалось вновь призвать чувства, которые, как понимал я по зрелом размышлении, я мог испытать не иначе, как во время своего кажущегося беспмятства. Призрачные воспоминанья невятно говорят мне о том, как высокие фигуры подняли и безмолвно понесли меня вниз, вниз, все вниз, пока у меня не захватило дух от самой нескончаемости спуска. Они говорят мне о том, как смутный страх сжал мне сердце, оттого что сердце это странно затихло. Потом все вдруг сковала неподвижность, точно те, кто нес меня (зловещий кортеж!), нарушили, спускаясь, пределы беспредельного и остановились передохнуть от тяжелой работы. Потом душу окутал унылый туман. А дальше все тонет в безумии -- безумии памяти, занявшейся запретным предметом.

Вдруг ко мне вернулись движение и шум -- буйное движение, биение сердца шумом отозвалось в ушах. Потом был безмолвный провал пустоты. Но тотчас шум и движение, касание -- и трепет охватил весь мой состав. Потом было лишь ощущение бытия, без мыслей -- и это длилось долго. Потом внезапно проснулась мысль и накатила ужас, и я уже изо всех сил старался осознать, что же со мной произошло. Потом захотелось вновь погрузиться в беспмятство. Потом душа встрепенулась, напряглась усилием ожить и ожила. И тотчас вспомнились пытки, судьи, траурный штоф на стенах, приговор, дурнота, обморок. И опять совершенно забылось все то, что уже долго спустя мне удалось кое-как воскресить упорным усилием памяти.

Я пока не открывал глаз. Я понял, что лежу на спине, без пут. Я протянул руку, и она наткнулась на что-то мокрое и твердое. Несколько мгновений я ее не отдергивал и все соображал, где я и что со мной. Мне мучительно хотелось оглядеться, но я не решался. Я боялся своего первого взгляда. Я не боялся увидеть что-то ужасное, нет, я холодел от страха, что вовсе ничего не увижу. Наконец с безумно колотящимся сердцем я открыл глаза. Самые дурные предчувствия мои подтвердились. Чернота вечной ночи окружала меня. У меня перехватило дыхание. Густая тьма будто грозила задавить меня, задушить. Было нестерпимо душно. Я неподвижно лежал, стараясь собраться с мыслями. Я припомнил обычаи инквизиции и попытался, исходя из них, угадать свое положение. Приговор вынесен; и, кажется, с тех пор прошло немало времени. Но ни на миг я не предположил, что умер. Такая мысль, вопреки выдумкам сочинителей, нисколько не вяжется с жизнью действительной; но где же я, что со мной? Приговоренных к смерти, я знал, обычно казнили на аутодафе, и такую казнь как раз уже назначили на день моего суда. Значит, меня снова бросили в мою темницу, и теперь я несколько месяцев буду ждать следующего костра? Да нет, это невозможно. Отсрочки жертве не дают. К тому же у меня в темнице, как и во всех камерах смертников в Толедо, пол каменный, и туда проникает тусклый свет.

Вдруг мое сердце так и перевернулось от ужасной догадки, и ненадолго я снова лишился чувств. Придя в себя, я тотчас вскочил на ноги; я дрожал всем телом. Я отчаянно простирали руки во все стороны. Они встречали одну пустоту. А я шагу не мог ступить от страха, что могу

наткнуться на стену склепа. Я покрылся потом. Он крупными каплями застыл у меня на лбу. Наконец, истомясь неизвестностью, я осторожно шагнул вперед, вытянув руки и до боли напрягая глаза в надежде различить слабый луч света. Так прошел я немало шагов; но по-прежнему все было черно и пусто. Я вздохнул свободней. Я понял, что мне уготована, по крайней мере, не самая злая участь.

Я осторожно продвигался дальше, а в памяти моей скоро стали тесниться несчетные глухие слухи об ужасах Толедо. О здешних тюрьмах ходили странные рассказы -- я всегда почитал их небылицами, -- до того странные и зловещие, что их передавали только шепотом. Что, если меня оставили умирать от голода в подземном царстве тьмы? Иди меня ждет еще горшая судьба? В том, что я обречен уничтожению, и уничтожению особенно безжалостному, и не мог сомневаться, зная нрав своих судей. Лишь мысль о способе и часе дожимала и сводила меня с ума.

Наконец мои протянутые руки наткнулись на препятствие. Это была стена, очевидно, каменной кладки, совершенно гладкая, склизкая и холодная. Я пошел вдоль нее, ступая с той недоверчивой осторожностью, которой научили меня иные старинные истории. Однако таким способом еще нельзя было определить размеров темницы; я мог обойти ее всю и вернуться на то же место, так ничего и не заметив, ибо стена была совершенно ровная и везде одинаковая. Тогда я стал искать нож, который лежал у меня в кармане, когда меня повели в судилище; ножа я не нашел. Мое платье сменили на балахон из мешковины. А я-то хотел всадить лезвие в какую-нибудь щелочку между камнями, чтоб определить начало пути. Затруднение, правда, оказалось пустое, и лишь в тогдашней моей горячке оно представилось мне сначала неодолимым. Я отодрал толстую подрубку подола и положил его под прямым углом к стене. Пробираясь вдоль стены, я непременно наткнулся на нее, обойдя круг. Так я рассчитал. Но я не подумал ни о размерах темницы, ни о собственной своей слабости. Земля была сырая и скользкая. Я проковылял еще немного, споткнулся и упал. Изнеможение помешало мне подняться, и скоро меня одолел сон.

Проснувшись, я вытянул руку и нащупал рядом ломоть хлеба и кувшин с водой. Я так был измучен, что не стал размышлять, откуда они взялись, но жадно осушил кувшин и съел хлеб. Скоро я снова побрел вдоль стены и с большим трудом наконец добрался до места, где лежала мешковина. До того, как я упал, я насчитал пятьдесят два шага, а после того, как встал и пошел сызнова, насчитал их сорок восемь. Значит, всего шагов получалось сто; и, положив на ярд по два шага, я заключил, что тюрьма моя имеет окружность в пятьдесят ярдов. Однако в стене оказалось и много углов, и я никак не мог догадаться о форме подземелья, ибо в голове у меня засела мысль, что здесь непременно подземелье.

Мои расследования были почти бесцельны и уж вовсе безнадежны, но странное любопытство побуждало меня их продолжать. Я отделился от стены и решил пересечь обнесенное ею пространство. То и дело оскользаясь на предательском, хоть и твердом полу, я сперва ступал с величайшей осторожностью. Но потом я набрался храбрости и пошел тверже, стараясь не сбиваться с прямого пути. Так прошел я шагов десять -- двенадцать, но споткнулся о свисавший оборванный край своего подола, сделал еще шаг и рухнул ничком.

Опомнился я не сразу, и лишь несколько секунд спустя мое внимание привлекло удивительное обстоятельство. Дело вот в чем -- подбородком я уткнулся в тюремный пол, а губы и верхняя часть лица, хоть и опущенные ниже подбородка, ни к чему не прикасались. Мой лоб точно погрузился во влажный пар, а в ноздри лез ни с чем не сравнимый запах плесени. Я

протянул руку и с ужасом обнаружил, что лежу у самого края круглого колодца, глубину которого я, разумеется, пока не мог определить. Я пошарил по краю кладки, ухитрился отломить кусок кирпича и бросил вниз. Несколько мгновений я слышал, как он, падая, гулко ударялся о стенки колодца, наконец глухо всплеснулась вода, и ей громко отозвалось эхо. В тот же миг раздался такой звук, будто где-то наверху распахнули и разом захлопнули дверь, тьму прорезал слабый луч и тотчас погас.

Тут я понял, какая мне готовилась судьба, и поздравил себя с тем, что так вовремя споткнулся. Еще бы один шаг -- и больше мне не видеть белого света. О таких именно казнях упоминалось в тех рассказах об инквизиции, которые почитал я вздором и выдумками. У жертв инквизиции был выбор: либо смерть в чудовищных муках телесных, либо смерть в ужаснейших мучениях нравственных. Мне осталось последнее. От долгих страданий мои нервы совсем расшатались, я вздрагивал при звуке собственного голоса и как нельзя более подходил для того рода пыток, какие меня ожидали.

Весь дрожа, я отполз назад к стене, решившись скорей погибнуть там, только бы избегнуть страшных колодцев, которые теперь мерещились мне повсюду. Будь мой рассудок в ином состоянии, у меня бы хватило духу самому броситься в пропасть и положить конец беде, но я стал трусом из трусов. К тому же из головы не шло то, что я читал о таких колодцах -- мгновенно расстаться с жизнью там никому еще не удавалось.

От возбуждения я долгие часы не мог уснуть, но наконец забылся. Проснувшись, я, как и прежде, обнаружил подле себя ломоть хлеба и кувшин с водой. Меня терзала жажда, и я залпом осушил кувшин. К воде, верно, примешали какого-то зелья; не успел я допить ее, как меня одолела дремота. Я погрузился в сон -- глубокий, как сон смерти. Долго ли я спал, я, разумеется, не знаю, но только, когда я снова открыл глаза, я вдруг увидел, что меня окружает. В робком зеленоватом свете, которого источник я заметил не сразу, мне открылись вид и размеры моей тюрьмы.

Я namного ошибся, прикидывая протяженность стены. Она была не более двадцати пяти ярдов. Несколько минут я глупо дивился этому открытию, поистине глупо! Ибо какое значение в моих ужасных обстоятельствах могла иметь площадь темницы? Но ум цеплялся за безделицы, и я принялся истово доискиваться до ошибки, какую сделал в своих расчетах. И наконец меня осенило. Сначала, до того как я упал в первый раз, я насчитал пятьдесят два шага; и, верно, упал я всего в двух шагах от куска мешковины, успев обойти почти всю стену. Потом я заснул, и со сна, верно, пошел не в ту сторону; понятно поэтому, отчего стена представилась мне вдвое длинней. В смятении я не заметил, что в начале пути она была у меня слева, а в конце оказалась справа.

Относительно формы тюрьмы я тоже обманулся. Я уверенно счел ее весьма неправильной, нащупав на стене много углов, так могущественно воздействие кромешной тьмы на того, кто очнулся от сна или летаргии! Оказалось, что углы -- всего-навсего легкие вмятины или углубления в неравном расстоянии одна от другой. Форма же камеры была квадратная. То, что принял я за каменную кладку, оказалось железом или еще каким-то металлом в огромных листах, стыки или швы которых и создавали вмятины. Вся поверхность этого металлического мешка была грубо размалевана мерзкими, гнусными рисунками -- порождениями мрачных монашеских суеверий. Лютые демоны в виде скелетов или в иных более натуральных, но страшных обличьях, безобразно покрывали сплошь все стены. Я заметил, что контуры этих чудищ довольно четки, а краски грязны и размыты, как бывает от сырости. Потом я увидел, что пол в моей

тюрьме каменный. Посередине его зияла пасть колодца, которой я избегнул; но этот колодец был в темнице один.

Все это смог я различить лишь смутно и с трудом; ибо собственное мое положение за время забытья значительно изменилось. Меня уложили навзничь, во весь рост на какую-то низкую деревянную раму. Меня накрепко привязали к ней длинным ремнем вроде подпруги. Ремень много раз перевил мне тело и члены, оставляя свободной только голову и левую руку, так чтоб я мог ценой больших усилий дотянуться до глиняной миски с едой, стоявшей подле на полу. К ужасу своему я обнаружил, что кувшин исчез. Я сказал -- "к ужасу своему". Да, меня терзала нестерпимая жажда. Мои мучители, верно, намеревались еще пуще ее распалить; в глиняной миске лежало остро приправленное мясо.

Подняв глаза, я разглядел потолок своей темницы. В тридцати или сорока футах надо мной, он состоял из тех же самых, что и стены, листов. Чрезвычайно странная фигура на одном из них приковала мое внимание. Это была Смерть, как обыкновенно ее изображают, но только вместо косы в руке она держала то, что при беглом взгляде показалось мне рисованным маятником, как на старинных часах. Однако что-то в этом механизме заставило меня взглянуть в него пристальней. Пока я смотрел прямо вверх (маятник приходился как раз надо мною), мне почудилось, что он двигается. Минуту спустя впечатление подтвердилось. Ход маятника был короткий и, разумеется, медленный. Несколько мгновений я следил за ним с некоторым страхом, но скорей с любопытством. Наконец, наскуча его унылым качаньем, я решил оглядеться.

Легкий шум привлек мой слух, я посмотрел на пол и увидел, как его пересекает полчище огромных крыс. Они лезли из щели, находившейся в моем поле зрения справа. Прямо у меня на глазах они тесным строем жадно устремлялись к мясу, привлеченные его запахом. Немалого труда стоило мне отогнать их от миски.

Прошло, пожалуй, полчаса, возможно, и час (я мог лишь приблизительно определять время), прежде чем я снова взглянул вверх. То, что я увидел, меня озадачило и поразило. Размах маятника увеличился почти на целый ярд. Выросла, следственно, и его скорость. Но особенно встревожила меня мысль о том, что он заметно опустился. Теперь я увидел, -- надо ли описывать, с каким ужасом! -- что нижний конец его имеет форму серпа из сверкающей стали, длиною примерно с фут от рога до рога; рожки повернуты кверху, а нижний край острый, как лезвие бритвы; выше от лезвия серп наливался, расширялся и сверху был уже тяжелый и толстый. Он держался на плотном медном стержне, и все вместе шипело, рассекая воздух.

Я не мог более сомневаться в том, какую участь уготовила мне монашья изобретательность в пытках. Инквизиторы прознали, что мне известно о колодце; его ужасы предназначались таким дерзким ослушникам, как я; колодец был воплощение ада, по слухам, -- всех казней. Благодаря чистейшему случаю я не упал в колодец. А я знал, что внезапность страдания, захват им жертвы врасплох -- непременно условие чудовищных тюремных расправ. Раз уж я сам не свалился в пропасть, меня не будут в нее толкать, не такова их дьявольская затея; а потому (выбора нет) меня уничтожат иначе, более мягко. Мягко! Я готов был улыбнуться сквозь муку, подумав о том, как мало идет к делу это слово.

Что пользы рассказывать о долгих, долгих часах нечеловеческого ужаса, когда я считал удары стального серпа! Дюйм за дюймом, удар за ударом -- казалось, века проходили, пока я это замечал -- но он неуклонно спускался все ниже и ниже! Миновали дни, -- быть может,

много дней, -- и он спустился так низко, что обдал меня своим едким дыханием. Запах остро отточенной стали забивался мне в ноздри. Я молился, я досаждал небесам своей мольбой о том, чтоб он спускался поскорей. Я сходил с ума, я рвался вверх, навстречу взмахам зловещего ятагана. Или вдруг успокаивался, лежал и улыбался своей сверкающей смерти, как дитя -- редкой погремушке.

Я снова лишился чувств -- ненадолго, ибо когда я очнулся, я не понял, спустился ли маятник. А быть может, надолго, ибо я сознавал присутствие злых духов, которые заметили мой обморок и могли нарочно остановить качанье. Придя в себя, я почувствовал такую, о! невыразимую слабость, будто меня долго изнуряли голодом. Несмотря на страданья, человеческая природа требует еды. Я с трудом вытянул левую руку настолько, насколько мне позволяли путы, и нащупал жалкие объедки, оставленные мне крысами. Когда я положил в рот первый кусок, в мозгу моем вдруг мелькнул обрывок мысли, окрашенной радостью, надеждой. Надежда для меня -- возможно ли? Как я сказал, то был лишь обрывок мысли, -- мало ли таких мелькает в мозгу, не завершаясь? Я ощутил, что мне помстилась радость, надежда, но тотчас же ощутил, как мысль о них умерла нерожденной. Тщетно пытался я додумать ее, поймать, воротить. Долгие муки почти лишили меня обычных моих мыслительных способностей. Я сделался слабоумным, идиотом.

Взмахи маятника шли под прямым углом к моему телу. Я понял, что серп рассечет меня в том месте, где сердце. Он протрет мешковину, вернется, повторит свое дело опять... опять. Несмотря на страшную ширь взмаха (футов тридцать, а то и более) и шипящую мощь спуска, способную сокрушить и самые эти железные стены, он протрет мешковину на мне, и только! И здесь я запнулся. Дальше этой мысли я идти не посмел. Я задержался на ней, я цеплялся за нее, будто бы так можно было удержать спуск маятника. Я заставил себя вообразить звук, с каким серп разорвет мой балахон, тот озноб, который пройдет по телу в ответ на трение ткани. Я мучил себя этим вздором, покуда совершенно не изнемог.

Вниз -- все вниз сползал он. С сумасшедшей радостью противопоставлял я скорость взмаха и скорость спуска. Вправо -- влево -- во всю ширь! -- со скрежетом преисподней к моему сердцу, крадучись, словно тигр. Я то хохотал, то рыдал, уступая смене своих порывов.

Вниз, уверенно, непреклонно вниз! Вот он качается уже в трех дюймах от моей груди. Я безумно, отчаянно старался высвободить левую руку. Она была свободна лишь от локтя до кисти. Я только дотягивался до миски и подносил еду ко рту, и то ценою мучительных усилий. Если б мне удалось высвободить всю руку, я бы схватил маятник и постарался его остановить. Точно так же мог бы я остановить лавину!

Вниз, непрестанно, неумолимо вниз! Я задыхался и обмирал от каждого его разлета. У меня все обрывалось внутри от каждого взмаха. Мои глаза провожали его вбок и вверх с нелепым пылом совершенного отчаяния. Я жмурился, когда он спускался, хотя смерть была бы избавленьем, о! несказанным избавленьем от мук. И все же я дрожал каждой жилкой при мысли о том, как легко спуск механизма введет острую сверкающую секиру мне в грудь. От надежды дрожал я каждой жилкой, от надежды обрывалось у меня все внутри. О, надежда, -- победительница скорбей, -- это она нашептывает слова утешенья обреченным даже в темницах инквизиции.

Я увидел, что еще десять -- двенадцать взмахов -- и сталь впрямь коснется моего балахона, и оттого я вдруг весь собрался и преисполнился ясным спокойствием отчаяния. Впервые за долгие

часы -- или даже дни -- я стал думать. Я сообразил, что моя подпруга, мои путы -- цельные, сплошные. Меня связали одним-единственным ремнем. Где бы лезвие ни прошло по путам, оно рассечет их так, что и сразу смогу высвободиться от них с помощью левой руки. Только как же близко мелькнет от меня сталь! Как губительно может оказаться всякое неверное движение! Однако мыслимо ли, что прихлебатели палача не предусмотрели такой возможности? Вероятно ли, что тело мое перевязано там, куда должен спуститься маятник? Страшась утратить слабую и, должно быть, последнюю надежду, я все же приподнял голову, чтобы как следует разглядеть свою грудь. Подпруга обвивала мне тело и члены сплошь, но только не по ходу губительного серпа!

Едва успел я снова опустить голову, и в мозгу моем пронеслось то, что лучше всего назвать недостающей половиной идеи об избавлении, о которой я уже упоминал и которой первая часть лишь смутно промелькнула в моем уме, когда я поднес еду к запекшимся губам. Теперь мысль сложилась до конца, слабая, едва ли здравая, едва ли ясная, но она сложилась. Отчаяние придало мне сил, и я тотчас взялся за ее осуществление.

В течение многих часов пол вокруг моего низкого ложа буквально кишел крысами. Бешеные, наглые, жадные, они пристально смотрели на меня красными глазами, будто только и ждали, когда я перестану шевелиться, чтобы тотчас сделать меня своей добычей. "К какой же пище, -- думал я, -- привыкли они в подземелье? "

Как ни старался я отгонять их от миски, они съели почти все ее содержимое, оставя лишь жалкие объедки. Я однообразно махал рукой над миской, и из-за этой бессознательной монотонности движения мои перестали оказывать действие на хищников. Прожорливые твари то и дело кусали меня за пальцы. И вот последними остатками жирного, остро пахучего мяса я тщательно натер свои путы, там, где сумел дотянуться до них; потом я поднял руку с пола и, затаив дыханье, замер.

Сначала ненасытных животных поразила и спугнула внезапная перемена -- моя новая неподвижная поза. Они отпрянули; иные метнулись обратно к щели. Но лишь на мгновение. Не напрасно рассчитывал я на их алчность. Заметя, что я не шевелюсь, две-три самых наглых вспрыгнули на мою подставку и стали обнюхивать подпругу. Прочие будто только ждали сигнала. Новые полчища хлынули из щели. Они запрудили все мое ложе и сотнями попрыгали прямо на меня. Мерное движение маятника ничуть им не препятствовало. Увертываясь от ударов, они занялись умощенной подпругой. Они теснились, толкались, они толпились на моем теле, все вырастая в числе. Они метались по моему горлу; их холодные пасти тыкались в мои губы; они чуть не удушили меня. Омерзение, которого не передать никакими словами, мучило меня, леденило тяжким, липким ужасом. Но еще минута -- и я понял, что скоро все будет позади. Я явственно ощутил, что ремень расслабился. Значит, крысы уже перегрызли его. Нечеловеческим усилием я заставлял себя лежать тихо.

Нет, я не ошибся в своих расчетах, я не напрасно терпел. Наконец я почувствовал, что свободен. Подпруга висела на мне обрывками. Но маятник уже коснулся моей груди. Он распорол мешковину. Он разрезал белье под нею. Еще два взмаха -- и острая боль пронзила меня насквозь. Но миг спасенья настал. Мановением руки я обратил в бегство своих избавителей. Продуманным движеньем -- осторожно, боком, косо, медленно -- я скользнул прочь из ремней так, чтобы меня не доставал ятаган. Хоть на мгновение, но я был свободен.

Свободен! И в тисках инквизиции! Едва ступил я с деревянного ложа пыток на каменный тюремный пол, как адская машина перестала качаться, поднялась, и незримые силы унесли ее сквозь потолок. Печальный урок этот привел меня в отчаяние. За каждым движением моим следят. Свободен! Я всего лишь избегнул одной смертной муки ради другой муки, горшей, быть может, чем сама смерть. Подумав так, я стал беспокойно разглядывать железные стены, отделявшие меня от мира. Какая-то странность -- перемена, которую и не вдруг осознал, -- без сомненья, случилась в темнице. На несколько минут я забылся в тревожных мыслях; я терялся в тщетных, бессвязных догадках. Тут я впервые распознал источник зеленоватого света, освещавшего камеру. Он шел из прорехи с полдюйма шириной, которая опоясывала всю темницу, по низу стен, совершенно отделяя их от пола. Я пригнулся, пытаюсь заглянуть в проем, разумеется, безуспешно.

Когда я распрямылся, мне вдруг открылась тайна происшедшей в камере перемены. Я уже говорил, что, хотя роспись на стенах по очертаниям была достаточно четкой, краски как будто размылись и поблекли. Сейчас же они обрели и на глазах обретали пугающую, немислимую яркость, от которой портреты духов и чертей принимали вид непереносимый и для нервов более крепких, чем мои. Бесовские взоры с безумной, страшной живостью устремлялись на меня отовсюду, с тех мест, где только что их не было и помину, и сверкали мрачным огнем, который я, как ни напрягал воображение, не мог счесть ненастоящим.

Ненастоящим! Да ведь уже до моих ноздрей добирался запах раскаленного железа! Тюрьма наполнилась удушливым жаром. С каждым мигом все жарче горели глаза, уставившиеся на мои муки. Все гуще заливал багрец намалеванные кровавые ужасы. Я ловил ртом воздух! Я задыхался! Так ват что затеяли мои мучители! Безжалостные! О! Адские отродья! Я бросился подальше от раскаленного металла на середину камеры. При мысли о том, что огонь вот-вот спалит меня дотла, прохлада колодца показалась мне отрадой. Я метнулся к роковому краю. Я жадно заглянул внутрь. Отблески пылающей кровли высвечивали колодец до дна. И все же в первый миг разум мой отказывался принять безумный смысл того, что я увидел. Но страшная правда силой вторглась в душу, овладела ею, опалила противящийся разум. О! Господи! Чудовищно! Только не это! С воплем отшатнулся я от колодца, спрятал лицо в ладонях и горько заплакал.

Жар быстро нарастал, и я снова огляделся, дрожа, как в лихорадке. В камере случилась новая перемена, на сей раз менялась ее форма. Как и прежде, сначала я тщетно пытался понять, что творится вокруг. Но недолго терялся я в догадках. Двукратное мое спасенье подстрекнуло инквизиторскую месть, игра в прятки с Костлявой шла к концу. Камера была квадратная. Сейчас я увидел, что два железных угла стали острыми, а два других, следственно, тупыми. Страшная разность все увеличивалась с каким-то глухим не то грохотом, не то стоном. Камера тотчас приняла форму ромба. Но изменение не прекращалось -- да я этого и не ждал и не хотел. Я готов был прижать красные стены к груди, как покровы вечного покоя. "Смерть, -- думал я, -- любая смерть, только бы не в колодце! " Глупец! Как было сразу не понять, что в колодец-то и загонит меня раскаленное железо! Разве можно выдержать его жар? И тем более устоять против его напора? Все уже и уже становился ромб, с быстротой, не оставлявшей времени для размышлений. В самом центре ромба и, разумеется, в самой широкой его части зияла пропасть. Я упирался, но смыкающиеся стены неодолимо подталкивали меня. И вот уже на твердом полу темницы не осталось ни дюйма для моего обожженного, корчащегося тела. Я не сопротивлялся более, но муки души вылились в громком, долгом, отчаянном крике. Вот я уже закачался на самом краю -- я отвел глаза...

И вдруг -- нестройный шум голосов! Громкий рев словно множества труб! Гулкий грохот, подобный тысяче громов! Огненные стены отступили! Кто-то схватил меня за руку, когда я, теряя сознание, уже падал в пропасть. То был генерал Лассаль. Французские войска вступили в Толедо. Инквизиция была во власти своих врагов.

Заживо погребенные

Есть темы, проникнутые всепокоряющим интересом, но слишком ужасные, чтобы стать законным достоянием литературы. Обыкновенно романисту надлежит их избегать, если он не хочет оскорбить или оттолкнуть читателя. Прикасаться к ним подобает лишь в том случае, когда они освящены и оправданы непреложностью и величию истины. Так, например, мы содрогаемся от "сладостной боли", читая о переправе через Березину, о землетрясении в Лиссабоне, о чуме в Лондоне, о Варфоломеевской ночи или о том, как в калькуттской Черной Яме задохнулись сто двадцать три узника. Но в таких описаниях волнует сама достоверность -- сама подлинность -- сама история. Будь они вымышлены, мы не испытали бы ничего, кроме отвращения.

Я перечислил лишь некоторые из знаменитейших и величайших исторических трагедий; но самая их огромность потрясает воображение ничуть не меньше, чем зловещая сущность. Мне нет нужды напоминать читателю, что из длинного и мрачного перечня людских несчастий я мог бы извлечь немало отдельных свидетельств подлинного страдания, гораздо более жестоких, нежели любое из этих всеобщих бедствий. Воистину, настоящее горе, наивысшая боль всегда единственны, неповторимы. И коль скоро испить до дна эту горькую чашу приходится лишь человеку, а не человечеству -- возблагодарим за это милосердного творца!

Погребение заживо, несомненно, чудовищнее всех ужасов, какие выпали на долю смертного. И здравомыслящий человек едва ли станет отрицать, что это случалось часто, очень часто. Грань, отделяющая Жизнь от Смерти, в лучшем случае обманчива и неопределенна. Кто может сказать, где кончается одно и начинается другое? Известно, что есть болезни, при которых исчезают все явные признаки жизни, но, строго говоря, они не исчезают совершенно, а лишь прерываются. Возникает временная остановка в работе неведомого механизма. Наступает срок, и некое незримое таинственное начало вновь приводит в движение волшебные крыла и магические колеса. Серебряная нить не оборвана навеки, и золотой сосуд не разбит безвозвратно. Но где в эту пору обреталась душа?

Однако, кроме неизбежного заключения априори, что соответствующие причины влекут за собой соответствующие следствия, и поскольку известны случаи, когда жизнедеятельность прерывается, не подлежит сомнению, что людей иногда хоронят заживо, -- кроме этого общего соображения, опыт медицины и самой жизни прямо свидетельствует, что это действительно бывало не раз. При необходимости я мог бы сослаться на целую сотню самых достоверных примеров. Один такой случай, весьма примечательный и, вероятно, еще не изгладившийся из памяти некоторых читателей, имел место не столь давно в соседнем городе Балтиморе и произвел на многих потрясающее, неотразимое впечатление. Супругу одного из самых почтенных граждан -- известного юриста и члена конгресса -- постигла внезапная и необъяснимая болезнь, перед которой оказалось бессильно все искусство медиков. После тяжких страданий наступила смерть или состояние, которое сочли смертью. Никто даже не подозревал, да и не имел причин подозревать, что она вовсе не умерла. Обнаружились все обычные признаки смерти. Лицо осунулось, черты его заострились. Губы стали белее мрамора. Глаза помутнели. Наступило окоченение. Сердце не билось. Так она пролежала три дня, и за это

время тело сделалось твердым, как камень. Одним словом, надо было поспешить с похоронами, поскольку труп, казалось, быстро разлагается.

Ее похоронили в семейном склепе, и три года никто не тревожил могильный покой. По прошествии этого времени склеп открыли, чтобы установить там саркофаг, -- но увы! -- какое страшное потрясение ожидало ее супруга, который своими руками отворил дверь! Едва створки распахнулись наружу, что-то закутанное в белое со стуком упало прямо в его объятия. То был скелет его жены в еще не истлевшем саване.

Тщательное расследование показало, что она ожила через два дня после погребения и билась в гробу, который упал на пол с уступа или с возвышения и раскололся, так что ей удалось встать. Случайно забытый масляный фонарь, налитый до предела, теперь оказался пуст; впрочем, масло могло улетучиться само по себе. На верхней ступени лестницы при входе в зловещую гробницу валялся большой обломок гроба, которым она, по всей видимости, колотила в железную дверь, призывая на помощь. При этом она, вероятно, лишилась чувств или умерла от страха; падая, она зацепилась саваном за какой-то железный крюк, торчавший из стены. Так и осталась она на месте, так и истлела стоя.

В 1810 году во Франции был случай погребения заживо, который красноречиво свидетельствует, что подлинные события воистину бывают удивительней вымыслов сочинителей. Героиней этой истории стала мадемуазель Викторина Лафуркад, юная девица из знатного семейства, богатая и на редкость красивая. Среди ее многочисленных поклонников был Жюльен Боссюэ, бедный парижский litterateur или журналист. Его таланты и обаяние пленили богатую наследницу, и она, кажется, полюбила его всем сердцем; но из сословного высокомерия она все же решила отвергнуть его и отдать руку мосье Ренелю, банкиру и довольно известному дипломату. После свадьбы, однако, супруг тотчас к ней охладел и, вероятно, дурно с нею обращался. Прожив несколько лет в несчастном браке, она умерла -- по крайней мере состояние ее было столь похоже на смерть, что ни у кого не возникло и тени сомнения. Ее похоронили, -- но не в склепе, а в обыкновенной могиле близ усадьбы, где она родилась. Влюбленный юноша, терзаемый отчаяньем и все еще волнуемый былой страстью, отправляется из столицы в далекую провинцию с романтическим намерением вырыть тело и взять на память чудесные локоны покойной. Он разыскивает могилу. В полночь он откапывает гроб и принимается уже состригать локоны, как вдруг его возлюбленная открывает глаза. Как оказалось, она было похоронена заживо. Жизнь не вполне покинула несчастную; ласки влюбленного пробудили ее от летаргии, ошибочно принятой за смерть. Он поспешил перенести ее в свою комнату на постоялом дворе. Обладая немалыми познаниями в медицине, он применил самые сильные укрепляющие лекарства. Наконец она ожила. Она узнала своего спасителя. Она оставалась с ним до тех пор, пока здоровье ее понемногу не восстановилось. Женское сердце не камень, и последний урок, преподанный любовью, смягчил его совершенно. Она отдала свое сердце Боссюэ. Она не вернулась к супругу, но, сохранив свое воскресение в тайне, уехала вместе с верным возлюбленным в Америку. Через двадцать лет оба вернулись во Францию, уверенные, что время достаточно изменило ее внешность и даже близкие ее не узнают. Однако они ошиблись; при первой же встрече мосье Ренель тотчас узнал супругу и потребовал, чтобы она к нему вернулась. Она отвергла его притязания; и беспристрастный суд решил дело в ее пользу, постановив, что в силу особых обстоятельств, а также за давностью времени супружеские права утрачены не только по справедливости, но и по букве закона.

Лейпцигский "Хирургический журнал" -- весьма уважаемый и заслуживающий доверия печатный орган, достойный того, чтобы кто-нибудь из американских издателей выпускал его в переводе на наш язык, -- сообщает в последнем номере о подобном же прискорбном происшествии.

Один артиллерийский офицер, человек огромного роста и несокрушимого здоровья, был сброшен норовистой лошадью и сильно ушиб голову, отчего мгновенно лишился чувств; в черепе обнаружилась небольшая трещина, но врачи не видели прямой опасности для жизни. Трепанация черепа прошла успешно. Больному пустили кровь и пользовали его прочими обычными средствами. Но постепенно он впадал во все более глубокое оцепенение, и наконец, казалось, наступила смерть.

Стояла жара, и его похоронили поспешно до неприличия где-то на общем кладбище. Похороны были в четверг. В ближайшее воскресенье многие, как обычно, пришли навестить могилы, и около полудня один крестьянин произвел сильное волнение, утверждая, что присел отдохнуть на могилу офицера и вдруг почувствовал сотрясение земли, словно покойник норовил встать из гроба. Поначалу его рассказу мало кто верил, но неподдельный ужас и твердая убежденность, с которыми он доказывал истинность своих слов, в конце концов возымели действие на толпу. Бросились за лопатами, в несколько минут раскопали могилу, такую мелкую, что стыдно было смотреть, и голова офицера предстала на свет. Казалось, он был мертв, но сидел скорчившись в гробу, крышку которого ему удалось приподнять отчаянным усилием.

Его тотчас отвезли в ближайшую больницу, где выяснилось, что он жив, хотя и лишился чувств от удушья. Через несколько часов он пришел в себя, стал узнавать знакомых и, путаясь в словах, рассказал о невыносимых страданиях, которые претерпел в могиле.

Судя по его рассказу, сознание теплилось в нем более часа после похорон, а затем он впал в беспамятство. Могила была наспех забросана рыхлой землей, так что оставался некоторые приток воздуха. Он услышал над головой топот множества ног и попытался привлечь к себе внимание. Как он объяснил, шум на кладбище пробудил его от мертвого сна, но, едва очнувшись, он сразу понял всю безысходность своего положения.

Сообщают, что больной уже поправлялся и был на пути к полному выздоровлению, но по вине шарлатанов пал жертвой медицинского опыта. Они применили гальваническую батарею, и он скончался во время бурного приступа, вызванного, как это бывает, действием тока.

Поскольку речь зашла о гальванической батарее, мне вспомнился, кстати, широко известный и воистину поразительный случай, когда ее действие вернуло к жизни молодого лондонского стряпчего, два дня пролежавшего в могиле. Случай этот произошел в 1831 году и наделал в свое время немало шума.

Больной, мистер Эдвард Стэплтон, умер, по всей вероятности, от тифозной горячки с некоторыми странными симптомами, которые вызвали любопытство лечивших его врачей. После мнимой смерти врачи попросили у его близких согласия на посмертное вскрытие, но получили решительный отказ. Как это часто случается, они решили выкопать труп и тайно вскрыть его без помех. Не составляло труда сговориться с шайкой похитителей трупов, которых так много в Лондоне; и на третью ночь после похорон тело, которое считали мертвым, было вырыто из могилы глубиной в восемь футов и перенесено в секционную палату одной частной больницы.

Уже сделав изрядный надрез на животе, врачи обратили внимание на то, что тело ничуть не разложилось, и решили испробовать батарею. Опыт следовал за опытом без особого успеха, разве что в некоторых случаях судорожные подергивания более обычного походили на движения живого организма.

Время истекало. Близился рассвет, и наконец решено было безотлагательно приступить к вскрытию. Но один из врачей непременно желал проверить какую-то свою теорию и убедил всех подвергнуть действию тока одну из грудных мышц. Грубо рассекли кожный покров, кое-как присоединили проволоки; вдруг мертвец стремительным, но отнюдь не похожим на судорогу движением соскользнул со стола на пол, постоял немного, тревожно озираясь, и заговорил. Понять его слова не удалось; и все же это, безусловно, были слова, -- некое подобие членораздельной речи. Умолкнув, он тяжело рухнул на пол.

Сначала все оцепенели от ужаса -- но медлить было нельзя, и врачи вскоре овладели собой. Оказалось, что мистер Стэплтон жив, хотя и в глубоком обмороке. С помощью эфира его привели в чувство, а через несколько времени он совсем поправился и мог вернуться к своим близким, от которых его воскресение скрывали до тех пор, пока не перестали опасаться повторного приступа. Их восторг, их радостное удивление нетрудно себе представить.

Но самое потрясающее во всей истории -- это свидетельство самого мистера С. Он уверяет, что ни на миг не впадал в полное беспмятство, что смутно и туманно он сознавал все происходящее с той минуты, как врачи объявили его мертвым, и вплоть до того времени, когда он лишился чувств в больнице. "Я жив", -- таковы были невнятные слова, которые он в отчаянье пытался вымолвить, поняв, что попал в мертвецкую.

Мне нетрудно было бы рассказать еще много подобных историй, но я полагаю это излишним -- ведь и без того не остается сомнений, что людей в самом деле хоронят заживо. И если учесть, как редко, в силу своего характера, такие случаи становятся нам известны, мы вынуждены будем признать, что они, вероятно, часто происходят неведомо для нас. Право же, едва ли не всякий раз, как землекопам случается работать на кладбище, скелеты обнаруживают в таких позах, что возникают самые ужасные подозрения.

Но как ни ужасны подозрения, несравненно ужасней участь самих несчастных! Можно с уверенностью сказать, что никакая иная судьба не уготовила человеку столь безвыходные телесные и душевные муки, как погребение заживо. Невыносимое стеснение в груди, удушливые испарения сырой земли, холодные объятия савана, давящая теснота последнего жилища, мрак беспросветной Ночи, безмолвие, словно в пучине моря, незримое, но осязаемое присутствие Червя-Победителя -- все это и вдобавок мысли о воздухе и зеленой траве над головой, воспоминания о любимых друзьях, которые поспешили бы на помощь, если бы только узнали о твоей беде, и уверенность, что этого им никогда не узнать, что ты обречен навеки покоиться среди мертвецов, -- все это, говорю я вам, исполняет еще трепещущее сердце ледяным и нестерпимым ужасом, перед которым отступает самое смелое воображение. Нам не дано изведать таких страданий на Земле -- мы не в силах представить ничего подобного даже на дне Преисподней. Вполне понятно, что рассказы об этом вызывают глубочайший интерес; однако ж интерес этот под влиянием благоговейного ужаса перед самой темой оправдывается исключительно нашим убеждением в истинности самих рассказов. То, что мне предстоит описать далее, я знаю доподлинно -- все это я пережил и испытал на себе.

Несколько лет подряд меня терзали приступы таинственной болезни, которую врачи условно называют каталепсией, так как не находят для нее более точного определения. Хотя не только прямые и косвенные причины, но даже самый диагноз этой болезни остается загадкой, внешние симптомы изучены достаточно хорошо. Формы ее, видимо, отличаются друг от друга лишь своей тяжестью. Иногда больной лежит всего день или того меньше, погруженный в глубочайшую летаргию. Он теряет сознание и не может пошевелиться; но в груди прослушиваются слабые биения сердца; тело хранит едва ощутимую теплоту; на скулах еще заметны следы румянца; приложив к губам зеркало, можно обнаружить редкое, неровное, прерывистое дыхание. Иногда же оцепенение длится недели -- и даже месяцы; при этом самое пристальное наблюдение, самые тщательные медицинские анализы не выявят никакой осязаемой разницы между подобным приступом и тем необратимым состоянием, которое называют смертью. От погребения заживо такого больного обычно спасают друзья, которые знают о его подверженности каталепсии и, естественно, начинают подозревать неладное, в особенности если нет признаков распада. По счастью, болезнь развивается постепенно. Первые же ее проявления, хоть и скрытые, не оставляют сомнений. С каждым разом приступы становятся все сильнее и длительней. В этом главная гарантия от погребения. Несчастный, с которым сразу случится тяжелый припадок, как это порой бывает, почти неизбежно обречен заживо лечь в могилу.

Моя болезнь не отличалась сколько-нибудь заметно от случаев, описанных в медицинской литературе. Иногда, безо всякой видимой причины, я мало-помалу впадал в полуобморок или в полубесчувствие; и в этом состоянии, не испытывая боли, утратив способность шевелиться и, в сущности, даже думать, но смутно сознавая в летаргическом сне, что я жив и меня окружают люди, я пребывал до тех пор, пока не наступал кризис, который внезапно возвращал меня к жизни. Иногда же недуг одолевал меня бурно и стремительно. Я чувствовал дурноту, скованность, холод во всем теле, головокружение и падал замертво. После этого целые недели меня окружали пустота, мрак, безмолвие, и весь мир превращался в Ничто. Я погружался в полнейшее небытие. Но чем быстрее наступали такие припадки, тем медленней я приходил в себя. Подобно тому, как брезжит рассвет для одинокого, бесприютного нищего, который бродит по улицам в долгую и глухую зимнюю ночь, -- так же запоздало, так же томительно, так же радостно возвращался ко мне свет Души.

Но помимо этой склонности к оцепенению, в остальном здоровье мое не пошатнулось; чувствовал я себя вполне хорошо -- если не считать болезненного расстройства обычного сна. Просыпаясь, я не вдруг приходил в себя и на время оказывался во власти самого нелепого смятения; в такие минуты все мои умственные способности, и в особенности память, отказывались мне служить.

Я не испытывал никаких телесных страданий, но душа моя изнывала от мук. Воображение рисовало мне темные склепы. Я без конца говорил "об эпитафиях, гробницах и червях". Я предавался бредням о смерти, и навязчивый страх перед погребением заживо терзал меня неотступно. Зловещая опасность, нависшая надо мной, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Днем мне было невыносимо думать о ней; ночью же это превращалось в настоящую пытку. Когда грозный Мрак поглощал Землю, я трепетал при одной мысли об атом -- трепетал, как легкие перья на катафалке. Когда же самое мое Естество изнемогало от бессонницы, я смыкал глаза лишь после долгой внутренней борьбы -- так страшило меня предчувствие, что я проснусь в могиле. И едва я погружался в сон, меня тотчас обступал мир призраков, над которыми витал, распластав широкие, черные, чудовищные крыла, тот же вездесущий Дух смерти.

Кошмары, душившие меня во сне, были неисчислимы, но, здесь я упомяну лишь об одном видении. Мне приснилось, будто -- я впал в каталептическое состояние, которое было длительнее и, глубже обычного. Вдруг ледяная рука коснулась моего лба и тревожный дрожащий голос шепнул мне на ухо: "Восстань! "

Я сел. Вокруг была непроглядная тьма. Я не мог видеть того, кто меня разбудил. Я не помнил ни времени, когда впал в оцепенение, ни места, где это случилось. Я не двигался и пробовал собраться с мыслями, а хладная рука меж тем иступленно стиснула мое запястье, встряхивая меня в нетерпении, и дрожащий голос повторил:

-- Восстань! Разве не повелел я тебе восстать от сна?

-- Но кто ты? -- спросил я.

-- Там, где я обитаю, у меня нет имени, -- печально отвечал голос. -- Некогда я был смертным, ныне я дух. Некогда я был беспощаден, ныне я исполнен милосердия. Ты чувствуешь, я дрожу. Я зываю к тебе, а зубы мои стучат, но отнюдь не от хлада ночи -- ночи, что пребудет во веки веков. Ибо мерзость сия мне противна. Как можешь ты безмятежно спать? Мне не дает покоя глас предсмертных мучений. Видеть это превыше моих сил. Восстань! Ступай за мной в бездну Ночи, и я разверзну пред тобой могилы. Это ли не юдоль скорби?.. Воззри!

Я взгляделся; и волею невидимого, который все еще сжимал мое запястье, предо мной отверзлись все могилы на лике земли, и каждая источала слабый фосфорический свет, порожденный тлением, так что взор мой проникал в сокровенные глубины и различал тела, закутанные в саваны, печально и торжественно опочившие среди могильных червей. Но уввы! Не все они уснули беспробудным сном, на много миллионов больше было других, не усопших навек; и происходили слабые борения; и отовсюду возносился безутешный ропот; и из глубин несчетных могил исходил унылый шелест погребальных покровов; и я увидел, что многие, казалось бы, покоящиеся в мире, так или иначе изменили те застывшие, неудобные позы, в которых их предали земле. Я все смотрел, а голос шепнул снова:

-- Это ли... Ах, это ли не юдоль скорби?

Но прежде чем я успел вымолвить хоть слово, хладная рука выпустила мое запястье, фосфорические огни погасли и земля сомкнулась над могилами, а оттуда вырвался все тот же отчаянный вопль:

-- Это ли... О господи, это ли воистину не юдоль скорби?

Кошмары, отравлявшие мой сон по ночам, часто мучили меня и наяву. Нервы мои совершенно расстроились, и я стал жертвой неотступных страхов. Я не решался ни ездить верхом, ни ходить, лишил себя прогулок и безвыходно сидел дома. Словом, я не смел даже на короткое время расстаться с людьми, которые знали о моей подверженности каталепсии, из опасения, что со мной случится припадок и меня, не долго думая, предадут могиле. Я не доверил заботам и преданности ближайших своих друзей. Я боялся, как бы во время затажного приступа их не убедили в том, что меня невозможно вернуть к жизни. Мало того, я опасался, что доставляю им слишком много хлопот и при первом же длительном припадке они будут только рады избавиться от меня навсегда. Тщетно пытались они успокоить меня самыми торжественными заверениями. Я требовал священных клятв, что меня похоронят лишь после того, как явные признаки распада сделают дальнейшее промедление немислимым. Но все равно,

объятый смертным страхом, я был глух к гласу разума и не знал покоя. Я придумал множество хитроумных предосторожностей. Между прочим, я распорядился так перестроить семейный склеп, чтобы его можно было с легкостью открыть изнутри. От малейшего нажима на длинный рычаг, выведенный далеко в глубину гробницы, железные двери тотчас распахивались. Были сделаны отдушины, пропускавшие воздух и свет, а также удобные хранилища для пищи и воды, до которых можно было свободно дотянуться из уготованного для меня гроба. Самый гроб был выстлан изнутри мягкой и теплой обивкой, и крышку его снабдили таким же приспособлением, что и двери склепа, с пружинами, которые откидывали ее при малейшем движении тела. Кроме того, под сводом склепа был подвешен большой колокол, и веревку от него должны были пропустить через отверстие в гробу и привязать к моей руке. Но увы! Что толку в предусмотрительности пред волей Судьбы? Даже эти хитроумные устройства не могли избавить от адских мук погребения заживо несчастного, который был на них обречен!

Настал срок -- как случилось уже не раз, -- когда среди полнейшего бесчувствия во мне забрезжили первые, еще слабые и смутные проблески бытия. Медленно -- черепашью шагом -- растекался в моей душе тусклый, серый рассвет. Смутное беспокойство. Безучастность к глухой боли. Равнодушие... безнадежность... упадок сил. И вот долгое время спустя звон в ушах; вот, спустя еще дольше, покалывание или зуд в конечностях; вот целая вечность блаженного покоя, когда пробуждающиеся чувства воскрешают мысль; вот снова краткое небытие; вот внезапный возврат к сознанию. Наконец -- легкая дрожь век -- и тотчас же, словно электрический разряд, ужас, смертельный и необъяснимый, от которого кровь приливает к сердцу. Затем -- первая сознательная попытка мыслить. Первая попытка вспомнить. Это удается с трудом. Но вот уже память настолько обрела прежнюю силу, что я начинаю понимать свое положение. Я понимаю, что не просто пробуждаюсь ото сна. Я вспоминаю, что со мной случился приступ каталепсии. И вот наконец мою трепещущую душу, как океан, захлестывает одна зловещая Опасность -- одна гробовая, всепоглощающая мысль.

Когда это чувство овладело мною, я несколько минут лежал недвижно. Но почему? Просто у меня не доставало мужества шевельнуться. Я не смел сделать усилие, которое обнаружило бы мою судьбу -- и все же некий внутренний голос шептал мне, что сомнений нет. Отчаянье, перед которым меркнут все прочие человеческие горести, -- одно лишь отчаянье, заставило меня, после долгих колебаний, -- приподнять тяжелые веки. И я приподнял их. Вокруг была тьма -- кромешная тьма. Я знал, что приступ прошел. Знал, что кризис моей болезни давно позади. Знал, что вполне обрел способность видеть -- и все же вокруг была тьма, кромешная тьма, сплошной и непроницаемый мрак Ночи, нескончаемой во веки веков.

Я попытался крикнуть; мои губы и запекшийся язык дрогнули в судорожном усилии -- но и не исторг ни звука из своих бессильных легких, которые изнемогали, словно на них навалилась огромная гора, и трепетали, вторя содроганиям сердца, при каждом тяжком и мучительном вздохе.

Когда я попробовал крикнуть, оказалось, что челюсть у меня подвязана, как у покойника. К тому же я чувствовал под собою жесткое ложе; и нечто жесткое давило меня с боков. До того мгновения я не смел шевельнуть ни единым членом -- но теперь я в отчаянье вскинул кверху руки, скрещенные поверх моего тела. Они ударились о твердые доски, которые оказались надо мною в каких-нибудь шести дюймах от лица. У меня более не оставалось сомнений в том, что я лежу в гробу.

И тут, в бездне отчаянья, меня, словно ангел, посетила благая Надежда -- я вспомнил о своих предосторожностях. Я извивался и корчился, силясь откинуть крышку: но она даже не шелохнулась. Я ощупывал свои запястья, пытаюсь нашарить веревку, протянутую от колокола: но ее не было. И туг Ангел-Утешитель отлетел от меня навсегда, и Отчаянье, еще неумолимей прежнего, восторжествовало вновь; ведь теперь и знал наверняка, что нет мягкой обивки, которую я так заботливо приготовил, и к тому же в ноздри мне вдруг ударил резкий, характерный запах сырой земли. Оставалось признать неизбежное. Я был не в склепе. Припадок случился со мной вдали от дома, среди чужих людей, когда и как, я не мог вспомнить; и эти люди похоронили меня, как собаку, заколотили в самом обыкновенном гробу, глубоко закопали на веки вечные в простой, безвестной могиле.

Когда эта неумолимая уверенность охватила мою душу, я вновь попытался крикнуть; и крик, вопль, исполненный смертного страдания, огласил царство подземной ночи.

-- Эй! Эй, в чем дело? -- отозвался грубый голос.

-- Что еще за чертовщина! -- сказал другой голос.

-- Вылазь! -- сказал третий.

-- С чего это тебе взбрело в башку устроить кошачью музыку? -- сказал четвертый; тут ко мне скопом подступили какие-то головорезы злодейского вида и бесцеремонно принялись меня трясти. Они не разбудили меня -- я уже проснулся, когда крикнул, -- но после встряски память вернулась ко мне окончательно.

Дело было неподалеку от Ричмонда, в Виргинии. Вместе с одним другом я отправился на охоту, и мы прошли несколько миль вниз по Джеймс-Ривер. Поздним вечером нас застигла гроза. Укрыться можно было лишь в каюте небольшого шлюпа, который стоял на якоре с грузом перегноя, предназначенного на удобрение. За неимением лучшего нам пришлось заночевать на борту. Я лег на одну из двух коек, -- можете себе представить, что за койки на шлюпе грузоподъемностью в шестьдесят или семьдесят тонн. На моей койке не было даже подстилки. Ширина ее не превышала восемнадцати дюймов. И столько же было от койки до палубы. Я с немалым трудом втиснулся в тесное пространство. Тем не менее спал я крепко, и все, что мне привиделось -- ведь это не было просто кошмарным сном, -- легко объяснить неудобством моего ложа, обычным направлением моих мыслей, а также тем, что я, как уже было сказано, просыпаясь, не мог сразу прийти в себя и подолгу лежал без памяти. Трясли меня матросы и наемные грузчики. Запах земли исходил от перегноя. Повязка, стягивавшая мне челюсть, оказалась шелковым носовым платком, которым я воспользовался взамен ночного колпака.

И все же в ту ночь я пережил такие страдания, словно меня в самом деле похоронили заживо. Это была ужасная, невыносимая пытка; но нет худа без добра, и сильнейшее потрясение вызвало неизбежный перелом в моем рассудке. Я обрел душевную силу -- обрел равновесие. Я уехал за границу. Я усердно занимался спортом. Я дышал вольным воздухом под сводом Небес. Я и думать забыл о смерти. Я выкинул вон медицинские книги. Бьюкена я сжег. Я бросил читать "Ночные мысли" -- всякие кладбищенские страсти, жуткие истории, вроде этой. Словом, я сделался совсем другим человеком и начал новую жизнь. С той памятной ночи я навсегда избавился от страхов перед могилой, а с ними и от каталепсии, которая была скорее их следствием, нежели причиной.

Бывают мгновения, когда даже бесстрастному взору Разума печальное Бытие человеческое представляется подобным аду, но нашему воображению не дано безнаказанно проникать в сокровенные глубины. Увы! Зловещий легион гробовых ужасов нельзя считать лишь пустым вымыслом; но подобные демонам, которые сопутствовали Афрасиабу в его плавании по Оксусу, они должны спать, иначе они растерзают нас, -- а мы не должны посягать на их сон, иначе нам не миновать гибели.

Бочонок Амонтильядо

Тысячу обид я безропотно вытерпел от Фортунато, но, когда он нанес мне оскорбление, я поклялся отомстить. Вы, так хорошо знающий природу моей души, не думаете, конечно, что я вслух произнес угрозу. В конце концов я буду отомщен: это было твердо решено, -- но самая твердость решения обязывала меня избегать риска. Я должен был не только покарать, но покарать безнаказанно. Обида не отомщена, если мстителя постигает расплата. Она не отомщена и в том случае, если обидчик не узнает, чья рука обрушила на него кару.

Ни словом, ни поступком я не дал Фортунато повода усомниться в моем наилучшем к нему расположении. По-прежнему я улыбался ему в лицо; и он не знал, что теперь я улыбаюсь при мысли о его неминуемой гибели.

У него была одна слабость, у этого Фортунато, хотя в других отношениях он был человеком, которого должно было уважать и даже бояться. Он считал себя знатоком вин и немало этим гордился. Итальянцы редко бывают истинными ценителями. Их энтузиазм почти всегда лишь маска, которую они надевают на время и по мере надобности, -- для того, чтобы удобнее надувать английских и австрийских миллионеров. Во всем, что касается старинных картин и старинных драгоценностей, Фортунато, как и прочие его соотечественники, был шарлатаном; но в старых винах он в самом деле понимал толк. Я разделял его вкусы: я сам высоко ценил итальянские вина и всякий раз, как представлялся случай, покупал их помногу.

Однажды вечером, в сумерки, когда в городе бушевало безумие карнавала, я повстречал моего друга. Он приветствовал меня с чрезмерным жаром, -- как видно, он успел уже в этот день изрядно выпить; он был одет арлекином: яркое разноцветное трико, на голове остроконечный колпак с бубенчиками. Я так ему обрадовался, что долго не мог выпустить его руку из своих, горячо ее пожимая.

Я сказал ему:

-- Дорогой Фортунато, как я рад, что вас встретил. Какой у вас цветущий вид. А мне сегодня прислали бочонок амонтильядо; по крайней мере, продавец утверждает, что это амонтильядо, но у меня есть сомнения.

-- Что? -- сказал он. -- Амонтильядо? Целый бочонок? Не может быть! И еще в самый разгар карнавала!

-- У меня есть сомнения, -- ответил я, -- и я, конечно, поступил опрометчиво, заплатив за это вино, как за амонтильядо, не посоветовавшись сперва с вами. Вас нигде нельзя было отыскать, а я боялся упустить случай.

-- Амонтильядо!

-- У меня сомнения.

-- Амонтильядо!

-- И я должен их рассеять.

-- Амонтильядо!

-- Вы заняты, поэтому я иду к Лукрези, Если кто может мне дать совет, то только он. Он мне скажет...

-- Лукрези не отличит амонтильядо от хереса.

-- А есть глупцы, которые утверждают, будто у него не менее тонкий вкус, чем у вас.

-- Идемте.

-- Куда?

-- В ваши погреба.

-- Нет, мой друг. Я не могу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы заняты. Лукрези...

-- Я не занят. Идем.

-- Друг мой, ни в коем случае. Пусть даже вы свободны, но я вижу, что вы жестоко простужены. В погребах невыносимо сыро. Стены там сплошь покрыты селитрой.

-- Все равно, идем. Простуда -- это вздор. Амонтильядо! Вас бессовестно обманули. А что до Лукрези -- он не отличит хереса от амонтильядо.

Говоря так, Фортунато схватил меня под руку, и я, надев черную шелковую маску и плотной запахнув домино, позволил ему увлечь меня по дороге к моему палаццо.

Никто из слуг нас не встретил. Все они тайком улизнули из дому, чтобы принять участие в карнавальном веселье. Уходя, я предупредил их, что вернусь не раньше утра, и строго наказал ни на минуту не отлучаться из дому. Я знал, что достаточно отдать такое приказание, чтобы они все до единого разбежались, едва я повернусь к ним спиной.

Я снял с подставки два факела, подал один Фортунато и с поклоном пригласил его следовать за мной через анфиладу комнат к низкому своду, откуда начинался спуск в подвалы. Я спускался по длинной лестнице, делавшей множество поворотов; Фортунато шел за мной, и я умолял его ступать осторожней. Наконец мы достигли конца лестницы. Теперь мы оба стояли на влажных каменных плитах в усыпальнице Монтрезоров.

Мой друг шел нетвердой походкой, бубенчики на его колпаке позванивали при каждом шаге.

-- Где же бочонок? -- сказал он.

-- Там, подальше, -- ответил я. -- Но поглядите, какая белая паутина покрывает стены этого подземелья. Как она сверкает!

Он повернулся и обратил ко мне тусклый взор, затуманенный слезами опьянения.

-- Селитра? -- спросил он после молчания.

-- Селитра, -- подтвердил я. -- Давно ли у вас этот кашель?

-- Кха, кха, кха! Кха, кха, кха! Кха, кха, кха!

В течение нескольких минут мой бедный друг был не в силах ответить.

-- Это пустяки, -- выговорил он наконец.

-- Нет, -- решительно сказал я, -- вернемся. Ваше здоровье слишком драгоценно. Вы богаты, уважаемы, вами восхищаются, вас любят. Вы счастливы, как я был когда-то. Ваша смерть была бы невознаградимой утратой. Другое дело я -- обо мне некому горевать. Вернемся. Вы заболете, я не могу взять на себя ответственность. Кроме того, Лукрези...

-- Довольно! -- воскликнул он. -- Кашель -- это вздор, он меня не убьет! Не умру же я от кашля.

-- Конечно, конечно, -- сказал я, -- и я совсем не хотел внушать вам напрасную тревогу. Однако следует принять меры предосторожности. Глоток вот этого медака защитит вас от вредного действия сырости.

Я взял бутылку, одну из длинного ряда лежавших посреди плесени, и отбил горлышко.

-- Выпейте, -- сказал я, подавая ему вино.

Он поднес бутылку к губам с цинической усмешкой. Затем приостановился и развязно кивнул мне, бубенчики его зазвенели.

-- Я пью, -- сказал он, -- за мертвецов, которые покоятся вокруг нас.

-- А я за вашу долгую жизнь.

Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше.

-- Эти склепы, -- сказал он, -- весьма обширны.

-- Монтрезоры старинный и плодовитый род, -- сказал я.

-- Я забыл, какой у вас герб?

-- Большая человеческая нога, золотая, на лазоревом поле. Она попирает извивающуюся змею, которая жалит ее в пятку.

-- А ваш девиз?

-- *Nemo me impune lacessit!* [Никто не оскорбит меня безнаказанно! (Лат.)]

-- Недурно! -- сказал он.

Глаза его блестели от выпитого вина, бубенчики звенели. Медок разогрел и мое воображение. Мы шли вдоль бесконечных стен, где в нишах сложены были скелеты вперемежку с бочонками и большими бочками. Наконец мы достигли самых дальних тайников подземелья. Я вновь остановился и на этот раз позволил себе схватить Фортунато за руку повыше локтя.

-- Селитра! -- сказал я. -- Посмотрите, ее становится все больше. Она, как мох, свисает со сводов. Мы сейчас находимся под самым руслом реки. Вода просачивается сверху и каплет на эти мертвые кости. Лучше уйдем, пока не поздно. Ваш кашель...

-- Кашель -- это вздор, -- сказал он. -- Идем дальше. Но сперва еще глоток медака.

Я взял бутылку деграва, отбил горлышко и подал ему. Он осушил ее одним духом. Глаза его загорелись диким огнем. Он захохотал и подбросил бутылку кверху странным жестом, которого я не понял.

Я удивленно взглянул на него. Он повторил жест, который показался мне нелепым.

-- Вы не понимаете? -- спросил он.

-- Нет, -- ответил я.

-- Значит, вы не принадлежите к братству.

-- Какому?

-- Вольных каменщиков.

-- Нет, я каменщик, -- сказал я.

-- Вы? Не может быть! Вы вольный каменщик?

-- Да, да, -- ответил я. -- Да, да.

-- Знак, -- сказал он, -- дайте знак.

-- Вот он, -- ответил я, распахнув домино и показывая ему лопатку.

-- Вы шутите, -- сказал он, отступая на шаг. -- Однако где же амонтильядо? Идемте дальше.

-- Пусть будет так, -- сказал я, пряча лопатку в складках плаща и снова подавая ему руку. Он тяжело оперся на нее. Мы продолжали путь в поисках амонтильядо. Мы прошли под низкими арками, спустились по ступеням, снова прошли под аркой, снова спустились и наконец достигли глубокого подземелья, воздух в котором был настолько сперт, что факелы здесь тускло тлели, вместо того чтобы гореть ярким пламенем.

В дальнем углу этого подземелья открывался вход в другое, менее поместительное. Вдоль его стен, от пола до сводчатого потолка, были сложены человеческие кости, -- точно так, как это можно видеть в обширных катакомбах, проходящих под Парижем. Три стены были украшены таким образом; с четвертой кости были сброшены вниз и в беспорядке валялись на земле, образуя в одном углу довольно большую грудку. Стена благодаря этому обнажилась, и в ней стал виден еще более глубокий тайник, или ниша, размером в четыре фута в глубину, три в ширину, шесть или семь в высоту. Ниша эта, по-видимому, не имела никакого особенного назначения; то был просто закоулок между двумя огромными столбами, поддерживавшими свод, а задней ее стеной была массивная гранитная стена подземелья.

Напрасно Фортунато, подняв свой тусклый факел, пытался заглянуть в глубь тайника. Слабый свет не проникал далеко.

-- Войдите, -- сказал я. -- Амонтильядо там. А что до Лукрези...

-- Лукрези невежда, -- прервал меня мой друг и нетвердо шагнул вперед. Я следовал за ним по пятам. Еще шаг -- и он достиг конца ниши. Чувствуя, что каменная стена преграждает ему путь, он остановился в тупом изумлении. Еще миг -- и я приковал его к граниту. В стену были вделаны два кольца, на расстоянии двух футов одно от другого. С одного свисала короткая цепь, с другого -- замок. Несколько секунд мне было достаточно, чтобы обвить цепь вокруг его талии и запереть замок. Он был так ошеломлен, что не сопротивлялся. Вынув ключ из замка, я отступил назад и покинул нишу.

-- Проведите рукой по стене, -- сказал я. -- Вы чувствуете, какой на ней слой селитры? Здесь в самом деле очень сыро. Еще раз умоляю вас -- вернемся. Нет? Вы не хотите? В таком случае я вынужден вас покинуть. Но сперва разрешите мне оказать вам те мелкие услуги, которые еще в моей власти.

-- Амонтильядо! -- вскричал мой друг, все еще не пришедший в себя от изумления.

-- Да, -- сказал я, -- амонтильядо.

С этими словами я повернулся к груде костей, о которой уже упоминал. Я разбросал их, и под ними обнаружился порядочный запас обтесанных камней и известки. С помощью этих материалов, действуя моей лопаткой, я принялся поспешно замуровывать вход в нишу.

Я не успел еще уложить и один ряд, как мне стало ясно, что опьянение Фортунато наполовину уже рассеялось. Первым указанием был слабый стон, донесшийся из глубины тайника. То не был стон пьяного человека. Затем наступило долгое, упорное молчание. Я выложил второй ряд, и третий, и четвертый; и тут я услышал яростный лязг цепи. Звук этот продолжался несколько минут, и я, чтобы полнее им насладиться, отложил лопатку и присел на груду костей. Когда лязг наконец прекратился, я снова взял лопатку и без помех закончил пятый, шестой и седьмой ряд. Теперь стена доходила мне почти до груди. Я вновь приостановился и, подняв факел над кладкой, уронил слабый луч на темную фигуру в тайнике.

Громкий пронзительный крик, целый залп криков, вырвавшихся внезапно из горла скованного узника, казалось, с силой отбросил меня назад. На миг я смутился, я задрожал. Выхватив шпагу из ножен, я начал шарить ее концом в нише, но секунда размышления вернула мне спокойствие. Я тронул рукой массивную стену катакомбы и ощутил глубокое удовлетворение. Я вновь приблизился к стенке и ответил воплем на вопль узника. Я помогал его крикам, я вторил им, я превосходил их силой и яростью. Так я сделал, и кричавший умолк.

Была уже полночь, и труд мой близился к окончанию. Я выложил восьмой, девятый и десятый ряд. Я довел почти до конца одиннадцатый и последний, оставалось вложить всего один лишь камень и заделать его. Я поднял его с трудом; я уже наполовину вдвинул его на предназначенное место. Внезапно из ниши раздался тихий смех, от которого волосы у меня встали дыбом. Затем заговорил жалкий голос, в котором я едва узнал голос благородного Фортунато.

-- Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Отличная шутка, честное слово, превосходная шутка! Как мы посмеемся над ней, когда вернемся в палаццо, -- хи-хи-хи! -- за бокалом вина -- хи-хи-хи!

-- Амонтильядо! -- сказал я.

-- Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Да, да, амонтильядо. Но не кажется ли вам, что уже очень поздно? Нас, наверное, давно ждут в палаццо... и синьора Фортунато и гости?.. Пойдемте.

-- Да, -- сказал я. -- Пойдемте.

-- Ради всего святого, Монтрезор!

-- Да, -- сказал я. -- Ради всего святого.

Но я напрасно ждал ответа на эти слова. Я потерял терпение.

Я громко позвал:

-- Фортунато!

Молчание. Я позвал снова.

-- Фортунато!

По-прежнему молчание. Я просунул факел в не заделанное еще отверстие и бросил его в тайник. В ответ донесся только звон бубенчиков. Сердце у меня упало: конечно, только сырость подземелья вызвала это болезненное чувство. Я поспешил закончить свою работу. Я вдвинул последний камень на место, я заделал его. Вдоль новой кладки я восстановил прежнее ограждение из костей. Полстолетия прошло с тех пор, и рука смертного к ним не прикасалась. *In pace requiescat!* [Да почует в мире! (Лат.)]

Сфинкс

Во время страшного владычества холеры в Нью-Йорке [Имеется в виду эпидемия холеры начала 1830-х годов, распространившаяся из Европы на Северную Америку] я воспользовался приглашением одного из моих родственников провести у него две недели в его уединенном, комфортабельном коттедже на берегу Гудзона. В нашем распоряжении были все обычные летние развлечения; прогулки по лесу, рисование с натуры, катание на лодках, рыбная ловля, купание, музыка и книги позволили бы нам провести время довольно приятно, если бы не страшные известия, каждое утро доходившие к нам из огромного города. Не было дня, чтобы мы не узнавали о смерти того или иного знакомого. По мере усиления эпидемии мы научились ежедневно ожидать потери кого-то из друзей. Под конец мы со страхом встречали появление любого вестника. Самый ветер с юга, казалось, дышал смертью. Эта леденящая мысль всецело завладела моей душой. Ни о чем другом я не мог говорить, думать или грезить во сне. Мой хозяин отличался меньшей впечатлительностью и, хотя был сильно подавлен, всячески старался подбодрить меня. Его философский ум никогда не поддавался призракам. К реальным ужасам он был достаточно восприимчив, но их тени не вызывали у него страха.

Его старания рассеять мое болезненное, мрачное настроение оказывались почти безуспешны по вине некоторых книг, которые я обнаружил в его библиотеке. Их содержание способно было вызвать к жизни все семена наследственных суеверий, таившиеся в моей душе. Я прочитал эти книги без его ведома, и он поэтому зачастую не мог понять причин, столь сильно действовавших на мое воображение.

Любимой темой моих разговоров были приметы и знамения -- веру в знамения я одно время готов был отстаивать почти всерьез.

На эту тему у нас происходили долгие и оживленные споры; он говорил о полной беспочвенности подобных верований, я же утверждал, что убеждение, возникающее в народе совершенно стихийно -- никем не внушенное, -- само по себе содержит несомненную долю истины и имеет право на уважение.

Дело в том, что вскоре по приезде в коттедж со мной произошло нечто до того необъяснимое и зловещее, что мне простительно было счесть это предзнаменованием. Я был настолько подавлен и вместе с тем озадачен, что прошло много дней, прежде чем я решился рассказать об этом моему другу.

На исходе очень жаркого дня я сидел с книгою в руках возле открытого окна, откуда открывался вид на берега реки и на отдаленный холм, который с ближайшей к нам стороны оказался почти безлесным вследствие так называемого оползня. Мысли мои давно уже отвлеклись от книги и перенеслись в соседний с нами город, где царил уныние и ужас. Подняв глаза от страницы, я увидел обнаженный склон, а на нем -- отвратительного вида чудовище, которое быстро спустилось с холма и исчезло в густом лесу у его подножия. При появлении этого существа я сперва подумал, не сошел ли я с ума, и во всяком случае не поверил своим глазам; прошло немало времени, пока я убедился, что не безумен и не сплю. Но если я опишу чудовище, которое я ясно увидел и имел время наблюдать, пока оно спускалось по склону, читателям еще труднее, чем мне, будет в него поверить.

Размеры чудовища, о которых я судил по стволам огромных деревьев, мимо которых оно двигалось, -- немногих лесных гигантов, устоявших во время оползня, -- были значительно больше любого из океанских судов. Я говорю "судов", ибо чудовище напоминало их своей формой -- корпус нашего семидесятичетырехпушечного военного корабля может дать довольно ясное представление о его очертаниях. Рот у него помещался на конце хобота длиной в шестьдесят-семьдесят футов, а толщиной примерно с туловище слона. У основания хобота чернели кочья густой шерсти -- больше чем на шкурах дюжины бизонов; оттуда торчали книзу и вбок два блестящих клыка вроде кабаньих, только несравненно больше. По обе стороны хобота тянулось по гигантскому рогу футов в тридцать-сорок, призматическому и казавшемуся хрустальным -- в них ослепительно отражались лучи заходящего солнца. Туловище было клинообразным и острием направлено вниз. От него шли две пары крыльев, каждая длиной почти в сто ярдов; они располагались одна над другой и были сплошь покрыты металлической чешуей, где каждая чешуйка имела в диаметре от десяти до двенадцати футов. Я заметил, что верхняя пара соединялась с нижней толстой цепью. Но главной особенностью этого страшного существа было изображение черепа, занимавшее почти всю его грудь и ярко белевшее на его темном теле, словно тщательно выписанное художником. Пока я глядел на устрашающее животное и особенно на рисунок на его груди с ужасом и предчувствием близкой беды, которое я не в силах был побороть никакими усилиями разума, огромные челюсти, помещавшиеся на конце его хобота, внезапно раскрылись, и из них раздался громкий и горестный вопль, прозвучавший в моих ушах зловещим предвестием; едва чудовище скрылось внизу холма, как я без чувств упал на пол.

Когда я очнулся, первым моим побуждением было, разумеется, сообщить моему другу все, что я видел и слышал, -- и я затрудняюсь объяснить чувство отвращения, которое почему-то меня удержало.

Но как-то вечером, дня через три или четыре после этого события, мы вместе сидели в комнате, где мне предстало видение; я сидел в том же кресле у окна, а он полулежал вблизи от меня на софе. Вызванные временем и местом ассоциации побудили меня рассказать ему о странном явлении. Он выслушал меня до конца, сперва смеясь от души, а затем сделался необычайно серьезен, словно не сомневался в моем помешательстве. В эту минуту я снова ясно увидел чудовище и с криком ужаса указал на него. Мой друг внимательно посмотрел, но стал уверять, что ничего не видит, хотя я подробно описал ему, как оно спускается по оголенному склону холма.

Моему ужасу не было предела, ибо я считал видение предвестием моей смерти или, еще хуже, симптомом надвигающегося безумия. Я в отчаянии откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. Когда я открыл глаза, видения уже не было.

К моему хозяину, напротив, вернулось в значительной степени его прежнее спокойствие, и он очень подробно расспросил меня о внешнем виде фантастического создания. Когда я вполне удовлетворил его на этот счет, он испустил глубокий вздох облегчения, точно избавился от непосильного бремени, и с хладнокровием, показавшимся мне жестоким, вернулся к прерванному разговору о некоторых вопросах умозрительной философии. Помню, что он между прочим особенно подчеркнул мысль, что главным источником всех человеческих заблуждений является склонность разума недооценивать или переоценивать какой-либо предмет из-за простой ошибки в определении расстояния.

-- Так, например, -- сказал он, -- для правильной оценки влияния, какое окажет на человечество повсеместное распространение демократии, непременно следовало бы принять во внимание отдаленность эпохи, когда это распространение завершится. А между тем, можете ли вы указать хотя бы одного автора, пишущего о формах правления, который считал бы этот вопрос достойным внимания?

Тут он на мгновение остановился, подошел к книжному шкафу и достал элементарный курс естественной истории. Попросив меня поменяться с ним местами, чтобы ему легче было разбирать мелкую печать, он сел в мое кресло у окна и, открыв книгу, продолжал почти тем же тоном, что и прежде.

-- Если бы не ваше подробное описание чудовища, -- сказал он, -- я, пожалуй, не смог бы показать вам, что это такое. Прежде всего позвольте прочесть вам школьное описание рода Sphinx, семейство Strepsicularia, отряд Lepidoptera, класс Insecta, то есть насекомых. Вот это описание:

"Четыре перепончатых крыла, покрытых цветными чешуйками с металлическим блеском; рот в виде закрученного хоботка, образованного продолжением челюстей; по сторонам его -- зачатки жвал и пушистые щупики. Нижняя пара крыл соединена с верхней посредством жестких волосков; усики в виде удлиненной призматической булавы; брюшко заостренное. Сфинкс Мертвая Голова иногда внушает немалый страх непросвещенным людям из-за печального звука, который он издает, и эмблемы смерти на его щитке".

Он закрыл книгу и наклонился вперед, чтобы найти в точности то положение, в котором сидел я, когда увидел чудовище.

-- Ну да, вот оно! -- воскликнул он, -- сейчас оно ползет вверх, и, должен признать, вид у него необыкновенный. Однако оно не так велико и не так удалено от вас, как вы вообразили. Оно

ползет по паутине, которую какой-нибудь паук повесил вдоль оконной рамы, и я вижу, что длина его -- не более одной шестнадцатой дюйма, и такое же расстояние -- одна шестнадцатая дюйма -- отделяет его от моего зрачка.

Бес противоречия

Пер. В.Рогов

В рассмотрении способностей и наклонностей - *prima mobilia* [перводвигателей (лат.)] человеческой души - френологи не уделили места побуждению, которое хотя по всей очевидности и существует как одно из врожденных, изначальных, непреодолимых чувств, но в равной степени было упущено из виду и всеми моралистами, их предшественниками. По чистой гордыне разума все мы упустили его из виду. Мы позволили его существованию ускользнуть от наших чувств единственно по недостатку веры, будь то вера в Апокалипсис или вера в Каббалу. Само представление о нем никогда не приходит нам в голову просто потому, что в нем нет никакой надобности. Мы не видим нужды в этом влечении, в этой склонности. Мы не можем постичь его необходимость. Мы не понимаем, да и не могли бы понять, ежели представление об этом *primum mobile* и возникло бы - мы не могли бы понять, каким образом оно способно приблизить человечество к его целям, временным или вечным. Нельзя отрицать, что френология и в весьма значительной степени вся метафизика были состряпаны а *prigoi* [до и вне опыта (лат.)]. Выдумывать схемы, диктовать цели богу принялся не человек, способный понимать и наблюдать, а скорее человек интеллекта и логики. Охватив подобным образом, к собственному удовлетворению, замыслы Иеговы, он построил из этих замыслов бесчисленные системы мышления. В области френологии, например, мы сначала решили, по вполне естественным основаниям, что божество повелело, дабы человек принимал пищу. Затем мы наделили человека органом питания, бичом, с помощью которого божество вынуждает человека принимать пищу, желает он того или нет. Во-вторых, установив, что бог повелел человеку продолжать род, мы немедленно обнаружили и орган любострастия. Так же обстояло с воинственностью, с воображением, с причинностью, с даром созидания - коротко говоря, с каждым органом, выражает ли он какую-либо склонность, моральную особенность или же чисто интеллектуальную черту. И в этих схемах *principia* [первопричин (лат.)] человеческих действий последователи Шпурцгейма, верно или нет, частично или в целом, но все же лишь следовали по стопам своих предшественников, выводя и определяя все из заранее предустановленных судеб рода человеческого и целей творца.

Было бы мудрее, было бы безопаснее, если бы наша классификация (раз уж мы должны классифицировать) исходила из того, как человек обычно или иногда поступает, а не из того, как, по нашему убеждению, предназначило ему поступать божество. Ежели мы не в силах постичь бога в его зримых деяниях, то как нам познать его непостижимые мысли, рождающие эти деяния? Ежели нам непонятны его объективные создания, то как его понять в его свободных желаниях и фазах созидания?

Индукция а *posteriori* [после опыта (лат.)] вынудила бы френологию признать изначальным и врожденным двигателем человеческих действий парадоксальное нечто, которое за неимением более точного термина можно назвать противоречивостью или упрямством. В том смысле, который я имею в виду, это - *mobile* [побудительная причина (франц.)] без мотива, мотив не *motivirt* [мотивированный (искаж. нем.)]. По его подсказу мы действуем без какой-либо постижимой цепи; или, если это воспримут как противоречие в терминах, мы можем модифицировать это суждение и сказать, что по его подсказу мы поступаем так-то именно потому, что так поступать не должны. Теоретически никакое основание не может быть более

неосновательным; но фактически нет основания сильнее. С некоторыми умами и при некоторых условиях оно становится абсолютно неодолимым. Я столь же уверен в том, что дышу, сколь и в том, что сознание вреда или ошибочности данного действия часто оказывается единственной непобедимой силой, которая - и ничто иное - вынуждает нас это действие совершить. И эта ошеломляющая тенденция поступать себе во вред ради вреда не поддается анализу или отысканию в ней скрытых элементов. Это врожденный, изначальный, элементарный импульс. Знаю, мне возразят, будто наше стремление упорствовать в поступках именно от сознания того, что мы в них упорствовать не должны, является лишь разновидностью черты, которую френология называет воинственностью. Но самый беглый взгляд докажет ошибочность подобного предположения. В основе френологической "воинственности" лежит необходимость самозащиты. В ней - наша охрана от повреждений физического характера. Ее суть - в обеспечении нашего благосостояния; и стремление к нему возбуждается одновременно с ее развитием. Следовательно, стремление к благосостоянию должно быть возбуждено одновременно с любой разновидностью "воинственности", но в том, что я называю противоречивостью, не только не возникает стремление к благосостоянию, но нами движет, и весьма сильно, чувство прямо противоположное.

Обращение к собственной душе окажется, в конце концов, лучшим ответом на только что отмеченную софистику. Всякий, кто доверчиво и внимательно вопрошает свою душу, не будет отрицать, что особенность, о которой идет речь, безусловно, коренная черта. Она непостижима столь же, сколь и очевидна. Нет человека, который когда-нибудь не мучился бы, например, непреодолимым желанием истерзать слушателя многословием своих речей. Говорящий сознает, что вызывает недовольство; он всемерно хочет угодить собеседнику; обычно он изъясняется кратко, точно и ясно; самые лаконичные и легкие фразы вертятся у него на языке; лишь с трудом он удерживается от их произнесения; он боится разгневать того, к кому обращается; и все же его поражает мысль, что если он будет отклоняться от своего предмета и нанизывать отступления, то гнев может возникнуть. Одной подобной мысли достаточно. Неясный порыв вырастает в желание, желание - в стремление, стремление - в неудержимую жажду, и жажда эта (к глубокому огорчению и сожалению говорящего), несмотря на все могущие возникнуть последствия, удовлетворяется.

Перед нами работа, требующая скорейшего выполнения. Мы знаем, что оттягивать ее губительно. Мы слышим трубный зов: то кличет нас к немедленной, энергической деятельности важнейшее, переломное событие всей нашей жизни. Мы пылаем, снедаемые нетерпением, мы жаждем приняться за труд - предвкушение его славного итога воспламеняет нам душу. Работа должна быть, будет сделана сегодня, и все же мы откладываем ее на завтра; а почему? Ответа нет, кроме того, что мы испытываем желание поступить наперекор, сами не понимая почему. Наступает завтра, а с ним еще более нетерпеливое желание исполнить свой долг, но по мере роста нетерпения приходит также безымянное, прямо-таки ужасающее - потому что непостижимое - желание медлить. Это желание усиливается, пока пролетают мгновения. Близок последний час. Мы содрогаемся от буйства борьбы, проходящей внутри нас, борьбы определенного с неопределенным, материи с тенью. Но если единоборство зашло так далеко, то побеждает тень, и мы напрасно боремся. Бьют часы, и это похоронный звон по нашему благополучию. В то же время это петушиный крик для призрака, овладевшего нами. Он исчезает - его нет - мы свободны. Теперь мы готовы трудиться. Увы, слишком поздно!

Мы стоим на краю пропасти. Мы всматриваемся в бездну - мы начинаем ощущать дурноту и головокружение. Наш первый порыв - отдалиться от опасности. Непонятно почему, мы

остаемся. Постепенно дурнота, головокружение и страх сливаются в некое облако - облако чувства, которому нельзя отыскать название. Мало-помалу, едва заметно, это облако принимает очертание, подобно дыму, что вырвался из бутылки, заключавшей джинна, как сказано в "Тысяче и одной ночи". Но из нашего облака на краю пропасти возникает и становится осязаемым образ куда более ужасный, нежели какой угодно сказочный джинн или демон, и все же это лишь мысль, хотя и страшная, леденящая до мозга костей бешеным упоением, которое мы находим в самом ужасе. Это всего лишь представление о том, что мы ощутим во время стремительного низвержения с подобной высоты. И это падение - эта молниеносная гибель - именно потому, что ее сопровождает самый жуткий и отвратительный из всех самых жутких и отвратительных образов смерти и страдания, когда-либо являвшихся вашему воображению, - именно поэтому и становится желаннее. И так как наш рассудок яростно уводит нас от края пропасти - потому мы с такой настойчивостью к нему приближаемся. Нет в природе страсти, исполненной столь демонического нетерпения, нежели страсть того, кто, стоя на краю пропасти, представляет себе прыжок. Попытаться хоть на мгновение думать означает неизбежную гибель; ибо рефлексия лишь внушает нам воздержаться, и потому, говорю я, мы и не можем воздержаться. Если рядом не найдется дружеской руки, которая удержала бы нас, или если нам не удастся внезапным усилием отшатнуться от бездны и упасть навзничь, мы бросаемся в нее и гибнем.

Можно рассматривать подобные поступки как нам вздумается, и все равно будет ясно, что исходят они единственно от духа Противоречия. Мы совершаем их, ибо чувствуем, что не должны их совершать. Никакого объяснимого принципа за ними не кроется; и, право, мы могли бы счесть это стремление поступать наперекор прямым подсказкам нечистого, ежели бы порою оно не служило добру.

Я сказал все это, дабы в какой-то мере ответить на ваш вопрос - дабы объяснить вам, почему я здесь - дабы оставить вам нечто, имеющее хоть слабую видимость причины тому, что я закован в эти цепи и обитаю в камере смертников. Не будь я столь пространным, вы или могли бы понять меня совсем уж превратно, или, заодно с чернью, сочли бы меня пометанным. А так вы с легкостью увидите, что я - одна из многих неисчислимых жертв Беса Противоречия.

Никакой поступок не мог быть взвешен с большей точностью. Недели, месяцы я обдумывал способ убийства. Я отверг тысячу планов, ибо их выполнение влекло за собою вероятность случайного раскрытия. Наконец, читая какие-то французские мемуары, я обнаружил в них описание того, как мадам Пило была поражена почти фатальным недугом при посредстве отравленной свечи. Идея эта мгновенно привлекла меня. Я знал, что тот, кого я наметил в жертвы, имел привычку читать в постели. Знал я также, что его комната тесна и плохо проветривается. Но нет нужды докучать вам излишними подробностями. Нет нужды описывать нехитрые уловки, при помощи которых я подменил свечу из шандала в его спальне другою, сделанною мною самим. На следующее утро его нашли мертвым в постели, и заключение коронера гласило: "Смерть от руки божией".

Унаследовав его состояние, я многие годы благоденствовал. Мысль о разоблачении ни разу не посещала мой мозг. От остатков роковой свечи я самым тщательным образом избавился. Я не оставил и тени улики, при помощи которой возможно было бы осудить меня за преступление или даже заподозрить в нем. Непостижимо, сколь полное чувство удовлетворения возникало в моем сердце, пока я размышлял о совершенной моей безопасности. Весьма длительное время я упивался этим чувством. Оно доставляло мне больше истинного наслаждения, нежели все мирские преимущества, истекающие из моего греха. Но наконец наступила пора, когда отрадное чувство едва заметно превратилось в неотвязную и угнетающую мысль. Именно

ее неотвязность и угнетала. Я едва был в силах избавиться от нее хотя бы на миг. Нередко у нас в ушах, или, вернее, в памяти, вертится припев какой-нибудь пошлой песни или ничем не примечательные обрывки оперы. И мучения наши не уменьшатся, если песня сама по себе будет хороша, а оперный мотив - достоин высокой оценки. Подобно этому и я наконец начал ловить себя на том, что постоянно думаю о своей безопасности и едва слышно повторяю себе под нос: "Нечего бояться".

Однажды, прогуливаясь по улицам, я внезапно заметил, что бормочу эти привычные слова вполголоса. В припадке своеволия я переиначил их следующим образом: "Нечего бояться - нечего бояться - да - если только я по глупости сам не сознаюсь!"

Не успел я выговорить эти слова, как ледяной холод окатил мне сердце. У меня был известный опыт подобных припадков противоречия (природу которых я старался вам объяснить), и я отчетливо вспомнил, что ни разу мне не удалось успешно противостоять их натиску. И ныне то, что я сам себе небрежно внушил - будто я могу оказаться таким глупцом, что сознаюсь в совершенном мною убийстве - возникло передо мною, как само привидение моей жертвы, - и поманило меня к смерти.

Сперва я попытался стряхнуть с души этот кошмар. Я ускорил шаг - пошел быстрее - еще быстрее - наконец побежал. Я испытывал бешеное желание завопить во весь голос. Каждая последующая волна мысли обдавала меня новым ужасом, ибо, увы! я хорошо, слишком хорошо сознавал, что в моем положении подумать - значит погибнуть. Я все ускорял шаг. Я метался как сумасшедший по запруженным толпами улицам. Наконец прохожие встревожились и начали меня преследовать. И тогда я почувствовал, что судьба моя свершилась. Я бы вырвал себе язык, если бы мог, но в ушах у меня прогремел грубый голос - чья-то рука еще более грубо схватила меня за плечо. Я повернулся, задыхаясь. На единый миг я ощутил все муки удушья; я ослеп, оглох, голова моя кружилась; и тогда, как мне показалось, некий невидимый дьявол ударил меня своею широкой ладонью в спину. Долго скрываема тайна вырвалась из моей души.

Говорят, что произношение мое было весьма отчетливо, хотя я чрезмерно подчеркивал каждый слог и бешено торопился, как бы опасаясь, что меня перебьют до завершения кратких, но веских фраз, которые обрекли меня палачу и преисподней.

Поведав все, необходимое для моего полного юридического осуждения, я упал без чувств.

Но к чему говорить еще? Сегодня я в этих кандалах - и здесь! Завтра я буду без цепей! - но где?

Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром

Пер. З.Александрова

Разумеется, я ничуть не удивляюсь тому, что необыкновенный случай с мистером Вальдемаром возбудил толки. Было бы чудом, если бы этого не было, принимая во внимание все обстоятельства. Вследствие желания всех причастных к этому делу лиц избежать огласки хотя бы на время или пока мы не нашли возможностей продолжить исследование - именно вследствие наших стараний сохранить его в тайне - в публике распространились ложные или преувеличенные слухи, породившие множество неверных представлений, а это, естественно, у многих вызвало недоверие.

Вот почему стало необходимым, чтобы я изложил факты - насколько я сам сумел их понять. Вкратце они сводятся к следующему.

В течение последних трех лет мое внимание не раз бывало привлечено к вопросам месмеризма, а около девяти месяцев назад меня внезапно поразила мысль, что во всех до сих пор проделанных опытах имелось одно весьма важное и необъяснимое упущение - никто еще не подвергался месмерическому воздействию *in articulo mortis* [в состоянии агонии (лат.)]. Следовало выяснить, во-первых, подвержен ли человек в таком состоянии действию гипноза; во-вторых, ослаблено ли оно при этом или же усилено; а в-третьих, в какой степени и как долго можно задержать гипнозом наступление смерти. Возникали и другие вопросы, но именно эти заинтересовали меня более всего - в особенности последний, чреватый следствиями огромной важности.

Раздумывая, где бы найти подходящий объект для такого опыта, я вспомнил о своем приятеле мистере Эрнесте Вальдемаре, известном составителе "*Bibliotheca Forensica*" ["Судебной библиотеке" (лат.)] и авторе (под *nom de plume* [псевдонимом (франц.)] Иссахара Маркса) польских переводов "Валленштейна" и "Гаргантюа". Мистер Вальдемар, с 1839 года проживавший главным образом в Гарлеме (штат Нью-Йорк), обращает (или обращал) на себя внимание прежде всего своей необычайной худобой - нижние конечности у него очень походили на ноги Джона Рандолфа, - а также светлыми бакенбардами, составлявшими резкий контраст с темными волосами, которые многие из-за этого принимали за парик. Он был чрезвычайно нервен и, следовательно, был подходящим объектом для гипнотических опытов. Раза два или три мне без труда удавалось его усыпить, но в других отношениях он не оправдал ожиданий, которые естественно вызывала его конституция. Я ни разу не смог вполне подчинить себе его волю, а что касается *clairvoyance* [ясновидения (франц.)], то опыты с ним вообще не дали надежных результатов. Свои неудачи в этом отношении я всегда объяснял состоянием его здоровья. За несколько месяцев до моего с ним знакомства доктора нашли у него чахотку. О своей близкой кончине он имел обыкновение говорить спокойно, как о чем-то неизбежном и не вызывающем сожалений.

Когда у меня возникли приведенные выше вопросы, я, естественно, вспомнил о мистере Вальдемаре. Я слишком хорошо знал его философскую твердость, чтобы опасаться возражений с его стороны; и у него не было в Америке родных, которые могли бы вмешаться. Я откровенно поговорил с ним на эту тему, и, к моему удивлению, он ею живо заинтересовался. Я говорю "к моему удивлению", ибо хотя он всегда соглашался подвергаться моим опытам, я ни разу не слышал, чтобы он их одобрял. Болезнь его была такова, что позволяла точно определить срок ее смертельного исхода; и мы условились, что он пошлет за мной примерно за сутки до того момента, когда доктора предскажут его кончину.

Сейчас прошло уже более семи месяцев с тех пор, как я получил от мистера Вальдемара следующую собственноручную записку:

Любезный П.!

Пожалуй, вам следует приехать сейчас. Д. и Ф. в один голос утверждают, что я не протяну дольше завтрашней полуночи, и мне кажется, что они вычислили довольно точно.

Вальдемар.

Я получил эту записку через полчаса после того, как она была написана, а спустя еще пятнадцать минут уже был в комнате умирающего. Я не видел его десять дней и был поражен страшной переменой, происшедшей в нем за это короткое время. Лицо его приняло свинцовый оттенок, глаза потухли, а исхудал он настолько, что кости скул едва не прорывали кожу.

Мокрота выделялась крайне обильно. Пульс прощупывался с трудом. Несмотря на это, он сохранил удивительную ясность ума и даже кое-какие физические силы. Он ясно говорил, без посторонней помощи принимал некоторые лекарства, облегчавшие его состояние, - а когда я вошел, писал что-то карандашом в записной книжке. Он полулежал, обложенный подушками. При нем были доктора Д. и Ф.

Пожав руку Вальдемара, я отвел этих джентльменов в сторону и получил от них подробные сведения о состоянии больного. Левое легкое уже полтора года как наполовину обызвествилось и было, разумеется, неспособно к жизненным функциям. Верхушка правого также частично подверглась обызвествлению, а нижняя доля представляла собой сплошную массу гнойных туберкулезных бугорков. В ней было несколько обширных каверн, а в одном месте имелись сращения с ребром. Эти изменения в правом легком были сравнительно недавними. Обызвествление шло необычайно быстро; еще за месяц до того оно отсутствовало, а сращения были обнаружены лишь в последние три дня. Помимо чахотки, у больного подозревали аневризм аорты, однако обызвествление не позволяло диагностировать его точно. По мнению обоих докторов, мистер Вальдемар должен был умереть на следующий день (вокресенье) к полуночи. Сейчас был седьмой час субботнего вечера.

Когда доктора Д. и Ф. отошли от постели больного, чтобы побеседовать со мной, они уже простились с ним. Они не собирались возвращаться; однако по моей просьбе обещали заглянуть к больному на следующий день около десяти часов вечера.

После их ухода я откровенно заговорил с мистером Вальдемаром о его близкой кончине, а также более подробно о предполагаемом опыте. Он подтвердил свою готовность и даже интерес к нему и попросил меня начать немедленно. При нем находились сиделка и служитель, но я не чувствовал себя вправе начинать подобное дело, не имея более надежных свидетелей, чем эти люди, на случай какой-либо неожиданности. Поэтому я отложил опыт до восьми часов вечера следующего дня, когда приход студента-медика (мистера Теодора Л-ла), с которым я был немного знаком, вывел меня из затруднения. Сперва я намеревался дождаться врачей; но пришлось начать раньше, во-первых, по настоянию мистера Вальдемара, а во-вторых, потому, что я и сам видел, как мало оставалось времени и как быстро он угасал.

Мистер Л-л любезно согласился вести записи всего происходящего; все, что я сейчас имею рассказать, взято из этих записей *verbatim* [дословно (лат.)] или с некоторыми сокращениями.

Было без пяти минут восемь, когда я, взяв больного за руку, попросил его подтвердить возможно явственнее, что он (мистер Вальдемар) по доброй воле подвергается в своем нынешнем состоянии месмеризации.

Он отвечал слабым голосом, но вполне внятно: "Да, я хочу подвергнуться месмеризации,- и тут же добавил: - Боюсь, что вы слишком долго медлили".

Пока он говорил, я приступил к тем пассам, которые прежде оказывали на него наибольшее действие. Первое прикосновение моей руки к его лбу сразу подействовало, но затем, несмотря на все мои усилия, я не добился дальнейших результатов до начала одиннадцатого, когда пришли, как было условлено, доктора Д. и Ф. Я в нескольких словах объяснил им, чего я добиваюсь, и, так как они не возражали, установив, что больной уже находится в агонии, я, не колеблясь, продолжал, перейдя, однако, от боковых пассов к продольным и устремив взгляд на правый глаз умирающего.

К этому времени пульс у него уже не ощущался, а хриплое дыхание вырывалось с промежутками в полминуты.

В таком состоянии он пробыл четверть часа. Потом умирающий глубоко вздохнул, и хрипы прекратились, то есть не стали слышны; дыхание оставалось все таким же редким. Конечности больного были холодны, как лед.

Без пяти минут одиннадцать я заметил первые признаки месмерического состояния. В остекленевших глазах появился тот тоскливо устремленный внутрь взгляд, который наблюдается только при гипнотическом сне и насчет которого невозможно ошибиться. Несколькими быстрыми боковыми пассами я заставил веки затрепетать, как при засыпании, а еще несколькими - закрыл их. Этим я, однако, не удовольствовался и продолжал энергичные манипуляции, напрягая всю свою волю, пока не достиг полного оцепенения тела спящего, предварительно уложив его поудобнее. Ноги были вытянуты, руки положены вдоль тела, на некотором расстоянии от бедер. Голова была слегка приподнята.

Между тем наступила полночь, и я попросил присутствующих освидетельствовать мистера Вальдемара. Прodelав несколько опытов, они констатировали у него необычайно глубокий гипнотический транс. Любопытство обоих медиков было сильно возбуждено. Доктор Д. тут же решил остаться при больном на всю ночь, а доктор Ф. ушел, обещав вернуться на рассвете. Мистер Л-л, сиделка и служитель также остались.

Мы не тревожили мистера Вальдемара почти до трех часов пополудни; подойдя к нему, я нашел его в том же состоянии, в каком он находился перед уходом доктора Ф., то есть он лежал в том же положении; пульс не ощущался; дыхание было очень слабым (и заметным лишь при помощи зеркала, поднесенного к губам); глаза были закрыты, как у спящих, а тело твердо и холодно, как мрамор. Тем не менее это отнюдь не была картина смерти. Приблизившись к мистеру Вальдемару, я попробовал повести его руку за своей, тихонько водя ею перед ним. Такой опыт никогда не удавался мне с ним прежде, и я не рассчитывал на успех и теперь, но, к моему удивлению, рука его послушно, хотя и слабо, последовала за всеми движениями моей. Я решил попытаться с ним заговорить.

- Мистер Вальдемар,- спросил я,- вы спите? - Он не отвечал, но я заметил, что губы его дрогнули, и повторил вопрос снова и снова. После третьего раза по всему его телу пробежала легкая дрожь; веки приоткрылись, обнаружив полосы белков; губы нехотя задвигались, и из них послышался едва различимый шепот:

- Да, сейчас сплю. Не будите меня! Дайте мне умереть так!

Я ощупал его тело, оказавшееся по-прежнему окоченелым. Правая рука его продолжала повиноваться движениям моей. Я снова спросил спящего:

- А как боль в груди, мистер Вальдемар?

На этот раз он ответил немедленно, но еще тише, чем прежде:

- Ничего не болит - умираю.

Я решил пока не тревожить его больше, и мы ничего не говорили и не делали до прихода доктора Ф., который явился незадолго перед восходом солнца и был несказанно удивлен, застав

пациента еще живым. Пощупав у спящего пульс и поднеся к его губам зеркало, он попросил меня снова заговорить с ним. Я спросил:

- Мистер Вальдемар, вы все еще спите?

Как и раньше, ответ заставил себя ждать несколько минут; за это время умирающий словно собирался с силами, чтобы заговорить, Когда я повторил свой вопрос в четвертый раз, он произнес очень тихо, почти неслышно:

- Да, все еще сплю - умираю.

По мнению, вернее, по желанию врачей, мистера Вальдемара надо было теперь оставить в его, по видимости, спокойном состоянии вплоть до наступления смерти, которая, как все были уверены, должна была последовать через несколько минут. Я, однако, решил еще раз заговорить с ним и просто повторил свой предыдущий вопрос.

В это время в лице спящего произошла заметная перемена. Глаза его медленно раскрылись, зрачки закатились, кожа приобрела трупный оттенок, не пергаментный, но скорее белый, как бумага, а пятна лихорадочного румянца, до тех пор ясно обозначавшиеся на его щеках, мгновенно погасли. Я употребляю это слово потому, что их внезапное исчезновение напомнило мне именно свечу, которую задули. Одновременно его верхняя губа поднялась и обнажила зубы, которые она прежде целиком закрывала; нижняя челюсть отвалилась с отчетливым стуком, и в широко раскрывшемся рту показался распухший и почерневший язык. Я полагаю, что среди нас не было никого, кто бы впервые встретился тогда с ужасным зрелищем смерти; но так страшен был в тот миг вид мистера Вальдемара, что все отпрянули от постели.

Здесь я чувствую, что достиг того места в моем повествовании, когда любой читатель может решительно отказаться мне верить. Однако мое дело - просто продолжать рассказ.

Теперь мистер Вальдемар не обнаруживал ни малейших признаков жизни; сочтя его мертвым, мы уже собирались поручить его попечениям сиделки и служителя, как вдруг язык его сильно задрожал. Это длилось несколько минут. Затем из неподвижных разинутых челюстей послышался голос - такой, что пытаться рассказать о нем было бы безумием. Есть, правда, два-три эпитета, которые отчасти можно к нему применить. Я могу, например, сказать, что звуки были хриплые, отрывистые, глухие, но описать этот кошмарный голос в целом невозможно по той простой причине, что подобные звуки никогда еще не оскорбляли человеческого слуха. Однако две особенности я счел тогда - и считаю сейчас - характерными, ибо они дают некоторое представление об их нездешнем звучании. Во-первых, голос доносился до нас - по крайней мере, до меня - словно издалека или из глубокого подземелья. Во-вторых (тут я боюсь оказаться совершенно непонятным), он действовал на слух так, как действует на наше осязание прикосновение чего-то студенистого или клейкого.

Я говорю о "звуках" и "голосе". Этим я хочу сказать, что звуки были вполне - и даже пугающе - членораздельными. Мистер Вальдемар заговорил - явно в ответ на вопрос, заданный мною за несколько минут до того. Если читатель помнит, я спросил его, продолжает ли он спать. Он сказал:

- Да - нет - я спал - а теперь - теперь - я умер.

Никто из присутствующих не пытался скрыть и не отрицал потом невыразимого, леденящего ужаса, вызванного этими немногими словами. Мистер Л-л (студент-медик) лишился

чувств. Служитель и сиделка бросились вон из комнаты и ни за что не захотели вернуться. Собственные мои ощущения я не берусь описывать. В течение почти часа мы в полном молчании приводили в чувство мистера Л-ла. Когда он очнулся, мы снова занялись мистером Вальдемаром.

Состояние его оставалось таким же, как я его описал, не считая того, что зеркало не обнаруживало теперь никаких признаков дыхания. Попытка пустить кровь из руки не удалась. Следует также сказать, что эта рука уже не повиновалась моей воле. Я тщетно пробовал заставить ее следовать за движениями моей. Единственным признаком месмерического влияния было теперь дрожание языка всякий раз, когда я обращался к мистеру Вальдемару с вопросом. Казалось, он пытался ответить, но усилия оказывались недостаточными. К вопросам, задаваемым другими, он оставался совершенно нечувствительным, хотя я и старался создать между ним и каждым из присутствующих гипнотическую связь. Кажется, я сообщил теперь все, что может дать понятие о тогдашнем состоянии усыпленного. Мы нашли новых сиделок, и в десять часов я ушел вместе с обоими докторами и мистером Л-лом.

После полудня мы снова пришли взглянуть на пациента. Состояние его оставалось прежним. Мы не сразу решили, следует ли и возможно ли его разбудить, однако скоро все согласились, что ничего хорошего мы этим не достигнем. Было очевидно, что смерть (или то, что под нею обычно разумеют) была приостановлена действием гипноза. Всем нам было ясно, что, разбудив мистера Вальдемара, мы вызовем немедленную или, во всяком случае, скорую смерть.

С тех пор и до конца прошлой недели - в течение почти семи месяцев - мы ежедневно посещали дом мистера Вальдемара, иногда в сопровождении знакомых врачей или просто друзей. Все это время спящий оставался в точности таким, как я его описал в последний раз. Сиделки находились при нем безотлучно.

В прошлую пятницу мы наконец решили разбудить или попытаться разбудить его; и (быть может) именно злополучный результат этого последнего опыта породил столько толков в различных кругах и столько безосновательного, на мой взгляд, возмущения.

Чтобы вывести мистера Вальдемара из гипнотического транса, я прибегнул к обычным пассам. Некоторое время они оставались безрезультатными. Первым признаком пробуждения было частичное опущение радужной оболочки глаз. Мы отметили, что это движение зрачков сопровождалось обильным выделением (из-под век) желтоватой жидкости с крайне неприятным запахом.

Мне предложили воздействовать, как прежде, на руку пациента. Я попытался это сделать, но безуспешно. Тогда доктор Ф. пожелал, чтобы я задал ему вопрос. Я спросил:

- Мистер Вальдемар, можете ли вы сказать нам, что вы чувствуете или чего хотите?

На щеки мгновенно вернулись пятна чахоточного румянца; язык задрожал, вернее задергался, во рту (хотя челюсти и губы оставались окоченелыми), и тот же отвратительный голос, уже описанный мною, произнес:

- Ради бога! - скорее! - скорее! - усыпите меня, или скорее! - разбудите! скорее! - Говорят вам, что я мертв!

Я был потрясен и несколько мгновений не знал, на что решиться. Сперва я попытался снова усыпить пациента, но, не сумев этого сделать из-за полного ослабления воли, я пошел в

обратном направлении и столь же энергично принялся его будить. Скоро я увидел, что мне это удается - по крайней мере, я рассчитывал на полный успех,- и был уверен, что все присутствующие тоже ждали пробуждения пациента.

Но того, что произошло в действительности, не мог ожидать никто.

Пока я торопливо проделывал гипнотические пассы, а с языка, но не с губ, страдальца рвались крики: "мертв!", "мертв!", все его тело - в течение минуты ели даже быстрее - осело, расплозлось, разложилось под моими руками. На постели пред нами оказалась полужидкая, отвратительная, гниющая масса.

Король Чума

Перевод: Э.Березина

Аллегорический рассказ

С чем боги в королях мирятся,

что приемлют.

То в низкой черни гневно отвергают.

"Трагедия о Феррексе и Поррексе"

Однажды в царствование доблестного Эдуарда Третьего, в октябре, два матроса с торговой шхуны "Независимая", плавающей между Слау и Темзой, а тогда стоявшей на Темзе, около полуночи, к своему величайшему изумлению, обнаружили, что сидят в лондонском трактире "Веселый матрос" в приходе св. Эндрюса.

Эта убогая, закопченная распивочная с низким потолком ничем не отличалась от любого заведения подобного рода, какими они были в те времена; и все же посетители, расположившиеся в ней причудливыми группами, нашли бы, что она вполне отвечает своему назначению.

Наши матросы, люди простые и немудрящие, тем не менее представляли собой весьма занятную парочку.

Один из них, тот, которого не без основания прозвали "Дылдой", был как будто старше своего спутника и чуть не вдвое выше его. Из-за своего огромного роста -- в нем было футов шесть с половиной -- он сильно сутулился. Впрочем, излишек длины с лихвой искупался нехваткой ширины. Он был до того худ, что, как уверяли товарищи, пьяный мог бы служить флагштоком на мачте, а трезвый -- сойти за бушприт. Но ни одна из подобных шуток не вызывала даже тени улыбки у этого матроса. У него был крупный ястребиный нос, острые скулы, круто срезанный подбородок, запавшая нижняя губа, а глаза на выкате -- большие и белесые. Казалось, ко всему на свете он относился с тупым безразличием, причем лицо его выражало такую торжественную важность, что описать или воспроизвести это выражение невозможно.

Второй матрос, тот, который был моложе, являлся его полной противоположностью. Рост матроса едва достигал четырех футов. Приземистое нелепое туловище держалось на коротких и толстых кривых ногах; куцые руки с массивными кулаками висели наподобие плавников морской черепахи. Маленькие бесцветные глазки поблескивали откуда-то из глубины, нос утопал в лиловых подушках щек; толстая верхняя губа, покоясь на еще более толстой нижней, придавала его лицу презрительное выражение, а привычка облизываться еще

подчеркивала его. Нельзя было не заметить, что Дылда вызывает в нем удивление и насмешку, он поглядывал на своего долговязого приятеля снизу вверх, точь-в-точь как багровое закатное солнце смотрит на крутые склоны Бен-Невиса.

Странствия сей достойной парочки из трактира в трактир сопровождалась в тот вечер самыми невообразимыми происшествиями. В распивочную "Веселый матрос" друзья явились без гроша в кармане -- запасы денег, даже самые солидные, когда-нибудь да иссякают.

В ту минуту, с которой, собственно, и начинается наш рассказ, Дылда и его дружок Хью Смоленый сидели посреди комнаты, положив локти на большой дубовый стол и подпирая ладонями щеки. Скрытые огромной бутылкой от эля, который они успели выпить, но не оплатили, приятели взирали на зловещие слова "мела нет" (что означало -- нет кредита), выведенные, к их величайшему изумлению и негодованию, над входной дверью тем самым мелом, наличие коего отрицалось. Не думайте, что хотя бы один из этих детей моря умел читать по писаному, -- способность, считавшаяся в те времена простым народом не менее магической, чем дар сочинительства, но буквы, как хмельные, делали резкий крен в подветренную сторону, а это, по мнению обоих матросов, предвещало долгое ненастье; волей-неволей пришлось тут же, как аллегорически выразился Дылда, "откачивать воду из трюма, брать паруса на гитовы и ложиться по ветру".

И матросы, расправившись наскоро с остатками эля и затянув шнурки коротких курток, устремились на улицу. Несмотря на то, что Хью Смоленый дважды сунул голову в камин, приняв его за дверь, наши герои благополучно выбрались из трактира и в половине первого ночи уже во всю прыть неслись по темному переулку к лестнице св. Эндрюса, навстречу новым бедам и упорно преследуемые разъяренной хозяйкой "Веселого матроса".

В эпоху, к которой относится этот богатый происшествиями рассказ, по всей Англии, и особенно по ее столице, долгие годы разносился душераздирающий вопль: "Чума!" Лондон совсем обезлюдел; по темным, узким, грязным улицам и переулкам близ Темзы, где, как полагали, и появился призрак Черной смерти, свободно разгуливали только Ужас, Страх и Суеверие.

Указом короля на эти районы был наложен запрет, и под страхом смертной казни никто не смел нарушить их мрачное безлюдье. Но ни указ монарха, ни высокие заставы перед зачумленными улицами, ни смертельная угроза погибнуть от богомерзкой болезни, подстерегавшей несчастного, который, презрев опасность, рисковал всем, -- ничто не могло спасти от ночных грабителей покинутые жителями дома; хотя оттуда и был вывезен весь скарб, воры уносили железо, медь, свинец, -- словом, все, что имело какую-нибудь ценность.

Каждый год, когда снимали заставы, оказывалось, что владельцы многочисленных в тех местах лавок, стремившиеся избежать риска и хлопот, связанных с перевозкой, напрасно доверили замкам, засовам и потайным погребам свои обширные запасы вин и других спиртных напитков.

Впрочем, лишь немногие приписывали эти деяния рукам человеческим. Люди обезумели от страха и считали, что во всем повинны духи чумы, бесы моровой язвы или демоны горячки. Ежечасно возникали леденящие кровь легенды, и неодолимый страх словно саваном окутал эти здания, находившиеся под запретом, -- не раз случалось, что ужасы обступали грабителя, и он в трепете бежал, оставляя обезлюдевшие улицы во власти заразы, безмолвия и смерти.

Одна из тех зловещих застав, которые ограждали зачумленные районы, внезапно выросла на пути Дылды и его достойного друга Хью Смоленого, когда они, спотыкаясь, бежали по переулку. О возвращении не могло быть и речи; нельзя было терять ни минуты, так как преследователи гнались за ними по пятам. Да и что стоит настоящим морякам взобраться на сколоченную наспех ограду! И вот приятели, разгоряченные быстрым бегом и вином, уже перескочили барьер, понеслись дальше с громкими криками и пьяным гиканьем и вскоре затерялись в лабиринте зловонных извилистых улиц.

Конечно, если бы они не были пьяны до бесчувствия, сознание безвыходности их положения парализовало бы их, а они и без того стояли нетвердо на ногах. Стало холодно, моросил дождь. Камни, вывороченные из мостовой, валялись где попало среди высокой, цеплявшейся за ноги, буйно разросшейся травы. Обломки домов завалили улицы. Кругом стоял удушливый смрад, и при мертвенно бледном свете, излучаемом мглистым тлетворным воздухом даже в самую темную ночь, можно было увидеть то там, то здесь в переулках и в жилищах с выбитыми стеклами разлагающийся труп ночного разбойника, настигнутого рукою чумы в ту самую минуту, когда он грабил.

Но даже эти препятствия и картины ужасов не могли остановить людей от природы храбрых, отвага которых была к тому же подогрета элем, -- и вот уже наши матросы, пошатываясь и стараясь, насколько позволял им алкоголь, не уклоняться в сторону, спешили прямо в пасть смерти. Вперед, все вперед бежал угрюмый Дылда, пробуждая многоголосое тоскливое эхо своим диким гиканьем, напоминавшим военный клич индейцев; вперед, все вперед спешил за ним вразвалку коротышка Хью Смоленый, вцепившись в куртку своего более предприимчивого товарища, и из глубины его могучих легких вырывались басовые ноты, подобные бычьему реву, еще более оглушительные, чем музыкальные упражнения Дылды.

Теперь приятели, видимо, добрались до главного оплота чумы. С каждым шагом воздух становился все зловоннее и удушливее, а переулки все более узкими и извилистыми. С прогнивших крыш поминутно срывались громадные камни и балки, а грохот, с каким они падали, свидетельствовал о высоте окружающих зданий; с трудом прокладывая себе дорогу среди развалин, матросы нередко задевали рукой скелет или разлагающийся труп.

Вдруг, когда они наткнулись на подъезд какого-то высокого мрачного дома и у разгоряченного Дылды вырвался особенно пронзительный вопль, в глубине здания раздался взрыв неистового сатанинского гогота и визга. Ничуть не испугавшись этого гогота, от которого в такое время да еще в таком месте у людей не столь отчаянных кровь застыла бы в жилах, пьяницы очертя голову ринулись к двери, с градом проклятий распахнули ее настежь и очутились в самом пекле.

Комната, куда они попали, была лавкой гробовщика; через открытый люк в углу у входа был виден ряд винных погребов, а доносившееся оттуда хлопанье пробок свидетельствовало о том, что там хранятся изрядные запасы спиртного.

Посредине лавки стоял стол, в центре которого возвышалась огромная кадка, наполненная, по всей вероятности, пуншем. Весь стол был заставлен бутылками со всевозможными винами; попеременно стояли баклаги, фляги, кувшины самого разнообразного вида с другими спиртными напитками. Вокруг стола на козлах для гробов разместились компания из шести человек. Попробуем описать каждого из них.

Против двери, на возвышении, сидел, по-видимому, распорядитель пира. Он был высок и очень тощ. Дылда даже растерялся, увидев человека, еще более тощего, чем он сам. Председатель был

желт, как шафран, но черты его лица не привлекли бы внимания и о них не стоило бы упоминать, если бы не одно обстоятельство: лоб у него был до того безобразный и неестественно высокий, что казалось, будто поверх головы надето нечто вроде колпака или кивера в виде огромного нароста. Стянутый, точно кисет, ввалившийся рот улыбался с какой-то дьявольской приветливостью, и глаза от действия винных паров казались остекленевшими, как, впрочем, у всех сидящих за столом. На этом джентльмене была богато расшитая мантия из черного бархата, в которую он небрежно завернулся с головы до ног, словно в испанский плащ. Голова его была утыкана черными перьями, какими обычно украшают катафалки, и он непринужденно, с франтоватым видом, покачивал этим плюмажем из стороны в сторону; в правой руке распорядитель сжимал берцовую кость, которой, видимо, только что потехи ради огрел одного из своих собутыльников.

Напротив, спиной к двери, восседала леди, наружности ни чуть не менее ошеломляющей. Будучи почти одного роста с вышеописанным джентльменом, она, однако, не могла пожаловаться на худобу -- ее явно мучила водянка, к тому же в последней стадии; фигура этой леди больше всего походила на огромную бочку из-под октябрьского пива, с пробитым верхом, стоявшую в углу. Ее округлое, как шар, красное и распухшее лицо отличалось той же странностью, что и лицо председателя, -- вернее сказать, в нем тоже не было ничего примечательного, кроме одной черты, которая настолько бросалась в глаза, что не упомянуть о ней невозможно. Наблюдательный Хью Смоленький тут же заметил, что каждый из присутствующих отмечен какой-нибудь чудовищной особенностью, словно он взял себе монополию на одну часть физиономии. У леди, о которой мы ведем речь, выделялся рот. Он протянулся зияющей щелью от правого до левого уха, и подвески ее серег то и дело проваливались в эту щель. Однако бедняжка изо всех сил старалась держать рот закрытым -- уж очень ей хотелось сохранять тот величественный вид, который придавал ей тесный, туго накрахмаленный, тщательно отутюженный саван, стянутый у шеи батистовым гофрированным рюшем.

По правую руку от нее сидела миниатюрная молодая особа, которой она, видимо, покровительствовала. Дрожь исхудалых пальцев, синева губ, легкий лихорадочный румянец, пятнами окрасивший свинцово-серое лицо этого нежного создания, -- все говорило о том, что у нее скоротечная чахотка. В манерах молодой леди чувствовался подлинный *haut ton* (светский тон [фр.]); с непринужденной грацией носила она свободную, очень элегантную погребальную сорочку из тончайшего батиста; волосы кольцами ниспадали на шею; на губах играла томная улыбка; но ее нос, необычайно длинный и тонкий, подвижный, похожий на хобот, весь в угрях, закрывал нижнюю губу и, несмотря на изящество, с каким она перебрасывала его кончиком языка туда и сюда, придавал ее лицу какое-то непристойное выражение.

По другую сторону стола, налево то леди, страдавшей водянкой, расположился отекший, страдающий астмой и подагрой старичок; его щеки лежали на плечах, как два бурдюка, полных красного портвейна. Руки он скрестил на груди, свою забинтованную ногу положил на стол и, по всей видимости, чувствовал себя очень важной персоной. Старичок явно гордился каждым дюймоном своей наружности, но больше всего он наслаждался тем вниманием, какое вызывал его пестрый сюртук. Еще бы -- сюртук этот, наверное, стоил ему больших денег и сидел на нем превосходно; скроен он был из причудливо расшитого шелкового шарфа, какими обвивают щиты с пышными гербами, которые в Англии и в других странах вывешиваются на домах старой аристократии.

Рядом с ним, по правую руку от председателя, матросы увидели джентльмена в длинных белых чулках и бязевых кальсонах. Он уморительно дергался всем телом в приступе "трясучки", как определил про себя Хью Смоленый. Его гладко выбритые щеки и подбородок стягивала муслиновая повязка, запястья ему также связали, и таким образом он был лишен возможности злоупотреблять горячительными напитками, в изобилии стоявшими на столе, -- предосторожность, как подумал Дылда, необходимая, принимая во внимание бессмысленное выражение лица этого закоренелого пьянчуги, который, наверное, и забыл, когда был трезв. Но его гигантские уши уж никак не удалось бы связать, и они тянулись вверх, судорожно настораживаясь всякий раз, когда хлопала пробка.

Лицом к нему возлежал шестой и последний собутыльник -- до странности одеревенелый джентльмен; он был разбит параличом и, честно говоря, должен был прескверно себя чувствовать в своем неудобном, хоть и весьма оригинальном туалете. Одет он был в новешенький нарядный гроб. Поперечная стенка давила на голову этого облаченного в гроб человека, нависая подобно капюшону, что придавало его лицу неопишимо забавный вид. По бокам гроба были сделаны отверстия для рук, скорее ради удобства, чем ради красоты. При всем том, наряд этот не позволял его обладателю сидеть прямо, как остальные, и, лежа под углом в сорок пять градусов, откинувшись назад к стенке, он закатывал к потолку белки своих огромных вытаращенных глаз, словно сам бесконечно изумлялся их чудовищной величине.

Перед каждым из пирующих стоял разбитый череп, заменивший ему кубок. Над столом покачивался скелет, он висел на веревке, обвязанной вокруг ноги и протянутой через кольцо в потолке. Другая нога отскакивала под прямым углом, отчего костяк при малейшем дуновении ветерка, проникавшего в комнату, дребезжал, подпрыгивал и раскачивался во все стороны. В черепе мерзостного скелета пылали угли, они освещали всю эту сцену резким мерцающим светом; между тем гробы и прочие товары похоронной конторы, наваленные высокими кучами по всему помещению и у окон, не давали ни единому лучу света прорваться на улицу.

При виде столь необычайного общества и еще более необычайных одеяний наши матросы повели себя далеко не так пристойно, как можно было ожидать. Дылда, прислонившись к стене, у который стоял, широко разинул рот, -- нижняя губа у него отвисла еще больше обычного, а глаза чуть не вылезли из орбит; а Хью, присев на корточки так, что нос его оказался на одном уровне со столом, и хлопая себя по коленям, разразился неудержимым и совершенно неприличным смехом.

Все же верзила-председатель не счел оскорблением такую вопиющую неучтивость: он милостиво улыбнулся незванным гостям и, величаво качнув головой, утыканной траурными перьями, поднялся, взял матросов за руки и подвел к козлам, которые услужливо притащил кто-то из пирующих. Дылда без малейшего сопротивления сел, куда ему было указано, между тем как галантный Хью придвинул свои козлы поближе к миниатюрной чахоточной леди в погребальной сорочке и весело плюхнулся рядом с нею; плеснув в череп красного вина, он осушил его за более близкое знакомство. Но возможностью такого знакомства был крайне рассержен одеревенелый джентльмен в гробу, и это привело бы к весьма неприятным последствиям, если бы председатель, постучав по столу своим жезлом, не отвлек внимания присутствующих следующей речью:

-- Мы считаем своим долгом, ввиду счастливого случая...

-- Стоп! -- с серьезным видом прервал его Дылда. -- Погоди, говорю, минутку! Скажи нам сперва, кто вы такие, дьявол вас заведи, и что вы тут делаете, разрядившись как черти на шабаш? Почему хлебаете славное вино и пиво, которое гробовщик Уилл Уимбл -- честный мой дружок, мы немало с ним плавали, -- припас себе на зиму?

Выслушав столь непозволительно наглую речь, чудная компания привстала и ответила таким же неистовым гогомом, какой незадолго перед тем привлек внимание наших моряков.

Первым овладел собой председатель и, обратившись к Дылде, заговорил с еще большим достоинством:

-- Мы готовы любезно удовлетворить любопытство наших именитых, хоть и непрошенных гостей и ответить на любой разумный вопрос. Так знайте: я государь этих владений и правлю здесь единодержавно под именем король Чума Первый.

Эти покои, что вы по невежеству сочли лавкой Уилла Уимбла, гробовщика, человека нам не известного, чье плебейское имя до сей ночи не оскверняло наших королевских ушей, это -- тронная зала нашего дворца, которая служит нам для совещаний с сановниками, а также для других священных и возвышенных целей. Благородная леди, что сидит напротив, -- королева Чума, ее величество наша супруга, а прочие высокие особы, которых вы здесь видите, -- члены нашего августейшего семейства. Все они королевской крови и носят соответствующие звания: его светлость эрцгерцог Чума-Мор, ее светлость герцогиня Чума Бубонная, его светлость герцог Чума-Смерч и ее высочество Чумная Язва.

А на ваш вопрос, -- продолжал председатель, -- по какому поводу мы собрались здесь, мы позволим себе ответить, что это касается исключительно наших личных королевских интересов и ни для кого, кроме нас, значения не имеет. Однако, исходя из тех прав, на кои вы, как наши гости и чужеземцы, имеете основание претендовать, объясняем: мы собрались здесь нынче ночью для того, чтобы путем глубоких изысканий и самых тщательных исследований проверить, испробовать и до конца распознать неуловимый дух, непостижимые качества, природу и бесценные вкусовые свойства вина, эля и иных крепких напитков нашей прекрасной столицы. Делаем мы это не столько ради личного нашего преуспеяния, сколько ради подлинного благоденствия той неземной владычицы, которая царит над всеми, владения коей безграничны, -- имя же ей -- Смерть!

-- Имя же ей Деви Джонс! -- крикнул Хью Смоленький, наполняя вином два черепа -- для себя и для своей соседки.

-- Нечестивый раб! -- воскликнул председатель, окидывая взглядом милейшего Хью. -- Нечестивый жалкий ублюдок! Мы заявили тебе, что из уважения к правам, кои мы не склонны нарушать, даже имея дело с такой гнусной личностью, как ты, мы снизошли до ответа на оскорбительные и дурацкие расспросы. Однако за то, что вы так кощунственно вторглись сюда на наш совет, мы почитаем своим долгом наложить штраф на тебя и твоего дружка: вы должны, стоя на коленях, осушить за процветание нашего королевства по галлону рома, смешанного с патокой, после чего можете продолжать свой путь или остаться и разделить с нами все привилегии нашего общества, как это вам самим заблагорассудится.

-- Никак невозможно, -- отозвался Дылда. Достоинство, с которым держался король Чума Первый, очевидно, внушило Дылде некоторое почтение; он поднялся и, опершись на стол, продолжал: -- С дозволения вашего величества, невозможное это дело -- спустить в трюм хоть

четверть того пойла, о котором ваше величество сейчас изволило упомянуть. Не считая жидкости, принятой на борт утром в качестве балласта, не говоря об эле и других крепких напитках, принятых нынешним вечером в разных портах, мой трюм доверху полон пивом, которым я нагружился, расплатившись за него сполна в трактире под вывеской "Веселый матрос". Так вот, прошу ваше величество довольствоваться моими добрыми намерениями, ибо я никоим образом не могу вместить в себя еще хоть каплю чего-либо, а тем более этой мерзкой трюмной водички, которая зовется ромом с патокой.

-- Заткни глотку! -- прервал его Хью Смоленый, ошарашенный столь длинной речью товарища, а еще больше его отказом. -- Заткни глотку, пустомеля! Я скажу -- а я зря болтать не стану: в моем трюме еще найдется место, хоть ты, видать, и перебрал лишнее. А что до твоей доли груза, так я найду и для нее место, нечего поднимать бурю!..

-- Это не отвечает смыслу приговора, -- остановил его председатель. -- Наше решение как мидийский закон: оно не может быть ни изменено, ни отменено. Условия должны быть выполнены неукоснительно и без малейшего промедления. А не выполните, прикажем привязать вам ноги к шее и, как бунтовщиков, утопить вон в том бочонке октябрьского пива!

-- Таков приговор! Правильный и справедливый! Прекрасное решение! Самое достойное, самое честное и праведное! -- хором завопило чумное семейство.

На лбу у короля собрались бесчисленные складки; старичок с подагрой запыхтел, как кузнечные мехи; молодая особа в погребальной сорочке вертела носом во все стороны; леди в саване ловила ртом воздух, словно издыхающая рыба; а тот, что был облачен в гроб, лежал, как колода, и тарашил свои чудовищные глаза.

-- Хи-хи-хи! -- посмеивался Хью Смоленый, словно не замечая общего волнения. -- Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Я же говорил, когда мистер король стучал своей свайкой, что такому крепкому, малонагруженному судну, как мое, ничего не стоит опрокинуть в себя лишних два галлона рома с патокой. Но пить за здоровье сатаны (да простит ему Господь!), стоя на коленях перед этим паршивым величеством, когда я уверен, что он еще больший грешник, чем я, и всего-навсего Тим Херлигерли, комедиант, -- нет, дудки! По моим понятиям это дело другого сорта и совсем не по моим мозгам.

Ему не дали кончить. Едва он упомянул имя Тима Херлигерли, все разом вскочили.

-- Измена! -- закричал его величество король Чума Первый.

-- Измена! -- проскрипел человек с подагрой.

-- Измена! -- взвизгнула ее высочество Чумная Язва.

-- Измена! -- прошамкал человек со связанной челюстью.

-- Измена! -- прорычал человек, облаченный в гроб.

-- Измена! Измена! -- завопила ее величество Рот-щелью и, ухватив злополучного Хью Смоленого сзади за штаны, высоко подняла его и без всяких церемоний бросила в огромный открытый бочонок с его излюбленным октябрьским пивом. Несколько секунд он то погружался на дно, то всплывал, словно яблоко в чаше с пуншем, пока не исчез в водовороте пенистого пива, которое забурлило еще больше от судорожных усилий Хью.

Видя поражение своего товарища, в дело вмешался долговязый матрос. Столкнув короля Чуму в открытый люк, отважный Дылда с проклятием захлопнул за ним дверцу и вышел на середину комнаты. Он сорвал качавшийся над столом скелет и принялся молотить им по головам пирующих, да с таким усердием и добросовестностью, что с последней вспышкой гаснущих углей вышиб дух из подагрического старикашки. Навалившись потом изо всей силы на роковой бочонок с октябрьским пивом и Хью Смоленым, он тут же опрокинул его. Из бочонка хлынуло пиво потоком, таким бурным и стремительным, что сразу залило всю лавку от стенки до стенки. Уставленный напитками стол перевернулся, козлы для гробов поплыли ножками вверх, кадка с пуншем скатилась в камин, и обе леди закатили истерику. Оплетенные соломой фляги насакивали на портерные бутылки; кубки, кружки, стаканы -- все смешалось в общей ((((((схватке [фр.])). Человек-трясучка захлебнулся тут же, одеревенелый джентльмен выплыл из своего гроба, а победоносный Дылда, обхватив за талию могучую леди в саване, ринулся с нею на улицу, беря прямой курс на "Независимую"; следом за ним, чихнув три или четыре раза, пыхтя и задыхаясь, под легкими парусами неся Хью Смоленый, прихватив с собою ее высочество Чумную Язву.

Между 1833 и 1835

Черт на колокольне

Перевод В.Рогова

"Который час?"

Известное выражение

Решительно всем известно, что прекраснейшим местом в мире является - или, увы, являлся - голландский городок Школькофремен. Но ввиду того, что он расположен на значительном расстоянии от больших дорог, в захолустной местности, быть может, лишь весьма немногим из моих читателей довелось в нем побывать. Поэтому ради тех, кто в нем не побывал, будет вполне уместно сообщить о нем некоторые сведения. Это тем более необходимо, что, надеясь пробудить сочувствие публики к его жителям, я намереваюсь поведать здесь историю бедственных событий, недавно происшедших в его пределах. Никто из знающих меня не усомнится в том, что долг, мною на себя добровольно возложенный, будет выполнен в полную меру моих способностей, с тем строгим беспристрастием, скрупулезным изучением фактов и тщательным сличением источников, коими ни в коей мере не должен пренебрегать тот, кто претендует на звание историка.

Пользуясь помощью летописей купно с надписями и древними монетами, я могу утверждать о Школькофрене, что он со своего основания находился совершенно в таком же состоянии, в каком пребывает и ныне. Однако с сожалением замечу, что о дате его основания я могу говорить лишь с той неопределенной определенностью, с какой математики иногда принуждены мириться в некоторых алгебраических формулах. Поэтому могу сказать одно: городок стар, как все на земле, и существует с сотворения мира.

С прискорбием сознаюсь, что происхождение названия "Школькофремен" мне также неведомо. Среди множества мнений по этому щекотливому вопросу - из коих некоторые

остроумны, некоторые учены, а некоторые в достаточной мере им противоположны - не могут выбрать ни одного, которое следовало бы считать удовлетворительным. Быть может, гипотеза Шнапстринкена, почти совпадающая с гипотезой Тугодумма, при известных оговорках заслуживает предпочтения. Она гласит: "Школько" - читай - "горький" - горячий, "фремен" - непр.- вм. "кремень"; видимо, идиом. для "молния". Такое происхождение этого названия, по правде говоря, поддерживается также некоторыми следами электрического флюида, еще замечаемыми на острие шпиля ратуши. Однако я не желаю компрометировать себя, высказывая мнения о столь важной теме, и должен отослать интересующегося читателя к труду "Oratiunculoe de Rebus Proeter-Veteris" ["Небольшие речи о давнем прошлом" (лат.)] сочинения Брюкенгромма. Также смотри Вандерстервен, "De Derivationibus" ["Об образованиях" (лат.)] (стр. 27-5010, фолио, готич. изд., красный и черный шрифт, колонтитул и без арабской пагинации), где можно также ознакомиться с заметками на полях Сорундвздора и комментариями Тшафкенхрюкена.

Несмотря на тьму, которой покрыты дата основания Школькофремена и происхождение его названия, не может быть сомнения, как я уже указывал выше, что он всегда выглядел совершенно так же, как и в нашу эпоху. Старейший из жителей не может вспомнить даже малейшего изменения в облике какой-либо его части; да и самое допущение подобной возможности сочли бы оскорбительным. Городок расположен в долине, имеющей форму правильного круга, - около четверти мили в окружности, - и со всех сторон его обступают пологие холмы, перейти которые еще никто не отважился. При этом они ссылаются на вполне здравую причину: они не верят, что по ту сторону холмов хоть что-нибудь есть.

По краю долины (совершенно ровной и полностью вымощенной кафелем) расположены, примыкая друг к другу, шестьдесят маленьких домиков. Домики эти, поскольку задом они обращены к холмам, фасадами выходят к центру долины, находящемуся ровно в шестидесяти ярдах от входа в каждый дом. Перед каждым домиком маленький садик, а в нем - круговая дорожка, солнечные часы и двадцать четыре кочана капусты. Все здания так схожи между собой, что никак невозможно отличить одно от другого. Ввиду большой древности архитектура у них довольно странная, но тем не менее она весьма живописна. Выстроены они из огнеупорных кирпичиков - красных, с черными концами, так что стены похожи на большие шахматные доски. Коньки крыш обращены к центру площади; вторые этажи далеко выступают над первыми. Окна узкие и глубокие, с маленькими стеклами и частым переплетом. Крыши покрыты черепицей с высокими гребнями. Деревянные части - темного цвета; и хоть на них много резьбы, но разнообразия в ее рисунке мало, ибо с незапамятных времен резчики Школькофремена умели изображать только два предмета - часы и капустный кочан. Но вырезают они их отлично, и притом о поразительной изобретательностью - везде, где только хватит места для резца.

Жилища так же сходны между собой внутри, как и снаружи, и мебель расставлена по одному плану. Полы покрыты квадратиками кафеля; стулья и столы с тонкими изогнутыми ножками сделаны из дерева, похожего на черное. Полки над каминами высокие и черные, и на них имеются не только изображения часов и кочанов, но и настоящие часы, которые помещаются на самой середине полок; часы необычайно громко тикают; по концам полок, в качестве пристяжных, стоят цветочные горшки; в каждом горшке по капустному кочану. Между горшками и часами стоят толстопузые фарфоровые человечки; в животе у каждого из них большое круглое отверстие, в котором виден часовой циферблат.

Камины большие и глубокие, со стоячками самого фантастического вида. Над вечно горящим огнем - громадный котел, полный кислой капусты и свинины, за которым всегда наблюдает

хозяйка дома. Это маленькая толстая старушка, голубоглазая и краснолицая, в огромном, похожем на сахарную голову, чепце, украшенном лиловыми и желтыми лентами. На ней оранжевое платье из полушерсти, очень широкое сзади и очень короткое в талии, да и вообще не длинное, ибо доходит только до икр. Икры у нее толстоватые, щиколотки - тоже, но обтягивают их нарядные зеленые чулки. Ее туфли - из розовой кожи, с пышными пучками желтых лент, которым придана форма капустных кочанов. В левой руке у нее тяжелые голландские часы, в правой - половник для помешивания свинины с капустой. Рядом с ней стоит жирная полосатая кошка, к хвосту которой мальчишки потехи ради привязали позолоченные игрушечные часы с репетиром.

Сами мальчишки - их трое - в саду присматривают за свиньей. Все они ростом в два фута. На них треуголки, доходящие до бедер лиловые жилеты, короткие панталоны из оленьей кожи, красные шерстяные чулки, тяжелые башмаки с большими серебряными пряжками и длинные сюртучки с крупными перламутровыми пуговицами. У каждого в зубах трубка, а в правой руке - маленькие пузатые часы. Затянутся они - и посмотрят на часы, посмотрят - и затянутся. Дородная ленивая свинья то подбирает опавшие капустные листья, то пытается лягнуть позолоченные часы с репетиром, которые мальчишки привязали к ее хвосту, дабы она была такой же красивой, как и кошка.

У самой парадной двери, в обитых кожей креслах с высокой спинкой и такими же изогнутыми ножками, как у столов, сидит сам хозяин дома. Это весьма пухлый старичок с большими круглыми глазами и огромным двойным подбородком. Одет он так же, как и дети, - и я могу об этом более не говорить. Вся разница в том, что трубка у него несколько больше и дым он пускает обильнее. Как и у мальчиков, у него есть часы, но он их носит в кармане. Говоря по правде, ему надо следить кое за чем поважнее часов, - а за чем, я скоро объясню. Он сидит, положив правую ногу на левое колено, облик его строг, и, по крайней мере, один его глаз всегда прикован к некоей примечательной точке в центре долины.

Точка эта находится на башне городской ратуши. Советники ратуши - все очень маленькие, кругленькие, масляные и смышленные человечки с большими, как блюда, глазами и толстыми двойными подбородками, а сюртуки у них гораздо длиннее и пряжки на башмаках гораздо больше, нежели у обитателей Школькофремена. За время моего пребывания в городе у них состоялось несколько особых совещаний, и они приняли следующие три важных решения:

"Что изменять добрый старый порядок жизни нехорошо";

"Что вне Школькофремена нет ничего даже сносно" и

"Что мы будем держаться наших часов и нашей капусты".

Над залом ратуши высится башня, а на башне есть колокольня, на которой находятся и находились с времен незапамятных гордость и диво этого города - главные часы Школькофремена. Это и есть точка, к которой обращены взоры старичков, сидящих в кожаных креслах.

У часов семь циферблатов - по одному на каждую из сторон колокольни, - так что их легко увидеть отовсюду. Циферблаты большие, белые, а стрелки тяжелые, черные. Есть специальный смотритель, единственной обязанностью которого является надзор за часами; но эта обязанность - совершеннейший вид синекуры, ибо со школькофременскими часами никогда еще ничего не случилось. До недавнего времени даже предположение об этом считалось ересью. В самые

древние времена, о каких только есть упоминания в архивах, большой колокол регулярно отбивал время. Да, впрочем, и все другие часы в городе тоже. Нигде так не следили за точным временем, как в этом городе. Когда большой колокол находил нужным сказать: "Двенадцать часов!" - все его верные последователи одновременно разверзали глотки и откликались, как само эхо. Короче говоря, добрые бюргеры любили кислую капусту, но своими часами они гордились.

Всех, чья должность является синекурой, в той или иной степени уважают, а так как у школькофременского смотрителя колокольни совершеннейший вид синекуры, то и уважают его больше, нежели кого-нибудь на свете. Он главный городской сановник, и даже свиньи взирают на него снизу вверх с глубоким почтением. Фалды его сюртука гораздо длиннее, трубка, пряжки на башмаках, глаза и живот гораздо больше, нежели у других городских старцев. Что до его подбородка, то он не только двойной, а даже тройной.

Вот я и описал счастливый уголок Школькофремен. Какая жалость, что столь прекрасная картина должна была перемениться на обратную!

Давно уж мудрейшие обитатели его повторяли: "Из-за холмов добра не жди", - и в этих словах оказалось нечто пророческое. Два дня назад, когда до полудня оставалось пять минут, на вершине холмов с восточной стороны появился предмет весьма необычного вида. Такое происшествие, конечно, привлекло всеобщее внимание, и каждый старичок, сидевший в кожаных креслах, смятенно устремил один глаз на это явление, не отрывая второго глаза от башенных часов.

Когда до полудня оставалось всего три минуты, любопытный предмет на горизонте оказался миниатюрным молодым человеком чужеземного вида. Он с необычайной быстротой спускался с холмов, так что скоро все могли подробно рассмотреть его. Воистину это был самый жеманный фронт из всех, каких когда-либо видели в Школькофремене. Цвет его лица напоминал темный нюхательный табак, у него был длинный крючковатый нос, глаза - как горошины, широкий рот и прекрасные зубы, которыми он, казалось, стремился перед всеми похвастаться, улыбаясь до ушей; бакенбарды и усы скрывали остальную часть его лица. Он был без шляпы, с аккуратными папильотками в волосах. На нем был плотно облегающий фрак (из заднего кармана которого высовывался длиннейший угол белого платка), черные кашемировые панталоны до колен, черные чулки и тупоносые черные лакированные туфли с громадными пучками черных атласных лент вместо бантов. К одному боку он прижимал локтем громадную шляпу, а к другому - скрипку, почти в пять раз больше него самого. В левой руке он держал золотую табакерку, из которой, сбегая с прискоком с холма и выделявая самые фантастические па, в то же время непрерывно брал табак и нюхал его с видом величайшего самодовольства. Вот это, доложу я вам, было зрелище для честных бюргеров Школькофремена!

Проще говоря, у этого малого, несмотря на его ухмылку, лицо было дерзкое и зловещее; и когда он, выделявая курбеты, влетел в городок, странные, словно обрубленные носки его туфель вызвали немалое подозрение; и многие бюргеры, видевшие его в тот день, согласились бы даже пожертвовать малой толикой, лишь бы заглянуть под белый батистовый платок, столь досадно свисавший из кармана его фрака. Но главным образом этот наглого вида фронтик возбудил праведное негодование тем, что, откалывая тут фанданго, там джигу, казалось, не имел ни малейшего понятия о необходимости соблюдать в танце правильный счет.

Добрые горожане, впрочем, и глаз-то как следует открыть не успели, когда этот негодяй - до полудня оставалось всего полминуты-очутился в самой их гуще; тут "шассе", там "балансе", а

потом, сделав пируэт и па-де-зефир, вспорхнул прямо на башню, где пораженный смотритель сидел и курил, исполненный достоинства и отчаяния. А человек тут же схватил его за нос и дернул как следует, нахлобучил ему на голову шляпу, закрыв ему глаза и рот, а потом замахнулся большой скрипкой и стал бить его так долго и старательно, что при соприкосновении столь попой скрипки со столь толстым зрителем можно было подумать, будто целый полк барабанщиков выбивает сатанинскую дробь на башне школькофременской ратуши.

Кто знает, к какому отчаянному возмездию побудило бы жителей это бесчестное нападение, если бы не одно важное обстоятельство: до полудня оставалось только полсекунды. Колокол должен был вот-вот ударить, а внимательное наблюдение за своими часами было абсолютной и насущной необходимостью. Однако было очевидно, что в тот самый миг пришелец проделывал с часами что-то неподобающее. Но часы забили, и ни у кого не было времени следить за его действиями, ибо всем надо было считать удары колокола.

- Раз! - сказали часы.

- Расс! - отозвался каждый маленький старичок с каждого обитого кожей кресла в Школькофремене. "Расс!" - сказали его часы; "расс!" - сказали часы его супруги, и "расс!" - сказали часы мальчиков и позолоченные часики с репетиром на хвостах у кошки и у свиньи.

- Два! - продолжал большой колокол; и

- Тфа! - повторили все за ним.

- Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! - сказал колокол.

- Три! Тшестире! Пиать! Шшесть! Зем! Фосем! Тефять! Тесять! - ответили остальные.

- Одиннадцать! - сказал большой.

- Отиннатсать! - подтвердили маленькие.

- Двенадцать! - сказал колокол.

- Тфенатсать! - согласились все, удовлетворенно понизив голос.

- Унд тфенатсать тшасофф и есть! - сказали все старички, поднимая часы.

Но большой колокол еще с ними не покончил.

- Тринадцать! - сказал он.

- Дер Тейфель! - ахнули старички, бледнея, роняя трубки в снимая правые ноги с левых колен.

- Дер Тейфель! - стонали они.- Дряннатсать! Дряннатсать! Майн Готт, сейтшас, сейтшас дряннатсать тшасофф!

К чему пытаться описать последовавшую ужасную сцену? Всем Школькофременом овладело прискорбное смятение.

- Што с моим шифотом! - возопили все мальчики.- Я целый тшас колотаю!

- Што с моей капустой? - визжали все хозяйки.- Она за тшас вся расфарилась!

- Што с моей трупкой? - бранились все старички.- Кром в молния! Она целый тшас, как покасла! - И в гневе они снова набили трубки и, откинувшись на спинки кресел, запыхтели так стремительно и свирепо, что вся долина мгновенно окуталась непроницаемым дымом.

Тем временем все капустные кочаны покраснели, и казалось, сам нечистый вселился во все, имеющее вид часов. Часы, вырезанные на мебели, заплясали, точно бесноватые; часы на каминных полках едва сдерживали ярость и не переставали отбивать тринадцать часов, а маятники так дрыгались и дергались, что страшно было смотреть. Но еще хуже то, что ни кошки, ни свиньи не могли больше мириться с поведением часиков, привязанных к их хвостам, и выражали свое возмущение тем, что метались, царапались, повсюду совали рыла, визжали и верещали, мяукали и хрюкали, кидались людям в лицо и забирались под юбки - словом, устроили самый омерзительный гомон и смятение, какие только может вообразить здравомыслящий человек. А в довершение всех зол негодный маленький шалопай на колокольне, по-видимому, старался вовсю. Время от времени мерзавца можно было увидеть сквозь клубы дыма. Он сидел в башне на упавшем навзничь зрителе. В зубах злодей держал веревку колокола, которую дергал, мотая головой, и при этом поднимал такой шум, что у меня до сих пор в ушах звенит, как вспомню. На коленях у него лежала скрипка, которую он скреб обеими руками, немилосердно фальшивя, делая вид, бездельник, будто играет "Джуди О'Фланнаган и Пэдди О'Рафферти".

При столь горестном положении вещей я с отвращением покинул этот город и теперь зываю о помощи ко всем любителям точного времени и кислой капусты. Направимся туда в боевом порядке и восстановим в Школькофремене былой уклад жизни, изгнав этого малого с колокольни.

Вильям Вильсон

Перевод Р.Облонской

"Что скажет совесть,

Злой призрак да моем пути?"

Чемберлен. Фаронида

Позвольте мне на сей раз назваться Вильямом Вильсоном. Нет нужды пятнать своим настоящим именем чистый лист бумаги, что лежит сейчас передо мною. Имя это внушило людям слишком сильное презрение, ужас, ненависть. Ведь негодующие ветры уже разнесли по всему свету молву о неслыханном моем позоре. О, низкий из низких, всеми отринутый! Разве не потерял ты навек для всего сущего, для земных почестей, и цветов, и благородных стремлений? И разве не скрыты от тебя навек небеса бескрайней непроницаемой и мрачной завесой? Я предпочел бы, если можно, не рассказывать здесь сегодня о своей жизни в последние годы, о невыразимом моем несчастье и неслыханном злодеянии. В эту пору моей жизни, в последние эти годы я вдруг особенно преуспел в бесчестье, об истоках которого единственно и хотел здесь поведать. Негодяем человек обычно становится постепенно. С меня же вся добродетель спала в один миг, точно плащ. От сравнительно мелких прегрешений я гигантскими шагами перешел к злодеяниям, достойным Гелиогабала. Какой же случай, какое событие

виной этому недоброму превращению? Вооружись терпением, читатель, я обо всем расскажу своим чередом.

Приближается смерть, и тень ее, неизменная ее предвестница, уже пала на меня и смягчила мою душу. Переходя в долину теней, я жажду людского сочувствия, чуть было не сказал - жалости. О, если бы мне поверили, что в какой-то мере я был рабом обстоятельств, человеку не подвластных. Пусть бы в подробностях, которые я расскажу, в пустыне заблуждений они увидели крохотный оазис рока. Пусть бы они признали, - не могут они этого не признать, - что хотя соблазны, быть может, существовали и прежде, но никогда еще человека так не искушали и, конечно, никогда он не падал так низко. И уж не потому ли никогда он так тяжело не страдал? Разве я не жил как в дурном сне? И разве умираю я не жертвой ужаса, жертвой самого непостижимого, самого безумного из всех подлунных видений?

Я принадлежу к роду, который во все времена отличался пылкостью нрава и силой воображения, и уже в раннем детстве доказал, что полностью унаследовал эти черты. С годами они проявлялись все определеннее, внушая, по многим причинам, серьезную тревогу моим друзьям и принося безусловный вред мне самому. Я рос своевольным сумасбродом, рабом самых диких прихотей, игрушкой необузданных страстей. Родители мои, люди недалекие и осаждаемые теми же наследственными недугами, что и я, не способны были пресечь мои дурные наклонности. Немногие робкие и неумелые их попытки окончились совершеннейшей неудачей и, разумеется, полным моим торжеством. С тех пор слово мое стало законом для всех в доме, и в том возрасте, когда ребенка обыкновенно еще водят на помочах, я был всецело предоставлен самому себе и всегда и во всем поступал как мне заблагорассудится.

Самые ранние мои школьные воспоминания связаны с большим, несуразно построенным домом времен королевы Елизаветы, в туманном сельском уголке, где росло множество могучих шишковатых деревьев и все дома были очень старые. Почтенное и древнее селение это было местом поистине сказочно мирным и безмятежным. Вот я пишу сейчас о нем и вновь ощущаю свежесть и прохладу его тенистых аллей, вдыхаю аромат цветущего кустарника и вновь трепещу от неизъяснимого восторга, слышав глухой в низкий звон церковного колокола, что каждый час нежданно и гулко будит тишину и сумрак погруженной в дрему готической резной колокольни.

Я перебираю в памяти мельчайшие подробности школьной жизни, всего, что с ней связано, и воспоминания эти радуют меня, насколько я еще способен радоваться. Погруженному в пучину страдания, страдания, увя! слишком неподдельного, мне простятся поиски утешения, пусть слабого и мимолетного, в случайных беспорядочных подробностях. Подробности эти, хотя и весьма обыденные и даже смешные сами по себе, особенно для меня важны, ибо они связаны с той порою, когда я различил первые неясные предостережения судьбы, что позднее полностью мною завладела, с тем местом, где все это началось. Итак, позвольте мне перейти к воспоминаниям.

Дом, как я уже сказал, был старый и нескладный. Двор - обширный, окруженный со всех сторон высокой и массивной кирпичной оградой, верх которой был утыкан битым стеклом.

Эти, совсем тюремные, стены ограничивали наши владения, мы выходили за них всего трижды в неделю - по субботам после полудня, когда нам разрешали выйти всем вместе в сопровождении двух наставников на недолгую прогулку по соседним полям, и дважды по воскресеньям, когда нас, так же строем, водили к утренней и вечерней службе в сельскую

церковь. Священником в этой церкви был директор нашего пансиона. В каком глубоком изумлении, в каком смущении пребывала моя душа, когда с нашей далекой скамьи на хорах я смотрел, как медленно и величественно он поднимается на церковную кафедру! Неужто этот почтенный проповедник, с лицом столь благолепно милостивым, в облачении столь пышном, столь торжественно ниспадающем до полу,- в парике, напудренном столь тщательно, таком большом и внушительном,- неужто это он, только что сердитый и угрюмый, в обсыпанном нюхательным табаком сюртуке, с линейкой в руках, творил суд и расправу по драконовским законам нашего заведения? О, безмерное противоречие, ужасное в своей непостижимости!

Из угла массивной ограды, насупись, глядели еще более массивные ворота. Они были усажены множеством железных болтов и увенчаны острыми железными зубьями. Какой глубокий благоговейный страх они внушали! Они всегда были на запоре, кроме тех трех наших выходов, о которых уже говорилось, и тогда в каждой скрипе их могучих петель нам чудились всевозможные тайны - мы находили великое множество поводов для сумрачных замечаний и еще более сумрачных раздумий.

Владения наши имели неправильную форму, и там было много уединенных площадок. Три-четыре самые большие предназначались для игр. Они были ровные, посыпаны крупным песком и хорошо утрамбованы. Помню, там не было ни деревьев, ни скамеек, ничего. И располагались они, разумеется, за домом. А перед домом был разбит небольшой цветник, обсаженный вечнозеленым самшитом и другим кустарником, но по этой запретной земле мы проходили только в самых редких случаях - когда впервые приезжали в школу, или навсегда ее покидали, или, быть может, когда за нами заезжали родители или друзья и мы радостно отправлялись под отчий кров на рождество или на летние вакации.

Но дом! Какое же это было причудливое старое здание! Мне он казался поистине заколдованным замком! Сколько там было всевозможных запутанных переходов, сколько самых неожиданных уголков и закоулков. Там никогда нельзя было сказать с уверенностью, на каком из двух этажей вы сейчас находитесь. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, надо было непременно подняться или спуститься по двум или трем ступенькам. Коридоров там было великое множество, и они так разветвлялись и петляли, что, сколько ни пытались мы представить себе в точности расположение комнат в нашем доме, представление это получалось не отчетливей, чем наше понятие о бесконечности. За те пять лет, что я провел там, я так и не сумел точно определить, в каком именно отдаленном уголке расположен тесный дортуар, отведенный мне и еще восемнадцати или двадцати делившим его со мной ученикам.

Классная комната была самая большая в здании и, как мне тогда казалось, во всем мире. Она была очень длинная, узкая, с гнетуще низким дубовым потолком и стрельчатыми готическими окнами. В дальнем, внушающем страх углу было отгорожено помещение футов в восемь - десять - кабинет нашего директора, преподобного доктора Брэнсби. И в отсутствие хозяина мы куда охотней погибли бы под самыми страшными пытками, чем переступили бы порог этой комнаты, отделенной от нас массивной дверью. Два другие угла были тоже отгорожены, и мы взирали на них с куда меньшим почтением, но, однако же, с благоговейным страхом. В одном пребывал наш преподаватель древних языков и литературы, в другом - учитель английского языка и математики. По всей комнате, вдоль и поперек, в беспорядке стояли многочисленные скамейки и парты - черные, ветхие, заваленные горами захватанных книг и до того изуродованные инициалами, полными именами, нелепыми фигурами и множеством иных проб перочинного ножа, что они вовсе лишились своего первоначального,

хоть сколько-нибудь пристойного вида. В одном конце комнаты стояло огромное ведро с водой, в другом весьма внушительных размеров часы.

В массивных стенах этого почтенного заведения я провел '(притом без скуки и отвращения) третье пятилетие своей жизни. Голова ребенка всегда полна; чтобы занять его или развлечь, вовсе не требуются события внешнего мира, и унылое однообразие школьного бытия было насыщено для меня куда более напряженными волнениями, чем те, какие в юности я черпал из роскоши, а в зрелые годы - из преступления. Однако в моем духовном развитии ранней поры было, по-видимому, что-то необычное, что-то *outré* [преувеличенное (франц.).] События самых ранних лет жизни редко оставляют в нашей душе столь заметный след, чтобы он сохранился и в зрелые годы. Они превращаются обычно лишь в серую дымку, в неясное беспорядочное воспоминание - смутное скопище малых радостей и невообразимых страданий. У меня же все по-иному. Должно быть, в детстве мои чувства силою не уступали чувствам взрослого человека, и в памяти моей все события запечатлелись столь же отчетливо, глубоко и прочно, как надписи на карфагенских монетах.

Однако же, с общепринятой точки зрения, как мало во всем этом такого, что стоит помнить! Утреннее пробуждение, ежевечерние призывы ко сну; зубрежка, ответы у доски; праздничные дни; прогулки; площадка для игр - стычки, забавы, обиды и козни; все это, по волшебной и давно уже забытой магии духа, в ту пору порождало множество чувств, богатый событиями мир, вселенную разнообразных переживаний, волнений самых пылких и будоражащих душу. "*O le bon temps, quo ce siecle de fer!*" [О дивная пора - железный этот век! (франц.)]

И в самом деле, пылкость, восторженность и властность моей природы вскоре выделили меня среди моих однокашников и неспешно, но с вполне естественной неуклонностью подчинили мне всех, кто был немногим старше меня летами - всех, за исключением одного. Исключением этим оказался ученик, который, хотя и не состоял со мною в родстве, звался, однако, так же, как и я,- обстоятельство само по себе мало примечательное, ибо, хотя я и происхожу из рода знатного, имя и фамилия у меня самые заурядные, каковые - так уж повелось с незапамятных времен - всегда были достоянием простонародья. Оттого в рассказе моем я назвался Вильямом Вильсоном,- вымышленное это имя очень схоже с моим настоящим. Среди тех, кто, выражаясь школьным языком, входил в "нашу компанию", единственно мой тезка позволял себе соперничать со мною в классе, в играх и стычках на площадке, позволял себе сомневаться в моих суждениях и не подчиняться моей воле - иными словами, во всем, в чем только мог, становился помехой моим деспотическим капризам. Если существует на свете крайняя, неограниченная власть,- это власть сильной личности над более податливыми натурами сверстников в годы отрочества.

Бунтарство Вильсона было для меня источником величайших огорчений; в особенности же оттого, что, хотя на людях я взял себе за правило пренебрегать им и его притязаниями, втайне я его страшился, ибо не мог не думать, что легкость, с какою он оказывался со мною вровень, означала истинное его превосходство, ибо первенство давалось мне нелегко. И однако его превосходства или хотя бы равенства не замечал никто, кроме меня; товарищи наши по странной слепоте, казалось, об этом и не подозревали. Соперничество его, противодействие и в особенности дерзкое и упрямое стремление помешать были скрыты от всех глаз и явственны для меня лишь одного. По-видимому, он равно лишен был и честолюбия, которое побуждало меня к действию, и страстного нетерпения ума, которое помогало мне выделиться. Можно было предположить, что соперничество его вызывалось единственно прихотью, желанием перечить мне, поразить меня или уязвить; хотя, случалось, я замечал со смешанным чувством

удивления, унижения и досады, что, когда он и прекословил мне, язвил и оскорблял меня, во всем этом сквозила некая совсем уж неуместная и непрошенная нежность. Странность эта проистекала, на мой взгляд, из редкостной самонадеянности, принявшей вид снисходительного покровительства и попечения.

Быть может, именно эта черта в поведении Вильсона вместе с одинаковой фамилией и с простой случайностью, по которой оба мы появились в школе в один и тот же день, навела старший класс нашего заведения на мысль, будто мы братья. Старшие ведь обыкновенно не очень-то вникают в дела младших. Я уже сказал или должен был сказать, что Вильсон не состоял с моим семейством ни в каком родстве, даже самом отдаленном. Но будь мы братья, мы бы, несомненно, должны были быть близнецами; ибо уже после того, как я покинул заведение мистера Брэнсби, я случайно узнал, что тезка мой родился девятнадцатого января 1813 года, - весьма замечательное совпадение, ибо в этот самый день появился на свет и я.

Может показаться странным, что, хотя соперничество Вильсона и присущий ему несносный дух противоречия постоянно мне досаждали, я не мог заставить себя окончательно его возненавидеть. Почти всякий день меж нами вспыхивали ссоры, и, публично вручая мне пальму первенства, он каким-то образом ухитрялся заставить меня почувствовать, что на самом деле она по праву принадлежит ему; но свойственная мне гордость и присущее ему подлинное чувство собственного достоинства способствовали тому, что мы, так сказать, "не раззнакомились", однако же нравом мы во многом были схожи, и это вызывало во мне чувство, которому, быть может, одно только необычное положение наше мешало обратиться в дружбу. Поистине нелегко определить или хотя бы описать чувства, которые я к нему питал. Они составляли пеструю и разнородную смесь: доля раздражительной враждебности, которая еще не стала ненавистью, доля уважения, большая доля почтения, немало страха и бездна тревожного любопытства. Знаток человеческой души и без дополнительных объяснений поймет, что мы с Вильсоном были поистине неразлучны.

Без сомнения, как раз причудливость наших отношений направляла все мои нападки на него (а было их множество - и открытых и завуалированных) в русло подтрунивания или грубоватых шуток (которые разыгрывались словно бы ради забавы, однако все равно больно ранили) и не давала отношениям этим вылиться в открытую враждебность. Но усилия мои отнюдь не всегда увенчивались успехом, даже если и придумано все было наиостроумнейшим образом, ибо моему тезке присуща была та спокойная непритязательная сдержанность, у которой не сыщешь ахиллесовой пяты, и поэтому, радуясь остроте своих собственных шуток, он оставлял мои совершенно без внимания. Мне удалось обнаружить у него лишь одно уязвимое место, но то было особое его свойство, вызванное, вероятно, каким-то органическим заболеванием, и воспользоваться этим мог лишь такой зашедший в тупик противник, как я: у соперника моего были, видимо, слабые голосовые связки, и он не мог говорить громко, а только еле слышным шепотом. И уж я не упускал самого ничтожного случая отыграться на его недостатке.

Вильсон находил множество случаев отплатить мне, но один из его остроумных способов досаждал мне всего более. Как ему удалось угадать, что такой пустяк может меня бесить, ума не приложу; но, однажды поняв это, он пользовался всякою возможностью мне досадить. Я всегда питал неприязнь к моей неизысканной фамилии и к чересчур заурядному, если не плебейскому имени. Они были ядом для моего слуха, и когда в день моего прибытия в пансион там появился второй Вильям Вильсон, я разозлился на него за то, что он носит это имя, и вдвойне вознегодовал на имя за то, что его носит кто-то еще, отчего его станут повторять вдвое чаще, а тот, кому оно принадлежит, постоянно будет у меня перед глазами, и поступки его,

неизбежные и привычные в повседневной школьной жизни, из-за отвратительного этого совпадения будут часто путать с моими.

Порожденная таким образом досада еще усиливалась всякий раз, когда случай явственно показывал внутреннее или внешнее сходство меж моим соперником и мною. В ту пору я еще не обнаружил того примечательного обстоятельства, что мы были с ним одних лет; но я видел, что мы одного роста, и замечал также, что мы на редкость схожи телосложением и чертами лица. К тому же я был уязвлен слухом, будто мы с ним в родстве, который распространился среди учеников старших классов. Коротко говоря, ничто не могло сильнее меня задеть (хотя я тщательно это скрывал), нежели любое упоминание о сходстве наших душ, наружности или обстоятельств. Но сказать по правде, у меня не было причин думать, что сходство это обсуждали или хотя бы замечали мои товарищи; говорили только о нашем родстве. А вот Вильсон явно замечал это во всех проявлениях, и притом столь же ревниво, как я; к тому же он оказался на редкость изобретателен на колкости и насмешки - это свидетельствовало, как я уже говорил, об его удивительной проницательности.

Его тактика состояла в том, чтобы возможно точнее подражать мне и в речах и в поступках; и здесь он достиг совершенства. Скопировать мое платье ничего не стоило; походку мою и манеру держать себя он усвоил без труда; и, несмотря на присущий ему органический недостаток, ему удавалось подражать даже моему голосу. Громко говорить он, разумеется, не мог, но интонация была та же; и сам его своеобразный шепот стал поистине моим эхом.

Какие же муки причинял мне превосходный этот портрет (ибо по справедливости его никак нельзя было назвать карикатурой), мне даже сейчас не описать. Одно только меня утешало, - что подражание это замечал единственно я сам и терпеть мне приходилось многозначительные и странно язвительные улыбки одного только моего тезки. Удовлетворенный тем, что вызвал в душе моей те самые чувства, какие желал, он, казалось, втайне радовался, что причинил мне боль, и решительно не ждал бурных аплодисментов, какие с легкостью мог принести ему его остроумно достигнутый успех. Но долгие беспокойные месяцы для меня оставались неразрешимой загадкой, как же случилось, что в пансионе никто не понял его намерений, не оценил действий, а стало быть, не глумился с ним вместе. Возможно, постепенность, с которой он подделывался под меня, мешала остальным заметить, что происходит, или - это более вероятно - своею безопасностью я был обязан искусству подражателя, который полностью пренебрег чисто внешним сходством (а только его и замечают в портретах люди туповатые), зато, к немалой моей досаде, мастерски воспроизводил дух оригинала, что видно было мне одному.

Я уже не раз упоминал об отвратительном мне покровительственном тоне, который он взял в отношении меня, и о его частом назойливом вмешательстве в мои дела. Вмешательство его нередко выражалось в непрошенных советах; при этом он не советовал прямо и открыто, но говорил намеками, обиняками. Я выслушивал эти советы с отвращением, которое год от году росло. Однако ныне, в столь далекий от той поры день, я хотел бы отдать должное моему сопернику, признать хотя бы, что ни один его совет не мог бы привести меня к тем ошибкам и глупостям, какие столь свойственны людям молодым и, казалось бы, неопытным; что нравственным чутьем, если не талантичностью натуры и жизненной умудренностью, он во всяком случае намного меня превосходил и что, если бы я не так часто отвергал его советы, сообщаемые тем многозначительным шепотом, который тогда я слишком горячо ненавидел и слишком ожесточенно презирал, я, возможно, был бы сегодня лучше, а значит, и счастливей.

Но при том, как все складывалось, под его постылым надзором я в конце концов дошел до крайней степени раздражения и день ото дня все более открыто возмущался его, как мне казалось, несносной самонадеянностью. Я уже говорил, что в первые годы в школе чувство мое к нему легко могло бы перерасти в дружбу; но в последние школьные месяцы, хотя навязчивость его, без сомнения, несколько уменьшилась, чувство мое почти в той же степени приблизилось к настоящей ненависти. Как-то раз он, мне кажется, это заметил и после того стал избегать меня или делал вид, что избегает.

Если память мне не изменяет, примерно в это же самое время мы однажды крупно поспорили, и в пылу гнева он отбросил привычную осторожность и заговорил и повел себя с несвойственной ему прямоотой - и тут я заметил (а может быть, мне почудилось) в его речи, выражении лица, во всем облике нечто такое, что сперва испугало меня, а потом живо заинтересовало, ибо в памяти моей всплыли картины младенчества, - беспорядочно теснящиеся смутные воспоминания той далекой поры, когда сама память еще не родилась. Лучше всего я передам чувство, которое угнетало меня в тот миг, если скажу, что не мог отделаться от ощущения, будто с человеком, который стоял сейчас передо мною, я был уже когда-то знаком, давным-давно, во времена бесконечно далекие. Иллюзия эта, однако, тотчас же рассеялась; и упоминаю я о ней единственно для того, чтобы обозначить день, когда я в последний раз беседовал со своим странным тезкой.

В громадном старом доме, с его бесчисленными помещениями, было несколько смежных больших комнат, где спали почти все воспитанники. Было там, однако (это неизбежно в столь неудобно построенном здании), много каморок, образованных не слишком разумно возведенными стенами и перегородками; изобретательный директор доктор Брэнсби их тоже приспособил под дортуары, хотя первоначально они предназначались под чуланы и каждый мог вместить лишь одного человека. В такой вот спальне помещался Вильсон.

Однажды ночью, в конце пятого года пребывания в пансионе и сразу после только что описанной ссоры, я дождался, когда все погрузилось в сон, встал и, с лампой в руке, узкими запутанными переходами прокрался из своей спальни в спальню соперника. Я уже давно замышлял сыграть с ним одну из тех злых и грубых шуток, какие до сих пор мне неизменно не удавались. И вот теперь я решил осуществить свой замысел и дать ему почувствовать всю меру переполнявшей меня злобы. Добравшись до его каморки, я оставил прикрытую колпаком лампу за дверью, а сам бесшумно переступил порог. Я шагнул вперед и прислушался к спокойному дыханию моего тезки. Уверившись, что он спит, я возвратился в коридор, взял лампу и с нею вновь приблизился к постели. Она была завешена плотным пологом, который, следуя своему плану, я потихоньку отодвинул, - лицо спящего залил яркий свет, и я впился в него взором. Я взглянул - и вдруг оцепенел, меня обдало холодом. Грудь моя тяжело вздымалась, колени задрожали, меня объял беспричинный и, однако, нестерпимый ужас. Я перевел дух и поднес лампу еще ближе к его лицу. Неужели это... это лицо Вильяма Вильсона? Я, конечно, видел, что это его лицо, и все же не мог этому поверить, и меня била лихорадочная дрожь. Что же в этом лице так меня поразило? Я смотрел, а в голове моей кружилась вихрь беспорядочных мыслей. Когда он бодрствовал, в суете дня, он был не такой, как сейчас, нет, конечно, не такой. То же имя! Те же черты! Тот же день прибытия в пансион! Да еще упорное и бессмысленное подражание моей походке, голосу, моим привычкам и повадкам! Неужели то, что представилось моему взору, - всего лишь следствие привычных упражнений в язвительном подражании? Охваченный ужасом, я с трепетом погасил лампу, бесшумно выскользнул из каморки и в тот же час покинул стены старого пансиона, чтобы уже никогда туда не возвращаться.

После нескольких месяцев, проведенных дома в совершенной праздности, я был определен в Итон. Короткого этого времени оказалось довольно, чтобы память о событиях, происшедших в пансионе доктора Брэнсби, потускнела, по крайней мере, я вспоминал о них с совсем иными чувствами. Все это больше не казалось таким подлинным и таким трагичным. Я уже способен был усомниться в свидетельстве своих чувств, да и вспоминал все это не часто, и всякий раз удивлялся человеческому легковерию, и с улыбкой думал о том, сколь живое воображение я унаследовал от предков. Характер жизни, которую я вел в Итоне, нисколько не способствовал тому, чтобы у меня поубавилось подобного скептицизма. Водоворот безрассудств и легкомысленных развлечений, в который я кинулся так сразу очертя голову, мгновенно смыл все, кроме пены последних часов, поглотил все серьезные, устоявшиеся впечатления, оставил в памяти лишь пустые сумасбродства прежнего моего существования.

Я не желаю, однако, описывать шаг за шагом прискорбное распутство, предаваясь которому мы бросали вызов всем законам и ускользали от строгого ока нашего колледжа. Три года безрассудств протекли без пользы, у меня лишь укоренились порочные привычки, да я еще как-то вдруг вырос и стал очень высок ростом; и вот однажды после недели бесшабашного разгула я пригласил к себе на тайную пирушку небольшую компанию самых беспутных своих приятелей. Мы собрались поздним вечером, ибо так уж у нас было заведено, чтобы попойки затягивались до утра. Вино лилось рекой, и в других, быть может более опасных, соблазнах тоже не было недостатка; так что, когда на востоке стал пробиваться хмурый рассвет, сумасбродная наша попойка была еще в самом разгаре. Отчаянно покрасневшись от карт и вина, я упрямо провозглашал тост, более обыкновенного богохульный, как вдруг внимание мое отвлекла порывисто открывшаяся дверь и встревоженный голос моего слуги. Не входя в комнату, он доложил, что какой-то человек, который очень торопится, желает говорить со мною в прихожей.

Крайне возбужденный выпитым вином, я скорее обрадовался, нежели удивился неожиданному гостю. Нетвердыми шагами я тотчас вышел в прихожую. В этом тесном помещении с низким потолком не было лампы; и сейчас сюда не проникал никакой свет, лишь серый свет утра пробивался через полукруглое окно. Едва переступив порог, я увидел юношу примерно моего роста, в белом казимириновом сюртуке такого же новомодного покроя, что и тот, какой был на мне. Только это я и заметил в полутьме, но лица гостя разглядеть не мог. Когда я вошел, он поспешно шагнул мне навстречу, порывисто и нетерпеливо схватил меня за руку и прошептал мне в самое ухо два слова: "Вильям Вильсон".

Я мигом отрезвел.

В повадке незнакомца, в том, как задрожал у меня перед глазами его поднятый палец, было что-то такое, что безмерно меня удивило, но не это взволновало меня до глубины души. Мрачное предостережение, что таилось в его своеобразном, тихом, шипящем шепоте, а более всего то, как он произнес эти несколько простых и знакомых слогов, его тон, самая интонация, всколыхнувшая в душе моей тысячи бессвязных воспоминаний из давнего прошлого, ударили меня, точно я коснулся гальванической батареи. И еще прежде, чем я пришел в себя, гостя и след простыл.

Хотя случай этот сильно подействовал на мое расстроенное воображение, однако же впечатление от него быстро рассеялось. Правда, первые несколько недель я всерьез наводил справки либо предавался мрачным раздумьям. Я не пытался утаить от себя, что это все та же личность, которая столь упорно мешалась в мои дела и допекала меня своими вкрадчивыми

советами. Но кто такой этот Вильсон? Откуда он взялся? Какую преследовал цель? Ни на один вопрос я ответа не нашел, узнал лишь, что в вечер того дня, когда я скрылся из заведения доктора Брэнсби, он тоже оттуда уехал, ибо дома у него случилось какое-то несчастье. А вскорости я совсем перестал о нем думать, ибо мое внимание поглотил предполагаемый отъезд в Оксфорд. Туда я скоро и в самом деле отправился, а нерасчетливое тщеславие моих родителей снабдило меня таким гардеробом и годовым содержанием, что я мог купаться в роскоши, столь уже дорогой моему сердцу, - соперничать в расточительстве с высокомернейшими наследниками самых богатых и знатных семейств Великобритании.

Теперь я мог грешить, не зная удержу, необузданно предаваться пороку, и пылкий нрав мой выиграл с удвоенной силой, - с презрением отбросив все приличия, я кинулся в омут разгула. Но нелепо было бы рассказывать здесь в подробностях обо всех моих сумасбродствах. Довольно будет сказать, что я всех превзошел в мотовстве и изобрел множество новых безумств, которые составили немалое дополнение к длинному списку пороков, каковыми славились питомцы этого по всей Европе известного своей распущенностью университета.

Вы с трудом поверите, что здесь я пал столь низко, что свел знакомство с профессиональными игроками, перенял у них самые наиподлейшие приемы и, преуспев в этой презренной науке, стал пользоваться ею как источником увеличения и без того огромного моего дохода за счет доверчивых собутыльников. И, однако же, это правда. Преступление мое против всего, что в человеке мужественно и благородно, было слишком чудовищно - и, может быть, лишь поэтому оставалось безнаказанным. Что и говорить, любой, самый распутный мой сотоварищ скорее усомнился бы в явственных свидетельствах своих чувств, нежели заподозрил в подобных действиях веселого, чистосердечного, щедрого Вильяма Вильсона - самого благородного и самого великодушного студента во всем Оксфорде, чьи безрассудства (как выражались мои прихлебатели) были единственно безрассудствами юности и необузданного воображения, чьи ошибки всего лишь неподражаемая прихоть, чьи самые непростимые пороки не более как беспечное и лихое сумасбродство.

Уже два года я успешно следовал этим путем, когда в университете нашем появился молодой выскочка из новой знати, по имени Гленденнинг, - по слухам, богатый, как сам Ирод Аттик, и столь же легко получивший свое богатство. Скоро я понял, что он не блещет умом, и, разумеется, счел его подходящей для меня добычей. Я часто вовлекал его в игру и, подобно всем нечистым на руку игрокам, позволял ему выигрывать изрядные суммы, чтобы тем вернее заманить в мои сети. Основательно обдумав все до мелочей, я решил, что пора наконец привести в исполнение мой замысел, и мы встретились с ним на квартире нашего общего приятеля-студента (мистера Престона), который, надо признаться, даже и не подозревал о моем намерении. Я хотел придать всему вид самый естественный и потому заранее озаботился, чтобы предложение играть выглядело словно бы случайным и исходило от того самого человека, которого я замыслил обобрать. Не стану распространяться о мерзком этом предмете, скажу только, что в тот вечер не было упущено ни одно из гнусных ухищрений, ставших столь привычными в подобных случаях; право же, непостижимо, как еще находятся простаки, которые становятся их жертвами.

Мы засиделись до глубокой ночи, и мне наконец удалось так все подстроить, что выскочка Гленденнинг оказался единственным моим противником. Притом игра шла моя излюбленная - экарте. Все прочие, заинтересовавшись размахом нашего поединка, побросали карты и столпились вокруг нас. Гленденнинг, который в начале вечера благодаря моим уловкам сильно выпил, теперь тасовал, сдавал и играл в таком неистовом волнении, что это лишь отчасти

можно было объяснить воздействием вина. В самом непродолжительном времени он был уже моим должником на круглую сумму, и тут, отпив большой глоток портвейна, он сделал именно то, к чему я хладнокровно вел его весь вечер,- предложил удвоить наши и без того непомерные ставки. С хорошо разыгранной неохотой и только после того, как я дважды отказался и тем заставил его погорячиться, я наконец согласился, всем своим видом давая понять, что лишь уступаю его гневной настойчивости. Жертва моя повела себя в точности, как я предвидел: не прошло и часу, как долг Гленденнинга возрос вчетверо. Еще до того с лица его постепенно сходил румянец, сообщенный вином, но тут он, к моему удивлению, страшно побледнел. Я сказал: к моему удивлению. Ибо заранее с пристрастием расспросил всех, кого удалось, и все уверяли, что он безмерно богат, а проигрыш его, хоть и немалый сам по себе, не мог, на мой взгляд, серьезно его огорчить и уж того более - так потрясти. Сперва мне пришло в голову, что всему виною недавно выпитый портвейн. И скорее желая сохранить свое доброе имя, нежели из иных, менее корыстных видов, я уже хотел прекратить игру, как вдруг чьи-то слова за мою спиной и полный отчаяния возглас Гленденнинга дали мне понять, что я совершенно его разорил, да еще при обстоятельствах, которые, сделав его предметом всеобщего сочувствия, защитили бы и от самого отъявленного злодея.

Как мне теперь следовало себя вести, сказать трудно. Жалкое положение моей жертвы привело всех в растерянность и уныние; на время в комнате установилась глубокая тишина, и я чувствовал, как под множеством горящих презрением и упреком взглядов моих менее испорченных товарищей щеки мои запылали. Признаюсь даже, что, когда эта гнетущая тишина была внезапно и странно нарушена, нестерпимая тяжесть на краткий миг упала с моей души. Массивные створчатые двери вдруг распахнулись с такой силой и так быстро, что все свечи в комнате, точно по волшебству, разом погасли. Но еще прежде, чем воцарилась тьма, мы успели заметить, что на пороге появился незнакомец примерно моего роста, окутанный плащом. Тьма, однако, стала такая густая, что мы лишь ощущали его присутствие среди нас. Мы еще не успели прийти в себя, ошеломленные грубым вторжением, как вдруг раздался голос незваного гостя.

- Господа,- произнес он глухим, отчетливым и незабываемым шепотом, от которого дрожь пробрала меня до мозга костей,- господа, прошу извинить меня за бесцеремонность, но мною движет долг. Вы, без сомнения, не осведомлены об истинном лице человека, который выиграл нынче вечером в экарте крупную сумму у лорда Гленденнинга. А потому я позволю себе предложить вам скорый и убедительный способ получить эти весьма важные сведения. Благоволите осмотреть подкладку его левой манжеты и те пакетики, которые, надо полагать, вы обнаружите в довольно поместительных карманах его сюртука.

Во время его речи стояла такая тишина, что, упав на пол булавка, и то было бы слышно.

Сказав все это, он тотчас исчез - так же неожиданно, как и появился. Сумею ли я, дано ли мне передать обаявшие меня чувства? Надо ли говорить, что я испытал все муки грешника в аду? Уж конечно, у меня не было времени ни на какие размышления. Множество рук тут же грубо меня схватили, тотчас были зажжены свечи. Начался обыск. В подкладке моего рукава обнаружены были все фигурные карты, необходимые при игре в экарте, а в карманах сюртука несколько колод, точно таких, какие мы употребляли для игры, да только мои были так называемые *arpondees*: края старших карт были слегка выгнуты. При таком положении простофиля, который, как принято, снимает колоду в длину, неизбежно даст своему противнику старшую карту, тогда как шулер, снимающий колоду в ширину, наверняка не сдаст своей жертве ни одной карты, которая могла бы определить исход игры.

Любой взрыв негодования не так оглушил бы меня, как то молчаливое презрение, то язвительное спокойствие, какое я читал во всех взглядах.

- Мистер Вильсон,- произнес хозяин дома, наклонясь, чтобы поднять с полу роскошный плащ, подбитый редкостным мехом,- мистер Вильсон, вот ваша собственность. (Погода стояла холодная, и, выходя из дому, я накинул поверх сюртука плащ, по здесь, подойдя к карточному столу, сбросил его.) Я полагаю, нам нет надобности искать тут,- он с язвительной улыбкой указал глазами на складки плаща,- дальнейшие доказательства вашей ловкости. Право же, нам довольно и тех, что мы уже видели. Надеюсь, вы поймете, что вам следует покинуть Оксфорд и, уж во всяком случае, немедленно покинуть мой дом.

Униженный, втоптаный в грязь, я, наверно, все-таки не оставил бы безнаказанными его оскорбительные речи, если бы меня в эту минуту не отвлекло одно ошеломляющее обстоятельство. Плащ, в котором я пришел сюда, был подбит редчайшим мехом; сколь редким и сколь дорогим, я даже не решаюсь сказать. Фасон его к тому же был плодом моей собственной фантазии, ибо в подобных пустяках я, как и положено щеголю, был до смешного привередлив. Поэтому, когда мистер Простой протянул мне плащ, что он поднял с полу у двери, я с удивлением, даже с ужасом, обнаружил, что мой плащ уже перекинут у меня через руку (без сомнения, я, сам того не заметив, схватил его), а тот, который мне протянули, в точности, до последней мельчайшей мелочи его повторяет.

Странный посетитель, который столь губительно меня разоблачил, был, помнится, закутан в плащ. Из всех собравшихся в тот вечер в плаще пришел только я. Сохраняя по возможности присутствие духа, я взял плащ, протянутый Престоном, незаметно кинул его поверх своего, с видом разгневанным и вызывающим вышел из комнаты, а на другое утро, еще до свету, в муках стыда и страха поспешно отбыл из Оксфорда на континент.

Но бежал я напрасно! Мой злой гений, словно бы упиваясь своим торжеством, последовал за мной и явственно показал, что его таинственная власть надо мною только еще начала себя обнаруживать. Едва я оказался в Париже, как получил новое свидетельство бесившего меня интереса, который питал к моей судьбе этот Вильсон. Пролетали годы, а он все не оставлял меня в покое. Негодяй! В Риме - как не вовремя и притом с какой беззастенчивой наглостью - он встал между мною и моей целью! То же и в Вене... а потом и в Берлине... и в Москве! Найдется ли такое место на земле, где бы у меня не было причин в душе его проклинать? От его загадочного деспотизма я бежал в страхе, как от чумы, но и на край света я бежал напрасно!

Опять и опять в тайниках своей души искал я ответа на вопросы: "Кто он?", "Откуда явился?", "Чего ему надобно?". Но ответа не было. Тогда я с величайшим тщанием проследил все формы, способы и главные особенности его неуместной опеки. Но и: тут мне почти не на чем было строить догадки. Можно лишь было сказать, что во всех тех многочисленных случаях, когда он в последнее время становился мне поперек дороги, он делал это, чтобы расстроить те планы и воспрепятствовать тем поступкам, которые, удайся они мне, принесли бы истинное зло. Какое жалкое оправдание для власти, присвоенной столь дерзко! Жалкая плата за столь упрямое, столь оскорбительное посягательство на право человека поступать по собственному усмотрению!

Я вынужден был также заметить, что мучитель мой (по странной прихоти с тщанием и паразитической ловкостью совершенно уподобясь мне в одежде), постоянно разнообразными способами мешая мне действовать по собственной воле, очень долгое время ухитрялся ни разу

не показать мне своего лица. Кем бы ни был Вильсон, уж это, во всяком случае, было с его стороны чистейшим актерством или же просто глупостью. Неужто он хоть на миг предположил, будто в моем советчике в Итоне, в погубителе моей чести в Оксфорде, в том, кто не дал осуществиться моим честолюбивым притязаниям в Риме, моей мести в Париже, моей страстной любви в Неаполе или тому, что он ложно назвал моей алчностью в Египте,- будто в этом моем архивраге и злом гении я мог не узнать Вильяма Вильсона моих школьных дней, моего тезку, однокашника и соперника, ненавистного и внушающего страх соперника из заведения доктора Брэнсби? Не может того быть! Но позвольте мне поспешить к последнему, богатому событиями действию сей драмы.

До сих пор я безвольно покорялся этому властному господству. Благоговейный страх, с каким привык я относиться к этой возвышенной натуре, могучий ум, вездесущность и всеисилье Вильсона вместе с вполне понятным ужасом, который внушали мне иные его черты и поступки, до сих пор заставляли меня полагать, будто я беспомощен и слаб, и приводили к тому, что я безоговорочно, хотя и с горькою неохотой подчинялся его деспотической воле. Но в последние дни я всецело предался вину; оно будоражило мой и без того беспокойный нрав, и я все нетерпеливей стремился вырваться из оков. Я стал роптать... колебаться... противиться. И неужто мне только чудилось, что чем тверже я держался, тем менее настойчив становился мой мучитель? Как бы там ни было, в груди моей загорелась надежда и вскормила в конце концов непреклонную и отчаянную решимость выйти из порабощения.

В Риме во время карнавала 18... года я поехал на маскарад в палаццо неаполитанского герцога Ди Брольо. Я пил более обыкновенного; в переполненных залах стояла духота, и это безмерно меня раздражало. Притом было нелегко прокладывать себе путь в толпе гостей, и это еще усиливало мою досаду, ибо мне не терпелось отыскать (позволю себе не объяснять, какое недостойное побуждение двигало мною) молодую, веселую красавицу-жену одряхлевшего Ди Брольо. Забыв о скромности, она заранее сказала мне, какой на ней будет костюм, и, наконец заметив ее в толпе, я теперь спешил приблизиться к ней. В этот самый миг я ощутил легкое прикосновение руки к моему плечу и услышал проклятый незабываемый глухой шепот.

Обезумев от гнева, я стремительно оборотился к тому, кто так некстати меня задержал, и яростно схватил его за воротник.

Наряд его, как я и ожидал, в точности повторял мой: испанский плащ голубого бархата, стянутый у талии алым поясом, сбоку рапира. Лицо совершенно закрывала черная шелковая маска.

- Негодяй! - произнес я хриплым от ярости голосом и от самого слова этого распалился еще более.- Негодяй! Самозванец! Проклятый злодей! Нет, довольно, ты больше не будешь преследовать меня! Следуй за мной, не то я заколю тебя на месте! - И я кинулся из бальной залы в смежную с ней маленькую прихожую, я увлекал его за собою - и он ничуть не сопротивлялся.

Очутившись в прихожей, я в бешенстве оттолкнул его. Он пошатнулся и прислонился к стене, а я тем временем с проклятиями затворил дверь и приказал ему стать в позицию. Он заколебался было, но чрез мгновенье с легким вздохом молча вытащил рапиру и встал в позицию.

Наш поединок длился недолго. Я был взбешен, разъярен, и рукою моей двигала энергия и сила, которой хватило бы на десятерых. В считанные секунды я прижал его к панели и, когда

он таким образом оказался в полной моей власти, с кровожадной свирепостью несколько раз подряд пронзил его грудь рапирой.

В этот миг кто-то дернул дверь, запертую на задвижку. Я поспешил получше ее запереть, чтобы никто не вошел, и тут же вернулся к моему умирающему противнику. Но какими словами передать то изумление, тот ужас, которые объяли меня перед тем, что предстало моему взору? Короткого мгновенья, когда я отвел глаза, оказалось довольно, чтобы в другом конце комнаты все переменялось. Там, где еще минуту назад я не видел ничего, стояло огромное зеркало - так, по крайней мере, мне почудилось в этот первый миг смятения; и когда я в неопишемом ужасе шагнул к нему, навстречу мне нетвердой походкой выступило мое собственное отражение, но с лицом бледным и обрызганным кровью.

Я сказал - мое отражение, но нет. То был мой противник - предо мною в муках погибал Вильсон. Маска его и плащ валялись на полу, куда он их прежде бросил. И ни единой нити в его одежде, ни единой черточки в его приметном и своеобразном лице, которые не были бы в точности такими же, как у меня!

То был Вильсон; но теперь говорил он не шепотом; можно было даже вообразить, будто слова, которые я услышал, произнес я сам:

- Ты победил, и я покоряюсь. Однако отныне ты тоже мертв - ты погиб для мира, для небес, для надежды! Мною ты был жив, а убив меня, - взгляни на этот облик, ведь это ты, - ты бесповоротно погубил самого себя!

Рукопись, найденная в бутылке

Перевод М.Беккер

Тому, кому осталось жить не более мгновенья,

Уж больше нечего терять.

Филипп Кино. Атис

Об отечестве моем и семействе сказать мне почти нечего. Несправедливость изгнала меня на чужбину, а долгие годы разлуки отдалили от родных. Богатое наследство позволило мне получить изрядное для тогдашнего времени образование, а врожденная пытливость ума дала возможность привести в систему сведения, накопленные упорным трудом в ранней юности. Превыше всего любил я читать сочинения немецких философов-моралистов - не потому, что красноречивое безумие последних внушало мне неразумный восторг, а лишь за ту легкость, с какою привычка к логическому мышлению помогала обнаруживать ложность их построений. Меня часто упрекали в сухой рассудочности, недостаток фантазии вменялся мне в вину как некое преступление, и я всегда слыл последователем Пиррона. Боюсь, что чрезмерная приверженность к натурфилософии и вправду сделала меня жертвою весьма распространенного заблуждения нашего века - я имею в виду привычку объяснять все явления, даже те, которые меньше всего поддаются подобному объяснению, принципами этой науки. Вообще говоря, казалось почти невероятным, чтобы *ignes fatui* [Блуждающие огни (лат.)] суеверия могли увлечь за суровые пределы истины человека моего склада. Я счел уместным предварить свой рассказ этим

небольшим вступлением, дабы необыкновенные происшествия, которые я намереваюсь изложить, не были сочтены скорее плодом безумного воображения, нежели действительным опытом человеческого разума, совершенно исключившего игру фантазии как пустой звук и мертвую букву.

Проведши много лет в заграничных путешествиях, я не имел причин ехать куда бы то ни было, однако же, снедаемый каким-то нервным беспокойством, - словно сам дьявол в меня вселился, - я в 18... году выехал из порта Батавия, что на богатом и густо населенном острове Ява, в качестве пассажира корабля, совершавшего плаванье вдоль островов Зондского архипелага. Корабль наш, великолепный парусник водоизмещением около четырехсот тонн, построенный в Бомбее из малабарского тикового дерева и обшитый медью, имел на борту хлопок и хлопковое масло с Лаккадивских островов, а также копру, пальмовый сахар, топленое масло из молока буйволиц, кокосовые орехи и несколько ящиков опиума. Погрузка была сделана кое-как, что сильно уменьшало остойчивость судна.

Мы покинули порт при еле заметном ветерке и в течение долгих дней шли вдоль восточного берега Явы. Однообразие нашего плавания лишь изредка нарушалось встречей с небольшими каботажными судами с тех островов, куда мы держали свой путь.

Однажды вечером я стоял, прислонившись к поручням на юте, и вдруг заметил на северо-западе какое-то странное одинокое облако. Оно поразило меня как своим цветом, так и тем, что было первым, какое мы увидели со дня отплытия из Батавии. Я пристально наблюдал за ним до самого заката, когда оно внезапно распространилось на восток и на запад, опоясав весь горизонт узкою лентой тумана, напоминавшей длинную полосу низкого морского берега. Вскоре после этого мое внимание привлек темно-красный цвет луны и необычайный вид моря. Последнее менялось прямо на глазах, причем вода казалась гораздо прозрачнее обыкновенного. Хотя можно было совершенно ясно различить дно, я бросил лот и убедился, что под килем ровно пятнадцать фатомов. Воздух стал невыносимо горячим и был насыщен испарениями, которые клубились, словно жар, поднимающийся от раскаленного железа. С приближением ночи замерло последнее дыхание ветерка и воцарился совершенно невообразимый штиль. Ничто не колебало пламени свечи, горевшей на юте, а длинный волос, который я держал указательным и большим пальцем, не обнаруживал ни малейшей вибрации. Однако капитан объявил, что не видит никаких признаков опасности, а так как наш корабль сносило лагом к берегу, он приказал убрать паруса и отдать якорь. На вахту никого не поставили, и матросы, большей частью малайцы, лениво растянулись на палубе. Я спустился вниз - признаться, не без дурных предчувствий. И в самом деле, все свидетельствовало о приближении тайфуна. Я поделился своими опасениями с капитаном, но он не обратил никакого внимания на мои слова и ушел, не удостоив меня ответом. Тревога, однако, не давала мне спать, и ближе к полуночи я снова поднялся на палубу. Поставив ногу на верхнюю ступеньку трапа, я вздрогнул от громкого гула, напоминавшего звук, производимый быстрым вращением мельничного колеса, но прежде чем смог определить, откуда он исходит, почувствовал, что судно задрожало всем своим корпусом. Секунду спустя огромная масса вспененной воды положила нас на бок и, прокатившись по всей палубе от носа до кормы, унесла в море все, что там находилось.

Между тем этот неистовый порыв урагана оказался спасительным для нашего корабля. Ветер сломал и сбросил за борт мачты, вследствие чего судно медленно выпрямилось, некоторое время продолжало шататься под страшным натиском шквала, но в конце концов стало на ровный киль.

Каким чудом избежал я гибели - объяснить невозможно. Оглушенный ударом волны, я постепенно пришел в себя и обнаружил, что меня зажало между румпелем и фальшбортом. С большим трудом поднявшись на ноги и растерянно оглядевшись, я сначала решил, что нас бросило на рифы, ибо даже самая буйная фантазия не могла бы представить себе эти огромные вспененные буруны, словно стены, вздымавшиеся ввысь. Вдруг до меня донесся голос старого шведа, который сел на корабль перед самым отплытием из порта. Я что было силы закричал ему в ответ, и он, шатаясь, пробрался ко мне на корму. Вскоре оказалось, что в живых остались только мы двое. Всех, кто находился на палубе, кроме нас со шведом, смыло за борт, что же касается капитана и его помощников, то они, по-видимому, погибли во сне, ибо их каюты были доверху залиты водой. Лишенные всякой помощи, мы вдвоем едва ли могли предпринять что-либо для безопасности судна, тем более что вначале, пораженные ужасом, с минуты на минуту ожидали конца. При первом же порыве урагана наш якорный канат, разумеется, лопнул, как тонкая бечевка, и лишь благодаря этому нас тут же не перевернуло вверх дном. Мы с невероятной скоростью неслись вперед, и палубу то и дело захлестывало водой. Кормовые шпангоуты были основательно расшатаны, и все судно было сильно повреждено, однако, к великой нашей радости, мы убедились, что помпы работают исправно и что балласт почти не сместился. Буря уже начала стихать, и мы не усматривали большой опасности в силе ветра, а напротив, со страхом ожидали той минуты, когда он прекратится совсем, в полной уверенности, что мертвая зыбь, которая за ним последует, непременно погубит наш потрепанный корабль. Но это вполне обоснованное опасение как будто ничем не подтверждалось. Пять суток подряд, - в течение коих единственное наше пропитание составляло небольшое количество пальмового сахара, который мы с великим трудом добывали на баке, - наше разбитое судно, подгоняемое шквальным ветром, который хотя и уступал по силе первым порывам тайфуна, был тем не менее гораздо страшнее любой пережитой мною прежде бури, мчалось вперед со скоростью, не поддающейся измерению. Первые четыре дня нас несло с незначительными отклонениями на юго-юго-восток, и мы, по-видимому, находились уже недалеко от берегов Новой Голландии. На пятый день холод стал невыносимым, хотя ветер изменил направление на один румб к северу. Возшло тусклое желтое солнце; поднявшись всего лишь на несколько градусов над горизонтом, оно почти не излучало света. Небо было безоблачно, но ветер свежел и налетал яростными порывами. Приблизительно в полдень - насколько мы могли судить - наше внимание опять привлек странный вид солнца. От него исходил не свет, а какое-то мутное, мрачное свечение, которое совершенно не отражалось в воде, как будто все его лучи были поляризованы. Перед тем как погрузиться в бушующее море, свет в середине диска внезапно погас, словно стертый какой-то неведомой силой, и в бездонный океан канул один лишь тусклый серебристый ободок.

Напрасно ожидали мы наступления шестого дня - для меня он и по сей час еще не наступил, а для старого шведа не наступит никогда. С этой поры мы были объаты такой непроглядной тьмой, что в двадцати шагах от корабля невозможно было ничего разобрать. Все плотнее окутывала нас вечная ночь, не нарушаемая даже фосфорическим свечением моря, к которому мы привыкли в тропиках. Мы также заметили, что, хотя буря продолжала свирепствовать с неудержимой силой, вокруг больше не было обычных вспененных бурунов, которые сопровождали нас прежде. Везде царил только ужас, непроницаемый мрак и вихрящаяся черная пустота. Суеверный страх постепенно овладел душою старого шведа, да и мой дух тоже был объят немым смятением. Мы перестали следить за кораблем, считая это занятие более чем бесполезным, и, как можно крепче привязав друг Друга к основанию сломанной бизань-мачты, с тоскою взирали на бесконечный океан. У нас не было никаких средств для отчета времени и никакой возможности определить свое местоположение. Правда, мы ясно видели, что продвинулись на юг дальше, чем кто-либо из прежних мореплавателей, и были чрезвычайно

удивлены тем, что до сих пор не натолкнулись на обычные для этих широт льды. Между тем каждая минута могла стать для нас последней, ибо каждый огромный вал грозил опрокинуть наше судно. Высота их превосходила всякое воображение, и я считал за чудо, что мы до сих пор еще не покоимся на дне пучины. Мой спутник упомянул о легкости нашего груза и обратил мое внимание на превосходные качества нашего корабля, но я невольно ощущал всю безнадежность надежды и мрачно приготовился к смерти, которую, как я полагал, ничто на свете не могло оттянуть более чем на час, ибо с каждой милей мертвая зыбь усиливалась и гигантские черные валы становились все страшнее и страшнее. Порой у нас захватывало дух при подъеме на высоту, недоступную даже альбатросу, порою темнело в глазах при спуске в настоящую водяную преисподнюю, где воздух был зловонен и сперт и ни единый звук не нарушал дремоту морских чудовищ.

Мы как раз погрузились в одну из таких пропастей, когда в ночи раздался пронзительный вопль моего товарища. "Смотрите, смотрите! - кричал он мне прямо в ухо, - о, всемогущий боже! Смотрите!" При этих словах я заметил, что стены водяного ущелья, на дне которого мы находились, озарило тусклое багровое сияние; его мерцающий отблеск ложился на палубу нашего судна. Подняв свой взор кверху, я увидел зрелище, от которого кровь заледенела у меня в жилах. На огромной высоте прямо над нами, на самом краю крутого водяного обрыва вздыбился гигантский корабль водоизмещением не меньше четырех тысяч тонн. Хотя он висел на гребне волны, во сто раз превышавшей его собственную высоту, истинные размеры его все равно превосходили размеры любого существующего на свете линейного корабля или судна Ост-Индской компании. Его колоссальный тускло-черный корпус не оживляли обычные для всех кораблей резные украшения. Из открытых портов торчали в один ряд медные пушки, полированные поверхности которых отражали огни бесчисленных боевых фонарей, качавшихся на снастях. Но особый ужас и изумление внушило нам то, что, презрев бушевавшее с неукротимой яростью море, корабль этот несся на всех парусах навстречу совершенно сверхъестественному ураганному ветру. Сначала мы увидели только ноу корабля, медленно поднимавшегося из жуткого темного провала позади него. На одно полное невыразимого ужаса мгновение он застыл на головокружительной высоте, как бы упиваясь своим величием, затем вздрогнул, затрепетал и - обрушился вниз.

В этот миг в душу мою снизошел непонятный покой. С трудом пробравшись как можно ближе к корме, я без всякого страха ожидал неминуемой смерти. Наш корабль не мог уже больше противостоять стихии и зарылся носом в надвигавшийся вал. Поэтому удар падавшей вниз массы пришелся как раз в ту часть его корпуса, которая была уже почти под водой, и как неизбежное следствие этого меня со страшною силой швырнуло на ванты незнакомого судна.

Когда я упал, это судно сделало поворот оверштаг, и, очевидно благодаря последовавшей затем суматохе, никто из команды не обратил на меня внимания. Никем не замеченный, я без труда отыскал грот-люк, который был слегка приоткрыт, и вскоре подучил возможность спрятаться в трюме. Почему я так поступил, я, право, не могу сказать. Быть может, причиной моего стремления укрыться был беспредельный трепет, охвативший меня при виде матросов этого корабля. Я не желал верить свою судьбу существам, которые при первом же взгляде поразили меня своим зловещим и странным обличьем. Поэтому я счел за лучшее соорудить себе тайник в трюме и отодвинул часть временной переборки, чтобы в случае необходимости спрятаться между огромными шпангоутами.

Едва успел я подготовить свое убежище, как звук шагов в трюме заставил меня им воспользоваться. Мимо моего укрытия тихой, нетвердой поступью прошел какой-то человек. Лица его я разглядеть не мог, но имел возможность составить себе общее представление об его внешности, которая свидетельствовала о весьма преклонном возрасте и крайней немощи. Колени его сгибались под тяжестью лет, и все его тело дрожало под этим непосильным бременем. Слабым, прерывистым голосом бормоча что-то на неизвестном мне языке, он шарил в углу, где были свалены в кучу какие-то диковинные инструменты и полуистлевшие морские карты. Вся его манера являла собою смесь капризной суетливости впавшего в детство старика и величавого достоинства бога. В конце концов он возвратился на палубу, и больше я его не видел.

=

Душой моей владеет новое чувство, имени которого я не знаю, ощущение, не поддающееся анализу, ибо для него нет объяснений в уроках былого, и даже само грядущее, боюсь, не подберет мне к нему ключа. Для человека моего склада последнее соображение убийственно. Никогда - я это знаю твердо - никогда не смогу я точно истолковать происшедшее. Однако нет ничего удивительного в том, что мое истолкование будет неопределенным - ведь оно обращено на предметы абсолютно неизведанные. Дух мой обогатился каким-то новым знанием, проник в некую новую субстанцию.

=

Прошло уже немало времени с тех пор, как я вступил на палубу этого ужасного корабля, и мне кажется, что лучи моей судьбы уже начинают собираться в фокус. Непостижимые люди! Погруженные в размышления, смысл которых я не могу разгадать, они, не замечая меня, проходят мимо. Прятаться от них в высшей степени бессмысленно, ибо они упорно не желают видеть. Не далее как сию минуту я прошел прямо перед глазами у первого помощника; незадолго перед тем я осмелился проникнуть в каюту самого капитана и вынес оттуда письменные принадлежности, которыми пишу и писал до сих пор. Время от времени я буду продолжать эти записки. Правда, мне может и не представиться okazия передать их людям, но я все же попытаюсь это сделать. В последнюю минуту я вложу рукопись в бутылку и брошу ее в море.

=

Произошло нечто, давшее мне новую пищу для размышлений. Не следует ли считать подобные явления нечаянной игрою случая? Я вышел на палубу и, не замечаемый никем, улегся на куче старых парусов и канатов, сваленных на дне шлюпки. Раздумывая о превратностях своей судьбы, я машинально водил кистью для дегтя по краю аккуратно сложенного лиселя, лежавшего возле меня на бочонке. Сейчас этот лисель поднят, и мои бездумные мазки сложились в слово открытие.

В последнее время я сделал много наблюдений по части устройства этого судна. Несмотря на изрядное вооружение, оно, по-моему, никак не может быть военным кораблем. Его архитектура, оснастка и вообще все оборудование опровергают предположение подобного рода. Чем оно не может быть, я хорошо понимаю, а вот чем оно может быть, боюсь, сказать невозможно. Сам не знаю почему, но, когда я внимательно изучаю его необычные обводы и своеобразный рангоут, его огромные размеры и избыток парусов, строгую простоту его носа и старинную форму кормы, в уме моем то и дело проносятся какие-то знакомые образы и вместе с

этой смутной тенью воспоминаний в памяти безотчетно всплывают древние иноземные хроники и века давно минувшие.

=

Я досконально изучил тимберсы корабля. Он построен из неизвестного мне материала. Это дерево обладает особым свойством, которое, как мне кажется, делает его совершенно непригодным для той цели, которой оно должно служить. Я имею в виду его необыкновенную пористость, даже независимо от того, что он весь источен червями (естественное следствие плавания в этих морях), не говоря уже о трухлявости, неизменно сопровождающей старость. Пожалуй, мое замечание может показаться слишком курьезным, но это дерево имело бы все свойства испанского дуба, если бы испанский дуб можно было каким-либо сверхъестественным способом растянуть.

При чтении последней фразы мне приходит на память афоризм одного старого, выдавшего виды голландского морехода. Когда кто-нибудь высказывал сомнение в правдивости его слов, он, бывало, говаривал: "Это так же верно, как то, что есть на свете море, где даже судно растет подобно живому телу моряка".

=

Час назад, набравшись храбрости, я решился подойти к группе матросов. Они не обращали на меня ни малейшего внимания и, хотя я затесался в самую их гущу, казалось, совершенно не замечали моего присутствия. Подобно тому, кого я в первый раз увидел в трюме, все они были отмечены печатью глубокой старости. Колени их дрожали от немощи, дряхлые спины сгорбились, высохшая кожа шуршала на ветру, надтреснутые голоса звучали глухо и прерывисто, глаза были затянуты мутной старческой пеленою, а седые волосы бешено трепала буря. Вся палуба вокруг них была завалена математическими инструментами необычайно замысловатой, устаревшей конструкции.

=

Недавно я упомянул о том, что подняли лисель. С этого времени корабль шел в полный бакштаг, продолжая свой зловеющий путь прямо на юг под всеми парусами и поминутно окуная ноки своих брамрей в непостижимую для человеческого ума чудовищную бездну вод. Я только что ушел с палубы, где совершенно не мог устоять на ногах, между тем как команда, казалось, не испытывала никаких неудобств. Чудом из чудес представляется мне то обстоятельство, что огромный корпус нашего судна раз и навсегда не поглотила пучина. Очевидно, мы обречены постоянно пребывать на краю вечности, но так никогда и не рухнуть в бездну. С гребня валов, фантастические размеры которых в тысячу раз превосходят все, что мне когда-либо доводилось видеть, мы с легкой стремительностью чайки соскальзываем вниз, и колоссальные волны возносят над нами свои головы, словно демоны адских глубин, однако демоны, коим дозволены одни лишь угрозы, но не дано уничтожать. То, что мы все время чудом уходим от гибели, я склонен приписать единственной натуральной причине, которая может вызвать подобное следствие. Очевидно, корабль находится под воздействием какого-то сильного течения или бурного глубинного потока.

=

Я столкнулся лицом к лицу с капитаном, и притом в его же собственной каюте, но, как я и ожидал, он не обратил на меня ни малейшего внимания. Пожалуй, ни одна черта его наружности не могла бы навести случайного наблюдателя на мысль, что он не принадлежит к числу смертных, и все же я взирал на него с чувством благоговейного трепета, смешанного с изумлением. Он приблизительно одного со мною роста, то есть пяти футов восьми дюймов, и крепко, но пропорционально сложен. Однако необыкновенное выражение, застывшее на его лице, - напряженное, невиданное, вызывающее нервную дрожь свидетельство старости столь бесконечной, столь несказанно глубокой, - вселяет мне в душу ощущение неизъяснимое. Чело его, на котором почти не видно морщин, отмечено, однако, печатью неисчислимого множества лет. Его седые бесцветные волосы - свидетели прошлого, а выцветшие серые глаза - пророчицы грядущего. На полу каюты валялось множество диковинных фолиантов с медными застежками, позеленевших научных инструментов и древних, давно забытых морских карт. Склонившись головою на руки, он вперил свой горячий, беспокойный взор в какую-то бумагу, которую я принял за капитанский патент и которая, во всяком случае, была скреплена подписью монарха. Он сердито бормотал про себя - в точности как первый моряк, которого я увидел в трюме, - слова какого-то чужеземного наречия, и, хотя я стоял почти рядом, его глухой голос, казалось, доносился до меня с расстояния в добрую милю.

=

Корабль и все находящееся на нем проникнуто духом Старины. Моряки скользят взад-вперед, словно призраки погребенных столетий, глаза их сверкают каким-то лихорадочным, тревожным огнем, и, когда в грозном мерцании боевых фонарей руки их нечаянно преграждают мне путь, я испытываю чувства доселе не испытанные, хотя всю свою жизнь занимался торговлею древностями и так долго дышал тенями рухнувших колоннад Баальбека, Тадмора и Персеполя, что душа моя и сама превратилась в руину.

=

Оглядываясь вокруг, я стыжусь своих прежних опасений. Если я дрожал от шквала, сопровождавшего нас до сих пор, то разве не должна поразить меня ужасом схватка океана и ветра, для описания коей слова "смерч" и "тайфун", пожалуй, слишком мелки и ничтожны? В непосредственной близости от корабля царит непроглядный мрак вечной ночи и хаос беспенных волн, но примерно в одной лиге по обе стороны от нас виднеются там и сям смутные силуэты огромных ледяных глыб, которые, словно бастионы мироздания, возносятся в пустое безотрадное небо свои необозримые вершины.

=

Как я и думал, корабль попал в течение, если это наименование может дать хоть какое-то понятие о бешеном грозном потоке, который, с неистовым ревом прорываясь сквозь белое ледяное ущелье, стремительно катится к югу.

=

Постигнуть весь ужас моих ощущений, пожалуй, совершенно невозможно; однако страстное желание проникнуть в тайны этого чудовищного края превосходит даже мое отчаяние и способно примирить меня с самым ужасным концом. Мы, без сомнения, быстро приближаемся к какому-то ошеломляющему открытию, к разгадке некоей тайны, которой ни с кем не сможем поделиться, ибо заплатим за нее своею жизнью. Быть может, это течение ведет нас прямо к

Южному полюсу. Следует признать, что многое свидетельствует в пользу этого предположения, на первый взгляд, по-видимому, столь невероятного.

=

Матросы беспокойным, неверным шагом с тревогою бродят по палубе, но на лицах их написана скорее трепетная надежда, нежели безразличие отчаяния.

Между тем ветер все еще дует нам в корму, а так как мы несем слишком много парусов, корабль по временам прямо-таки взмывает в воздух! Внезапно - о беспредельный чудовищный ужас! - справа и слева от нас льды расступаются, и мы с головокружительной скоростью начинаем описывать концентрические круги вдоль краев колоссального амфитеатра, гребни стен которого теряются в непроглядной дали. Однако для размышлений об ожидающей меня участи остается теперь слишком мало времени! Круги быстро сокращаются - мы стремглав ныряем в самую пасть водоворота, и среди неистового рева, грохота и воя океана и бури наш корабль вздрагивает и - о боже! - низвергается в бездну!

=

Примечание. "Рукопись, найденная в бутылке" была впервые опубликована в 1831 году, и лишь много лет спустя я познакомился с картами Меркатора, на которых океан представлен в виде четырех потоков, устремляющихся в (северный) Полярный залив, где его должны поглотить недра земли, тогда как самый полюс представлен в виде черной скалы, вздымающейся на огромную высоту.

Морелла

Перевод И.Гуровой

Auto xat auta met autou monoeises aiei on.

[Собой, только собой, в своем вечном единстве (греч.).]

Платон. Пир, 211

Глубокую, но поистине странную привязанность питал я к Морелле, моему другу. Много лет назад случай познакомил нас, и с первой встречи моя душа запылала пламенем, прежде ей неведомым, однако пламя это зажег не Эрос, и горечь все больше терзала мой дух, пока я постепенно убеждался, что не могу постичь его неведомого смысла и не могу управлять его туманным пыланием. Но мы встретились, и судьба связала нас пред алтарем; и не было у меня слов страсти, и не было мысли о любви. Она же бежала общества людей и, посвятив себя только мне одному, сделала меня счастливым. Ибо размышлять есть счастье, ибо грезить есть счастье.

Начитанность Мореллы не знала пределов. Жизнью клянусь, редкостными были ее дарования, а сила ума - велика и необычна. Я чувствовал это и многому учился у нее. Однако уже вскоре я заметил, что она (возможно, из-за своего пресбургского воспитания) постоянно предлагала мне мистические произведения, которые обычно считаются всего лишь жалкой накипью ранней немецкой литературы. По непостижимой для меня причине они были ее

постоянным и любимым предметом изучения, а то, что со временем я и сам занялся ими, следует приписать просто властному влиянию привычки и примера.

Рассудок мой - если я не обманываю себя - нисколько к этому причастен не был. Идеальное - разве только я себя совсем не знаю - ни в чем не воздействовало на мои убеждения, и ни мои поступки, ни мои мысли не были окрашены - или я глубоко заблуждаюсь - тем мистицизмом, которым было проникнуто мое чтение. Твердо веря в это, я полностью подчинился руководству моей жены и с недрогнувшим сердцем последовал за ней в сложный лабиринт ее изысканий. И когда... когда, склоняясь над запретными страницами, я чувствовал, что во мне просыпается запретный дух, Морелла клала холодную ладонь на мою руку и извлекала из остывшего пепла мертвой философии приглушенные необычные слова, таинственный смысл которых выжигал неизгладимый след в моей памяти. И час за часом я сидел возле нее и внимал музыке ее голоса, пока его мелодия не начинала внушать страха - и на мою душу падала тень, и я бледнел и внутренне содрогался от этих звуков, в которых было столь мало земного. Вот так радость внезапно преображалась в ужас и воплощение красоты становилось воплощением безобразия, как Гинном стал Ге-Енной.

Нет нужды излагать содержание этих бесед, темы которых подсказывали упомянутые мною трактаты, но в течение долгого времени иных разговоров мы с Мореллой не вели. Люди, изучавшие то, что можно назвать теологической моралью, легко представят себе, о чем мы говорили, непосвященным же беседы наши все равно не были бы понятны. Буйный пантеизм Фихте, видоизмененная *paliggenesis* [Вторичное рождение (греч.)] пифагорейцев и, главное, доктрина тождества, как ее излагал Шеллинг, - вот в чем впечатлительная Морелла обычно находила особую красоту. Тождество, называемое личным, мистер Локк, если не ошибаюсь, справедливо определяет как здравый рассудок мыслящего существа. А так как под "личностью" мы понимаем рациональное начало, наделенное рассудком, и так как мышлению всегда сопутствует сознание, то именно они и делают нас нами самими, в отличие от всех других существ, которые мыслят. *Principium individuationis*, представление о личности, которая исчезает - или не исчезает - со смертью, всегда меня жгуче интересовало. И не столько даже из-за парадоксальной и притягательной природы его следствий, сколько из-за волнения, с которым говорила о них Морелла.

Но уже настало время, когда непостижимая таинственность моей жены начала гнестить меня, как злое заклятие. Мне стали невыносимы прикосновения ее тонких полупрозрачных пальцев, ее тихая музыкальная речь, мягкий блеск ее печальных глаз. И она понимала это, но не упрекала меня; казалось, что она постигала мою слабость или мое безумие, и с улыбкой называла его Роком. И еще казалось, что она знает неведомую мне причину, которая вызвала мое постепенное отчуждение, но ни словом, ни намеком она не открыла мне ее природу. Однако она была женщиной и таяла с каждым днем. Пришло время, когда на ее щеках запылали два алых пятна, а синие жилки на бледном лбу стали заметнее; и на миг моя душа исполнялась жалости, но в следующий миг я встречал взгляд ее говорящих глаз, и мою душу поражали то смутение и страх, которые овладевают человеком, когда он, охваченный головокружением, смотрит в мрачные глубины неведомой бездны.

Сказать ли, что я с томительным нетерпением ждал, чтобы Морелла наконец умерла? Да, я ждал этого, но хрупкий дух еще много дней льнул к брэнной оболочке - много дней, много недель и тягостных месяцев, пока мои истерзанные нервы не взяли верх над рассудком и я не впал в исступление из-за этой отсрочки, с демонической яростью проклиная дни, часы и

горькие секунды, которые словно становились все длиннее и длиннее по мере того, как угасала ее кроткая жизнь, -так удлиняются тени, когда умирает день.

Но однажды в осенний вечер, когда ветры уснули в небесах, Морелла подозвала меня к своей постели. Над всей землей висел прозрачный туман, мягкое сияние лежало на водах, и на пышную листву октябрьских лесов с вышины пала радуга.

- Это день дней, -сказала она, когда я приблизился. -Это день дней, чтобы жить и чтобы умереть. Дивный день для сынов земли и жизни... но еще более дивный для дочерей небес и смерти!

Я поцеловал ее лоб, а она продолжала:

- Я умираю, и все же я буду жить.

- Морелла!

- Не было дня, когда бы ты любил меня, но ту, которая внушала тебе отвращение при жизни, в смерти ты будешь боготворить.

- Морелла!

- Я говорю, что я умираю. Но во мне сокрыт плод той нежности - о, такой малой! - которую ты питал ко мне, к Морелле. И когда мой дух отлетит, дитя будет жить - твоё дитя и мое, Мореллы. Но твои дни будут днями печали, той печали, которая долговечней всех чувств, как кипарис нетленной всех деревьев. Ибо часы твоего счастья миновали, и цветы радости не распускаются дважды в одной жизни, как дважды в год распускались розы Пестума. И более ты не будешь играть со временем, подобно Анакреонту, но, отлученный от мирта и лоз, понесешь с собой по земле свой саван, как мусульманин в Мекке.

- Морелла! - вскричал я. - Морелла, как можешь ты знать это!

Но она отвернула лицо, по ее членам пробежала легкая дрожь; так она умерла, и я больше не слышал ее голоса.

Но как она предрекла, ее дитя, девочка, которую, умирая, она произвела на свет, которая вздохнула, только когда прервалось дыхание ее матери, это дитя осталось жить. И странно развивалась она телесно и духовно, и была точным подобием умершей, и я любил ее такой могучей любовью, какой, думалось мне прежде, нельзя испытывать к обитателям земли.

Но вскоре небеса этой чистейшей нежности померкли и их заволокли тучи тревоги, ужаса и горя. Я сказал, что девочка странно развивалась телесно и духовно. Да, странен был ее быстрый рост, но ужасны, о, как ужасны были смятенные мысли, которые овладевали мной, когда я следил за развитием ее духа! И могло ли быть иначе, если я ежедневно обнаруживал в словах ребенка мышление и способности взрослой женщины? Если младенческие уста изрекали наблюдения зрелого опыта? И если в ее больших задумчивых глазах я ежечасно видел мудрость и страсти иного возраста? Когда, повторяю, все это стало очевидно моим пораженным ужасом чувствам, когда я уже был не в силах скрывать это от моей души, не в силах далее бороться с жадной уверовать, - можно ли удивляться, что мною овладели необычайные и жуткие подозрения, что мои мысли с трепетом обращались к невероятным фантазиям и поразительным теориям покоящейся в склепе Мореллы? Я укрыл от любопытных глаз мира ту, кого судьба

принудила меня боготворить, и в строгом уединении моего дома с мучительной тревогой следил за возлюбленным существом, не жалея забот, не упуская ничего.

И по мере того как проходили годы и я день за днем смотрел на ее святое, кроткое и красноречивое лицо, на ее формирующийся стан, день за днем я находил в дочери новые черты сходства с матерью, скорбной и мертвой. И ежечасно тени этого сходства сгущались, становились все более глубокими, все более четкими, все более непонятными и полными ледящего ужаса. Я мог снести сходство ее улыбки с улыбкой матери, но я содрогался от их тождественности; я мог бы выдержать сходство ее глаз с глазами Мореллы, но они все чаще заглядывали в самую мою душу с властным и непознанным смыслом, как смотрела только Морелла. И очертания высокого лба, и шелковые кудри, и тонкие полупрозрачные пальцы, погружающиеся в них, и грустная музыкальность голоса, и главное (о да, главное!), слова и выражения мертвой на устах любимой и живой питали одну неотвязную мысль и ужас - червя, который не умирал!

Так прошли два люстра ее жизни, и моя дочь все еще жила на земле безымянной. "Дитя мое" и "любовь моя" - отцовская нежность не нуждалась в иных наименованиях, а строгое уединение, в котором она проводила свои дни, лишало ее иных собеседников. Имя Мореллы умерло с ее смертью. И я никогда не говорил дочери о ее матери - говорить было невозможно. Нет, весь краткий срок ее существования внешний мир за тесными пределами ее затворничества оставался ей неведом. Но в конце концов обряд крещения представился моему смятенному уму спасением и избавлением от ужасов моей судьбы. И у купели я заколебался, выбирая ей имя. На моих губах теснилось много имен мудрых и прекрасных женщин и былых и нынешних времен, обитательниц моей страны и дальних стран, и много красивых имен женщин, которые были кротки душой, были счастливы, были добры. Так что же подвигло меня потревожить память мертвой и погребенной? Какой демон подстрекнул меня произнести тот звук, одно воспоминание в котором заставляло багряную кровь потоками отхлынуть от висков к сердцу? Какой злой дух заговорил из недр моей души, когда среди сумрачных приделов и в безмолвии ночи я шепнул священнослужителю эти три слога - Морелла? И некто больший, нежели злой дух, исказил черты моего ребенка и стер с них краски жизни, когда, содрогнувшись при этом чуть слышном звуке, она возвела стекленеющие глаза от земли к небесам и, бессильно опускаясь на черные плиты нашего фамильного склепа, ответила:

- Я здесь.

Четко, так бесстрастно и холодно четко раздались эти простые звуки в моих ушах, и оттуда расплавленным свинцом, шипя, излились в мой мозг. Годы... годы могут исчезнуть бесследно, но память об этом мгновении - никогда! И не только не знал я более цветов и лоз, но цикута и кипарис склонялись надо мной ночью и днем. И более я не замечал времени, не ведал, где я, и звезды моей судьбы исчезли с небес, и над землей сомкнулся мрак, и жители ее скользили мимо меня, как неясные тени, и среди них всех я видел только - Мореллу! Ветры шептали мне в уши только один звук, и рокот моря повторял вовек - Морелла. Но она умерла; и сам отнес я ее в гробницу и рассмеялся долгим и горьким смехом, не обнаружив в склепе никаких следов первой, когда положил там вторую Мореллу.

Свидание

Перевод В.Рогова

*О, жди меня! В долине той,
Клянусь, мы встретимся с тобой.*

*Генри Кинг,
епископ Чичестерский.*

Эпитафия на смерть жены

Злосчастный и загадочный человек! - смятенный ослепительным блеском своего воображения и падший в пламени своей юности! Вновь в мечтах моих я вижу тебя! Вновь твой облик возникает передо мною! не таким - ах! - каков ты ныне, в долине хлада и тени, но таким, каким ты должен был быть - расточая жизнь на роскошные размышления в граде неясных видений, в твоей Венеции - в возлюбленном звездами морском Элизиуме, где огромные окна всех палаццо, построенных Палладио, взирают с глубоким и горьким знанием на тайны тихих вод. Да! повторяю - каким ты должен был быть. О, наверное, кроме этого, есть иные миры - мысли иные, нежели мысли неисчислимого человечества, суждения иные, нежели суждения софиста. Кто же тогда призовет тебя к ответу за содеянное тобою? Кто упрекнет тебя за часы ясновидения или осудит как трату жизни те из твоих занятий, что были только переплеском твоих неиссякаемых сил?

В Венеции, под крытою аркою, называемою там Ponte di Sospiri [мост Вздохов (итал.)], встретил я в третий или четвертый раз того, о котором повествую. С чувством смущения воскрешаю я в памяти обстоятельства той встречи. И все же я помню - ах! забыть ли мне? - глубокую полночь, Мост Вздохов, прекрасную женщину и Гений Возвышенного, реявший над узким каналом.

Стоял необычно темный для Италии вечер. Громадные часы на Пьяцце пробили пять. Площадь Кампанила была безлюдна и тиха, и огни в старом Дворце Дожей быстро гасли. Я возвращался домой с Пьяцетты по Большому Каналу. Когда же моя гондола проходила напротив устья канала Святого Марка, откуда-то со стороны его раздался женский голос, внезапно пронзивший тьму диким, истерическим, протяжным вскриком. Встревоженный этим звуком, я вскочил на ноги; а гондольер, выпустив единственное весло, безвозвратно потерял его в черной тьме, и вследствие этого мы были предоставлены на волю течения, в этом месте идущего из большего в меньший канал. Подобно некоему гигантскому черноперому кондору, мы медленно проплывали к Мосту Вздохов, когда сотни факелов, сверкающих в окнах и на лестнице Дворца Дожей, мгновенно превратили глубокий мрак в сверхъестественный сине-багровый день.

Младенец, выскользнув из рук матери, выпал сквозь верхнее окно высокого здания в глубокий, глухой канал. Тихие воды бесстрастно сомкнулись над жертвой; и хотя моя гондола была единственной в поле зрения, многие упорные пловцы уже находились в воде и тщетно искали на ее поверхности сокровище, которое, увы, можно было обрести лишь в ее глубине. На широких, черных мраморных плитах у дворцового входа стояла фигура, которую вряд ли кто-то из видевших ее тогда мог бы с тех пор забыть. То была маркиза Афродита, обожаемая всей Венецией, веселейшая из веселых, прекраснейшая из красивых и, к сожалению, юная жена старого интригана Ментони и мать прелестного младенца, ее первого и единственного, который сейчас, в глубине беспросветных вод, скорбно вспоминал ее нежные ласки и тратил свои хрупкие силы в попытках воззвать к ее имени.

Она стояла одна. Ее маленькие босые серебристые ноги мерцали в черном зеркале мраморных плит. Ее волосы, только что полураспущенные после бала, в потоках алмазов клубились вокруг ее античной головки кудрями, подобными завиткам гиацинта. Прозрачное белоснежное покрывало казалось едва ли не единственным одеянием ее хрупкого тела; но полночный летний воздух был душен, горяч, бестрепетен, и ни единое движение этой подобной изваянию фигуры не всколыхнуло даже складки покрывала, как бы сотканного из легчайшей дымки, которое обволакивало ее, как массивный мрамор - Ниобею. И все же - странно сказать - ее большие, блистающие глаза были устремлены не вниз, не к той могиле, где было погребено ее светлое упование, -я пристально взирали совсем в другом направлении! Тюрьма Старой Республики, по-моему, самое величественное здание во всей Венеции - но как могла эта дама столь пристально вглядываться на него, когда у ее ног захлебывалось ее родное дитя? И темная, мрачная ниша, зияющая прямо напротив ее покоев, - что же могло быть в ее тенях, в ее очертаниях, в ее угрюмых, увитых плющом карнизах, чего бы маркиза ди Ментони не видывала тысячу раз до того? Вздор -кто не знает, что в такие мгновения глаз, подобно разбитому зеркалу, умножает образы своего горя и видит близкую беду в бесчисленных отдаленных местах?

На много ступеней выше маркизы, под аркою шлюза стоял, разряженный, и сам Ментони, похожий на сатира. Время от времени он брэнчал на гитаре, как бы томимый смертельной скукой, а в перерывах давал указания о спасении своего ребенка. Потрясенный до оцепенения, я оцепенел с тех пор, как только услышал крик, и, должно быть, предстал перед столпившимися взволнованными людьми зловещим, призрачным видением, когда, бледный, стоя неподвижно, проплыл мимо них в погребальной гондоле.

Все попытки оказались тщетными. Многие из самых настойчивых в поисках умеряли свои усилия и сдавались унылому горю. Казалось, для младенца было мало надежды (а менее того для матери!), но сейчас из упомянутой темной ниши в стене старой республиканской тюрьмы, расположенной напротив окон маркизы, в полосу света выступила фигура, закутанная в плащ, и, остановясь на мгновение перед головокружительной крутизной, бросилась в воды канала. Еще через мгновение, когда этот человек стал, держа еще живого и дышащего младенца, рядом с маркизой, намокший плащ раскрылся, падая складками у его ног, и перед изумленными зрителями предстала стройная фигура некоего совсем молодого человека, имя которого тогда гремело почти до всей Европе.

Ни слова не вымолвил спаситель. Но маркиза! Сейчас она возьмет свое дитя, прижмет к сердцу, вцепится в маленькое тельце, осыплет его ласками. Увы! Другие руки взяли дитя у незнакомца - другие руки взяли дитя и незаметно унесли во дворец! А маркиза! Ее губы, ее прекрасные губы дрожат; слезы собираются в ее глазах - глазах, что, подобно аканту у Плиния, "нежны и почти влажны". Да! Слезы собираются в этих глазах - и смотрите! Дрожь пошла по всему ее телу, и статуя стала живой! Бледный мраморный лик и даже мраморные ноги, мы видим, внезапно заливают неукротимая волна румянца; ее хрупкое тело пронизывает легкий озноб, легкий, как дуновение среди пышных серебристых лилий в Неаполе.

Почему она покраснела? На этот вопрос нет ответа - быть может, потому, что пораженная ужасом мать второпях покинула укромный будуар, забыв обуть крошечные ноги и накинуть на свои тициановские плечи подобающий наряд. Какая сыщется иная возможная причина для подобного румянца? для безумного взгляда умоляющих очей? для необычайного колыхания трепетных персей? для конвульсивного сжимания дрожащей руки? - той руки, что нечаянно, когда Ментони направился во дворец, опустилась на руку незнакомца. Какая сыщется причина для тихого, весьма тихого голоса, которым маркиза, прощаясь с незнакомцем, произнесла

бессмысленные слова? "Ты победил, - сказала она (или я был обманут плеском воды), - ты победил: через час после восхода солнца - мы встретимся - да будет так!"

=

Шум толпы умолк, огни во дворце погасли, и незнакомец, которого я теперь узнал, один стоял на каменных плитах. Он содрогался от непостижимого волнения и взглядом искал гондолу. Я не мог не предложить ему свою, и он принял мою услугу. Добыв на шлюзе весло, мы направились к его жилищу, а он тем временем быстро овладел собою и завел речь о нашем прежнем отдаленном знакомстве с большою и очевидною сердечностью.

Есть предметы, говоря о которых, мне приятно вдаваться в мельчайшие подробности. Личность этого незнакомца - буду аттестовать его так, ибо тогда он еще являлся незнакомцем для всего мира - личность этого незнакомца один из таких предметов. Он был скорее ниже, чем выше среднего роста; хотя бывали мгновения, когда под воздействием сильной страсти его тело буквально вырастало и опровергало это утверждение. Легкая, почти хрупкая грация его фигуры заставляла ожидать от него скорее той деятельной решимости, высказанной им у Моста Вздохов, нежели геркулесовой мощи, которую, как было известно, он обнаруживал в случае большей опасности. Уста и подбородок божества, неповторимые, дикие, блестящие глаза, порою прозрачные, светло-карие, а порою сверкающие густою чернотой - изобилие черных кудрей, сквозь которые, светясь, проглядывало чело необычайной ширины, цветом сходное со слоновой костью, - таковы были его черты, и я не видел других, столь же классически правильных, кроме, быть может, у мраморного императора Коммода. И все же его облик был таков, что подобных ему впоследствии никто не видывал. Он не обладал единым, постоянно ему присущим выражением, которое могло бы запечатлеться в памяти; облик его, единожды увиденный, мгновенно забывался, но забывался, оставляя неясное и непрестанное желание вновь вспомнить его. Не то чтобы никакая буйная страсть не отбрасывала четкое отражение на зеркало этого лица - но это зеркало, как зеркалам и свойственно, не оставляло на себе следа страсти, как только та проходила.

Прощаясь со мною в ночь нашего приключения, он просил меня, как мне показалось, весьма настоятельно, посетить его очень рано следующим утром. Вскоре после восхода солнца я по его просьбе прибыл к нему в палаццо, одно из тех гигантских сооружений, исполненных мрачной, но фантастической пышности, что высятся над водами Большого канала недалеко от Риальто. Меня провели по широкой, извилистой лестнице, выложенной мозаикой, в покои, чья непревзойденная пышность прямо-таки вырывалась сиянием сквозь открывающуюся дверь, роскошью ослепляя меня и кружа мне голову.

Я знал, что мой знакомец богат. Молва говорила о его состоянии так, что я даже осмеливался называть ее нелепым преувеличением. Но, оглядываясь, я не мог заставить себя поверить, будто есть в Европе хоть один подданный, способный создать царственное великолепие, что горело и пылало кругом.

Хотя, как я сказал, солнце взошло, но светильники все еще пылали. Судя по этому, а также по усталому виду моего знакомого, он всю прошлую ночь не отходил ко сну. В архитектуре и украшениях покоя проступала явная цель ослепить и ошеломить. В небрежении оставались descoга [украшения (лат.)] того, что специалисты называют соответственностью частей или выдержанностью стиля. Взгляд переходил с предмета на предмет, ни на чем не останавливаясь: ни на гротесках греческих живописцев, ни на статуях итальянской работы лучших дней, ни на

огромных, грубых египетских изваяниях. Богатые драпировки в каждой части покоя колыхались под трепетные звуки грустной, заунывной музыки, доносящейся неведомо откуда. Чувства притуплялись от смешанных, перебивающих друг друга благовоний, клубящихся на причудливых витых курильницах вкупе с бесчисленными вспышками и мигающими языками изумрудного и фиолетового огня. Лучи только что взошедшего солнца озаряли все, вливаясь сквозь окна, в каждое из которых было вставлено но большому стеклу пунцового оттенка. Тысячекратно отражаясь там и сям от завес, что спадали с карнизов подобно потокам расплавленного серебра, лучи царя природы смешивались с искусственным освещением и ложились, как бы растекаясь по ковру из драгоценной золотой чилийской парчи.

- Ха! ха! ха! ха! ха! ха! - засмеялся хозяин дома, жестом приглашая меня сесть, как только я вошел, и сам бросаясь на оттоманку и вытягиваясь во весь рост. - Я вижу, - сказал он, заметив, что я не сразу мог примириться с допустимостью столь необычного приветствия, - я вижу, что вы ошеломлены моими апартаментами, моими статуями, моими картинами, оригинальностью моих понятий по части архитектуры и обмелбировки! Опьянели от моего великолепия, а? Но прошу извинить меня, милостивый государь (здесь тон его переменялся и стал воплощением самой сердечности); прошу извинить меня за мой непристойный смех. У вас был такой ошеломленный вид. Кроме того, есть вещи настолько забавные, что человек должен или засмеяться, или умереть. Умереть, смеясь, - вот, наверное, самая великолепная из всех великолепных смертей! Сэр Томас Мор - превосходнейший был человек сэр Томас Мор, - сэр Томас Мор умер смеясь, как вы помните. А в "Абсурдностях" Равизия Текстора приводится длинный перечень лиц, умерших тою же славною смертью. Знаете ли вы, однако, - продолжал он задумчиво, - что в Спарте (которая теперь называется Палеохорами), что в Спарте к западу от цитадели, среди хаоса едва видимых руин, находится нечто наподобие цоколя, на котором поныне различимы буквы LASM. Несомненно, это часть слова GELASMA [Смех (греч.)]. Так вот, в Спарте стояла тысяча храмов и алтарей, посвященных тысяче разных божеств. И странно до чрезвычайности, что алтарь Смеха пережил все остальные! Но в настоящем случае, - тут его голос и манера странным образом переменялись, - я не имею права веселиться за ваш счет. У вас были основания изумляться. Вся Европа не в силах создать ничего прекраснее моей царской комнатки. Другие мои апартаменты ни в коей мере не похожи на этот - они просто-напросто ultra [Верх (лат.)] модной безвкусицы. А это будет лучше моды, не правда ли? И все же стоит показать эту комнату, и она послужит началом последнего крика моды, разумеется, для тех, кто может себе это позволить ценою всего своего родового имени. Однако я уберегся от подобной профанации. За одним исключением, вы единственный человек, не считая меня и моего камердинера, который был посвящен в тайны этого царского чертога, с тех пор как он обрел свой нынешний вид!

Я поклонился с признательностью - ибо подавляющая пышность, благовония и музыка в соединении с неожиданною эксцентричностью его обращения и манер помешали мне выразить словесно мою оценку того, что я мог бы воспринять в качестве комплимента.

- Здесь, - продолжал он, встав и опираясь о мою руку, по мере того как мы расхаживали вокруг покоя, - здесь живопись от греков до Чимабуэ и от Чимабуэ до нашего времени. Как видите, многое выбрано без малейшего внимания к мнениям Добродетели. Но все достойно украшать комнату, подобную этой. Здесь некоторые шедевры великих художников, оставшихся неизвестными; здесь же неоконченные эскизы работы мастеров, прославленных в свое время, даже имена которых по прозорливости академий были предоставлены безмолвию и мне. Что вы

думаете, - спросил он, резко повернувшись ко мне, - что вы думаете об этой Мадонне della Pieta? [Скорбящая (итал.).]

- Это работа самого Гвидо! - воскликнул я со всем энтузиазмом, мне присущим, ибо я пристально рассматривал ее все затмевающую прелесть. - Это работа самого Гвидо! Как могли вы ее добыть? Несомненно, для живописи она то же, что Венера для скульптуры.

- А! - задумчиво произнес он. - Венера? Прекрасная Венера? Венера Медицейская? С крошечной головкой и позолоченными волосами? Часть левой руки (здесь голос его понизился так, что был слышен с трудом) и вся правая суть реставрации, и в кокетство этой правой руки вложена, по моему мнению, аффектация в самом чистом виде. Что до меня, я предпочитаю Венеру Кановы! Аполлон тоже копия - тут не может быть сомнений, - и какой же я слепой глупец, что не в силах увидеть хваленую одухотворенность Аполлона! Я не могу - пожалейте меня! - я не могу не предпочесть Антиноя. Разве не Сократ сказал, что ваятель находит свою статую в глыбе мрамора? Тогда Микеланджело был отнюдь не оригинален в своем двустишии:

Non ha l'ottimo artista alcun concetto Che un marmo solo in non circunscriva. [И высочайший гений не прибавит Единой мысли к тем, что мрамор сам Таит в избытке (итал.)]

Было или должно было быть отмечено, что мы всегда чувствуем в манерах истинного джентльмена отличие от поведения черни, хотя и не могли бы вдруг точно определить, в чем это отличие состоит. В полной мере применяя это замечание к внешнему поведению моего знакомого, я чувствовал, что в тот богатый событиями рассвет оно еще более приложимо к его душевному складу и характеру. И я не могу лучше определить эту его духовную особенность, ставящую его в стороне от всех других людей, чем назвав ее привычкой к напряженному и непрерывному мышлению, определяющей его самые тривиальные действия, вторгающейся даже в его шутки и вплетающейся даже в самые вспышки его веселости, подобно змеям, что выползают, извиваясь, из глаз смеющихся масок на карнизах персепольских храмов.

И все же я не мог не заметить, что сквозь его слова о пустяках, изрекаемые то торжественно, то легкомысленно, постоянно прорывается некий трепет - дрожь, пронизывающая его движения и речи, непокойная взволнованность, казавшаяся мне необъяснимой, а порой и внушавшая тревогу. Часто он останавливался на середине фразы, явно забывая ее начало, и, казалось, прислушивался с глубочайшим вниманием, то ли ожидая чьего-то прихода, то ли вслушиваясь в звуки, должно быть, существовавшие лишь в его воображении.

Во время одного из этих периодов задумчивости или отвлечения от всего, переворачивая страницу "Орфея", прекрасной трагедии поэта и ученого Полициано (первой итальянской трагедии), которая лежала рядом со мною на оттоманке, я обнаружил пассаж, подчеркнутый карандашом. Это был пассаж, находящийся недалеко от конца третьего акта, проникнутый волнующим напряжением, - пассаж, который даже человек, запятнанный пороком, не может прочитать, не испытывая озноб, рожденный неведомым ранее чувством, а женщина - без вдоха. Вся страница была залита свежими слезами; а на противоположном, чистом листе находились следующие строки, написанные по-английски, - и почерком, столь несхожим с причудливым почерком моего знакомого, что лишь с известным трудом я признал его руку:

В твоём я видел взоре, К чему летел мечтой - Зеленый остров в море, Ручей, алтарь святой В
плодах волшебных и цветах - И любой цветок был мой.

Конец мечтам моим! Мой нежный сон, милей всех снов, Растаял ты, как дым! Мне слышен Будущего зов: "Вперед!" - но над былым Мой дух простерт - без чувств, без слов, Подавлен, не движем!

Вновь не зажжется надо мной Любви моей звезда. "Нет, никогда, нет, никогда (Так дюнам говорит прибой) Не полетит орел больной И ветвь, разбитая грозой, Вовек не даст плода!"

Мне сны дарят отраду, Мечта меня влечет К пленительному взгляду В эфирный хоровод, Где вечно льет прохладу Плеск италийских вод.

И я живу, тот час кляня, Когда прибой бурливый Тебя отторгнул от меня Для ласки нечестивой - Из края, где, главу клоня, Дрожат и плачут ивы!

То, что эти строки написаны были по-английски - на языке, по моим предположениям, автору неизвестном, - не вызвало у меня удивления. Я слишком хорошо знал о многообразии его познаний и о чрезвычайной радости, которую он испытывал, скрывая их, чтобы изумляться какому-либо открытию в этом роде; но место и дата их написания, признаться, немало изумили меня. Под стихами вначале стояло слово "Лондон", впоследствии тщательно зачеркнутое, но не настолько, чтобы не поддаться прочтению пристальным взором. Я говорю, что это немало изумило меня, ибо я прекрасно помнил, что в одну из прежних бесед с моим знакомцем я особенно спрашивал у него, не встречал ли он когда-либо в Лондоне маркизу ди Ментони (которая несколько лет, предшествующих ее браку, жила в этом городе), и из его ответа, если только я не ошибся, я понял, будто он никогда не посещал столицу Великобритании. Заодно стоит здесь упомянуть, что я слышал не раз (не оказывая, разумеется, доверия сообщению, сопряженному со столь большим неправдоподобием), будто человек, о котором я говорю, не только по рождению, но и по образованию был англичанин.

- Есть одна картина, - сказал он, не замечая, что я читал стихотворение, - есть одна картина, которую вы не видели. - И, отдернув какой-то полог, он открыл написанный во весь рост портрет маркизы Афродиты.

Искусство человека не могло бы совершить большего для изображения ее сверхчеловеческой красоты. Та же эфирная фигура, что прошлую ночью стояла передо мною на ступенях Дворца Дожей, стала передо мною вновь. Но в выражении ее черт, сияющих улыбками, еще таилась (непостижимая аномалия!) мерцающий отблеск печали, всегда неразлучной с совершенством прекрасного. Ее правая рука покоилась на груди, а левою она указывала вниз, на вазу, причудливую по очертаниям. Маленькая ножка, достойная феи, едва касалась земли; и, еле различимые в сиянии, что словно бы обволакивало и ограждало ее красоту, как некую святыню, парили прозрачные, нежные крылья. Я перевел взор на фигуру моего знакомого, и энергичные строки из Чепменова "Бюсси д'Амбуа" непроизвольно затрепетали у меня на губах:

Он стоит, Как изваянье римское! И будет Стоять, покуда смерть его во мрамор Не обратит!

- Ну, - наконец сказал он, поворачиваясь к массивному серебряному столу, богато украшенному эмалью, где стояли несколько фантастически расписанных кубков и две большие этрусские вазы той же необычайной формы, что и ваза на переднем плане портрета, и наполненные, как я предположил, иоганнисбергером. - Ну, - сказал он отрывисто, - давайте выпьем! Еще рано - но давайте выпьем. В самом деле, еще рано, - продолжал он задумчиво, в то время как херувим, опустив тяжелый золотой молот, наполнил покои звоном, возвещающим первый послерассветный час, - в самом деле, еще рано, но не все ли равно? Давайте выпьем!

Совершим возлияние величавому солнцу, кое эти пестрые светильники и курильницы тщатся затмить! - И, заставив меня выпить стакан за его здоровье, он залпом осушил один за другим несколько кубков вина.

- Мечтать, - продолжал он, вновь принимая тон отрывистой беседы и поднося одну из великолепных ваз к ярко пылающей курильнице, - мечтать было делом моей жизни. И с этой целью я воздвиг себе, как видите, чертог мечтаний. Мог ли я воздвигнуть лучший в самом сердце Венеции? Правда, вы замечаете вокруг себя смешение архитектурных стилей. Чистота Ионии оскорблена здесь допотопными орнаментами, а египетские сфинксы возлежат на парчовых коврах. И все же конечный эффект покажется несообразным только робкому. Единство места и в особенности времени - пугала, которые устрашают человечество, препятствуя его созерцанию возвышенного. Я сам некогда был этому сторонник, но душа моя пресытилась подобными выпренными глупостями. Все, что ныне окружает меня, куда более отвечает моим стремлениям. Словно эти курильницы, украшенные арабесками, дух мой извивается в пламени, и это бредовое окружение готовит меня к безумнейшим зрелищам той страны сбывшихся мечтаний, куда я теперь поспешно отбываю. - Он внезапно прервал свои речи, опустил голову на грудь и, казалось, прислушивался к звуку, мне неслышному. Наконец он выпрямился во весь рост, устремил взор ввысь и выкрикнул строки епископа Чичестерского:

О, жди меня! В долине той, Клянусь, мы встретимся с тобой.

В следующее мгновение, уступая силе вина, он упал и вытянулся на оттоманке.

Тут на лестнице раздались быстрые шаги, а за ними последовал громкий стук в двери. Я поспешил предотвратить новый стук, когда в комнату ворвался паж из дома Ментони и голосом, прерывающимся от нахлынувших чувств, пролепетал бессвязные слова: "Моя госпожа! Моя госпожа! Отравлена! Отравлена! О, прекрасная Афродита!"

Смятенный, я бросился к оттоманке и попытался привести спящего в чувство, дабы он узнал потрясающую весть. Но его конечности окоченели, его уста посинели, его недавно сверкавшие глаза были заведены в смерти. Я отшатнулся к столу - рука моя опустилась на почерневый, покрытый трещинами кубок, -и внезапное постижение всей ужасной правды вспышкой молнии озарило мне душу.

Тень

Перевод: В.Рогов

Парабола

Если я пойду и долиною тени...

Псалом Давида

Вы, читающие, находитесь еще в числе живых; но я, пишущий, к этому времени давно уйду в край теней. Ибо воистину странное свершится и странное откроется, прежде чем люди увидят написанное здесь. А увидев, иные не поверят, иные усумнятся, и все же немногие найдут пищу для долгих размышлений в письменах, врезанных здесь железным стилосом.

Тот год был годом ужаса и чувств, более сильных, нежели ужас, для коих на земле нет наименования. Ибо много было явлено чудес и знамений, и повсюду, над морем и над сушею, распростерлись черные крыла Чумы. И все же тем, кто постиг движения светил, не было неведомо, что небеса предвещают зло; и мне, греку Ойносу, в числе прочих, было ясно, что настало завершение того семьсот девяносто четвертого года, когда с восхождением Овна планета Юпитер сочетается с багряным кольцом ужасного Сатурна. Особенное состояние небес, если я не ошибаюсь, сказалось не только на вещественной сфере земли, но и на душах, мыслях и воображении человечества.

Над бутылками красного хиосского вина, окруженные стенами роскошного зала, в смутном городе Птолемаиде, сидели мы ночью, всемером. И в наш покой вел только один вход: через высокую медную дверь; и она, вычеканенная искуснейшим мастером Коринносом, была заперта изнутри. Черные завесы угрюмой комнаты отгораживали от нас Луну, зловещие звезды и безлюдные улицы -- но предвещанье и память Зла они не могли отгородить. Вокруг нас находилось многое -- и материальное и духовное, -- что я не могу точно описать: тяжесть в атмосфере... ощущение удушья.... тревога и, прежде всего, то ужасное состояние, которое испытывают нервные люди, когда чувства бодрствуют и живут, а силы разума починут сном. Мертвый груз давил на нас. Он опускался на наши тела, на убранство зала, на кубки, из которых мы пили; и все склонялось и никло -- все, кроме языков пламени в семи железных светильниках, освещавших наше пиршество. Вздываясь высокими, стройными полосами света, они горели, бледные и недвижные; и в зеркале, образованном их сиянием на поверхности круглого эбенового стола, за которым мы сидели, каждый видел бледность своего лица и непокойный блеск в опущенных глазах сотрапезников. И все же мы смеялись и веселились присущим нам образом, то есть истерично; и пели песни Анакреона, то есть безумствовали; и жадно пили, хотя багряное вино напоминало нам кровь. Ибо в нашем покое находился еще один обитатель -- юный Зоил. Мертвый, лежал он простертый, завернутый в саван -- гений и демон сборища. Увы! Он не участвовал в нашем веселье, разве что его облик, искаженный чумою, и его глаза, в которых смерть погасила морское пламя лишь наполовину, казалось, выражали то любопытство к нашему веселью, какое, быть может, умершие способны выразить к веселью обреченных смерти. Но хотя я, Ойнос, чувствовал, что глаза почившего остановились на мне, все же я заставил себя не замечать гнева в их выражении и, пристально вперив мой взор в глубину эбенового зеркала, громко и звучно пел песни теосца. Но понемногу песни мои прервались, а их отголоски, перекатываясь в черных, как смоль, завесах покоя, стали тихи, неразличимы и, наконец, заглохли. И внезапно из черных завес, заглушивших напевы, возникла темная, зыбкая тень -- подобную тень низкая луна могла бы отбросить от человеческой фигуры -- но то не была тень человека или бога или какого-либо ведомого нам существа. И, зыблясь меж завес покоя, она в конце концов застыла на меди дверей. Но тень была неясна, бесформенна и неопределенна, не тень человека и не тень бога -- ни бога Греции, ни бога Халдеи, ни какого-либо египетского бога. И тень застыла на меди дверей, под дверным сводом, и не двинулась, не проронила ни слова, но стала недвижно на месте, и дверь, на которой застыла тень, была, если правильно помню, прямо против ног юного Зоила, облаченного в саван. Но мы семеро, увидев тень выходящего из черных завес, не посмели взглянуть на нее в упор, но опустили глаза и долго смотрели в глубину эбенового зеркала. И наконец я, Ойнос, промолвив несколько тихих слов, спросил тень об ее обителище и прозвании. И тень отвечала: "Я -- Тень, и обителище мое вблизи от птолемаидских катакомб, рядом со смутными равнинами Элизиума, сопредельными мерзостному Харонову проливу". И тогда мы семеро в ужасе вскочили с мест и стояли, дрожа и трепеща, ибо звуки ее голоса были не звуками голоса какого-либо одного существа, но звуками голосов бесчисленных существ, и, переливаясь из слога

в слог, сумрачно поразили наш слух отлично памятные и знакомые нам голоса многих тысяч ушедших друзей.

Тишина

Перевод: В.Рогов

Притча

Горные вершины дремлют;

В долинах, утесах и пещерах тишина.

Алкман

-- Внемли мне, -- молвил Демон, возлагая мне руку на голову. -- Край, о котором я повествую, -- унылый край в Ливии, на берегах реки Заиры, и нет там ни покоя, ни тишины.

Воды реки болезненно-шафранового цвета; и они не струятся к морю, но всегда и всегда вздымаются, бурно и судорожно, под алым оком солнца. На многие мили по обеим сторонам илистого русла реки тянутся бледные заросли гигантских водяных лилий. Они вздыхают в безлюдье, и тянут к небу длинные, мертвенные шеи, и вечно кивают друг другу. И от них исходит неясный ропот, подобный шуму подземных вод. И они вздыхают.

Но есть граница их владениям -- ужасный, темный, высокий лес. Там, наподобие волн у Гебридских островов, непрестанно колыхается низкий кустарник. Но нет ветра в небесах. И высокие первобытные деревья вечно качаются с могучим шумом и грохотом. И с их уходящих ввысь вершин постоянно, одна за другою, надают капли росы. И у корней извиваются в непокойной дремоте странные ядовитые цветы. И над головою, громко гудя, вечно стремятся на запад серые тучи, пока не перекачатся, подобно водопаду, за огненную стену горизонта. Но нет ветра в небесах. И по берегам реки Заиры нет ни покоя, ни тишины.

Была ночь, и падал дождь; и, падая, то был дождь, но, упав, то была кровь. И я стоял в трясине среди высоких лилий, и дождь падал мне на голову -- и лилии кивали друг другу и вздыхали в торжественном запустении.

И мгновенно сквозь прозрачный мертвенный туман поднялась багровая луна. И взор мой упал на громадный серый прибрежный утес, озаренный светом луны. И утес был сер, мертвен, высок, -- и утес был сер. На нем были высечены письмена. И по трясине, поросшей водяными лилиями, я подошел к самому берегу, дабы прочитать письмена, высеченные на камне. Но я не мог их постичь. И я возвращался в трясину, когда еще багровой засияла луна, и я повернулся и вновь посмотрел на утес и на письмена, и письмена гласили: запустение.

И я посмотрел наверх, и на краю утеса стоял человек; и я укрылся в водяных лилиях, дабы узнать его поступки. И человек был высок и величав и завернут от плеч до ступней в тогу Древнего Рима. И очертания его фигуры были неясны -- но лик его был ликом божества; и ризы ночи, тумана, луны и росы не скрыли черт его лица. И чело его было высоко от многих дум, и взор его был безумен от многих забот; и в немногих бороздах его ланит я прочел повествование о скорби, усталости, отвращении к роду людскому и жажде уединения.

И человек сел на скалу и склонил голову на руку и смотрел на запустение. Он смотрел на низкий непокойный кустарник, и на высокие первобытные деревья, и на полные гула небеса, и на багровую луну. И я затаился в сени водяных лилий и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

И человек отвел взор от неба и взглянул на унылую реку Заиру, и на мертвенную желтую воду, и на бледные легионы водяных лилий. И человек внимал вздохи водяных лилий и ропот, не умолкавший среди них. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я спустился в трясину и направился по воде в глубь зарослей водяных лилий и позвал гиппопотамов, живущих на островках среди топи. И гиппопотамы услышали мой зов и пришли с бегемотом к подножью утеса и рычали, громко и устрашающе, под луной. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожала в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я проклял стихии проклятием буйства; и страшная буря разразилась на небесах, где до того не было ветра. И небо потемнело от ярости бури -- и дождь бил по голове человека -- и река вышла из берегов -- и воды ее вспенились от мучений -- и водяные лилии пронзительно кричали -- и деревья рушились под натиском ветра -- и перекатывался гром -- и низвергалась молния -- и утес был сотрясен до основания. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я разгневался и проклял проклятием тишины реку и лилии, ветер и лес, небо и гром и вздохи водяных лилий. И они стали прокляты и затихли. И луна перестала карабкаться ввысь по небесной тропе, и гром заглох, и молния не сверкала, и тучи недвижно повисли, и воды вернулись в берега и застыли, и деревья более не качались, и водяные лилии не кивали друг другу и не вздыхали, и меж ними не слышался ропот, не слышалось и тени звука в огромной, бескрайней пустыне. И я взглянул на письмена утеса и увидел, что они изменились; и они гласили: тишина.

И взор мой упал на лицо человека, и лицо его было бледно от ужаса. И он поспешно поднял голову и встал на утесе во весь рост и слушал. Но не было ни звука в огромной бескрайней пустыне, и письмена на утесе были: тишина. И человек затрепетал и отвернулся и кинулся прочь, так что я его более не видел".

Да, прекрасные сказания заключены в томах Волхвов, в окованных железом печальных томах Волхвов. Там, говорю я, чудесные летописи о Небе и о Земле, и о могучем море, и о Джиннах, что завладели морем и землей и высоким небом. Много мудрого таилось и в речениях Сивилл; и священные, священные слова были услышаны встарь под тусклой листвой, трепетавшей вокруг Додоны, но, клянусь Аллахом, ту притчу, что поведал мне Демон, восседая рядом со мною в тени могильного камня, я числю чудеснейшей всех! И, завершив свой рассказ, Демон снова упал в разверстую могилу и засмеялся. И я не мог смеяться с Демоном, и он проклял меня, потому что я не мог смеяться. И рысь, что вечно живет в могиле, вышла и простерлась у ног Демона и неотрывно смотрела ему в лицо.

Трагическое положение. Коса времени

Что так безмерно огорчило вас,

Прекраснейшая дама?

"Комус"

Был тихий и ясный вечер, когда я вышла пройтись по славному городу Эдине. На улицах царил неопикуемый шум и толкотня. Мужчины разговаривали. Женщины кричали. Дети вопили. Свиньи визжали. А повозки - те громыхали. Быки - те ревели. Коровы - те мычали. Лошади - те ржали. Кошки - те мяукали. Собаки - те танцевали. Танцевали! Возможно ли? Танцевали! Увы, подумала я, для меня пора танцев миновала! Так бывает всегда. Целый сонм печальных воспоминаний пробуждается порой в душе гения и поэта-созерцателя, в особенности гения, осужденного на непрерывное, постоянное и, можно сказать, длительное - да, длительное и дрящееся - горькое, мучительное, тревожащее - и да позволено мне будет сказать - очень тревожащее воздействие ясного, божественного, небесного, возвышенного, возвышающего и очищающего влияния того, что по праву можно назвать самой завидной, поистине завидной - нет! самой благотворно прекрасной, самой сладостно неземной и, так сказать, самой миленькой (если мне простят столь смелое слово) вещи в целом мире (прости, любезный читатель!). Однако я позволила себе увлечься. Повторяю, в такой душе сколько воспоминаний способен пробудить любой пустяк! Собаки танцевали! А я - я не могла! Они резвились - я плакала. Они прыгали - я горько рыдала. Волнующая картина! Образованному читателю она несомненно напикнит прелестные строки о всеобщем соответствии в начале третьего тома классического китайского романа, великолепного Пью Чай-ли.

В моих одиноких скитаниях по городу у меня было два смиренных, но верных спутника. Диана, милый мой пудель! Прелестное создание! На ее единственный глаз свешивался клочок шерсти, на шее был изящно повязан голубой бант. Диана была не более пяти дюймов роста, но голова ее была несколько больше туловища, а хвост, отрубленный чрезвычайно коротко, делал ее общей любимицей и придавал этому незаурядному животному вид оскорбленной невинности.

А Помпей, мой негр! - милый Помпей! Как мне забыть тебя? Я опиралась на руку Помпея. Его рост был три фута (я люблю точность), возраст - семьдесят, а быть может, и восемьдесят лет. Он был кривоног и тучен. Рот его, равно как и уши, нельзя было назвать маленьким. Однако зубы его были подобны жемчугу, а огромные выпуклые белки сверкали белизной. Природа не наделила его шеей, а щиколотки (что обычно для представителей его расы) поместила в середине верхней части стопы. Он был одет с удивительной простотой. Весь его костюм состоял из шейного платка в девять дюймов и почти нового суконного пальто, принадлежавшего прежде высокому и статному знаменитому доктору Денеггрошу. Это было отличное пальто. Хорошо скроенное. Хорошо сшитое. Пальто было почти новым. Помпей придерживал его обеими руками, чтобы оно не попало в грязь.

Нас было трое, и двоих я уже описала. Был еще и третий - этим третьим была я сама. Я - синьора Психея Зенобия. А вовсе не Сьюки Снобс. У меня очень импонирующая наружность. В тот памятный день на мне было платье малинового атласа и небесно-голубая арабская мантилья. Платье было отделано зелеными аграфами и семью изящными оборками из оранжевых аурикул. Итак, я была третьей. Был пудель. Был Помпей. И была я. Нас было трое. Говорят, что и фурий было первоначально всего три - Мельти, Нимми и Хетти - Размышление, Память и Пиликанье.

Опираясь на руку галантного Помпея и сопровождаемая па почтительном расстоянии Дианой, я шла по одной из людных и живописных улиц ныне опустелой Эдины. Внезапно моим глазам

предстала церковь - готический собор - огромный, старинный, с высоким шпилем, уходящим в небо. Что за безумие овладело мною? Зачем поспешила я навстречу року? Меня охватило неудержимое желание подняться на головокружительную высоту и оттуда взглянуть на огромный город. Дверь собора была открыта, словно приглашая войти. Судьба моя решилась. Я вступила под мрачные своды. Где был мой ангел-хранитель, если такие ангелы существуют? Если! Короткое, но зловещее слово! Целый мир тайн, значений, сомнений и неизвестности заключен в твоих четырех буквах! Я вступила под мрачные своды! Я вошла; ничего не задев своими оранжевыми оборками, я прошла под порталом и оказалась в преддверии храма. Так, говорят, огромная река Альфред протекала под морским дном, не портясь и не промокая.

Я думала, что лестнице не будет конца. Кругом! Да, ступени шли кругом и вверх, кругом и вверх, кругом и вверх, пока мне и догадливому Помпею, на которого я опиралась со всей доверчивостью первой привязанности, не пришло в голову, что верхний конец этой колоссальной винтовой лестницы был случайно, а быть может и намеренно, снят. Я остановилась, чтобы передохнуть; и тут произошло нечто слишком важное как в моральном, так и в философском смысле, чтобы можно было обойти это молчанием. Мне показалось - я даже была уверена и не могла ошибиться, ведь я уже несколько минут внимательно и тревожно наблюдала движения моей Дианы - повторяю, ошибиться я не могла - Диана почуяла крысу! Я тотчас обратила на это внимание Помпея, и он, он согласился со мной. Сомнений быть не могло. Крысу почуяли - и почуяла ее Диана. Силы небесные! Как мне забыть глубокое волнение этой минуты? Увы! Что такое хвалебный ум человека? Крыса! Она была тут, то есть где-то поблизости. Диана почуяла крысу. А я-я. не могла! Так, говорят, прусский Ирис обладает для некоторых сладким и очень сильным ароматом, тогда как для других он совершенно лишен запаха.

Наконец лестница кончилась; всего три-четыре ступеньки отделяли нас от ее верхней площадки. Мы поднялись еще, и нам оставался только один шаг. Один шаг! Один маленький шаг! Сколько людского счастья или горя часто зависит от одного такого шага по великой лестнице жизни! Я подумала о себе, потом о Помпее, а затем о таинственной и необъяснимой судьбе, тяготеющей над нами. Я подумала о Помпее, увы, я подумала о любви! Я подумала о многих ложных шагах, которые сделаны и еще могут быть сделаны. Я решила быть более сдержанной, более осторожной. Я отняла у Помпея свою руку и сама, без его помощи, преодолела последнюю ступеньку и взошла на колокольню. Мой пудель тотчас последовал за мной. Помпей остался позади. Стоя на вершине лестницы, я ободряла его. Он протянул ко мне руку, но при этом, к несчастью, выпустил пальто, которое придерживал. Ужели боги не устанут нас преследовать? Пальто упало, и Помпей наступил на его длинные, волочившиеся полы. Он споткнулся и упал - такое следствие было неизбежно. Он упал вперед и своей проклятой головой ударился в мою, в мою грудь; увлекая меня за собою, он свалился на твердый, омерзительно грязный поп колокольни. Но моя месть была решительной, немедленной и полной. Яростно вцепившись обеими руками в его шерстистую голову, я выдрала большие клочья этой жесткой, курчавой черной шерсти и с презрением отшвырнула их прочь. Они упали среди колокольных веревок и там застряли. Помпей поднялся и не произнес ни слова. Он лишь жалобно посмотрел на меня своими большими глазами - и вздохнул. О боги, что это был за вздох! Он проник в мое сердце, А эти волосы, эта шерсть! Если бы я могла до нее дотянуться, я омочила бы ее слезами раскаяния. Но увы! Она была теперь недосыгаема. Качаясь среди колокольных веревок, она казалась мне все еще живою. Мне чудилось, что она встала дыбом от негодования. Так, говорят, Хэппиденди Флос Аэрис с острова Ява очень красиво цветет и продолжает жить, если его выдернуть с корнями. Туземцы подвешивают его к потолку и наслаждаются его ароматом в течение нескольких лет.

Мы помирились и оглянулись вокруг себя, ища отверстия, из которого открывался бы вид на город Эдину. Окон там не было. Свет проникал в мрачное помещение только через квадратный проем диаметром около фута, находившийся футах в семи от пола. Но чего не совершит энергия истинного гения! Я решила добраться до этого отверстия. Под ним находилось множество колес, шестерен и других таинственных частей часового механизма, а сквозь отверстие шел от этого механизма железный стержень. Между колесами и стеной едва можно было протиснуться - но я была исполнена отчаянной решимости и упорствовала в своем намерении. Я подозвала Помпея.

- Видишь это отверстие, Помпей? Я хочу оттуда выглянуть. Стань прямо под ним, вот здесь. Теперь вытяни руку, и я на нее встану, вот так. А теперь другую руку, Помпей, и я влезу тебе на плечи.

Он сделал все, чего я хотела, и, когда я выпрямилась, оказалось, что я легко могу просунуть в проем голову и шею. Вид открывался дивный. Ничто не могло быть великолепнее. Я только велела Диане вести себя смиренно, а Помпея заверила, что буду его щадить и постараюсь не слишком давить ему на плечи. Я сказала, что буду с ним нежна - "осси тандр ке бифштекс" [Нежна, как бифштекс (испорч. франц.)]. Проявив таким образом должное внимание к моему верному другу, я с восторгом и упоением предалась созерцанию пейзажа, столь услужливо представившегося моему взору.

Впрочем, на эту тему я не буду распространяться. Я не стану описывать город Эдинбург. Все побывали в Эдинбурге - древней Эдине. Я ограничусь важнейшими подробностями собственных злоключений. Удовлетворив отчасти свое любопытство относительно размеров, расположения и общего вида города, я успела затем оглядеть церковь, в которой находилась, и изящную архитектуру ее колокольни. Я обнаружила, что отверстие, в которое я просунула голову, находилось в циферблате гигантских часов и снизу должно было казаться дырочкой для ключа, какие бывают у французских карманных часов. Оно несомненно предназначалось для того, чтобы часовой мастер мог просунуть руку и в случае надобности перевести стрелку изнутри. Я с изумлением увидела также, насколько велики эти стрелки, из которых более длинная имела в длину не менее десяти футов, а в самом широком месте - около девяти дюймов ширины. Стрелки были, как видно, из твердой стали, и края их казались очень острыми. Заметив эти и некоторые другие подробности, я снова обратила свой взор на великолепную панораму, расстилающуюся внизу, и погрузилась в ее созерцание.

Спустя несколько минут меня отвлек от этого голос Помпея, который заявил, что дольше не может выдержать, и попросил, чтобы я была так добра и слезла. Требование было неблагоразумным, и я ему это высказала в довольно пространной речи. Он отвечал, но явно не понимая моих мыслей по этому поводу. Тогда я рассердилась и напрямик сказала ему, что он дурак, совершил "игнорамус" и "клянчит"; что все его понятия - "инсоммари явис", и слова не лучше - какие-то "аниманинаборы". Этим он, по-видимому, удовлетворился, а я вернулась к созерцанию.

Через какие-нибудь полчаса после нашей словесной стычки, все еще поглощенная божественным ландшафтом, расстилавшимся подо мною, я вздрогнула от прикосновения чего-то очень холодного, слегка нажавшего мне сзади на шею. Излишне говорить, как я перепугалась. Я знала, что Помпей стоит у меня под ногами, а Диана, по моему строгому приказу, сидит на задних лапках в дальнем углу помещения. Что же это могло быть? Увы! Я слишком скоро это узнала. Слегка повернув голову, я к своему величайшему ужасу увидела, что огромная, блестящая минутная стрелка, подобная мечу, обращаясь вокруг циферблата, достигла моей шеи. Я поняла,

что нельзя терять ни секунды. Я рванулась назад - но было слишком поздно. Я уже не могла вынуть голову из страшной западни, в которую она попала и которая продолжала смыкаться с ужасающей быстротой. Ужас этого мгновения невозможно себе представить. Я вскинула руки и изо всех сил принялась толкать вверх массивную стальную полосу. С тем же успехом можно было пытаться приподнять весь собор. Стрелка опускалась все ниже, ниже и ниже и все ближе ко мне. Я позвала на помощь Помпея, но он сказал, что я его обидела, назвав старым дураком, который клянчит. Я громко позвала Диану, но та ответила только "вау, вау" и еще, что я "не велела ей ни в коем случае выходить из угла". Итак, от моих спутников нечего было издать помощи.

Между тем массивная и страшная Коса Времени (ибо теперь я поняла буквальное значение этой классической фразы) продолжала свое безостановочное движение. Она опускалась все ниже. Ее острый край уже на целый дюйм впился в мое тело, и мысли мои начали мешаться. Я видела себя то в Филадельфии, в обществе статного доктора Денегроша, то в приемной мистера Блэквуда, где слушала его драгоценные наставления. А потом вдруг нахлынули сладостные воспоминания о прежних, лучших днях, и я перенеслась в то счастливое время, когда мир не был для меня пустыней, а Помпей был менее жестокосерд.

Тиканье механизма забавляло меня. Повторяю, забавляло, ибо теперь мое состояние граничило с полным блаженством, и каждый пустяк доставлял мне удовольствие. Неумолкающее тик-так, тик-так, тик-так звучало в моих ушах дивной музыкой и порою даже напоминало прекрасные проповеди доктора Оллапода. А крупные цифры на циферблате - какой умный у них был вид! Они принялись танцевать мазурку, и больше всего мне понравилось исполнение ее цифрой V. Она, несомненно, получила отличное воспитание. В ней не было ничего вульгарного, а в движениях - ни малейшей нескромности. Она восхитительно делала пируэты, крутясь на своем остром конце. Я попыталась было предложить ей стул, ибо она казалась утомленной танцем - и только тут вполне поняла свое безвыходное положение. Поистине безвыходное! Стрелка врезалась мне в шею уже на два дюйма. Я ощущала нестерпимую боль. Я призывала смерть и среди своих страданий невольно повторяла прекрасные стихи поэта Мигеля де Сервантеса:

Ванни Бюрен, тан эскондида,

Квори но ти сенти венте

Полк на пляже делли мори

Номми, торни, дари види.

Но меня ожидало новое бедствие, невыносимое даже для самых крепких нервов. Под давлением стрелки глаза мои начали вылезать из орбит. Пока я раздумывала, как трудно будет без них обойтись, один из них вывалился и, скатившись с крутой крыши колокольни, упал в водосток, проложенный вдоль крыши главного здания. Не столь обидна была потеря глаза, сколько нахальный, независимый и презрительный вид, с которым он глядел на меня, после того как выпал. Он лежал в водосточном желобе у меня под носом и напускал на себя важность, которая была бы смешна, если бы не была противна. Никогда еще ни один глаз так не хлопал и не подмигивал. Подобное поведение моего глаза не только раздражало меня своей явной дерзостью и гнусной неблагодарностью, но и причиняло мне крайнее неудобство вследствие сродства, которое всегда существует между двумя глазами одной и той же головы, какое бы расстояние их ни разделяло. Поэтому я волей-неволей моргала и подмигивала вместе с мерзавцем, лежавшим у меня перед носом. Вскоре, однако, пришло облегчение, так как выпал и второй глаз. Он упал туда же,

куда его собрат (возможно, тут был сговор). Они вместе выкатились из водостока, и я, признаться, была рада от них избавиться.

Стрелка врезалась мне в шею уже на четыре с половиной дюйма, и ей оставалось только перерезать последний лоскуток кожи. Я испытывала полное счастье, ибо сознавала, что всего через несколько минут придет конец моему неприятному положению. В этих ожиданиях я не обманулась. Ровно в двадцать пять минут шестого огромная минутная стрелка продвинулась на своем страшном пути настолько, что перерезала оставшуюся часть моей шеи. Я без сожаления увидела, как голова, причинившая мне столько хлопот, окончательно отделилась от моего туловища. Она скатилась по стене колокольни, па миг задержалась в водосточном желобе, а затем, подпрыгнув, оказалась посреди улицы.

Должна откровенно признаться, что теперь мои ощущения приняли чрезвычайно странный, нет, более того, таинственный и непонятный характер. Мое сознание находилось одновременно и тут и там. Головой я считала, что я, то есть голова, и есть настоящая синьора Психея Зенобия, а спустя мгновение убеждалась, что моя личность заключена именно в туловище. Желая прояснить свои мысли на этот счет, я полезла в карман за табакеркой, но достав ее и попытавшись обычным образом применить щепотку ее приятного содержимого, я тотчас поняла свою несостоятельность и кинула табакерку вниз, своей голове. Она с большим удовольствием понюхала табак и улыбнулась мне в знак признательности. Вскоре после этого она обратилась ко мне с речью, которую я плохо расслышала за неимением ушей. Однако я поняла, что она удивляется моему желанию жить при таких обстоятельствах. В заключение она привела благородные слова Ариосто:

Иль повер омо ке нон серри корти

И лиху бился тенти эрри мертви,

сравнивая меня таким образом с героем, который в пылу битвы не заметил, что он мертв, и продолжал доблестно сражаться. Теперь ничто уже не мешало мне сойти с моего возвышения, что я и сделала. Но что уж такого особенно странного увидел во мне Помпей, я и поныне не знаю. Он разинул рот до ушей, а глаза зажмурил так крепко, точно собирался колоть орехи между век. Затем, сбросив свое пальто, он мотнулся к лестнице и исчез. Я бросила вслед негодяю страстные слова Демосфена:

Эндрью О'Флегетон, как можешь бросать меня? -

и повернулась к своей любимице, к одноглазой лохматой Диане. Увы! Что за страшное зрелище предстало моим глазам! Неужели это крыса юркнула только что в нору? А это - неужели это обглоданные кости моего ангелочка, съеденного злобным чудовищем? О боги! Что я вижу - не тень ли это, не призрак ли, не дух ли моей любимой собачки сидит в углу с такой меланхолической грацией? Но чу! Она заговорила, и о небо! на языке Шиллера:

Унт штабби дак, зо штабби дун

Дук зи! Дук зи!

Увы! Сколько правды в ее словах!

Пусть это смерть - я смерть вкусил

У ног, у ног, у милых ног твоих.

Нежное создание! Она тоже пожертвовала собою ради меня. Без собаки, без негра, без головы, что еще остается несчастной синьоре Психее Зенобии? Увы, ничего! Все кончено.

Фон Кемпелен и его открытие

Перевод Н.Демуровой

После весьма детальной и обстоятельной работы Араго, - я не говорю сейчас о резюме, опубликованном в "Журнале Простака" вместе с подробным заявлением лейтенанта Мори, - вряд ли меня можно заподозрить в том, что, предлагая несколько беглых замечаний об открытии фон Кемпелена, я претендую на научное рассмотрение предмета. Мне хотелось бы, прежде всего, просто сказать несколько слов о самом фон Кемпелене (с которым несколько лет тому назад я имел честь быть лично немного знакомым), ибо все связанное с ним не может не представлять и сейчас интереса, и, во-вторых, взглянуть на результаты его открытия в целом и поразмыслить над ними.

Возможно, однако, что тем поверхностным наблюдениям, которые я хочу здесь высказать, следует предпослать решительное опровержение распространенного, по-видимому, мнения (возникшего, как всегда бывает в таких случаях, благодаря газетам), что в открытии этом, как оно ни поразительно, что не вызывает никаких сомнений, у фон Кемпелена не было предшественников.

Сошлюсь на стр. 53 и 82 "Дневника сэра Хамфри Дэви" (Коттл и Манро, Лондон, 150 стр.). Из этих страниц явствует, что прославленный химик не только пришел к тому же выводу, но и предпринял также весьма существенные шаги в направлении того же эксперимента, который с таким триумфом завершил сейчас фон Кемпелен. Хотя последний нигде ни словом об этом не упоминает, он, безусловно (я говорю это не колеблясь и готов, если потребуется, привести доказательства), обязан "Дневнику", по крайней мере первым намеком на свое начинание. Не могу не привести два отрывка из "Дневника", содержащие одно из уравнений сэра Хамфри, хотя они и носят несколько технический характер. [Поскольку мы не располагаем необходимыми алгебраическими символами и поскольку "Дневник" можно найти в библиотеке Атенеума, мы опускаем здесь некоторую часть рукописи мистера По. - Издатель.]

Подхваченный всеми газетами абзац из "Курьера в карьер", в котором заявляется, что честь открытия принадлежит якобы некоему мистеру Джульстону из Брунсвика в штате Мен, сознаюсь, в силу ряда причин представляется мне несколько апокрифическим, хотя в самом этом заявлении нет ничего невозможного или слишком невероятного. Вряд ли мне следует входить в подробности. В мнении своем об этом абзаце я исхожу в основном из его стиля. Он не производит правдивого впечатления. Люди, излагающие факты, редко так заботятся о дне и часе и точном местоположении, как это делает мистер Джульстон. К тому же, если мистер Джульстон действительно натолкнулся, как он заявляет, на это открытие в означенное время - почти восемь лет тому назад, - как могло случиться, что он тут же, не медля ни минуты, не принял мер к тому, чтобы воспользоваться огромными преимуществами, которые это открытие предоставляет если не всему миру, то лично ему, - о чем не мог не догадаться и деревенский дурачок? Мне представляется совершенно невероятным, чтобы человек заурядных способностей мог сделать, как заявляет мистер Джульстон, такое открытие и вместе с тем действовать, по признанию самого мистера Джульстона, до такой степени как младенец - как желторотый птенец! Кстати, кто такой мистер Джульстон? Откуда он взялся? И не является ли весь абзац в

"Курьере в карьер" фальшивкой, рассчитанной на то, чтобы "наделать шума"? Должен сознаться, все это чрезвычайно отдает подделкой. По скромному моему понятию, на сообщение это никак нельзя полагаться, и если бы я по опыту не знал, как легко мистифицировать мужей науки в вопросах, лежащих за пределами обычного круга их исследований, я был бы глубоко поражен, узнав, что такой выдающийся химик, как профессор Дрейпер, всерьез обсуждает притязания мистера Джульстона (или возможно, мистера Джуликстона?).

Однако вернемся к "Дневнику сэра Хамфри Дэви". Сочинение это не предназначалось для публикации даже после смерти автора, - человеку, хоть сколько-нибудь сведущему в писательском деле, легко убедиться в этом при самом поверхностном ознакомлении с его стилем. На стр. 13, например, посередине, там, где говорится об опытах с закисью азота, читаем: "Не прошло и тридцати секунд, как дыхание, продолжаясь, стало постепенно затихать, затем возникло аналогичное легкому давлению на все мускулы". Что дыхание не "затихало", ясно не только из последующего текста, но и из формы множественного числа "стали". Эту фразу, вне сомнения, следует читать так: "Не прошло и полуминуты, как дыхание продолжалось, [а эти ощущения] стали постепенно затихать, затем возникло [чувство], аналогичное легкому давлению на все мускулы".

Множество таких примеров доказывает, что рукопись, столь поспешно опубликованная, содержала всего лишь черновые наброски, предназначенные исключительно для автора, - просмотр этого сочинения убедит любого мыслящего человека в правоте моих предположений. Дело в том, что сэр Хамфри Дэви менее всего был склонен к тому, чтобы компрометировать себя в вопросах науки. Он не только в высшей степени не одобрял шарлатанства, но и смертельно боялся прослыть эмпириком; так что, как бы ни был он убежден в правильности своей догадки по интересующему нас вопросу, он никогда не позволил бы себе выступить с заявлением до тех пор, пока не был бы готов к наглядной демонстрации своей идеи. Я глубоко убежден в том, что его последние минуты были бы омрачены, узнай он, что его желание, чтобы "Дневник" (во многом содержащий самые общие соображения) был сожжен, будет оставлено без внимания, как, по всей видимости, и произошло. Я говорю "его желание", ибо уверен, что невозможно сомневаться в том, что он намеревался включить эту тетрадь в число разнообразных бумаг, на которых поставил пометку "Сжечь". На счастье или несчастье они уцелели от огня, покажет будущее. В том, что отрывки, приведенные выше, вместе с аналогичными им другими, на которые я ссылаюсь, натолкнули фон Кемпелена на догадку, я совершенно уверен; но, повторяю, лишь будущее покажет, послужит ли это важное открытие (важное при любых обстоятельствах) на пользу всему человечеству или во вред. В том, что фон Кемпелен и его ближайшие друзья соберут богатый урожай, было бы безумием усомниться хоть на минуту. Вряд ли будут они столь легкомысленны, чтобы со временем не "реализовать" своего открытия, широко приобретая дома и земли, вкуче с прочей недвижимостью, имеющей непреходящую ценность.

В краткой заметке о фон Кемпелене, которая появилась в "Семейном журнале" и многократно воспроизводилась в последнее время, переводчик, взявший, по его собственным словам, этот отрывок из последнего номера пресбургского "Шнельпост", допустил несколько ошибок в понимании немецкого оригинала. "Viele" [Многое (нем.)] было искажено, как это часто бывает, а то, что переводится как [печали], было, по-видимому, "Leiden", что, при правильном понимании ["страдания"], дало бы совершенно иную окраску всей публикации. Но, разумеется, многое из того, что я пишу, - всего лишь догадка с моей стороны.

Фон Кемпелен, правда, далеко не "мизантроп", во всяком случае внешне, что бы там ни было на деле. Мое знакомство с ним было самым поверхностным, и вряд ли я имею основание говорить, что хоть сколько-нибудь его знаю; но видеться и беседовать с человеком, который получил или в ближайшее время получит такую колоссальную известность, в наши времена не так-то мало.

"Литературный мир" с уверенностью говорит о фон Кемпелене как об уроженце Пресбургга (очевидно, его ввела в заблуждение публикация в "Семейном журнале"); мне очень приятно, что я могу категорически, ибо я слышал об этом из собственных его уст, заявить, что он родился в Утике, штат Нью-Йорк, хотя родители его, насколько мне известно, родом из Пресбургга. Семья эта каким-то образом связана с Мельцелем, коего помнят в связи с шахматным автоматом. [Если мы не ошибаемся, изобретателя этого автомата звали не то Кемпелен, не то фон Кемпелен, не то как-то вроде этого. - Издатель.] Сам фон Кемпелен невысок ростом и тучен, глаза большие, масляные, голубые, волосы и усы песочного цвета, рот широкий, но приятной формы, прекрасные зубы и, кажется, римский нос. Одна нога с дефектом. Обращение открытое, и вся манера отличается *bonhomie* [Добродушием (франц.).] В целом во внешности его, речи, поступках нет и намек на "мизантропию". Лет шесть назад мы жили с неделю вместе в "Отеле герцога" в Провиденсе, Род-Айленд; предполагаю, что я имел случай беседовать с ним, в общей сложности, часа три-четыре. Беседа его не выходила за рамки обычных тем; и то, что я от него услышал, не заставило меня заподозрить в нем ученого. Уехал он раньше, чем я, направляясь в Нью-Йорк, а оттуда - в Бремен. В этом-то городе и узнали впервые о его великом открытии, вернее, там-то впервые о нем и заподозрили. Вот, в сущности, и все, что я знаю о бессмертном ныне фон Кемпелене. Но мне казалось, что даже эти скудные подробности могут представлять для публики интерес.

Совершенно очевидно, что добрая половина невероятных слухов, распространившихся об этом деле, - чистый вымысел, заслуживающий доверия не больше, чем сказка о волшебной лампе Аладдина; и все же тут, так же как и с открытиями в Калифорнии, - приходится признать, что правда подчас бывает всякой выдумки странней. Во всяком случае следующий анекдот почерпнут из столь надежных источников, что можно не сомневаться в его подлинности.

Во время своей жизни в Бремене фон Кемпелен не был хоть сколько-нибудь обеспечен; часто - и это хорошо известно - ему приходилось прибегать ко всевозможным ухищрениям для того, чтобы раздобыть самые ничтожные суммы. Когда поднялся шум из-за поддельных векселей фирмы Гутсмут и Ко, подозрение пало на фон Кемпелена, ибо он к тому времени обзавелся недвижимой собственностью на Гасперитч-лейн и отказывался дать объяснения относительно того, откуда у него взялись деньги на эту покупку. В конце концов его арестовали, но, так как ничего решительно против него не было, по прошествии некоторого времени он был освобожден. Полиция, однако, внимательно следила за каждым его шагом; таким образом было обнаружено, что он часто уходит из дома, идет всегда одним и тем же путем и неизменно ускользает от наблюдения в лабиринте узеньких кривых улочек, который в воровском жаргоне зовется Дондергат. Наконец после многих безуспешных попыток обнаружили, что он поднимается на чердак старого семизэтажного дома в переулочке под названием Флетплатц: нагрянув туда неожиданно-негаданно, застали его, как и предполагали, в самом разгаре фальшивых операций. Волнение его, как передают, было настолько явным, что у полицейских не осталось ни малейшего сомнения в его виновности. Надев на него наручники, они обыскали комнату или, вернее, комнаты, ибо оказалось, что он занимает всю *mausarde* [Чердак, мансарда (франц.).].

На чердак, где его схватили, выходил чулан размером десять футов на восемь, там стояла химическая аппаратура, назначение которой так и не установлено. В одном углу чулана находился небольшой горн, в котором пылал огонь, а на огне стоял необычный двойной тигель - вернее, два тигля, соединенных трубкой. В одном из них почти до верха был налит расплавленный свинец, - впрочем, он не доставал до отверстия трубки, расположенного близко к краю. В другом находилась какая-то жидкость, которая в тот момент, когда вошли полицейские, бурно кипела, наполняя комнату клубами пара. Рассказывают, что, увидав полицейских, фон Кемпелен схватил тигель обеими руками (которые были защищены рукавицами - впоследствии оказалось, что они асбестовые) и вылил содержимое на плиты пола. Полицейские тут же надели на него наручники; прежде чем приступить к осмотру помещения, они обыскали его самого, но ничего необычного на нем найдено не было, если не считать завернутого в бумагу пакета; как было установлено впоследствии, в нем находилась смесь антимония и какого-то неизвестного вещества, в почти (но не совсем) равных пропорциях. Попытки выяснить состав этого вещества не дали до сих пор никаких результатов; не подлежит сомнению, однако, что в конце концов они увенчаются успехом.

Выйдя вместе с арестованным из чулана, полицейские прошли через некое подобие передней, где не обнаружили ничего существенного, в спальню химика. Они перерыли здесь все столы, ящики, но нашли только какие-то бумаги, не представляющие интереса, и несколько настоящих монет, серебряных и золотых. Наконец, заглянув под кровать, они увидели старый большой волосяной чемодан без петель, крючков или замка, с небрежно положенной наискось крышкой. Они попытались вытащить его из-под кровати, но обнаружили, что даже объединенными усилиями (а там было трое сильных мужчин) они "не могут сдвинуть его ни на дюйм", что крайне их озадачило. Тогда один из них залез под кровать и, заглянув в чемодан, сказал:

- Не мудрено, что мы не можем его вытащить. Да ведь он до краев полон медным ломом! Упершись ногами в стену, чтобы легче было тянуть, он стал изо всех сил толкать чемодан, в то время как товарищи его изо всех своих сил тянули его на себя. Наконец с большим трудом чемодан вытащили из-под кровати и рассмотрели содержимое. Мнимая медь, заполнявшая его, была вся в небольших гладких кусках, от горошины до доллара величиной; куски эти были неправильной формы, хотя все более или менее плоские, словно свинец, который выплеснули расплавленным на землю и дали там остыть. Никому из полицейских и на ум не пришло, что металл этот, возможно, вовсе не медь. Мысль, о том, что это золото, конечно, ни на минуту не мелькнула в их головах; как там могла родиться такая дикая фантазия? Легко представить себе их удивление, когда на следующий день всему Бремену стало известно, что "куча меди", которую они с таким презрением привезли в полицейский участок, не даз себе труда прикарманить ни кусочка, оказалась золотом - золотом не только настоящим, но и гораздо лучшего качества, чем то, которое употребляют для чеканки монет, - золотом абсолютно чистым, незапятнанным, без малейшей примеси!

Нет нужды излагать здесь подробности признания фон Кемпелена (вернее, того, что он нашел нужным рассказать) и его освобождения, ибо все это публике уже известно. Ни один здравомыслящий человек не станет больше сомневаться в том, что фон Кемпелену на деле удалось осуществить - по мысли и по духу, если и не по букве - старую химеру о философском камне. К мнению Араго следует, конечно, отнестись с большим вниманием, но и он не вовсе непогрешим, и то, что он пишет о бисмуте в своем докладе Академии, должно быть воспринято *cum grano salis* [С крупницей соли, то есть с осторожностью (лат.).] Как бы то ни было, приходится признать, что до сего времени все попытки анализа ни к чему не привели; и до тех

пор, пока фон Кемпелен сам не пожелает дать нам ключ к собственной загадке, ставшей достоянием публики, более чем вероятно, что дело это на годы останется in statu quo [Без перемен (лат.).] В настоящее время остается лишь утверждать, что "чистое золото можно легко и спокойно получить из свинца в соединении с некоторыми другими веществами, состав которых и пропорции неизвестны".

Многие задумываются, конечно, над тем, к каким результатам приведет в ближайшем и отдаленном будущем это открытие - открытие, которое люди думающие не преминут поставить в связь с ростом интереса к золоту, связанным с последними событиями в Калифорнии; а это соображение неизбежно приводит нас к другому - исключительной несвоевременности открытия фон Кемпелена. Если и раньше многие не решались ехать в Калифорнию, опасаясь, что золото, которым изобилуют тамошние прииски, столь значительно упадет в цене, что целесообразность такого далекого путешествия станет весьма сомнительной, - какое же впечатление произведет сейчас на тех, кто готовится к эмиграции, и особенно на тех, кто уже прибыл на прииски, сообщение о потрясающем открытии фон Кемпелена? Открытие, смысл которого состоит попросту в том, что, помимо существенного своего значения для промышленных нужд (каково бы ни было это значение), золото сейчас имеет или, по крайней мере, будет скоро иметь (ибо трудно предположить, что фон Кемпелен сможет долго хранить свое открытие в тайне) ценность не большую, чем свинец, и значительно меньшую, чем серебро. Строить какие-либо прогнозы относительно последствий этого открытия чрезвычайно трудно, однако можно с уверенностью утверждать одно, что сообщение об этом открытии полгода назад оказало бы решающее влияние на заселение Калифорнии.

В Европе пока что наиболее заметным последствием было то, что цена на свинец повысилась на двести процентов, а на серебро - на двадцать пять.

Повесть крутых гор

Перевод И.Гуровой

Осенью 1827 года, когда я некоторое время жид в штате Виргиния под Шарлоттсвиллом, мне довелось познакомиться с мистером Огестесом Бедлоу. Это был молодой человек, замечательный во всех отношениях, и он пробудил во мне глубокий интерес и любопытство. Я обнаружил, что и телесный и духовный его облик равно для меня непостижимы. О его семье я не смог получить никаких достоверных сведений. Мне так и не удалось узнать, откуда он приехал. Даже его возраст - хотя я и назвал его "молодым человеком" - в немалой степени смущала меня. Бесспорно, он выглядел молодым и имел обыкновение ссылаться на свою молодость, и все же бывали минуты, когда мне начинало чудиться, что ему не менее ста лет. Однако более всего поражала в нем его внешность. Он был очень высок и тощ. Он всегда горбился. Его руки и ноги были необыкновенно худы, лоб - широк и низок. Лицо его покрывала восковая бледность. Рот был большим и подвижным, а зубы, хотя и совершенно крепкие, отличались удивительной неровностью, какой мне не доводилось видеть ни у кого другого. Однако его улыбка вовсе не была неприятной, как можно предположить, но она никогда не изменялась и свидетельствовала лишь о глубочайшей меланхолии, о постоянной неизбывной тоске. Его глаза были неестественно велики и круглы, как у kota. И зрачки их при усилении или уменьшении света суживались и расширялись так, как это наблюдается у всего кошачьего племени. В минуты волнения они

начинали сверкать самым невероятным образом и как бы испускали яркие лучи - не отраженные, но зарождающиеся внутри, как в светильнике или в солнце; впрочем, чаще всего они оставались пустыми, мутными и тусклыми, какими могут быть глаза давно погребенного трупа.

Эти особенности его наружности, по-видимому, были ему крайне тягостны, и он постоянно упоминал о них виноватым и оправдывающимся тоном, который вначале производил на меня самое гнетущее впечатление. Вскоре, однако, я привык к нему, и неприятное чувство рассеялось. Казалось, Бедлоу пытался, избегая прямых утверждений, дать мне понять, что он не всегда был таким и что постоянные невралгические припадки лишили его более чем незаурядной красоты и сделали таким, каким я его вижу теперь. В течение многих лет его лечил врач по фамилии Темплтон - человек весьма преклонного возраста, лет семидесяти, если не более, - к которому он впервые обратился в Саратоге и получил (или лишь вообразил, будто получил) большое облегчение. В результате Бедлоу, человек очень богатый, предложил доктору Темплтону весьма значительное годовое содержание, и тот согласился посвятить все свое время и весь свой медицинский опыт ему одному.

В молодости доктор Темплтон много путешествовал и в Париже стал приверженцем многих доктрин Месмера. Те мучительные боли, которые постоянно испытывал его пациент, он облегчал исключительно с помощью магнетических средств, и вполне естественно, что Бедлоу проникся определенным доверием к идеям, эти средства породившим. Однако доктор, подобно всем энтузиастам, прилагал все усилия, чтобы окончательно убедить своего пациента в их истинности, и преуспел в этом настолько, что страдалец согласился участвовать в различных экспериментах. Постоянное повторение этих экспериментов привело к возникновению феномена, который в наши дни стал настолько обычным, что уже почти не привлекает внимания, но в эпоху, мною описываемую, был в Америке почти неизвестен. Я хочу сказать, что между доктором Темплтоном и Бедлоу установилась весьма четкая и сильно выраженная магнетическая связь, или гарпорт. Впрочем, я не склонен утверждать, что этот гарпорт выходил за пределы простой власти вызывать сон, но зато эта власть достигла необыкновенной силы. При первой попытке вызвать магнетический сон месмерист потерпел постную неудачу. Пятая или шестая попытка частично достигла цели, причем ценой долгих и напряженных стараний. И только двенадцатая увенчалась полным успехом. Но вскоре после этого воля врача окончательно возобладала над волей пациента, и в те дни, когда я познакомился с ними обоими, первый мог вызвать у больного сон мысленным приказанием, даже когда тот не подозревал о его присутствии. Только теперь, в 1845 году, когда подобные чудеса совершаются ежедневно на глазах тысяч свидетелей, я осмеливаюсь занести на бумагу, как неоспоримый факт, то, что на первый взгляд представляется немислимым.

Натура Бедлоу была в высшей степени чувствительной, восприимчивой и восторженной. Он обладал чрезвычайно деятельным и творческим воображением, и, без сомнения, оно приобретало дополнительную силу благодаря морфину, который Бедлоу принимал постоянно и в огромных количествах и без которого он просто не мог существовать. Он имел привычку глотать большую дозу каждое утро сразу же после завтрака - а вернее, сразу же после чашки крепкого черного кофе, ибо в первую половину дня он ничего не ел, - и затем отправлялся в одиночестве или сопровождаемый только собакой на прогулку среди диких и унылых холмов, протянувшихся к западу и к югу от Шарлоттсвилла и удостоенных от местных жителей почетного наименования "Крутые горы".

Как-то в конце ноября, в пасмурное, теплое и туманное утро, принадлежащее тому странному междуцарствию времен года, которое в Америке называют "индейским летом",

мистер Бедлоу по своему обыкновению ушел в холмы. День уже кончался, а он все еще не возвратился.

Примерно в восемь часов вечера, серьезно обеспокоенные его столь длительным отсутствием, мы уже собрались отправиться на поиски, как вдруг он вернулся, - чувствовал он себя не хуже, чем обыкновенно, и был в состоянии возбуждения, для него редкого. То, что он поведал нам о своей прогулке и о событиях, его задержавших, было поистине необычайным.

- Как вы, несомненно, помните, - начал он, - я покинул Шарлоттсвилл около девяти часов утра. Я сразу же направился к горам и в десять часов вступил в узкую долину, дотоле мне неизвестную. С большим интересом следовал я по ее извилам. Ландшафт, открывавшийся моему взору, вряд ли можно назвать величественным, однако его отличала неопишуемая - а для меня восхитительная - унылая пустыньность. В безлюдии и дикости долины была какая-то девственная нетронутость, и я невольно подумал, что на этот зеленый дерн и серые камни до меня еще не ступала нога человека. Вход в эту долину настолько укрыт и настолько трудно доступен, что попасть туда можно лишь в результате стечения ряда случайностей, и я действительно мог быть первым, кто вторгся в нее, - первым и единственным смельчаком, проникшим в ее тайные пределы.

На долину вскоре спустился тот особый молочный туман, который свойствен только порою индейского лета, и оттого все вокруг стадо казаться еще более смутным и неопределенным. Этот приятный туман был столь густ, что порой я различал предметы впереди себя не более чем в десяти ярдах. Долина была чрезвычайно извилиста, и, так как солнце исчезло за непроницаемой пеленой, я скоро потерял всякое представление о том, в какую сторону иду. Тем временем морфин оказал свое обычное действие, и каждая деталь внешнего мира представлялась мне теперь необыкновенно интересной. В трепетании листа, в оттенке стебелька травы, в очертаниях трилистника, в жужжании пчелы, в сверкании росинки, в дыхании ветра, в легких ароматах, доносившихся из леса, - во всем обреталась целая вселенная намеков, все давало пищу для веселого и пестрого хоровода прихотливых и бессистемных мыслей.

Погруженный в них, я шел так несколько часов, а туман становился все гуще, и в конце концов мне пришлось пробираться на ощупь в самом прямом смысле слова. И тут мною овладела неопишуемая тревога, порождение нервной нерешительности и боязливости. Я страшился сделать шаг, опасаясь, что под моими ногами вот-вот разверзнется бездна. К тому же мне на ум пришли странные истории, которые рассказываются об этих Крутых горах, о свирепых полудиких людях, которые обитали в их рощах и пещерах. Тысячи неясных фантазий - фантазий, еще более тягостных из-за своей неясности, - угнетали мой дух и усугубляли овладевшую мной робость. Внезапно мое внимание привлек громкий барабанный бой.

Изумление мое, разумеется, было чрезвычайным. Эти горы никогда не видели барабана. Мое удивление не было бы сильнее, услышь я трубу архангела. Однако вскоре мое недоумение и любопытство стократно возросли - раздалось оглушительное бряцание, точно кто-то взмахнул связкой гигантских ключей, и мгновение спустя мимо меня с воплем пробежал полунагой смуглый человек. Он промчался настолько близко от меня, что я почувствовал на своем лице его горячее дыхание. В одной руке он нес инструмент, состоявший из множества стальных колец, и на бегу энергично им встряхивал. Не успел он исчезнуть в тумане, как следом за ним, хрипло дыша, пробежал огромный зверь с ощеренной пастью и горящими глазами. Я не мог ошибиться - это была гиена!

Вид чудовища скорее развеял, нежели усугубил мой ужас, ибо теперь я убедился, что грежу, и попытался заставить себя очнуться. Я смело и решительно пошел вперед. Я протер глаза. Я громко закричал. Я несколько раз ущипнул себя. Увидев журчащий ключ, я ополоснул руки и смочил водой голову и шею. Это как будто рассеяло одолевавшие меня неясные ощущения. Я поднялся на ноги, чувствуя себя другим человеком, и спокойно и безмятежно продолжал свой неведомый путь.

Наконец, утомленный ходьбой и странной духотой, разлитой в воздухе, я сел отдохнуть под деревом. Вскоре сквозь туман забрезжили слабые солнечные лучи, и на траву легли прозрачные, но четкие тени листьев. С изумлением я долго смотрел на эти тени. Их очертания ошеломили меня. Я поднял глаза вверх. Это дерево было пальмой!

Я поспешно вскочил, охваченный страшным волнением, ибо уже не мог убеждать себя, будто я грежу. Я видел... я понимал, что полностью владею всеми своими чувствами - и теперь эти чувства распахнули передо мною мир новых и необычных ощущений. Жара мгновенно стала невыносимой. Ветер наполнился странными запахами. До моих ушей донесся слабый непрерывный ропот, словно поблизости струилась полноводная, но тихая река, и к этому ропоту примешивался своеобразный гул множества человеческих голосов.

Пока я прислушивался, вне себя от изумления, которое и не буду пытаться описывать, краткий, но сильный порыв ветра рассеял туман, словно по мановению магического жезла. Я увидел, что нахожусь у подножья высокой горы, а передо мной простирается бескрайняя равнина, по которой катит свои могучие воды величественная река. На ее берегу раскинулся восточного вида город, о каких мы читаем в арабских сказках, но своеобразием превосходящий их все. С того места, где я стоял высоко над городом, моему взгляду были доступны все самые укромные его уголки, как будто я смотрел на его план. Бесчисленные улицы вились во всех направлениях, беспорядочно пересекая друг друга, - собственно говоря, это были даже не улицы, а узкие длинные проулки, заполненные кишачими толпами. Дома поражали причудливой живописностью. Повсюду изобилие балконов, веранд, минаретов, святилищ и круглых окошек с резными решетками. Базары во множестве манили покупателей бесконечным разнообразием дорогих товаров, количество которых превосходило всякое вероятие, - шелка, муслины, сверкающие ножи и кинжалы, великолепнейшие драгоценные камни и жемчуг. И повсюду взгляд встречал знамена и паланкины, носилки с закутанными в покрывала знатными дамами, слонов в расшитых пополах, уродливых каменных идолов, барабаны, знамена, гонги, копыя, серебряные и позолоченные палицы. И среди этих толп и суеты, по запутанному, хаотичному лабиринту улочек, среди миллионов темнокожих и желтокожих людей в тюрбанах, в свободных одеждах, с пышными кудрявыми бородами, бродили мириады украшенных лентами храмовых быков, а гигантские полчища грязных, но священных обезьян прыгали, лопотали и визжали на карнизах мечетей или резвились на минаретах и в оконных нишах. От заполненных народом улиц к берегу реки спускались неисчислимые лестницы, ведущие к местам омовений, а сама река, казалось, с трудом пролагала себе путь между колоссальными флотилиями тяжело нагруженных судов, скрывавшими от глаз самую ее поверхность. За пределами города к небу тянулись купы кокосовых и иных пактам, а также других диковинных деревьев небывалой высоты и толщины. Там и сям взор встречал рисовое поле, крытую листьями крестьянскую хижину, водоем, одинокий храм, цыганский табор или грациозную девушку, которая с кувшином на голове спускалась к берегу величавой реки.

Теперь вы, конечно, скажете, что я спал и грезил, но это было не так. Тому, что я видел, что я слышал, что ощущал, что думал, ни в чем не была свойственна смутность, всегда присущая

сном. Вся картина была исполнена строгих соответствий и логики. Вначале, сомневаясь, не чудится ли мне это, я применил несколько проверок, которые скоро убедили меня, что я бодрствую и сознание мое ясно. А ведь когда человеку снится сон и он во сне подозревает, что все происходящее ему только снится, это подозрение всегда и непременно находит подтверждение в том, что спящий тотчас пробуждается. Вот почему прав Новалис, утверждая: "Мы близки к пробуждению, когда нам снится, что нам снится сон". Если бы, когда это видение предстало передо мною, я не заподозрил бы, что оно может быть сном, тогда оно, несомненно, оказалось бы именно сном, но раз я заподозрил, что это может быть сон, и проверил свои подозрения, то приходится счесть его каким-то иным явлением.

- Я не скажу, что вы в этом ошиблись, - заметил доктор Темплтон. - Однако продолжайте. Вы встали и спустились в город.

- Я встал, - произнес Бедлоу, глядя на доктора с глубочайшим изумлением, - я встал, как вы сказали, и спустился в город. На пути туда я скоро оказался среди людей, бесчисленными потоками заполнявших все ведущие к нему дороги и каждым своим жестом выдававших бурное возбуждение и волнение. Внезапно под влиянием неизъяснимого импульса я проникся всепоглощающим личным интересом к тому, что происходило вокруг. Я, казалось, чувствовал, что мне предстоит сыграть какую-то важную роль, хотя и не знал, какую и в чем. Однако окружающие меня людские толпы внушали мне глубокую враждебность. Я поспешил удалиться от них и быстро добрался до города кружным путем. Там царил величайшее смятение и раздор. Небольшой отряд солдат, облаченных в полуиндийские, полуевропейские одежды, под командой офицеров в мундирах, схожих с британскими, отражал натиск городской черни, несравненно более многочисленной. Я присоединился к слабейшим, взял оружие одного из убитых офицеров и вступил в бой, не зная, против кого, хотя и сражался с нервной яростью, рожденной отчаянием. Однако пас было слишком мало, и вскоре, вынужденные отступить, мы укрылись в здании, напоминавшем павильон. Там мы забаррикадировались и на некоторое время получили передышку. Сквозь амбразуру у самого свода я увидел, как огромная буйствующая толпа окружила и принялась штурмовать изящный дворец над рекой. Вскоре в одном из окон верхнего этажа этого дворца показался изнеженного вида человек и начал спускаться вниз по веревке, свитой из тюрбанов его приверженцев. Тут же ему подали лодку, и он уплыл на ней на противоположный берег реки.

И тут моей душой овладело новое стремление. Я обратился к моим товарищам с кратким, но настойчивым призывом и, убедив некоторых из них, предпринял отважную вылазку. Покинув павильон, мы врзались в окружавшую его толпу. Сначала враги расступились перед нами, затем оправившись от неожиданности и бросились на нас как бешеные, но снова отступили. Тем временем, однако, мы оказались в стороне от павильона, среди узких проулков, над которыми почти смыкались верхние этажи домов, так что сюда никогда не заглядывало солнце. Городская чернь дерзко окружила нас, грозя нам копьями, пуская в нас тучи стрел. Эти последние были весьма примечательны и по виду несколько напоминали извилистые лезвия малайских крисов. Им придавалось сходство с телом ползущей змеи. Длинные и темные, они завершались отравленными наконечниками. Одна такая стрела впилась мне в правый висок. Я зашатался и упал. Мной овладела мгновенная и невыразимая ужасная дурнота. Я забился в судорогах... я испустил конвульсивный вздох... я умер.

- Ну, уж теперь-то вы вряд ли будете отрицать, - сказал я с улыбкой, - что все ваше приключение было сном! Не станете же вы утверждать, что вы мертвы?

Произнося эти слова, я, разумеется, ждал, что Бедлоу ответит мне какой-нибудь веселой шуткой, но, к моему удивлению, он загнулся, вздрогнул, побелел как полотно и ничего не сказал. Я поглядел на Темплтона. Он сидел, выпрямившись и словно окостенев, его зубы стучали, а глаза вылезали из орбит.

- Продолжайте! - хрипло сказал он наконец, обращаясь к Бедлоу.

- В течение нескольких минут, - заговорил тот, - моим единственным ощущением, моим единственным чувством были бездонная темнота, растворение в ничто и осознание себя мертвым. Затем мою душу как бы сотряс внезапно удар, словно электрический. И он принес с собой ощущение упругости и света, но свет этот я не видел, а только чувствовал. В одно мгновение я, казалось, воспарил над землей. Но я не обладал никакой телесной, видимой, слышимой или осязаемой сущностью. Толпа разошлась. Смятение улеглось. В городе воцарилось относительное спокойствие. Внизу подо мной лежал мой труп - из виска торчала стрела, голова сильно распухла и приобрела ужасный вид. Но все это я чувствовал, а не видел. Меня ничто не интересовало. Даже труп, казалось, не имел ко мне никакого отношения. Воля моя исчезла без следа, но что-то побуждало меня двигаться, и я легко полетел прочь от города, следуя тому же окольному пути, каким вступил в него. Когда я снова достиг того места в долине, где видел гиену, я снова испытал сотрясение, точно от прикосновения к гальванической батарее; ко мне вернулось ощущение весомости, воли, телесного бытия. Я снова стал самим собой и поспешно направился в сторону дома, однако случившееся со мной несколько не утратило живости и реальности, и даже теперь, в эту самую минуту, я не могу заставить себя признать, что все это было лишь сном.

- О нет, - с глубокой и торжественной серьезностью сказал Темплтон, - хотя и трудно найти иное наименование для того, что с вами произошло. Предположим лишь, что душа современного человека находится на пороге каких-то невероятных открытий в области психического. И удовлетворимся этим предположением. Остальное же я могу в какой-то мере объяснить. Вот акварельный рисунок, который мне следовало бы показать вам ранее, чему мешал неизъяснимый ужас, охватывавший меня всякий раз, когда я собирался это сделать.

Мы посмотрели на акварель, которую он протянул нам. Я не обнаружил в ней ничего необычного, однако на Бедлоу она произвела поразительное впечатление. Он чуть не упал в обморок. А ведь это был всего лишь портрет, воспроизводивший - правда, с неподражаемой точностью, - его собственные примечательные черты. Во всяком случае, так думал я, глядя на миниатюру.

- Посмотрите, - сказал Темплтон, - на год, каким помечена акварель. Видите, вон в том углу еде заметные цифры - тысяча семьсот восемьдесят? Это год написания портрета. Он изображает моего покойного друга, некоего мистера Олдеба, с которым я близко сошелся в Калькутте в губернаторство Уоррена Гастингса. Мне было тогда лишь двадцать лет. Когда я увидел вас в Саратогге, мистер Бедлоу, именно чудесное сходство между вами и портретом побудило меня искать знакомства и дружбы с вами, а также принять ваше предложение, которое позволило мне стать вашим постоянным спутником. Мною при этом руководили главным образом скорбные воспоминания о покойном друге, но в определенной степени и тревожное, не свободное от ужаса любопытство, которое возбуждали во мне вы сами. Рассказывая о видении, явившемся вам среди холмов, вы с величайшей точностью описали индийский город Бенарес на священной реке Ганге. Уличные беспорядки, схватка с толпой и гибель части отряда представляют собой реальные события, имевшие место во время восстания Чейт Сингха, которое произошло в тысяча семьсот восьмидесятом году, когда Уоррен Гастингс чуть было не распоростился с

жизнью. Человек, спустившийся по веревке, сплетенной из тюрбанов, был Чейт Сингх. В павильоне укрылись сипаи и английские офицеры во главе с самим Гастингсом. Среди них был и я. Когда один из офицеров безрассудно решился на вылазку, я приложил все усилия, чтобы отговорить его, но тщетно - он пал в одной из улиц, пораженный отравленной стрелой бенгальца. Этот офицер был моим самым близким другом. Это был Олдеб. Как покажут вот эти записи, - доктор достал тетрадь, несколько страниц которой были исписаны и, очевидно, совсем недавно, - в те самые часы, когда вы грезили среди холмов, я здесь, дома, заносил эти события на бумагу.

Примерно через неделю после этого разговора в шарлоттс-виллской газете появилось следующее сообщение: "Мы должны с прискорбием объявить о кончине мистера Огестеса Бедло, джентльмена, чьи любезные манеры и многие достоинства завоевали сердца обитателей Шарлоттсвилла.

Мистер Б. последние годы страдал невралгией, припадки которой не раз грозили стать роковыми, однако этот недуг следует считать лишь косвенной причиной его смерти. Непосредственная же причина поистине необыкновенна. Во время прогулки по Крутым горам несколько дней тому назад покойный простудился, и у него началась лихорадка, сопровождавшаяся сильными приливами крови к голове. Поэтому доктор Темплтон решил прибегнуть к местному кровопусканию, и к вискам больного были приложены пиявки. Через ужасающе короткий срок больной скончался, и тогда выяснилось, что в банку с медицинскими пиявками случайно попал ядовитый кровосос - один из тех, которые иногда встречаются в пригородных прудах. Этот мерзкий кровопийца присосался к малой артерии на правом виске. Его сходство с медицинской пиявкой привело к тому, что ошибка была обнаружена слишком поздно.

Примечание. Шарлоттсвиллский ядовитый кровосос отличается от медицинской пиявки черной окраской, а главное, особой манерой извиваться, напоминающей движение змеи".

Я беседовал с издателем шарлоттсвиллской газеты об этом необыкновенном происшествии и между прочим спросил, почему фамилия покойного была напечатана "Бедло".

- Полагаю, - сказал я, - у вас были какие-то основания для такого ее написания, по мне всегда казалось, что она оканчивается на "у".

- Основания? - переспросил он. - Нет, это просто типографская опечатка. Конечно, фамилия покойного пишется с "у" на конце - Бедлоу, и я ни разу в жизни не встречал иного ее написания.

- В таком случае, - пробормотал я, поворачиваясь, чтобы уйти, - в таком случае остается только признать, что правда действительно бывает любого вымысла странней: ведь "Бедлоу" без "у" - это же фамилия "Олдеб", написанная наоборот! А он хочет убедить меня, что это просто типографская ошибка!

Прыг-Скок

Перевод В.Рогова

Я не знал другого такого любителя пошутить, как покойный король. Казалось, он только ради этого и живет. Рассказать ему хорошую историю в шутовском роде, да еще хорошо рассказать, значило вернейшим образом снискать его расположение. Оттого и оказалось так, что все семь его министров славились как шутники. Они походили на короля и тем, что все были тучные, гладкие мужчины, равно как и неподражаемые шутники. То ли люди тучнеют от шуток, то ли в самой тучности заключено нечто предрасполагающее к шутливости, я никогда не мог в точности определить; но, без сомнения, тощий шутник - *rara avis in terris* [Редкая птица на земле (лат.)].

Относительно изысков или, как он выражался, "кудреватости" остроумия король очень мало беспокоился. Он особенно ценил размах шутки и ради него мирился с ее длиннотами. Он бы предпочел "Пантагрюэля" Рабле Вольтерову "Задигу", и, в общем, грубые проказы куда более отвечали его вкусу, нежели словесные остроты.

В пору, к которой относится мое повествование, профессиональные шуты еще не вполне вышли из моды при дворах. Некоторые из великих континентальных "самодержцев" все еще заводили шутов в дурацких колпаках и соответственных нарядах, и в службу им вменялось в любой момент быть наготове и остричь ради крох с королевского стола.

Наш король, само собой разумеется, не отказался от "дурака". Дело в том, что ему требовалось нечто глупое - хотя для того, дабы уравновесить весомую мудрость семерых мудрецов, служивших ему министрами, не говоря уж о нем самом.

Его дурак, или профессиональный шут, однако, не был только шутом. В глазах короля ценность его утраивалась тем, что он был вдобавок карлик и калека. В те дни карлики встречались при дворах так же часто, как и шуты; и многие самодержцы сочли бы затруднительным коротать дни (а дни при дворе тянутся несколько долее, нежели где-нибудь еще), не имея разом и шута, с кем смеяться, и карлика, над кем, смеяться. Но, как я ранее заметил, шутят в девяноста девяти случаях из ста неповоротливые толстяки - и оттого король был в немалой мере доволен собою, ибо принадлежавший ему Прыг-Скок (так звали дурака) являл собою тройное сокровище в одном лице.

Наверное, имя "Прыг-Скок" ему не дали при крещении, но единогласно присвоили семь министров ввиду его неспособности двигаться, как все. Прыг-Скок был в силах перемещаться лишь рывками, вприпрыжку, не то скача, не то виляя, чем, по мнению некоторых, напоминал лягушонка - и движение это бесконечно развлекало и утешало короля, ибо (невзирая на то, что его распирало от жира и самодовольства) весь двор считал короля мужчиною хоть куда.

Но хотя Прыг-Скок из-за уродливых нижних конечностей мог передвигаться лишь с великим трудом как на улице, так и в помещении, руки его, видимо, были наделены поразительною силою, как будто природа решила возместить изъян его ног, дав ему возможность совершать всяческие чудеса ловкости там, где оказались бы деревья, веревки или все, по чему можно карабкаться. При подобных упражнениях он скорее напоминал белку или мартышку, нежели лягушонка.

Не могу в точности сказать, откуда он был родом, но из какого-то варварского края, о котором никто никогда не слышал, весьма отдаленного от двора нашего короля. Прыг-Скок и юная девушка, тоже карлица, лишь немногим по величине его превосходящая (хотя изящно сложенная и чудесная танцовщица), были силою отторгнуты от своих семейств в сопредельных провинциях и посланы в дар королю одним из его неизменно победоносных полководцев.

Не удивительно, что при подобных обстоятельствах между маленькими пленниками завязалась тесная дружба. Очень скоро они сделались близкими друзьями. Хотя Прыг-Скок и шутил всюю, по его не любили, и он мало чем был в силах помочь Пушинке, но ею благодаря ее грациозности и очаровательной прелести все восхищались, ласкали ее, так что она завоевала большое влияние; и при любой возможности употребляла его на пользу шуту.

В какой-то большой праздник, не припомню, в какой именно, король решил устроить маскарад, а когда маскарад или нечто подобное имело быть при нашем дворе, то обыкновенно призывали на помощь дарования и шута и танцовщицы. Прыг-Скок в особенности был столь изобретателен в измышлении всяческих потешных шествий, придумывании новых персонажей и сочинении костюмов для маскированных балов, что, казалось, без его участия ничего и сделать было нельзя.

Подошел вечер, назначенный для празднества. Под наблюдением Пушинки роскошную залу обставили всем, способным придать блеск маскараду. Весь двор ожидал его с нетерпением. Что до костюмов и масок, то можно смело предположить, что каждый что-нибудь придумал. Многие выбрали себе роли за неделю, а то и за месяц; и дело обстояло так, что в этом смысле все приняли какое-то решение - кроме короля и семи его министров. Почему мешкали они, не могу вам сказать, разве что шутки ради. Более вероятно, что они затруднялись на чем-либо остановиться из-за своей изрядной толщины. Во всяком случае, время шло; и в виде последнего средства они позвали танцовщицу и шута.

Когда два маленьких друга явились на зов короля, то увидели, что он сидит и пьет вино с семью министрами; но государь, видимо, пребывал в весьма дурном расположении духа. Он знал, что Прыг-Скок не любит вина; ибо оно доводило бедного уродца почти до исступления; а исступление - чувство не из приятных. Но его величество любил пошутить, и его забавляло, когда Прыг-Скок по его принуждению пил и (как выражался король) "веселился".

- Поди сюда, Прыг-Скок, - сказал он, как только шут со своею приятельницей вошли в комнату, - выпей-ка этот бокал за здоровье твоих далеких друзей (тут Прыг-Скок вздохнул), а потом порадуй нас своими выдумками. Нам нужны костюмы - понимаешь, костюмы для маскарада, - что-нибудь новенькое, из ряда вон выходящее. Нам наскучило это вечное однообразие. А ну, пей! Вино прояснит тебе ум.

Прыг-Скок попытался, по обыкновению, отшутиться, но не мог. Случилось так, что как раз был день рождения несчастного карлика, и приказ выпить за "далеких друзей" вызвал у него слезы. Много крупных, горьких капель упало в кубок, пока он брал его из рук тирана.

- А! Ха! Ха! Ха! - захохотал тот, когда карлик с неохотою осушил чашу. - Видишь, что может сделать бокал хорошего вина! Да глаза у тебя прямо-таки заблестели!

Бедняга! Его большие глаза скорее сверкали, а не блестели; ибо вино оказало на его легко возбудимый мозг действие столь же сильное, сколь и мгновенное. Он нервно поставил кубок и обвел собравшихся полубезумным взором. Всех, видимо, позабавила удачная королевская "шутка".

- А теперь к делу, - сказал премьер-министр, очень толстый мужчина.

- Да, - сказал король. - Ну-ка, Прыг-Скок, помоги нам. Нам нужны характерные костюмы, молодец ты мой; всем нам не хватает характера, всем! Ха! Ха! Ха! - И так как король всерьез

считал это шуткою, семерка начала ему вторить. Прыг-Скок тоже засмеялся, но слабо и как бы машинально. - Ну, ну, - с нетерпением сказал король, - неужели ты ничего не можешь нам предложить?

- Я пытаюсь придумать что-нибудь новенькое, - отвечал карлик рассеянно, ибо вино совсем помутило его рассудок.

- Пытаешься! - свирепо закричал тиран. - Что значит - пытаешься? А, понимаю. Ты не в себе и хочешь еще вина. А ну-ка, выпей! - И он до краев налил бокал и протянул калеке, а тот, задыхаясь, отупело смотрел на него.

- Пей, говорят тебе, - заорал изверг. - Не то, черт меня дерит...

Карлик замялся. Король побагровел от бешенства. Придворные захихикали. Пушинка, мертвенно-бледная, бросилась к креслу государя и, пав перед ним на колени, умоляла пощадить ее друга.

Несколько мгновений тиран смотрел на нее, явно изумляясь ее дерзости. Он словно растерялся, не зная, что делать или говорить, как наилучшим образом выразить свое возмущение. Наконец, не проронив ни звука, он отшвырнул ее и выплеснул содержимое наполненного до краев кубка прямо ей в лицо.

Несчастливая едва могла подняться и, не смея даже вздохнуть, возвратилась на свое место в конце стола.

Около полуминуты царила такая мертвая тишина, что можно было бы услышать, как падает лист или перо. Ее нарушил тихий, но резкий скрежет, который, казалось, доносился из всех углов разом.

- Ты - ты - ты - ты это зачем? - спросил король, яростно поворачиваясь к шуту.

Тот, казалось, в значительной степени оправился от опьянения и, пристально, но спокойно глядя прямо в лицо тирану, лишь воскликнул:

- Я, я? Да как бы я мог?

- Звук, вероятно, шел снаружи, - заметил один из придворных. - По-моему, это попугай у окна точил клюв о прутья клетки.

- И в самом деле, - отозвался король, как бы весьма успокоенный этим предположением, - но, клянусь моей рыцарскою честью, я готов был дать присягу, что скрежетал зубами этот бродяга.

Тут карлик рассмеялся (король был слишком завзятый шутник, чтобы возражать против чьего-либо смеха) и выставил напоказ большие, крепкие и весьма безобразные зубы. Более того, он изъявил совершенную готовность выпить столько вина, сколько заблагорассудится государю. Монарх утихомирился; и, осушив без особо заметных дурных последствий еще кубок, Прыг-Скок сразу и с воодушевлением занялся маскарадными планами.

- Не знаю, какова тут связь, - заметил он, очень спокойно и с таким видом, словно вовсе и не пил, - но тотчас после того, как ваше величество изволили ударить девчонку и выплеснуть вино ей в лицо, тотчас же после того, как ваше величество изволили это сделать и, покамест попугай

за окном издавал эти странные звуки, пришла мне в голову одна отменная пот эха, одна из забав у меня на родине - у нас на маскарадах ее часто затевают, но здесь она будет совершенно внове. Однако, к сожалению, для нее требуются восемь человек и...

- Пожалуйста! - вскричал король и засмеялся, радуясь тому, с какою пронизательностью заметил совпадение. - Ровным счетом восемь - я и семеро моих министров. Ну! Так что же это за потеха?

- Называется она, - отвечал уродец, - Восемь Скованных Орангутангов, и при хорошем исполнении смеху не оберешься.

- Мы ее исполним, - заметил король, приосанясь и подмигивая обоими глазами.

- Прелесть игры, - продолжал Прыг-Скок, - заключается в страхе, который она вызывает у женщин. - Славно! - хором проревели монарх и его министры. - Я выржу вас орангутангами, - пояснил свою идею карлик, - уж предоставьте это мне. Сходство будет так разительно, что на маскараде все примут вас за настоящих зверей - и, разумеется, их ужас не уступит по силе их потрясению.

- Ох, это восхитительно! - воскликнул король. - Прыг-Скок! Я озолочу тебя.

- Цепи надобны для того, чтобы лязгом усилить переполох. Предполагается, что все вы сбежали от ваших сторожей. Ваше величество не в силах представить, какой эффект производят на маскараде восемь орангутангов, которых почти все присутствующие сочтут за настоящих, когда они с дикими воплями ворвутся в толпу изящно и роскошно одетых кавалеров и дам. Контраст неподражаем.

- Уж конечно, - сказал король; и все торопливо поднялись с мест (времени оставалось немного), дабы приступить к осуществлению замысла, предложенного шутом.

Его способ экипировки был весьма прост, но для его цели достаточен. В эпоху, о которой идет речь, орангутангов очень редко видели в какой-либо части цивилизованного мира, и, так как наряды, предложенные карликом, делали ряженых достаточно похожими на зверей и более чем достаточно гадкими, то их верность природе сочли обеспеченной.

Король и министры сперва облачились в плотно облегающие сорочки и панталоны в виде трико. Затем одежду пропитали дегтем. Тут кто-то предложил перья; но предложение было тотчас же отвергнуто карликом, который быстро убедил всех восьмерых посредством наглядной демонстрации, что шерсть такой твари, как орангутанг, гораздо более успешно изобразит льняная кудель. И соответственно толстым слоем кудели облепили слой дегтя. Затем достали длинную цепь. Сперва ею опоясали короля и завязали ее; за ним - одного из министров и тоже завязали; и всех остальных - по очереди, подобным же образом. Когда с этим было покончено, король и министры отошли как можно дальше один от другого, образуя круг; и ради большей натуральности Прыг-Скок протянул остаток цепи крест-накрест поперек круга, как в наши дни делают на Борнео охотники на шимпанзе и других крупных обезьян.

Маскарад имел быть в большой круглой зале, очень высокой и пропускающей свет солнца только через люк в потолке. По вечерам (то есть в ту пору, на которую зала специально была рассчитана) ее освещала главным образом большая люстра, свисающая на цепи из середины люка; как водится, люстру поднимали и опускали при помощи противовеса, но (чтобы не портить вида) он помещался снаружи за куполом.

Заду убирали под наблюдением Пушинки, но, видимо, в некоторых частностях она следовала рассудительным советам своего друга-карлика. По его предложению в этот вечер люстру убрали. Капли воска (а в такой вечер их было решительно невозможно избежать) нанесли бы основательный ущерб пышным нарядам гостей, которые при большом скоплении не могли бы все держаться в стороне от центра залы, то есть не под люстрой. В разных частях залы, так, чтобы не мешать гостям, добавили кенкетов; и в правую руку каждой из пятидесяти или шестидесяти кариатид вставили по факелу, пропитанному благовониями.

Восемь орангутангов, следуя совету шута, терпеливо дожидались полуночи (когда зала должна была до отказа наполниться масками), прежде чем появиться на людях. Но не успел еще замолкнуть бой часов, как они ворвались или, вернее, вкатились все разом, ибо цепи мешали им, отчего при входе каждый из них споткнулся, а некоторые упали.

Среди гостей поднялась невероятная тревога, исполнившая сердце короля восторгом. Как и ожидали, многие из присутствующих поверили, будто эти свирепого вида твари - и в самом деле какие-то звери, хотя бы и не орангутанги. Многие женщины от страха лишились чувств, и если бы король не позаботился запретить в зале ношение оружия, то он с министрами мог бы очень быстро заплатить за свою потеху кровью. А так - все ринулись к дверям; но король приказал запереть их сразу после его появления, и, по предложению шута, ключи отдали ему.

Когда смятение достигло апогея и каждый думал только о собственной безопасности (а давка в перепуганной толпе и в самом деле представляла немалую и подлинную опасность), можно было заметить, что цепь, которую втянули, убрав люстру, начала очень медленно опускаться, пока крюк на ее конце не повис в трех футах от пола.

Вскоре после этого король и семеро его друзей, враскачку пройдя по зале во всех направлениях, наконец остановились на ее середине и, разумеется, в непосредственном соприкосновении с цепью. Пока они стояли подобным образом, карлик, неслышно следовавший за ними по пятам, подстрекая их поддерживать сумятицу, схватил их цепь в том месте, где две ее части пересекались в центре и под прямым углом. Туда со скоростью мысли он продел крюк, с которого обычно свисала люстра; и тотчас некая невидимая сила потянула цепь от люстры так высоко вверх, что крюк оказался вне пределов досягаемости, и, как неизбежное этому следствие, орангутанги очутились очень близко друг от друга и лицом к лицу.

К тому времени гости в какой-то мере оправались от испуга; и, начиная понимать, что все происшествие - тщательно обдуманная проказа, громко захохотали над положением, в какое попали обезьяны.

- Предоставьте их мне! - закричал Прыг-Скок, легко перекрывая шум своим резким, пронзительным голосом. - Предоставьте их мне. По-моему, я их знаю. Взглянуть бы хорошенько, и уж я-то скажу вам, кто они такие.

Тут он ухитрился по головам толпы добраться к стене; выхватив у кариатиды факел, он тем же самым путем возвратился на середину залы, с ловкостью мартышки вспрыгнул на голову королю, оттуда вскарабкался на несколько футов вверх по цепи и опустил факел, рассматривая орангутангов и по-прежнему крича: "Уж я-то сейчас узнаю, кто они такие!"

И пока все сборище (включая обезьян) корчилось от смеха, шут вдруг пронзительно свистнул; цепь рывком взлетела футов на тридцать - и с нею орангутанги, которые в отчаянии барахтались между полом и люком в потолке. Прыг-Скок, держась за цепь, оставался на том же

расстоянии от мнимых обезьян и по-прежнему (как ни в чем не бывало) тыкал в них факелом, как бы пытаясь разглядеть, кто они.

При этом взлете все были настолько повержены в изумление, что с минуту стояла мертвая тишина. Ее нарушил тот же самый тихий, резкий скрежет, что привлек внимание советников и короля, когда тот выплеснул вино в лицо Пушинке. Но сейчас не могло быть никакого сомнения, откуда исходил звук. Его издавали клыкообразные зубы карлика, и он с пеной у рта скрипел и скрежетал зубами и с маниакальным исступлением, жадно смотрел на запрокинутые лица короля и семи его спутников.

- Ага! - наконец сказал разъяренный шут. - Ага! Теперь я начинаю понимать, кто они такие! - Тут, делая вид, что он хочет рассмотреть короля еще более пристально, карлик поднес факел к облеплявшему короля слою кудели, и та мгновенно вспыхнула ярким и жгучим пламенем. Менее чем в полминуты все восемь орангутангов бешено запылали под вопли сраженной ужасом толпы, которая смотрела на них снизу, не в силах оказать им ни малейшей помощи.

Понемногу языки пламени, усиливаясь, вынудили шута вскарабкаться выше по цепи; и при его движении все снова на краткий миг погрузились в молчание. Карлик воспользовался им и снова заговорил:

- Теперь я хорошо вижу, - сказал он, - какого сорта люди эти ряженные. Это могущественный король и семеро его тайных советников, король, который не стесняется ударить беззащитную девушку, и семеро его советников, которые потакают его гнусной выходке. Что до меня, я всего-навсего Прыг-Скок, шут - и это моя последняя шутка.

Ввиду высокой воспламеняемости кудели и дегтя, на который она была налеплена, карлик едва успел закончить свою краткую речь, как месть совершилась. Восемь трупов раскачивались на цепях - смрадная, почерневшая, омерзительная, бесформенная масса. Уродец швырнул в них факелом, вскарабкался, не торопясь, к потолку и скрылся в люке.

Предполагают, что Пушинка, ожидавшая его на крыше, была сообщницей своего друга в его огненном мщении и что им вместе удалось бежать к себе на родину, ибо их более не видели.

Три воскресенья на одной неделе

Перевод И. Бернштейн.

"У, бессердечный, бесчеловечный, жестоковыйный, тупоголовый, замшелый, заматерелый, закоснелый, старый дикарище!" - воскликнул я однажды (мысленно), обращаясь к моему дядюшке (собственно, он был мне двоюродным дедом) Скупердэю, и (мысленно же) погрозил ему кулаком.

Увы, только мысленно, ибо в то время существовало некоторое несоответствие между тем, что я говорил, и тем, чего не отваживался сказать, - между тем, как я поступал, и тем, как, право же, готов был поступить.

Когда я распахнул дверь в гостиную, старый морж сидел, задрал ноги на каминную полку и держа в руке стакан с портвейном, и, насколько ему это было по силам, пытался петь известную песенку:

Remplis ton verre vide!

Vide ton verre plein!

[Наполни опять свой пустой стакан!

Осуши свой полный стакан! (франц.)]

- Любезный дядюшка, - обратился я к нему, осторожно прикрыв дверь и изобразив на лице своем простодушнейшую из улыбок, - вы всегда столь добры и снисходительны и так много раз выказывали всячески свое благорасположение, что... что я не сомневаюсь, стоит мне только заговорить с вами опять об этом небольшом деле, и я получу ваше полное согласие.

- Гм, - отвечивал дядюшка. - Умник. Продолжай.

- Я убежден, любезнейший дядюшка (у-у, чтоб тебе провалиться, старый злыдень!), что вы, в сущности, вовсе и не хотите воспрепятствовать моему союзу с Кейт. Это просто шутка, я знаю, ха-ха-ха! Какой же вы, однако, дядюшка, шутник!

- Ха-ха, - сказал он. - Черта с два. Ну, так что же?

- Вот видите! Конечно же! Я так и знал. Вы шутили. Так вот, милый дядюшка, мы с Кейт только просим вашего совета касательно того... касательно срока... ну, вы понимаете, дядюшка... срока, когда вам было бкг удобнее всего... ну, покончить это дело со свадьбой?

- Покончить, ты говоришь, негодник? Что это значит? Чтобы покончить, надо прежде начать.

- Ха-ха-ха! Хе-хе-хе! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо. Ну, не остроумно ли? Прелесть, ей-богу! Чудо! Но нам всего только нужно сейчас, чтобы вы точно назначили срок.

- Ах, точно?

- Да, дядюшка. Если, понятно, вам это нетрудно.

- А если, Бобби, я эдак приблизительно прикину, скажем, в нынешнем году или чуть позже, это тебе не подходит?

- Нет, дядюшка, скажите точно, если вам нетрудно.

- Ну, ладно, Бобби, мой мальчик, - ты ведь славный мальчик, верно? - коли уж тебе так хочется, чтобы я назначил срок точно, я тебя на этот раз, так и быть, уважу.

- О, дядюшка!

- Молчите, сэр (заглушая мой голос). На этот раз я тебя уважу. Ты получишь мое согласие - а заодно и приданое, не будем забывать о приданом, - постой-ка, сейчас я тебе скажу когда. Сегодня у нас воскресенье? Ну так вот, ты сможешь сыграть свадьбу точно - точнехонько, сэр! - тогда, когда три воскресенья подряд придется на одну неделю! Ты меня слышал? Ну, что уставился, разиня рот? Говорю тебе, ты получишь Кейт и ее деньги, когда на одну неделю

придутся три воскресенья. И не раньше, понял, шалопай? Ни днем раньше, хоть умри. Ты меня знаешь: я человек слова! А теперь ступай прочь. - И он одним глотком осушил свой стакан портвейна, а я в отчаянье выбежал из комнаты.

Как поется в балладе, "английский славный джентльмен" был мой двоюродный дед мистер Скупердэй, но со своими слабостями - в отличие от героя баллады. Он был маленький, толстенький, кругленький, гневливый человек с красным носом, непрошибаемым черепом, туго набитым кошельком и преувеличенным чувством собственной значительности. Обладая, в сущности, самым добрым сердцем, он среди тех, кто знал его лишь поверхностно, из-за своей неискоренимой страсти дразнить и мучить ближних почитался жестоким и грубым. Подобно многим превосходным людям, он был одержим бесом противоречия, что по первому взгляду легко сходило за прямую злобу. На любую просьбу "нет!" бывало его неизменным ответом, и, однако же, почти не бывало таких просьб, которые бы он рано или поздно - порой очень поздно - не исполнил. Все посягательства на свой кошелек он встречал в штыки, но сумма, исторгнутая у него в конечном итоге, находилась, как правило, в прямо пропорциональном отношении к продолжительности предпринятой осады и к упорству самозащиты. И на благотворительность он жертвовал всех больше, хотя и ворчал и кряхтел при этом всех громче.

К искусствам, особенно к изящной словесности, питал он глубочайшее презрение, которому научился у Казимира Перье, чьи язвительные слова: "A quoi un poete est-il bon?" [Что проку от поэта? (франц.)] - имел обыкновение цитировать с весьма забавным прононсом, как пес *plus ultra* [Предел (лат.)] логического остроумия. Потому и мою склонность к музам он воспринял крайне неодобрительно. Как-то в ответ на мою просьбу о приобретении нового тома Горация он вздумал даже уверять меня, будто изречение: "Poeta nascitur non fit" [Поэтом рождаются, а не становятся (лат.)] - надо переводить как: "Поэт у нас-то дурью набит", чем вызвал глубокое мое негодование. Его нерасположение к гуманитарным занятиям особенно возросло в последнее время в связи со вдруг вспыхнувшей у него страстью к тому, что он именовал "естественной наукой". Кто-то однажды на улице обратился к нему, по ошибке приняв его за самого доктора О'Болтуса, знаменитого шарлатана "виталиста". Отсюда все и пошло, и ко времени действия моего рассказа - а это все-таки будет рассказ - подъехать к моему двоюродному деду Скупердэю возможно было только на его собственном коньке. В остальном же он только хохотал да отмахивался руками и ногами. И вся его несложная политика сводилась к положению, высказанному Хорслеем, что "человеку нечего делать с законами, как только подчиняться им".

Я прожил со стариком всю жизнь. Родители мои, умирая, завещали ему меня, словно богатое наследство. По-моему, старый разбойник любил меня, как родного сына, - почти так же сильно, как он любил Кейт, - и все-таки это была собачья жизнь. С года и до пяти включительно он потчевал меня регулярными трепками. С пяти до пятнадцати, не скупясь, ежечасно грозил исправительным домом. С пятнадцати до двадцати каждый божий день сулил оставить меня без гроша в кармане. Я, конечно, был не ангел, это приходится признать, но такова уж моя натура и таковы, если угодно, мои убеждения. Кейт была мне надежным другом, и я это знал. Она была добрая девушка и прямо объявила мне со свойственной ей добротой, что я получу ее вместе со всем ее состоянием, как только уломаю дядюшку Скупердэя. Ведь бедняжке едва исполнилось пятнадцать лет, и без его согласия, сколько там ни было у нее денег, все оставалось недоступным еще в течение пяти бесконечных лет, "медлительно длину свою влачащих". Что же в таком случае оставалось делать? Когда тебе пятнадцать и даже когда тебе двадцать один (ибо я уже завершил мою пятаю олимпиаду), пять лет - это почти так же долго,

как и пятьсот. Напрасно наседали мы на старика с просьбами и мольбами. Этот "piece de resistance" [В кулинарии - самое сытное блюдо в меню (франц.)] (в терминологии господ Юда и Карема) как раз пришелся ему по вкусу. Сам долготерпеливый Иов возмущился бы, наверное, при виде того, как он играл с нами, точно старый многоопытный кот с двумя мышатами. В глубине души он и не желал ничего иного, как нашего союза. Он сам уже давно решил нас поженить и, наверное, дал бы десять тысяч фунтов из своего кармана (денежки Кейт были ее собственные), чтобы только изобрести законный предлог для удовлетворения нашего вполне естественного желания. Но мы имели неосторожность завести с ним об этом речь сами. И при таком положении вещей он, я думаю, просто не мог не заупрямиться.

Выше я говорил, что у него были свои слабости: но при этом я вовсе не имел в виду его упрямство, которое считаю, наоборот, его сильной стороной - "assurance se n'etait pas sa faible" [Это, безусловно, не было его слабостью (франц.)] Под его слабостью я подразумеваю его невероятную, чисто старушечью приверженность к суевериям. Он придавал серьезное значение снам, предзнаменованиям et id genus omne [И всей такого рода (лат.)] ерунде. И, кроме того, был до мелочности щепетилен. По-своему он, безусловно, был человеком слова. Я бы даже сказал, что верность слову была его коньком. Дух данного им обещания он не ставил ни во что, но букву соблюдал неукоснительно. И именно эта его особенность позволила моей выдумщице Кейт в один прекрасный день, вскоре после моего с ним объяснения в столовой неожиданно обернуть все дело в нашу пользу. На сем, исчерпав по примеру современных бардов и ораторов на *prolegomena* [Введение (греч.)] имевшееся в моем распоряжении время и почти все место, я теперь в нескольких словах передам то, что составляет, собственно, суть моего рассказа.

Случилось так - по велению Судеб, - что среди знакомых моей нареченной были два моряка и что оба они только что вновь ступили на британскую землю, проведя каждый по целому году в дальнем плавании. И вот, сговорившись заранее, мы с моей милой кузиной взяли с собой этих джентльменов и вместе с ними нанесли визит дядюшке Скупердэю - было это в воскресенье десятого октября, ровно через три недели после того, как он произнес свое окончательное слово, чем сокрушил все наши надежды. Первые полчаса разговор шел на обычные темы, но под конец нам удалось как бы невзначай придать ему такое направление:

Капитан Пратт: М-да, я пробыл в отсутствии целый год. Как раз сегодня ровно год, по-моему. Ну да, погодите-ка, конечно! Сегодня ведь десятое октября. Помните, мистер Скупердэй, год назад я в этот же самый день приходил к вам прощаться? И, кстати сказать, надо же быть такому совпадению, что наш друг капитан Смизертон тоже отсутствовал как раз год - ровно год сегодня, не так ли?

Смизертон: Именно! Точнешенько год! Вы ведь помните, мистер Скупердэй, я вместе с капитаном Праттом навестил вас в этот день год назад и засвидетельствовал вам перед отплытием мое почтение.

Дядя: Да, да, да, я отлично помню. Как, однако же, странно. Оба вы пробыли в отсутствии ровнехонько год! Удивительное совпадение! То, что доктор О'Болтус назвал бы редкостным стечением обстоятельств. Доктор О'Бол...

Кейт (прерывая): И в самом деле, папочка, как странно. Правда, капитан Пратт и капитан Смизертон плыли разными рейсами, а это, вы сами знаете, совсем другое дело.

Дядя: Ничего я такого не знаю, проказница. Да и что тут знать? По-моему, тем удивительнее. Доктор О'Болтус...

Кейт: Но, папочка, ведь капитан Пратт плыл вокруг мыса Горн, а капитан Смизертон обогнул мыс Доброй Надежды. Дядя. Вот именно! Один двигался на запад, а другой на восток. Понятно, стрекотунья? И оба совершили кругосветное путешествие. Между прочим, доктор О'Болтус...

Я (поспешно): Капитан Пратт, приходите к нам завтра вечером - и вы, Смизертон, - расскажете о своих приключениях, сыграем партию в вист...

Пратт: В вист? Что вы, молодой человек! Вы забыли: завтра воскресенье. Как-нибудь в другой раз...

Кейт: Ах, ну как можно? Роберт еще не совсем потерял рассудок. Воскресенье сегодня.

Дядя: Разумеется.

Пратт: Прошу у вас обоих прощения, по невозможно, чтобы я так ошибался. Я точно знаю, что завтра воскресенье, так как я...

Смизертон (с изумлением): Позвольте, что вы такое говорите? Разве не вчера было воскресенье?

Все: Вчера? Да вы в своем ли уме!

Дядя: Говорю вам, воскресенье сегодня! Мне ли не знать?

Пратт: Да нет же! Завтра воскресенье.

Смизертон: Вы просто помешались, все четверо. Я так же твердо знаю, что воскресенье было вчера, как и то, что сейчас я сижу на этом стуле.

Кейт (вскакивая в возбуждении): Ах, я понимаю! Я все понимаю! Папочка, это вам перст судьбы - сами знаете в чем. Погодите, я сейчас все объясню. В действительности это очень просто. Капитан Смизертон говорит, что воскресенье было вчера. И он прав. Кузен Бобби и мы с папочкой утверждаем, что сегодня воскресенье. И это тоже верно, мы правы. А капитан Пратт убежден в том, что воскресенье будет завтра. Верно и это, он тоже прав. Мы все правы, и, стало быть, на одну неделю пришлось три воскресенья!

Смизертон (помолчав): А знаете, Пратт, Кейт ведь правду говорит. Какие же мы с вами глупцы. Мистер Скупердэй, все дело вот в чем. Земля, как вы знаете, имеет в окружности двадцать четыре тысячи миль. И этот шар земной вертится, поворачивается вокруг своей оси, совершая полный оборот протяженностью в двадцать четыре тысячи миль с запада на восток ровно за двадцать четыре часа. Вам понятно, мистер Скупердэй?

Дядя: Да, да, конечно. Доктор О'Бол...

Смизертон (заглушая его): То есть, сэр, скорость его вращения - тысяча миль в часе. Теперь предположим, что я переместился отсюда на тысячу миль к востоку. Понятно, что для меня восход солнца произойдет ровно на часе раньше, чем здесь, в Лондоне. Я обгоню ваше время на один час. Продвинувшись в том же направлении еще на тысячу миль, я опережу ваш восход уже

на два часа; еще тысяча миль - на три часа, и так далее, покуда я не возвращусь в эту же точку, проделав путь в двадцать четыре тысячи миль к востоку и тем самым опередив лондонский восход солнца ровно на двадцать четыре часа. Иначе говоря, я на целые сутки обгоню ваше время. Вы понимаете?

Дядя: Но О'Болтус...

Смизертон (очень громким голосом): Капитан же Пратт, напротив, отплыв на тысячу миль к западу, оказался на час позади, а проделав весь путь в двадцать четыре тысячи миль к западу, на сутки отстал от лондонского времени. Вот почему для меня воскресенье было вчера, для вас оно сегодня, а для Пратта наступит завтра. И главное, мистер Скупердэй, мы все трое совершенно правы, ибо нет никаких философских резонов, почему бы мнению одного из нас следовало отдать предпочтение.

Дядя: Ах ты, черт, действительно... Ну, Кейт, ну, Бобби, это в самом деле, как видно, перст судьбы. Я - человек слова, это каждому известно. И потому ты можешь назвать ее своею (со всем, что за ней дается), когда пожелаешь. Обошли меня, клянусь душою! Три воскресенья подряд, а? Интересно, что скажет О'Болтус на это?

Поместье Арнгейм

Перевод В. Рогова.

*Прекрасной даме был подобен сад,
Блаженно распростертой в полусне,
Смежив под солнцем утомленный взгляд.
Поля небесные синели мне,
В цветении лучей сомкнувшись в вышине.
Роса, блестя у лилий на главе
И на лазурных листьях и в траве,
Была что звездный рой в вечерней синеве.*

Джэйлс Флетчер

От колыбели до могилы в паруса моего друга Эллисона дул попутный ветер процветания. И я употребляю слово "процветание" не в сугубо земном смысле. Для меня оно тождественно понятию "счастье". Человек, о котором я говорю, казался рожденным для предвозвещения доктрин Тюрго, Прайса, Пристли и Кон-дорсе - для частного воплощения всего, что считалось химерою перфекционистов. По моему мнению, недолгая жизнь Эллисона опровергала догму о существовании в самой природе человека некоего скрытого начала, враждебного блаженству. Внимательное изучение его жизни дало мне понять, что нарушение немногих простых законов гуманности обусловило несчастье человечества, что мы обладаем еще неразвитыми началами, способными принести нам довольство, и что даже теперь, при нынешнем невежестве и безумии всех мыслей относительно великого вопроса о социальных условиях, не

лишено вероятности, что отдельное лицо, при неких необычайных и весьма благоприятных условиях, может быть счастливым.

Мнений, подобных этому, целиком придерживался и мой молодой друг, и поэтому следует принять во внимание, что ничем не омраченная радость, которой отмечена его жизнь, была в значительной мере обусловлена заранее. И в самом деле, очевидно, что, располагая он меньшими способностями к бессознательной философии, которая порою так успешно заменяет жизненный опыт, мистер Эллисон обнаружил бы себя ввергнутым самою своею невероятно жизненною удачею во всеобщий водоворот горя, разверзтый перед всеми, наделенными чем-либо незаурядным. Но я отнюдь не ставлю себе целью сочинение трактата о счастье. Идеи моего друга можно изложить в нескольких словах. Он допускал лишь четыре простые основы или, точнее говоря, четыре условия блаженства. То, что он почитал главным, были (странно сказать!) всего лишь физические упражнения на свежем воздухе. "Здоровье, достигаемое иными средствами, - говорил он, - едва ли достойно зваться здоровьем". Он приводил как пример блаженства охоту на лис и указывал на землекопов как на единственных людей, которые как сословие могут по справедливости почитаться счастливее прочих. Его вторым условием была женская любовь. Третьим, и наиболее трудно осуществимым, было презрение к честолюбивым помыслам. Четвертым была цель, которая требовала постоянного к себе стремления; и он держался того мнения, что степень достижимого счастья пропорциональна духовности и возвышенности этой цели. Замечателен был непрерывный поток даров, которые фортуна в изобилии обрушивала на Эллисона. Красотою и грацией он превосходил всех. Разум его был такого склада, что приобретение познаний являлось для него не трудом, а скорее наитием и необходимостью. Он принадлежал к одной из знатнейших фамилий империи. Его невеста была самая прелестная и самая верная из женщин. Его владения всегда были обширны; но, когда он достиг совершеннолетия, обнаружилось, что судьба сделала его объектом одного из тех необычайных своих капризов, что потрясают общество и почти всегда коренным образом переменяют моральный склад тех, на кого направлены.

Оказалось, что примерно за сто лет до совершеннолетия мистера Эллисона в одной отдаленной провинции скончался некий мистер Сибрайт Эллисон. Этот джентльмен скопил огромное состояние и, не имея прямых потомков, измыслил прихотливый план: дать своему богатству расти в течение ста лет после своей смерти. Мудро, до мельчайших подробностей распорядившись различными вложениями, он завещал всю сумму ближайшему из своих родственников по фамилии Эллисон, который будет жить через сто лет. Было предпринято много попыток отменить это необычайное завещание; но то, что они посиди характер *ex post facto* [Предпринятых задним числом (лат.)] обрекало их на провал; зато было привлечено внимание ревностного правительства и удалось провести законодательный акт, запрещающий подобные накопления. Этот акт, однако, не помешал юному Эллисону в свой двадцать первый день рождения вступить во владение наследством своего предка Сибрайта, составлявшим четыреста пятьдесят миллионов долларов [Случай, подобный вымышленному здесь, не так давно произошел в Англии. Фамилия счастливого наследника - Теллусон. Впервые я увидел сообщение об этом в "Путевых заметках" принца Пюклера-Мускау, который пишет, что унаследованная сумма составляет девяносто миллионов фунтов, и справедливо замечает, что "в размышлениях о столь обширной сумме и о службе, которую она может сослужить, есть даже нечто возвышенное". Для соответствия со взглядами, исповедуемыми в настоящем рассказе, я последовал сообщению принца, хотя оно и непомерно преувеличено. набросок и фактически первая часть настоящего произведения была обнародована много лет назад - до выхода в свет

первого выпуска восхитительного романа Сю "Вечный жид", на идею которого, быть может, навели записки Мускау.].

Когда стали известны столь огромные размеры унаследованного богатства, то, разумеется, начала строить всяческие предположения относительно того, как им распорядятся. Величина и безусловное наличие суммы привели в растерянность всех, размышлявших об этом предмете. Про обладателя какого-либо умопостигаемого количества денег можно было вообразить что угодно. Владей он богатствами, только превосходящими богатства любого гражданина, легко было представить себе, что он пустится в безудержный разгул соответственно модам своего времени, или займется политическими интригами, или начнет метить в министры, или купит себе высокий титул, или примется коллекционировать целые музеи *virtu* [Произведений искусства, редкостей (итал.)] или станет щедрым покровителем изящной словесности, наук, искусств, или свяжет свое имя с благотворительными учреждениями, известными широкою сферою деятельности. Но при столь невообразимом богатстве, действительным владельцем которого сделался наследник, чувствовалось, что эти цели, да и все обычные цели представляют слишком ограниченное поле. Обратились к цифрам, и они лишь привели в смущение. Стало ясно, что даже при трех процентах годовых капитал принесет не менее тринадцати миллионов пятисот тысяч годового дохода, что составляло миллион сто двадцать пять тысяч в месяц, или тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть долларов в день, или тысячу пятьсот сорок один доллар в час, или двадцать шесть долларов в каждую быстролетную минуту. И вследствие этого обычные предположения решительно отбросили. Не знали, что и вообразить. Некоторые даже предположили, будто мистер Эллисон избавится, по крайней мере, от половины своего состояния, ибо такое множество денег уж совершенно ни на что не нужно, и обогатит целую рать родственников разделом избытков. Ближайшим из них он и в самом деле уступил то весьма необычное богатство, которым владел до получения наследства.

Однако я не был удивлен, узнав, что он давно принял решение по вопросу, послужившему среди его друзей поводом для многих обсуждений. И я не очень-то изумился, обнаружив, что именно он решил. В отношении частной благотворительности он успокоил свою совесть. В возможность отдельного человека хоть как-либо, в прямом значении слова, улучшить общее состояние человечества он (мне жаль в этом признаться) мало верил. В целом, к счастью или нет, он в значительной степени был предоставлен самому себе.

Он был поэт в самом благородном и широком смысле слова. Кроме того, он постиг истинную природу, высокие цели, высшее величие поэтического чувства. Он бессознательно понял, что самое полное, а быть может, единственно возможное удовлетворение этого чувства заключается в созидании новых форм прекрасного. Некоторые странности, исходящие то ли из его раннего образования, то ли из самой природы его ума, придали всем его этическим представлениям характер так называемого материализма; и, быть может, это и внушило ему убеждение, что наиболее плодотворная, если только не единственная область воистину поэтического деяния заключается в создании новых видов чисто материальной красоты. И случилось так, что он не стал ни музыкантом, ни поэтом - если употреблять последний термин в его повседневном значении. А может быть, он пренебрег такою возможностью просто в соответствии со своим убеждением, что одно из основных условий счастья па земле заключается в презрении к честолюбивым помыслам. И, право, не вероятно ли, что если высокий гений по необходимости честолюбив, то наивысший чуждается того, что зовется честолюбием? И не может ли быть так, что иной, более великий, нежели Мильтон, оставался доволен, пребывая

"немым и бесславным"? Я убежден, что мир никогда не видел - и если только цепь случайностей не вынудит ум благороднейшего склада к низменным усилиям, то мир никогда и не увидит - полную меру победоносного свершения в самых богатых возможностями областях искусства, на которую вполне способна природа человеческая.

Эллисон не стал ни музыкантом, ни поэтом, хотя не жил на свете человек, более глубоко поглощенный музыкой и поэзией. Весьма возможно, что при других обстоятельствах он стал бы живописцем. Скульптура, хотя она и сугубо поэтична по природе своей, слишком ограничена в размахе и результатах, и поэтому не могла когда-либо обратить на себя его пристальное внимание. Я успел упомянуть все отрасли искусства, па которые поэтическое чувство, по общепринятому мнению, распространяется. Но Эллисон утверждал, что наиболее богатая возможностями, наиболее истинная, наиболее естественная и, быть может, наиболее широкая отрасль его пребывает в необъяснимом небрежении. Никто еще не относил декоративное садоводство к видам поэзии; но друг мой полагал, что оно предоставляет истинной Музе великолепнейшие возможности. И вправду, здесь простирается обширнейшее поле для демонстрации фантазии, выражаемой в бесконечном сочетании форм невиданной ранее красоты; и элементы, ее составляющие, неизмеримо превосходят все, что может дать земля. В многообразных и многокрасочных цветах и деревьях он усматривал самые прямые и энергичные усилия Природы, направленные на сотворение материальной красоты. И в направлении или в концентрации этих усилий - точнее, в приспособлении этих усилий к глазам, что должны увидеть их на земле, в применении лучших средств, в трудах ради полнейшего совершенства - и заключалось, как он понял, исполнение не только его судьбы как поэта, но и высокой цели, с коей божество наделило человека поэтическим чувством.

"В приспособлении этих усилий к глазам, что должны увидеть их на земле". Объясняя это выражение, мистер Эллисон во многом приблизил меня к разгадке того, что всегда казалось мне загадочным: разумею тот факт (его же оспорит разве лишь невежда), что в природе не существуют сочетания элементов пейзажа, равного тем, что способен сотворить гениальный живописец. Не сыщется в действительности райских мест, подобных там, что сияют нам с полотен Клода. В самых пленительных из естественных ландшафтов всегда сыщется избыток или недостаток чего-либо - многие избытки и многие недостатки. Если составные части и могут по отдельности превзойти даже наивысшее мастерство живописца, то в размещении этих частей всегда найдется нечто, моющее быть улучшенным. Коротко говоря, на широких естественных просторах земли нет точки, внимательно смотря с которой взор живописца не найдет погрешностей в том, что называется "композицией" пейзажа. И все же, до чего это непостижимо! В иных областях мы справедливо привыкли считать природу непревзойденной. Мы уклоняемся от состязаний с ее деталями. Кто дерзнет воспроизводить расцветку тюльпана или улучшать пропорции ландыша? Критическая школа, которая считает, что скульптура или портретная живопись должны скорее возвышать, идеализировать натуру, а не подражать ей, пребывает в заблуждении. Все сочетания черт человеческой красоты в живописи или скульптуре лишь приближаются к прекрасному, которое живет и дышит. Этот эстетический принцип верен лишь применительно к пейзажу; и, почувствовав здесь его верность, из-за опрометчивой тяги к обобщениям критики почли, будто он распространяется на все области искусства. Я сказал: почувствовав, ибо это чувство - не аффектация и не химера. И в математике явления - не точнее тех, которые открываются художнику, почувствовавшему природу своего искусства. Он не только предполагает, но положительно знает, что такие-то и такие-то, на первый взгляд произвольные сочетания материи образуют - и лишь они образуют - истинно прекрасное. Его мотивы, однако, еще не дозрели до выражения. Потребен более глубокий анализ, нежели тот,

что ведом ныне, дабы вполне их исследовать и выразить. Тем не менее художника в его инстинктивных понятиях поддерживают голоса всех его собратьев. Пусть в "композиции" будет недостаток, пусть в ее простое расположение форм внесут поправку, пусть эту поправку покажут всем художникам на свете, необходимость этой поправки признает каждый. И даже еще более того: для улучшения композиционного изъяна каждый из содружества в отдельности предложил бы одну и ту же поправку.

Повторяю, что материальная природа подлежит улучшению лишь в упорядочении элементов пейзажа и, следственно, лишь в этой области возможность ее усовершенствования представлялась мне неразрешимой загадкой. Мои мысли о настоящем предмете ограничивались предположением, будто природа вначале тщила создать поверхность земли в полном согласии с человеческими понятиями о совершенной степени прекрасного, высокого или живописного, но что это начальное стремление не было выполнено ввиду известных геологических нарушений - нарушений форм и цветовых сочетаний, подлинный же смысл искусства состоит в исправлении и сглаживании подобных нарушений. Однако убедительность такого предположения значительно ослаблялась сопряженной с ним необходимостью расценивать эти геологические нарушения как противоестественные и не имеющие никакой цели. Эллисон высказал догадку, что они предвещают смерть. Объяснил он это следующим образом: допустим, что вначале на долю человека предназначалось бессмертие. Тогда первоначальный вид земной поверхности, отвечающий блаженному состоянию человека, не просто существовал, но был сотворен по расчету. Геологические же нарушения предвещали смертность, приуроченные человеку в дальнейшем.

"Так вот, - сказал мой друг, - то, что мы считали идеализацией пейзажа, может таковою быть и в действительности, но лишь со смертной, или человеческой, точки зрения. Каждая перемена в естественном облике земли может, по всей вероятности, оказаться изъяном в картине, если вообразить, что картину эту видят целиком - во всем ее объеме - с точки, далекой от поверхности земли, хотя и не за пределами земной атмосферы. Легко понять, что поправка в детали, рассматриваемой на близком расстоянии, может в то же время повредить более общему или цельному впечатлению. Ведь могут быть существа, некогда люди, а теперь людям невидимые, которым издали наш беспорядок может показаться порядком, наша неживописность - живописною; одним словом, это земные ангелы, и необозримые декоративные сады обоих полушарий бог, быть может, скомпоновал для их, а не для нашего созерцания, для их восприятия красоты, восприятия, утонченного смертью".

Во время обсуждения друг мой процитировал некоторые отрывки из сочинения о декоративном садоводстве, автор которого, по общему мнению, успешно трактовал свою тему:

"Собственно есть лишь два стиля декоративного садоводства. Первый стремится напомнить первоначальную красоту местности, приспособляясь к окружающей природе; деревья выращивают, приводя их в гармонию с окрестными холмами или долинами; выявляют те приятные сочетания размеров, пропорций и цвета, которые, будучи скрыты от неопытного наблюдателя, повсеместно обнаруживаются перед истинным ценителем природы. Результат этого естественного стиля в садоводстве заключается скорее в отсутствии всяческих недостатков и несоответствий - в преобладании здоровой гармонии и порядка, нежели в создании каких-либо особых чудес или красот. У искусственного стиля столько же разновидностей, сколько существует индивидуальных вкусов, подлежащих удовлетворению. В известном смысле он соотносится с различными стилями архитектуры. Возьмите величественные аллеи и уединенные уголки Версаля, итальянские террасы, разновидности смешанного

староанглийского стиля, родственного готике или елизаветинскому зодчеству. Что бы ни говорили против злоупотреблений в искусственном стиле садоводства, привнесение искусства придает саду большую красоту. Это отчасти радует глаз благодаря наличию порядка и плана, отчасти благодаря интеллектуальным причинам. Терраса с обветшалой, обросшей мохом балюстрадой напоминает прекрасные облики проходивших по пей в былые дни. И даже малейший признак искусства свидетельствует о заботе и человеческом участии".

"Из того, что я ранее заметил, - продолжал Эллисон, - вы поймете, что я отвергаю выраженную здесь идею о возврате к естественной красоте данной местности. Естественная красота никогда не сравнится с созданной. Конечно, все зависит от выбора места. Сказанное здесь о выявлении приятных сочетаний размеров, пропорций и цвета - лишь неясные слова, потребные для сокрытия неточной мысли. Процитированная фраза может значить что угодно или ничего и никуда нас не приводит. Что истинный результат естественного стиля в садоводстве заключается скорее в отсутствии всяческих недостатков и несоответствий, нежели в создании каких-либо особых чудес или красот - положение, пригодное более для низменного стадного восприятия, нежели для пылких мечтаний гения. Негативные достоинства, здесь подразумеваемые, относятся к воззрениям той неуклюжей критической школы, которая в словесности готова почтить апофеозом Аддисона. А ведь правда, что добродетель, состоящая единственно в уклонении от порока, непосредственно воздействует на рассудок и поэтому может быть отнесена к правилам, но добродетель более высокого рода, пылающая в мироздании, постижима только по своим следствиям. Правила применимы лишь к заслугам отречения - к великолепию воздержания. Вне этих правил критическое искусство способно лишь строить предположения. Можно научить построению "Катона", но тщетны попытки рассказать, как замыслить Парфенон или "Ад". Однако создание готово; чудо совершилось, и способность воспринимать делается всеобщей. Обнаруживается, что софисты негативной школы, которые по своей неспособности творить насмеялись над творчеством, теперь громче всех расточают похвалы творению. То, что в своем зачаточном состоянии возмущало их ограниченный разум, по созревании неизменно исторгает восхищение, рожденное их инстинктивным чувством прекрасного".

"Наблюдения автора относительно искусственного стиля, - продолжал Эллисон, - вызывают меньше возражений. То, что добавление искусства придает саду большую красоту, справедливо, так же как и упоминание о свидетельстве человеческого участия. Выраженный принцип неоспорим - но и вне его может заключаться нечто. В следовании этому принципу может заключаться цель - цель, недостижимая средствами, как правило, доступными отдельным лицам, но которая, в случае достижения, придала бы декоративному саду очарование, далеко превосходящее то очарование, что возникает от простого сознания человеческого участия. Поэт, обладая денежными ресурсами, был бы способен, сохраняя необходимую идею искусства или культуры, или, как выразился наш автор, участия, придать своим эскизам такую степень красоты и новизны, дабы внушить чувство вмешательства высших сил. Станет ясно, что, добиваясь подобного результата, он сохраняет все достоинства участия или плана, в то же время избавляя свою работу от жесткости или техницизма земного искусства. В самой дикой глуши - в самых нетронутых уголках девственной природы - очевидно искусство творца; но искусство это очевидно лишь для рассудка и ни в каком смысле не обладает явной силой чувства. Предположим теперь, что это сознание плана, созданного Всемогущим, понизится на одну ступень - придет в нечто подобное гармонии или соответствию с сознанием человеческого искусства, образует нечто среднее между тем и другим: вообразим, к примеру, ландшафт, где сочетаются простор и определенность, который одновременно прекрасен, великолепен и

странен, и это сочетание показывает, что о нем заботятся, его возделывают, за ним наблюдают существа высшего порядка, но родственные человеку; тогда сознание участия сохраняется, в то время как элемент искусства приобретает характер промежуточной или вторичной природы, природы, которая не бог и не эманация бога, но именно природа, то есть нечто сотворенное ангелами, парящими между человеком и богом".

И посвятив свое огромное богатство осуществлению подобной грезы - в простых физических упражнениях на свежем воздухе, обусловленных его личным надзором над выполнением его замыслов, в вечной цели, созданной этими замыслами, в возвышенной духовности этой цели, в презрении к честолюбивым помыслам, которое эта цель позволила ему всемерно ощутить, в неиссякаемом источнике, утолявшем без пресыщения главную страсть его души, жажду прекрасного, и, сверх всего, в сочувствии женщины, чары и любовь которой обволокли его существование царственной атмосферой рая, Эллисон думал обрести и обрел избавление от обыденных забот рода человеческого вкупе с большим количеством прямого счастья, нежели представлялось госпоже де Сталь в самых восторженных ее мечтах.

Я не надеюсь дать читателю хоть какое-то отдаленное представление о тех чудесах, которые моему другу удалось осуществить. Я хочу описать их, но меня обескураживает трудность описания, я останавливаюсь на полпути между подробностями и целым. Быть может, лучшим способом явится сочетание и того и другого в их крайнем выражении.

Первый шаг мистера Эллисона заключался, разумеется, в выборе места; и едва начал он раздумывать об этом, как внимание его привлекла роскошная природа тихоокеанских островов. Он уж решился было отправиться путешествовать в южные моря, но, поразмыслив в течение ночи, отказался от этой идеи. "Будь я мизантроп, - объяснял он, - подобная местность подошла бы мне. Ее полная уединенность и замкнутость, затруднительность прибытия и отбытия составили бы в этом случае главную прелесть ее, но пока что я еще не Тимон. В одиночестве я ищу покоя, а не уныния. Да ведь будет и много часов, когда от поэтических натур мне потребуется сочувствие сделанному мною. В этом случае мне надобно искать место недалеко от многолюдного города, а близость его, вдобавок, послужит мне лучшим подспорьем в выполнении моих замыслов".

В поисках подходящего места, подобным образом расположенного, Эллисон путешествовал несколько лет, и мне позволено было сопровождать его. Тысячу участков, приводивших меня в восторг, он отвергал без колебания по причинам, в конце концов убеждавшим меня в его правоте. Наконец мы достигли возвышенного плоскогорья, отличающегося удивительно плодородной землей и очень красивого, откуда открывался панорамический вид обширнее того, что открывается с Этны, и, по мнению Эллисона, равно как и моему, превосходящий вид с прославленной горы в отношении всех истинных элементов живописного.

"Я сознаю, - сказал искатель, вздохнув с глубоким удовлетворением, после того как зачарованно взирал на эту сцену около часа, - я знаю, что здесь на моем месте девять десятых из самых придирчивых ничего бы не пожелали. Панорама воистину великолепна, и я восторгался бы ею, если бы великолепие ее не было бы чрезмерно. Вкус всех когда-либо знакомых мне архитекторов заставляет их ради "вида" помещать здания на вершинах холмов. Ошибка очевидна. Величие в любом своем выражении, особенно же в смысле протяженности, удивляет и волнует, а затем утомляет и гнетет. Для недолгого впечатления не может быть ничего лучшего, но для постоянного созерцания - ничего худшего. А для постоянного созерцания самый нежелательный вид грандиозности - это грандиозность протяженности, а худший вид

протяженности - это расстояние. Оно враждебно чувству и ощущению замкнутости - чувству и ощущению, которые мы пытаемся удовлетворить, когда удаляемся "на покой в деревню". Смотри с горной вершины, мы не можем не почувствовать себя затерянными в пространстве. Павшие духом избегают подобных видов, как чумы".

Только к концу четвертого года наших поисков мы нашли местность, которую Эллисон остался доволен. Разумеется, излишне говорить, где она расположена. Недавняя смерть моего друга привела к тому, что некоторому разряду посетителей был открыт доступ в его поместье Арнгейм, и оно снискало себе род утаенной славы, хотя и значительно большей по степени, но сходной по характеру со славою, которую так долго отличался Фонтхилл.

Обычно к Арнгейму приближались по реке. Посетитель покидал город ранним утром. До полудня он следовал между берегов, исполненных спокойной, безмятежной красоты, на которых паслись бесчисленные стада овец - белые пятна среди яркой зелени холмистых лугов. Постепенно создавалось впечатление, будто из края землешцев мы переходим в более дикий, пастушеский, - и впечатление это понемногу растворялось в чувстве замкнутости - а там и в сознании уединения. По мере того, как приближался вечер, русло сужалось; берега делались все более и более обрывисты, покрыты более густой, буйной и суровой по окраске растительностью. Вода становилась прозрачнее. Поток струился по тысяче излучин, так что вперед было видно не далее чем на фурлонг. Каждое мгновение судно казалось заключенным в заколдованный круг, обнесенный непреодолимыми и непроницаемыми стенами из листвы, накрытый крышею из ультрамаринового атласа и без пола, а киль с завидной ловкостью балансировал на киле призрачной ладьи, которая, перевернувшись по какой-то случайности вверх дном, плыла, постоянно сопутствуя настоящему судну ради того, чтобы держать его на поверхности. Теперь русло проходило по ущелью - пусть термин этот не вполне годится, я употребляю его лишь потому, что в языке нет слова, которое лучше бы обозначило самую примечательную, хотя и не самую характерную черту местности. На ущелье она походила лишь высотой и параллельностью берегов, и ничем другим. Берега (между которыми прозрачная вода по-прежнему спокойно струилась) поднимались до ста, а порою и до ста пятидесяти футов и так наклонялись друг к другу, что в весьма большой мере заслоняли дневной свет; а длинный, перистый мох, в обилии свисавший о кустов, переплетенных над головою, придавал всему погребальное уныние. Поток извивался все чаще и все запутаннее, как бы петляя, так что путешественник давно уж терял всякое понятие о направлении. Кроме того, его охватывало восхитительное чувство странного. Мысль о природе оставалась, но характер ее казался подвергнутым изменениям, жуткая симметрия, волнуемое единообразие, колдовская упорядоченность наблюдались во всех ее созданиях. Ни единой сухой ветви, ни увядшего листа, ни случайно скатившегося камешка, ни полосы бурой земли нигде не было видно. Хрустальная влага плескалась о чистый гранит или о незапятнанный мох, и резкость линий восхищала взор, хотя и приводила в растерянность.

Пройдя до этому лабиринту в течение нескольких часов, пока сумрак стужался с каждым мигмом, судно делало крутой и неожиданный поворот и внезапно, как бы упав с неба, оказывалось в круглом водоеме, весьма обширном по сравнению с шириною ущелья. Он насчитывал около двухсот ярдов в диаметре и всюду, кроме одной точки, расположенной прямо напротив входящего судна, был окружен холмами, в общем одной высоты со стенами ущелья, хотя и совсем другого характера. Их стороны сбегали к воде под углом примерно в сорок пять градусов, и от подошвы до вершины их обволакивали роскошнейшие цветы; вряд ли можно было бы заметить хоть один зеленый лист в этом море благоуханного и переливчатого цвета. Водоем

был очень глубок, но из-за необычайно прозрачной воды дно его, видимо, образованное густым скоплением маленьких круглых алебастровых камешков, порою было ясно видно, то есть, когда глаз мог позволить себе не увидеть в опрокинутом небе удвоенное цветение холмов. На них не росло никаких деревьев и даже кустов. Зрителя охватывало впечатление пышности, теплоты, цвета, покоя, гармонии, мягкости, нежности, изящества, сладострастия и чудотворного, чрезвычайно заботливого ухода, внушавшего мечтания о новой породе фей, трудолюбивых, наделенных вкусом, великолепных и изысканных; но, пока взор скользил кверху по многоцветному склону от резкой черты, отмечавшей границу его с водою, до его неясно видной вершины, растворенной в складках свисающих облаков, то, право, трудно было не вообразить панорамический поток рубинов, сапфиров, опалов и золотых ониксов, беззвучно низвергающихся с небес.

Внезапно вылетев в эту бухту из мрачного ущелья, гость восхищен, но и ошеломлен, увидев шар заходящего солнца, которое, по его предположениям, давно опустилось за горизонт, но оно встает перед ним, образуя единственный предел бесконечной перспективы, видной в еще одной расселине среди холмов.

Но тут путник покидает судно, на котором следовал дотоле, и опрыскивается в легкую пирогу из слоновой кости, снаружи и внутри испещренную ярко-алыми арабесками. Острый нос и острая корма челна высоко вздымаются над водою, так что в целом его форма напоминает неправильный полумесяц. Он покоится на глади водоема, исполненный горделивой грации лебедя. На палубе, устланной горностаевым мехом, лежит единственное весло из атласного дерева, легкое, как перышко; но нигде не видно ни гребца, ни слуги. Гости уверяют, что судьба о нем позаботится. Большое судно исчезает, и он остается один в челне, по всей видимости, недвижимо стоящем посередине озера. Но, размышляя о том, что ему предпринять далее, он ощущает легкое движение волшебной ладьи. Она медленно поворачивается, пока нос ее не начинает указывать на солнце. Она движется, мягко, но равномерно ускоряя ход, а легкая рябь, ею поднятая, как бы рождает, ударяясь в борт, божественную мелодию - как бы единственно возможное объяснение успокоительной, но грустной музыки, источник которой, растерянно оглядываясь окрест, путник напрасно ищет.

Ладья идет ровно и приближается к утесистым вратам канала, так что его глубины можно рассмотреть яснее. Справа поднимается высокая цепь холмов, покрытых дикими и густыми лесами. Заметно, однако, что восхитительная чистота на границе берега и воды остается прежней. Нет и следа обычного речного мусора. Пейзаж слева не столь суров, и его искусственность более заметна. Берег здесь поднимается весьма отлого, образуя широкий газон, трава на котором похожа более всего на бархат, а ярким цветом выдерживает сравнение с чистейшим изумрудом. Ширина плато колеблется от десяти до трехсот ярдов; оно доходит до стены в пятьдесят футов, которая тянется, бесконечно извиваясь, но все же в общем следует направлению реки, пока не теряется из виду, удаляясь к западу. Стена эта образована из цельной скалы и создана путем стесывания некогда неровного обрыва на южном берегу реки; но никаким следам рук человеческих не дозволено было остаться. Обработанный камень как бы окрашен столетиями, он густо увешан и покрыт плющом, коралловой жимолостью, шиповником и ломоносом. Тождество верхней и нижней линий стены ясно оттеняется там и сям гигантскими деревьями, растущими поодиночке и маленькими группами как вдоль плато, так и по ту сторону стены, но в непосредственной к ней близости, так что очень часто ветви (особенно ветви черных ореховых деревьев) перегибаются и окунают свисающие конечности в воду. Что дальше - мешает увидеть непроницаемая лиственная завеса.

Все это видно во время постепенного продвижения челна к тому, что я назвал воротами перспективы. По мере приближения, однако, путник замечает, что сходство с ущельем пропало; слева открывается новый выход из бухты; туда же тянется и стена, по-прежнему следуя общему направлению потока. Вдоль этого нового русла видно не очень далеко, потому что поток вместе со стеною все еще загибается влево, пока обоих не поглощает листва.

Тем не менее ладья волшебным образом скользит в извилистый канал; и здесь берег, противоположный стене, оказывается похож на берег, противоположный стене в канале. Высокие холмы, порою по высоте равные горам и покрытые буйной и дикой растительностью, все же не дают увидеть то, что вдали.

Спокойно, хотя и с несколько большей скоростью двигаясь вперед, путник после многих коротких поворотов видит, что дальнейшую дорогу ему преграждают гигантские ворота или скорее дверь из отполированного золота, покрытая сложной резьбой и чеканкой и отражающая отвесные лучи к тому времени стремительно заходящего солнца, отчего весь окрестный лес как будто охвачен огненными языками. Дверь врезана в высокую стену, которая здесь кажется пересекающей реку под прямым углом. Однако через несколько мгновений становится видно, что главное русло все еще описывает широкую и плавную дугу влево и стена, как прежде, идет вдоль потока, а от него ответвляется довольно большой рукав и, протекая с легким плеском под дверь, скрывается из глаз. Челн входит в рукав и приближается к воротам. Тяжкие створы медленно и музыкально распахиваются. Ладья проскальзывает между ними и начинает неудержимое нисхождение в обширный амфитеатр, полностью опоясанный лиловыми горами, чьи подножья омывает серебристая река. И разом является взору Арнгеймский Эдем. Там льется чарующая мелодия; там одурманивает странный, сладкий аромат; там сновиденно свиваются перед глазами высокие, стройные восточные деревья; там раскидистые кусты, стаи золотых и пунцовых птиц, озера, окаймленные лилиями, луга, покрытые фиалками, тюльпанами, маками, гиацинтами и туберозами, - длинные, переплетенные извивы серебристых ручейков, и воздымается полуготическое, полумаавританское нагромождение, волшебно парит в воздухе, сверкает в багровых закатных лучах сотнею террас, минаретов и шпилей и кажется призрачным творением сифид, фей, джиннов и гномов.

Маска красной смерти

Перевод Р. Померанцевой.

Уже давно опустошала страну Красная смерть. Ни одна эпидемия еще не была столь ужасной и губительной. Кровь была ее гербом и печатью - жуткий багрянец крови! Неожиданное головокружение, мучительная судорога, потом из всех пор начинала сочиться кровь - и приходила смерть. Едва на теле жертвы, и особенно на лице, выступали багровые пятна - никто из ближних уже не решался оказать поддержку или помощь зачумленному. Болезнь, от первых ее симптомов до последних, протекала меньше чем за полчаса.

Но принц Просперо был по-прежнему весел - страх не закрался в его сердце, разум не утратил остроту. Когда владенья его почти обезлюдели, он призвал к себе тысячу самых ветреных и самых выносливых своих приближенных и вместе с ними удалился в один из своих укрепленных монастырей, где никто не мог потревожить его. Здание это - причудливое и величественное, выстроенное согласно царственному вкусу самого принца, - было опоясано крепкой и высокой стеной с железными воротами. Вступив за ограду, придворные вынесли к воротам горны и тяжелые молоты и намертво заклепали засовы. Они решили закрыть все входы и выходы, дабы как-нибудь не прокралось к ним безумие и не поддались они отчаянию.

Обитель была снабжена всем необходимым, и придворные могли не бояться заразы. А те, кто остался за стенами, пусть сами о себе позаботятся! Глупо было сейчас грустить или предаваться раздумью. Принц постарался, чтобы не было недостатка в развлечениях. Здесь были фигляры и импровизаторы, танцовщицы и музыканты, красавицы и вино. Все это было здесь, и еще здесь была безопасность. А снаружи царила Красная смерть.

Когда пятый или шестой месяц их жизни в аббатстве был на исходе, а моровая язва свирепствовала со всей яростью, принц Просперо созвал тысячу своих друзей на бал-маскарад, великолепней которого еще не видывали.

Это была настоящая вакханалия, этот маскарад. Но сначала я опишу вам комнаты, в которых он происходил. Их было семь - семь роскошных покоев. В большинстве замков такие покои идут длинной прямой анфиладой; створчатые двери распахиваются настежь, и ничто не мешает охватить взором всю перспективу. Но замок Просперо, как и следовало ожидать от его владельца, приверженного ко всему *bizarre* [Странному (франц.)] был построен совсем по-иному. Комнаты располагались столь причудливым образом, что сразу была видна только одна из них. Через каждые двадцать - тридцать ярдов вас ожидал поворот, и за каждым поворотом вы обнаруживаете что-то новое. В каждой комнате, справа и слева, посреди стены находилось высокое узкое окно в готическом стиле, выходившее на крытую галерею, которая повторяла зигзаги анфилады. Окна эти были из цветного стекла, и цвет их гармонировал со всем убранством комнаты. Так, комната в восточном конце галереи была обтянута голубым, и окна в ней были ярко-синие. Вторая комната была убрана красным, и стекла здесь были пурпурные. В третьей комнате, зеленой, такими же были и оконные стекла. В четвертой комнате драпировка и освещение были оранжевые, в пятой - белые, в шестой - фиолетовые. Седьмая комната была затянута черным бархатом: черные драпировки спускались здесь с самого потолка и тяжелыми складками ниспадали на ковер из такого же черного бархата. И только в этой комнате окна отличались от обивки: они были ярко-багряные - цвета крови. Ни в одной из семи комнат среди многочисленных золотых украшений, разбросанных повсюду и даже спускавшихся с потолка, не видно было ни люстр, ни канделябров, - не свечи и не лампы освещали комнаты: на галерее, окружавшей анфиладу, против каждого окна стоял массивный треножник с пылающей жаровней, и огни, проникая сквозь стекла, заливали покои цветными лучами, отчего все вокруг приобретало какой-то призрачный, фантастический вид. Но в западной, черной, комнате свет, струившийся сквозь кроваво-красные стекла и падавший на темные занавеси, казался особенно таинственным и столь дико искажал лица присутствующих, что лишь немногие из гостей решались переступить ее порог.

А еще в этой комнате, у западной ее стены, стояли гигантские часы черного дерева. Их тяжелый маятник с монотонным приглушенным звоном качался из стороны в сторону, и, когда минутная стрелка завершала свой оборот и часам наступал срок бить, из их медных легких вырывался звук отчетливый и громкий, проникновенный и удивительно музыкальный, но до того необычный по силе и тембру, что оркестранты принуждены были каждый час останавливаться, чтобы прислушаться к нему. Тогда вальсирующие пары невольно переставали кружиться, ватага весельчаков на миг замирала в смущении и, пока часы отбивали удары, бледнели лица даже самых беспутных, а те, кто был постарше и порассудительней, невольно проводили рукой по лбу, отгоняя какую-то смутную думу. Но вот бой часов умолкал, и тотчас же веселый смех наполнял покои; музыканты с улыбкой переглядывались, словно посмеиваясь над своим нелепым испугом, и каждый тихонько клялся другому, что в следующий раз он не поддастся смущению при этих звуках. А когда пробежали шестьдесят минут - три тысячи шестьсот секунд

быстротечного времени - и часы снова начинали бить, наступало прежнее замешательство и собравшимися овладевали смятение и тревога.

И все же это было великолепное и веселое празднество. Принц отличался своеобразным вкусом: он с особой остротой воспринимал внешние эффекты и не заботился о моде. Каждый его замысел был смел и необычен и воплощался с варварской роскошью. Многие сочли бы принца безумным, но приспешники его были иного мнения. Впрочем, поверить им могли только те, кто слышал и видел его, кто был к нему близок.

Принц самолично руководил почти всем, что касалось убранства семи покоев к этому грандиозному *fete* [Празднеству (франц.).] В подборе масок тоже чувствовалась его рука. И уж конечно - это были гротески! Во всем - пышность и мишура, иллюзорность и пикантность, наподобие того, что мы позднее видели в "Эрнани". Повсюду кружились какие-то фантастические существа, и у каждого в фигуре или одежде было что-нибудь нелепое.

Все это казалось порождением какого-то безумного, горячечного бреда. Многое здесь было красиво, многое - безнравственно, многое - *bizarre*, иное наводило ужас, а часто встречалось и такое) что вызывало невольное отвращение. По всем семи комнатам во множестве разгуливали видения наших снов. Они - эти видения, - корчась и извиваясь, мелькали тут и там, в каждой новой комнате меняя свой цвет, и чудилось, будто дикие звуки оркестра - всего лишь эхо их шагов. А по временам из залы, обтянутой черным бархатом, доносился бой часов. И тогда на миг все замирало и цепенело - все, кроме голоса часов, - а фантастические существа словно прирастали к месту. Но вот бой часов смолк - он слышался всего лишь мгновение, - и тотчас же веселый, чуть приглушенный смех снова наполнял анфиладу, и снова гремела музыка, снова оживали видения, и еще смешнее прежнего кривлялись повсюду маски, принимая оттенки многоцветных стекол, сквозь которые жаровни струили свои лучи. Только в комнату, находившуюся в западном конце галереи, не решался теперь вступить ни один из ряженных: близилась полночь, и багряные лучи света уже сплошным потоком лились сквозь кроваво-красные стекла, отчего чернота траурных занавесей казалась особенно жуткой. Тому, чья нога ступала на траурный ковер, в звоне часов слышались погребальные колокола, и сердце его при этом звуке сжималось еще сильнее, чем у тех, кто предавался веселью в дальнем конце анфилады.

Остальные комнаты были переполнены гостями - здесь лихорадочно пульсировала жизнь. Празднество было в самом разгаре, когда часы начали отбивать полночь. Стихла, как прежде, музыка, перестали кружиться в вальсе танцоры, и всех охватила какая-то непонятная тревога. На сей раз часам предстояло пробить двенадцать ударов, и, может быть, поэтому чем дольше они били, тем сильнее закрадывалась тревога в души самых рассудительных. И, может быть, поэтому не успел еще стихнуть в отдалении последний отзвук последнего удара, как многие из присутствующих вдруг увидели маску, которую до той поры никто не замечал. Слух о появлении новой маски разом облетел гостей; его передавали шепотом, пока не загудела, не зажужжала вся толпа, выражая сначала недовольство и удивление, а под конец - страх, ужас и негодование.

Появление обычного ряженого не вызвало бы, разумеется, никакой сенсации в столь фантастическом сборище. И хотя в этом ночном празднестве царила поистине необузданная фантазия, новая маска перешла все границы дозволенного - даже те, которые признавал принц. В самом безрассудном сердце есть струны, коих нельзя коснуться, не заставив их трепетать. У людей самых отчаянных, готовых шутить с жизнью и смертью, есть нечто такое, над чем они не позволяют себе смеяться. Казалось, в эту минуту каждый из присутствующих почувствовал,

как несмешон и неуместен наряд пришельца и его манеры. Гость был высок ростом, изможден и с головы до ног закутан в саван. Маска, скрывавшая его лицо, столь точно воспроизводила застывшие черты трупа, что даже самый пристальный и придирчивый взгляд с трудом обнаружил бы обман. Впрочем, и это не смутило бы безумную ватагу, а может быть, даже вызвало бы одобрение. Но шутник дерзнул придать себе сходство с Красной смертью. Одежда его была забрызгана кровью, а на челе и на всем лице проступал багряный ужас.

Но вот принц Просперо узрел этот призрак, который, словно для того, чтобы лучше выдержать роль, торжественной поступью расхаживал среди танцующих, и все заметили, что по телу принца пробежала какая-то странная дрожь - не то ужаса, не то отвращения, а в следующий миг лицо его побагровело от ярости.

- Кто посмел?! - обратился он хриплым голосом к окружавшим его придворным. - Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы знали, кого нам поутру повесить на крепостной стене!

Слова эти принц Просперо произнес в восточной, голубой, комнате. Громко и отчетливо прозвучали они во всех семи покоях, ибо принц был человек сильный и решительный, и тотчас по мановению его руки смолкла музыка.

Это происходило в голубой комнате, где находился принц, окруженный толпой побледневших придворных. Услышав его приказ, толпа метнулась было к стоявшему поблизости пришельцу, но тот вдруг спокойным и уверенным шагом направился к принцу. Никто не решился поднять на него руку - такой непостижимый ужас внушало всем высокомерие этого безумца. Беспрепятственно прошел он мимо принца, - гости в едином порыве прижались к стенам, чтобы дать ему дорогу, - и все той же размеренной и торжественной поступью, которая отличала его от других гостей, двинулся из голубой комнаты в красную, из красной - в зеленую, из зеленой - в оранжевую, оттуда - в белую и наконец - в черную, а его все не решались остановить. Тут принц Просперо, вне себя от ярости и стыда за минутное свое малодушие, бросился в глубь анфилады; но никто из придворных, одержимых смертельным страхом, не последовал за ним. Принц бежал с обнаженным кинжалом в руке, и, когда на пороге черной комнаты почти уже настиг отступающего врага, тот вдруг обернулся и вперил в него взор. Раздался пронзительный крик, и кинжал, блеснув, упал на траурный ковер, на котором спустя мгновение распростерлось мертвое тело принца. Тогда, призвав на помощь все мужество отчаяния, толпа пирующих кинулась в черную комнату. Но едва они схватили зловещую фигуру, застывшую во весь рост в тени часов, как почувствовали, к невыразимому своему ужасу, что под саваном и жуткой маской, которые они в исступлении пытались сорвать, ничего нет.

Теперь уже никто не сомневался, что это Красная смерть. Она прокралась, как тать в ночи. Один за другим падали бражники в забрызганных кровью пиршественных залах и умирали в тех самых позах, в каких настигла их смерть. И с последним из них угасла жизнь эбеновых часов, потухло пламя в жаровнях, и над всем безраздельно воцарились Мрак, Гибель и Красная смерть.

Ворон

Перевод В. Брюсова

Как-то в полночь, в час унылый, я вникал, устав, без силы, Меж томов старинных, в строки рассужденья одного По отвергнутой науке и расслышал смутно звуки, Вдруг у двери словно стук - стук у входа моего. "Это-гость,- пробормотал я,- там, у входа моего,

Гость, - и больше ничего!" Ах! мне помнится так ясно: был декабрь и день ненастный, Был как призрак - отсвет красный от камина моего. Ждал зари я в нетерпенье, в книгах тщетно утешенье Я искал в ту ночь мученья, - бденья ночь, без той, кого Звали здесь Линор. То имя... Шепчут ангелы его,

На земле же - нет его. Шелковистый и не резкий, шорох алой занавески Мучил, наполнил темным страхом, что не знал я до чпго. Чтоб смирить в себе биенья сердца, долго в утешенье Я твердил: "То - посещение просто друга одного". Повторял: "То - посещение просто друга одного,

Друга, - больше ничего!" Наконец, владея волей, я сказал, не медля боле: "Сэр иль Мистрисс, извините, что молчал я до того. Дело в том, что задремал я и не сразу расслышал я, Слабый стук не разобрал я, стук у входа моего". Говоря, открыл я настежь двери дома моего.

Тьма, - и больше ничего. И, смотря во мрак глубокий, долго ждал я, одинокий, Полный грез, что ведать смертным не давалось до тою! Все безмолвно было снова, тьма вокруг была сурова, Раздалось одно лишь слово: шепчут ангелы его. Я шепнул: "Линор" - и эхо повторило мне его,

Эхо, - больше ничего. Лишь вернулся я несмело (вся душа во мне горела), Вскоре вновь я стук расслышал, но ясней, чем до того. Но сказал я: "Это ставней ветер зыблет своенравный, Он и вызвал страх недавний, ветер, только и всего, Будь спокойно, сердце! Это - ветер, только и всего.

Ветер, - больше ничего! " Растворил свое окно я, и влетел во глубь покоя Статный, древний Ворон, шумом крыльев слава торжество, Поклониться не хотел он; не колеблясь, полетел он, Словно лорд иль лэди, сел он, сел у входа моего, Там, на белый бюст Паллады, сел у входа моего,

Сел, - и больше ничего. Я с улыбкой мог дивиться, как эбеновая птица, В строгой важности - сурова и горда была тогда. "Ты, - сказал я, - лыс и черен, но не робок и упорен, Древний, мрачный Ворон, странник с берегов, где ночь всегда! Как же царственно ты прозван у Плутона?" Он тогда

Каркнул: "Больше никогда!" Птица ясно прокричала, изумив меня сначала. Было в крике смысла мало, и слова не шли сюда. Но не всем благословенье было - ведать посещение Птицы, что над входом сядет, величава и горда, Что на белом бюсте сядет, чернокрыла и горда,

С кличкой "Больше никогда!". Одинокий, Ворон черный, сев на бюст, бросал, упорный, Лишь два слова, словно душу вылил в них он навсегда. Их твердя, он словно стынул, ни одним пером не двинул, Наконец я птице кинул: "Раньше скрылись без следа Все друзья; ты завтра сгинешь безнадежно!.." Он тогда

Каркнул: "Больше никогда!" Вздрыгнул я, в волненье мрачном, при ответе стол "Это - все, - сказал я, - видно, что он знает, жив го, С бедняком, кого терзали беспощадные печали, Гнали вдаль и дальше гнали неудачи и нужда. К песням скорби о надеждах лишь один припев нужда

Знала: больше никогда!" Я с улыбкой мог дивиться, как глядит мне в душу птица Быстро кресло подкатил я против птицы, сел туда: Прижимаясь к мягкой ткани, развивал я цепь мечтаний Сны за снами; как в тумане, думал я: "Он жил года, Что ж пророчит, вещей, тощий, живший в старые года,

Криком: больше никогда?" Это думал я с тревогой, но не смел шепнуть ни слога Птице, чьи глаза палили сердце мне огнем тогда. Это думал и иное, прислонясь челом в покое К бархату; мы, прежде, двое так сидели иногда... Ах! при лампе не склоняться ей на бархат иногда

Больше, больше никогда! И, казалось, клубы дыма льет курильница незримо, Шаг чуть слышен серафима, с ней вошедшего сюда. "Бедный!- я вскричал,- то богом послан отдых всем тревогам, Отдых, мир! чтоб хоть немного ты вкусил забвенья, - да? Пей! о, пей тот сладкий отдых! позабудь Линор, - о, да?"

Ворон: "Больше никогда!" "Вещий, - я вскричал, - зачем он прибыл, птица или демон Искусителем ли послан, бурей пригнан ли сюда? Я не пал, хоть полн уныний! В этой заклятой пустыне, Здесь, где правит ужас ныне, отвечай, молю, когда В Галааде мир найду я? обрету бальзам когда?"

Ворон: "Больше никогда!" "Вещий, - я вскричал, - зачем он прибыл, птица или д Ради неба, что над нами, часа Страшного суда, Отвечай душе печальной: я в раю, в отчизне дальней, Встречу ль образ идеальный, что меж ангелов всегда? Ту мою Линор, чье имя шепчут ангелы всегда?"

Ворон; "Больше никогда!" "Это слово - знак разлуки! - крикнул я, ломая руки. - Возвратись в края, где мрачно плещет Стиксова вода! Не оставь здесь перьев черных, как следов от слов позорных? Не хочу друзей тлетворных! С бюста - прочь, и навсегда! Прочь - из сердца клюв, и с двери - прочь виденье навсегда!

Ворон: "Больше никогда!" И, как будто с бюстом слит он, все сидит он, все сидит он, Там, над входом, Ворон черный с белым бюстом слит всегда. Светом лампы озаренный, смотрит, словно демон сонный. Тень ложится удлинено, на полу лежит года, - И душе не встать из тени, пусть идут, идут года, -

Знаю, - больше никогда!

Лось (Утро На Виссахиконе)

Перевод: З.Александрова

Природу Америки часто противопоставляют, и в общем и в частности, пейзажам Старого Света - особенно Европы; причем и та и другие имеют своих приверженцев, столь же восторженных, сколь несогласных между собой. Спор этот едва ли скоро окончится, ибо, хотя многое уже сказано обеими сторонами, кое-что остается еще добавить.

Наиболее известные из английских путешественников, пытавшихся проводить такое сравнение, очевидно принимают паше северное и восточное побережье за всю Америку или, по крайней мере, за все Соединенные Штаты, заслуживающие внимания. Они почти не упоминают - ибо еще меньше знают - великолепную природу некоторых внутренних областей нашего Запада и Юга, например, обширной долины Луизианы, этого истинного воплощения самых смелых видений рая. Эти путешественники по большей части довольствуются беглым осмотром лишь самых очевидных достопримечательностей страны - Гудзона, Ниагары, Кэтскиллских гор, Харперс-Ферри, озер Нью-Йорка, реки Огайо, прерий и Миссисипи. Все это, разумеется,

весьма достойно внимания даже того, кто только что взбирался к рейнским замкам или бродил там,

где мчится Рона,

Лазурная, подобная стреле.

Однако это еще не все, чем мы можем похвастаться; и я даже осмеливаюсь утверждать, что в пределах Соединенных Штатов имеются бесчисленные уединенные и почти не исследованные места, которые подлинный художник или просвещенный любитель величавых и прекрасных творений Всевышнего предпочтет всем и каждому из упомянутых мною давно описанных и широко известных пейзажей.

В самом деле, подлинные райские кущи страны находятся вдали от маршрутов даже наиболее неторопливых из наших путешественников - и тем более недоступны они иностранцу, который, взявшись доставить своему издателю известное количество страниц американских заметок к известному сроку, может надеяться выполнить свои обязательства, не иначе как проехав поездом или пароходом с записной книжкой в руках лишь по самым проторенным путям!

Я только что упомянул долину Луизианы. Из всех красивых местностей это, быть может, самая прекрасная. Никакой вымысел не сможет с нею сравниться. Самое богатое воображение сумеет нечто почерпнуть из ее пышной красоты. Ибо именно красота является ее определяющим признаком. Величавого там почти или вовсе нет. Пологие холмы, пересеченные причудливыми прозрачными ручьями, которые текут то среди усеянных цветами лугов, то среди лесов с огромными, пышными деревьями, населенных яркими птицами и напоенных ароматами, - все это превращает долину Луизианы в самый сладостный и роскошный на свете ландшафт.

Но и в этой прелестной местности лучшие уголки доступны одному лишь пешему путнику. Вообще в Америке путешественник, ищущий наиболее красивых пейзажей, должен добираться к ним не поездом, не пароходом, не дилижансом, не в собственной карете и даже не верхом - но только пешком. Он должен идти, перепрыгивать через расселины, преодолевать пропасти, рискуя сломать себе шею, - иначе он не увидит подлинного, недоступного словам великолепия нашей страны.

В большей части Европы в этом нет необходимости. В Англии ее не существует вовсе. Самый франтоватый путешественник может там посетить любую заслуживающую внимания местность без ущерба для своих шелковых чулок, настолько хорошо известны все места, представляющие интерес, и настолько удобны ведущие туда дороги. Это обстоятельство никогда достаточно не учитывалось при сравнении природы Старого и Нового Света. Все красоты первого сравниваются лишь с наиболее прославленными и отнюдь не самыми примечательными из красот второго.

Речные пейзажи бесспорно обладают всеми основными чертами прекрасного и с незапамятных времен принадлежат к излюбленным темам поэтов. А между тем слава их в значительной степени объясняется легкостью речных путешествий - по сравнению с путешествием в горах. Точно так же большим рекам, обычно являющимся главными путями сообщения, всюду незаслуженно достается львиная доля восхищения. Их чаще видят и, следовательно, чаще о них говорят, чем о менее крупных, но зачастую более интересных реках.

Разительным примером может служить Виссахикон - ручей (ибо рекой его, пожалуй, не назовешь), впадающий в реку Скул-кил примерно в шести милях к западу от Филадельфии. Виссахикон отличается такой красотой, что, если бы он протекал в Англии, его воспевали бы все барды и расхваливали все языки. Но скорее всего его берега были бы разбиты на баснословно дорогие участки, а затем застроены виллами богачей. А менаду тем всего лишь несколько лет назад Виссахикон был известен разве только понаслышке, хотя более крупная и судоходная река, в которую он впадает, уже давно славится как одна из красивейших рек Америки. Скулкил, чьи красоты сильно преувеличены, а берега - по крайней мере в окрестностях Филадельфии - болотисты, как и берега Делавэра, не может сравниться по живописности с более скромной и менее известной речушкой, о которой идет речь.

Только после того как Фанни Кембл в своей забавной книжке о Соединенных Штатах указала жителям Филадельфии на редкую красоту ручья, протекающего у самых их порогов, наиболее отважные из местных любителей прогулок познакомились с этой красотой воочию. "Дневник" открыл всем глаза, и для Виссахикона началась некоторая известность. Я говорю "некоторая", ибо подлинную его красоту следует искать там, куда не доходит маршрут филадельфийских охотников за живописным, которые редко отдаляются более чем на милю-другую от устья - по той простой причине, что там кончается проезжая дорога. Я посоветовал бы отважному путнику, который делает полюбоваться лучшими видами, идти по Ридж Роуд, выходящей из города в западном направлении, а после шестой мили свернуть на вторую просеку и следовать по ней до конца. Он увидит тогда один из красивейших изгибов Виссахикона; пробираясь вдоль берега или же по воде в лодке, он сможет спуститься или подняться по течению, как ему вздумается, и в любом случае будет вознагражден за свои труды.

Я уже говорил, или мне следовало бы сказать, что речка эта - узкая. Берега ее почти всюду круты, ибо она течет среди высоких холмов, ближе к воде поросших чудесным кустарником, а выше - некоторыми из красивейших пород американских деревьев, среди которых выделяется *Liriodendron Tulipiferum*. Она струится между берегов, одетых мхом, и прозрачная вода в своем задумчивом течении плещет о них, как плещут синие волны Средиземного моря о мраморные ступени дворцов. Кое-где в тени утесов приютились небольшие площадки, поросшие сочной травой, - самое живописное место для домика с садом, какое только может представиться прихотливому воображению. Речка изобилует крутыми излучинами, как обычно бывает при отвесных берегах, так что взору путника открывается бесконечная череда разнообразнейших маленьких озер или, вернее, озерков. Но Виссахикон следует посещать не при свете луны, как Мелрозское аббатство, и даже не в облачную погоду, а при ярком полуденном солнце; ибо узкая лощина, где он протекает, высокие холмы, окружающие его, и густая листва создают сумрачный, почти угрюмый колорит, от которого его красота несколько проигрывает, когда не освещена достаточно ярким светом.

Недавно я отправился туда описанным выше путем и провел в лодке большую часть жаркого дня. Утомленный зноем, я доверился медленному течению и погрузился в некий полусон, унесший меня к Виссахикону давно минувших дней - того "доброго старого времени", когда еще не было Демона Машин, когда пикники были неведомы, "водные угожья" не покупались и не продавались и когда по этим холмам ступали лишь лось да краснокожий. Пока эти грезы постепенно овладевали мною, ленивый ручей успел пронести меня вокруг одного мыса, а за ним, в каких-нибудь сорока или пятидесяти ярдах, показался второй. Это был отвесный утес, далеко вдававшийся в ручей и гораздо более напоминавший пейзажи Сальватора, чем все, только что

прошедшее перед моими глазами. То, что я увидел на этом утесе, хотя и было весьма необычно в таком месте и в такое время года, поначалу ничуть меня не поразило - настолько оно гармонировало с моими полусонными видениями. На краю обрыва, - или это мне пригрезилось? - вытянув шею, насторожив уши и всем своим видом выражая глубокое и печальное любопытство, стоял один из тех старых, отважных лосей, которые только что грезились вместе с краснокожими.

Я сказал, что в первые мгновения это зрелище не испугало и не удивило меня. Душа моя была полна одним лишь глубоким сочувствием. Мне казалось, что лось не только дивится, но и сетует на те явные перемены к худшему, которые беспощадные утилитаристы принесли за последние годы на берега ручья. Легкое движение его головы развеяло мою дремоту и заставило осознать всю необычность моего приключения. Я приподнялся на одно колено, но, пока я решал, надо ли остановить лодку или дать ей подплыть поближе к предмету моего удивления, из кустов над моей головой послышалось быстрое и осторожное: "тес!", "тес!". Мгновение спустя из чащи, осторожно раздвигая ветви и стараясь ступать бесшумно, появился негр. На ладони у него была соль и, протягивая ее лосю, он приближался к нему медленно, но неуклонно. Благородное животное несколько обеспокоилось, но не пыталось уйти. Негр приблизился и дал ему соль, произнося при этом какие-то успокоительные слова. Лось переступил ногами, пригнул голову, а затем медленно лег и дал надеть на себя узду.

Тем и окончилась моя романтическая встреча с лосем. Это был очень старый ручной зверь, собственность английской семьи, имевшей неподалеку усадьбу.

Очки

Перевод: З.Александрова

Некогда принято было насмехаться над понятием "любовь с первого взгляда"; однако люди, способные мыслить, равно как и те, кто способен глубоко чувствовать, всегда утверждали, что она существует. И действительно, новейшие открытия в области, так сказать, нравственного магнетизма или магнетоэстетики заставляют предполагать, что самыми естественными, а следовательно, самыми искренними и сильными из человеческих чувств являются те, которые возникают в сердце, точно электрическая искра, - словом, лучшие и самые прочные из душевных цепей куются с одного взгляда. Признание, которое я намерен сделать, будет еще одним из бесчисленных подтверждений этой истины.

Повесть моя требует, чтобы я сообщил некоторые подробности. Я еще очень молод - мне по исполнилось и двадцати двух лет. Моя нынешняя фамилия - весьма распространенная и довольно-таки плебейская - Симпсон. Я говорю "нынешняя", ибо я принял ее всего лишь в прошлом году ради получения большого наследства, доставшегося мне от дальнего родственника, Адольфуса Симпсона, эсквайра. По условиям завещания требовалось принять фамилию завещателя, - но только фамилию, а не имя; имя мое - Наполеон Бонапарт.

Фамилию Симпсон я принял неохотно; ибо с полным основанием горжусь своей настоящей фамилией - Фруассар и считаю, что мог бы доказать свое происхождение от бессмертного автора "Хроник". Если говорить о фамилиях, отмечу кстати любопытные звуковые совпадения в фамилиях моих ближайших предков. Отцом моим был некий мосье Фруассар из Парижа. Моя

мать, вышедшая за него в возрасте пятнадцати лет, - урожденная Круассар, старшая дочь банкира Круассара; а супруга того, вышедшая замуж шестнадцати лет, была старшей дочерью некоего Виктора Вуассара. Мосье Вуассар, как ни странно, также женился в свое время на барышне с похожей фамилией - Муассар. Она тоже вышла замуж почти ребенком; а ее мать, мадам Муассар, венчалась четырнадцати лет. Впрочем, столь ранние браки во Франции довольно обычны. Как бы то ни было, четыре ближайших поколения моих предков звались Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар. Я же, как уже говорилось, официально сделался Симпсоном, но с такой неохотой, что даже колебался, принять ли наследство на подобных никому не нужных и неприятных proviso [Условиях (лат.)].

Личными достоинствами я отнюдь не обделен. Напротив, я считаю, что хорошо сложен и обладаю внешностью, которую девять человек из десяти назовут красивой. Мой рост - пять футов одиннадцать дюймов. Волосы у меня темные и кудрявые. Нос - довольно правильной формы. Глаза большие и серые; и хотя крайняя близорукость причиняет мне большие неудобства, внешне это совершенно незаметно. Против докучной близорукости я применял всевозможные средства, за исключением очков. Будучи молод и красив, я их, естественно, не любил и всегда решительно от них отказывался. Ничто так не безобразит молодое лицо, придавая ему нечто излишне чопорное или даже ханжеское и старообразное. Что касается моногля, в нем есть какая-то жеманность и фатоватость. До сих пор я старался обходиться без того и другого. Но довольно этих подробностей, не имеющих, в сущности, большого значения. Добавлю еще, что темперамент у меня сангвинический; я горяч, опрометчив и восторжен и всегда был пылким поклонником женщин.

Однажды прошлой зимой в театре П. я вошел в одну из лож в сопровождении моего приятеля, мистера Толбота. В тот вечер давали оперу, в афише значилось много заманчивого, так что зрительный зал был полон. Мы, однако, вовремя явились занять оставленные для нас места в первом ряду, куда не без труда протиснулись.

В течение двух часов внимание моего спутника, настоящего музыкального fanatico [Фанатика (итал.)] было всецело поглощено сценой; а я тем временем разглядывал публику, по большей части представляющую elite [Избранную часть, цвет (франц.)] нашего города. Удостоверясь в этом, я приготовился перевести взгляд на prima donna [Примадонну, певицу, исполняющую главную роль (итал.)] как вдруг его приковала к себе дама в одной из лож, прежде мной не замеченная.

Проживи я хоть тысячу лет, мне не позабыть охватившего меня глубокого волнения. То была прекраснейшая из всех женщин, до тех пор виденных мною. Лицо ее было обращено к сцене, так что в первые несколько минут оставалось не видным, но фигура была божественна - никакое иное слово не могло бы передать ее дивные пропорции, и даже это кажется мне смехотворно слабым.

Прелесть женских форм, колдовские чары женской грации всегда привлекали меня с неодолимой силой; но тут передо мной была воплощенная грация, beau ideal [Идеал (франц.)] моих самых пылких и безумных мечтаний. Видная мне почти целиком благодаря устройству ложи, она была несколько выше среднего роста и могла быть названа почти величавой. Округлости фигуры, ее tournure [Осанка (франц.)] были восхитительны. Голова, видная мне только с затылка, могла соперничать с головкой Психеи; очертания ее скорее подчеркивались, чем скрывались изящным убором из gaze aerienne [Воздушного газа (франц.)], напомнившего мне о ventum textilem [Ткани воздушной (лат.)] Апулея. Правая рука покоилась на барьере ложи и

своей восхитительной формой заставляла трепетать каждый нерв моего существа. Верхняя часть ее скрывалась модным широким рукавом. Он спускался чуть ниже локтя. Под ним был другой, облегающий рукав, из какой-то тонкой ткани, законченный пышной кружевной манжетой, красиво лежавшей на кисти руки, оставляя наружи лишь тонкие пальцы, один из которых был украшен бриллиантовым кольцом, несомненно огромной ценности. Прелестная округлость запястья подчеркивалась браслетом, также украшенным aigrette [Плюмажем, пучком (франц.)] из драгоценных камней, который яснее всяких слов свидетельствовал как о богатстве, так и об изысканном вкусе владелицы.

Словно окаменев, я не менее получаса любовался этим царственным обликом и в полной мере ощутил силу и истинность всего, что говорится и поется о "любви с первого взгляда". Чувства мои совершенно не походили на те, какие я испытывал прежде, даже при виде наиболее знаменитых красавиц. Какое-то необъяснимое, магнетическое влечение души к душе, казалось, приковало не только мой взор, но все мои помыслы и чувства к восхитительному созданию, сидевшему передо мной. Я понял - я почувствовал - я знал, что глубоко, безумно и беззаветно влюбился - даже прежде чем увидел лицо любимой. Так сильна была сжигавшая меня страсть, что я едва ли охладел бы, если бы черты еще невидимого мне лица оказались самыми заурядными - настолько причудлива природа единственной истинной любви и так мало она зависит от внешних условий, которые только по видимости рождают и питают ее.

Пока я таким образом самозабвенно любовался прелестным видением, какой-то внезапный шум в зале заставил даму слегка повернуться в мою сторону, и я увидел ее профиль. Красота его даже превзошла мои ожидания - и, однако, что-то в нем разочаровало меня, хотя я и не сумел бы объяснить, что именно. Я сказал "разочаровало", но это слово не вполне подходит. Чувства мои успокоились и одновременно сделались как бы возвышеннее. Причиной могло быть выражение достоинства и кротости, придававшее ей облик матроны или мадонны. Однако я тотчас понял, что дело не только в этом. Было еще нечто - какая-то непостижимая тайна - что-то неуловимое в ее лице, что несколько встревожило меня, усилив вместе с тем мой интерес. Словом, я пришел в то состояние духа, когда молодой и впечатлительный человек готов на любое безумство. Если бы дама была в одиночестве, я наверняка вошел бы в ее ложу и рискнул заговорить с ней; но, по счастью, с ней были двое - мужчина и поразительно красивая женщина, но виду несколько моложе ее.

Я перебирал в уме всевозможные способы быть представленным старшей из дам или хотя бы рассмотреть ее более отчетливо. Я готов был пересечь к ней поближе, но для этого театр был слишком переполнен, а неумолимые законы прилетая запрещают в наше время пользоваться в подобных случаях биноклем, даже если бы он у меня оказался, - но его не было, и я был в отчаянии..

Наконец мне пришло в голову обратиться к моему спутнику.

- Толбот, - сказал я, - у вас есть бинокль. Дайте его мне.

- Бинокль? Нет. К чему мне бинокль? - И он нетерпеливо повернулся к сцене.

- Толбот, - продолжал я, теребя его за плечо, - послушайте! Видите вон ту ложу? Вон ту. Нет, соседнюю - встречали вы когда-нибудь такую красавицу?

- Да, хороша, - сказал он.

- Интересно, кто такая?

- Бог ты мой, неужели вы не знаете? "Сказав, что вы не знаете ее, в ничтожестве своем вы сознаетесь". Это известная мадам Лаланд - первая красавица - о ней говорит весь город. Безмерно богата, к тому же вдова, завидная партия и только что из Парижа.

- Вы с ней знакомы?

- Да, имею честь.

- А меня представите?

- Разумеется, с большим удовольствием; но когда?

- Завтра в час дня я зайду за вами в отель Б.

- Отлично; а сейчас помолчите, если можете.

В этом мне пришлось подчиниться Толботу; ибо он остался глух ко всем дальнейшим расспросам и замечаниям и до конца вечера был занят только тем, что происходило на сцене.

Я тем временем не сводил глаз с мадам Лаланд, и мне наконец посчастливилось увидеть ее en face [Спереди (франц.).] Лицо ее было прелестно - но оно подсказало мне сердце, еще прежде чем Толбот удовлетворил мое любопытство; и все же нечто непонятное продолжало меня тревожить. Наконец я решил, что это должно быть выражение серьезности, печали или, пожалуй, усталости, которое лишало лицо части свежести и юности, но зато придавало ему ангельскую кротость и величавость, то есть делало несравненно привлекательнее для моей восторженной и романтической природы.

Пожирая ее глазами, я с волнением заметил по едва уловимому движению дамы, что она почувствовала на себе мой пламенный взгляд. Но я был так очарован, что не мог отвести его хотя бы на миг. Она отвернулась, и мне снова стал виден только ее изящный затылок. Через несколько минут, как видно, желая убедиться, продолжаю ли я смотреть на нее, она медленно обернулась и вновь встретила мой горящий взгляд. Она тотчас потупила свои большие темные глаза, а щеки ее густо залились румянцем. Но каково было мое удивление, когда она, вместо того чтобы вторично отвернуться, взяла двойной лорнет, висевший у нее на поясе, поднесла его к глазам, навела и несколько минут внимательно и неторопливо меня разглядывала.

Если бы у моих ног ударила молния, я был бы менее поражен - но именно поражен, а отнюдь не возмущен, хотя в любой другой женщине подобная смелость могла и возмутить и оттолкнуть. Но она проделала все это столь спокойно, с такой nonchalance [Небрежностью (франц.)], с такой безмятежностью, словом, с такой безупречной воспитанностью, что это не содержало и тени бесстыдства, и единственными моими чувствами были удивление и восторг.

Когда она направила на меня свой лорнет, я заметил, что она, бегло оглядев меня, уже готовилась отвести его, но потом, словно спохватившись, вновь приставила к глазам и с пристальным вниманием разглядывала меня никак не менее пяти минут.

Поведение, столь необычное в американском театральном зале, привлекло общее внимание и вызвало в публике движение и шепот, которые на миг смутили меня, но, казалось, не произвели никакого впечатления на мадам Лаланд.

Удовлетворив свое любопытство - если это было любопытством, - она опустила лорнет и снова спокойно обратила лицо к сцене, повернув ко мне, как и вначале, свой профиль. Я по-прежнему не спускал с нее глаз, хотя вполне сознавал неприличность своего поведения. Но вот голова ее медленно изменила положение, и вскоре я убедился, что дама, делая вид, будто смотрит на сцену, на самом деле внимательно глядит на меня. Излишне говорить, как подействовало на мою пламенную натуру подобное поведение столь обворожительной женщины.

Посвятив осмотру моей особы, пожалуй, с четверть часа, прекрасный предмет моей страсти обратился к сопровождавшему ее джентльмену, и я по взглядам их обоих ясно понял, что разговор идет обо мне.

Затем мадам Лаланд вновь повернулась к сцене и на несколько минут, по-видимому, заинтересовалась представлением. По прошествии этого времени я с неизъяснимым волнением увидел, что она еще раз взялась за лорнет, снова повернулась ко мне и, пренебрегая возобновившимся перешептыванием в публике, оглядела меня с головы до ног с тем же удивительным спокойствием, которое уже в первый раз так восхитило и потрясло меня.

Эти необычайные поступки, окончательно вскружив мне голову и доведя до истинного безумия мою страсть, скорее придали мне смелости, чем смутили. В любовном угаре я позабыл обо всем, кроме присутствия очаровательницы и ее царственной красоты. Улучив минуту, когда, как мне казалось, внимание публики было поглощено оперой, я поймал взгляд мадам Лаланд и тотчас же отвесил ей легкий поклон.

Она сильно покраснела - отвела глаза - медленно и осторожно огляделась, видимо, желая убедиться, что мой дерзкий поступок остался незамеченным - а затем наклонилась к джентльмену, сидевшему с нею рядом.

Я уже сгорал от стыда за совершенную мною бестактность и ожидал немедленного скандала; в уме моем промелькнула предстоящая наутро неприятная встреча на пистолетах. Но тут я с большим облегчением увидел, что дама просто молча передала своему спутнику программу; и пусть читатель хотя бы отдаленно представит себе мое удивление - мое глубокое изумление - и безумное смятение чувств, когда дама, снова украдкой оглянувшись вокруг, устремила прямо на меня свои сияющие глаза, а затем, с легкой улыбкой, открывшей жемчужный ряд зубов, два раза утвердительно наклонила голову.

Невозможно описать мою радость - мой восторг - мое безмерное ликование. Если кто-нибудь терял рассудок от избытка счастья, таким безумцем был в ту минуту я. Я любил. То была моя первая любовь - так я чувствовал. То была любовь - безграничная - неизъяснимая. То была "любовь с первого взгляда", и с первого же взгляда меня оцепили и ответили мне взаимностью. Да, взаимностью. Как мог я в этом усомниться хотя бы на минуту? Как мог иначе истолковать подобное поведение со стороны дамы столь прекрасной, столь богатой, несомненно образованной и отлично воспитанной, занимающей столь высокое положение в обществе и достойной всяческого уважения, какою, по моему убеждению, являлась мадам Лаланд? Да, она полюбила меня - она ответила на мою безумную любовь чувством столь же безотчетным - столь же беззаветным - столь же бескорыстным - и столь же безмерным, как мое! Эти восхитительные размышления были, однако, тут же прерваны опустившимся занавесом. Зрители встали с мест, и началась обычная суতোлка. Покинув Толбота, я силился приблизиться к мадам Лаланд. Не сумев этого сделать из-за толпившейся публики, я должен

был отказаться от погони и направился домой, тоскуя, что не смог хотя бы коснуться края ее одежды, но утешаясь мыслью, что назавтра Толбот представит меня ей по всей форме.

Этот день наконец настал, то есть долгая и томительная ночь нетерпеливого ожидания сменилась рассветом; но и после этого время до "часу дня" ползло нескончаемо, точно улитка. Но говорят, что даже Стамбулу когда-нибудь придет конец; наступил он и для моего ожидания. Часы пробили. При последнем отголоске их боя я вошел в отель Б. и спросил Толбота.

- Нету, - ответил слуга - собственный лакей Толбота.

- Нету? - переспросил я, пошатнувшись и отступая на несколько шагов. - Это, любезный, совершенно немыслимо и невозможно. Как это нету?

- Дома нету, сэр. Мистер Толбот сейчас же, как позавтракал, уехал в С. и велел сказать, что не будет в городе всю неделю.

Я окаменел от ужаса и негодования. Я пытался что-то сказать, но язык мне не повиновался. Наконец я пошел прочь, бледный от злобы, мысленно посылая в преисподнюю весь род Толботов. Было ясно, что мой внимательный друг, *il fanatico*, совершенно позабыл о своем обещании - позабыл сразу же, как обещал. Он никогда не отличался верностью своему слову. Делать было нечего; я подавил, как сумел, свое раздражение и уныло шел по улице, тщетно расспрашивая о мадам Лаланд каждого встречавшегося мне знакомого мужчину. Оказалось, что понаслышке ее знали все - а многие и в лицо, - но она находилась в городе всего несколько недель, и поэтому лишь очень немногие могли похвастать знакомством с нею. Эти немногие, сами будучи еще малознакомыми для нее людьми, не могли или не хотели взять на себя смелость явиться к ней с утренним визитом ради того, чтобы меня представить. Пока я, уже отчаявшись, беседовал с тремя приятелями все на ту же поглощавшую меня тему, предмет этой беседы внезапно сам появился перед нами.

- Клянусь, вот и она! - вскричал один из приятелей.

- Изумительна хороша! - воскликнул второй.

- Сущий ангел! - промолвил третий.

Я взглянул; в открытом экипаже, который медленно ехал по улице, к нам приближалось волшебное видение, представшее мне в опере, а рядом сидела та же молодая особа, что была тогда с нею в ложе.

- Ее спутница тоже удивительно хорошо выглядит, - заметил тот из троих, кто заговорил первым.

- Да, поразительно, - сказал второй, - до сих пор весьма эффектна; но ведь искусство творит чудеса. Честное слово, она выглядит лучше, чем пять лет назад, в Париже. Все еще хороша - не правда ли, Фруассар, то бишь Симпсон?

- Все еще? - переспросил я, - почему бы нет? Но в сравнении со своей спутницей она все равно что свечка рядом с вечерней звездой - или светлячок по сравнению с Антаресом.

- Ха, ха, ха! Однако ж, Симпсон, у вас истинный дар на открытия, и весьма оригинальные.

На этом мы расстались; а один из трио принялся мурлыкать водевильные куплеты, в которых я уловил лишь несколько слов:

Ninon, Ninon, Ninon a bas -

A bas Ninon de L'Enclos!

[Долой Нинон, Нинон, Нинон -

Долой Нинон де Ланкло! (франц.)]

Во время этого разговора произошло событие, которое меня очень обрадовало, но еще усилило сжигавшую меня страсть. Когда экипаж мадам Лаланд поравнялся с нами, она явно меня узнала; более того - осыпала ангельскою улыбкой, ясно говорившей, что я узнал.

Всякую надежду на знакомство пришлось оставить до того времени, когда Толбот сочтет нужным вернуться в город. А пока я усердно посещал все приличные места общественных увеселений и наконец в том самом театре, где я увидел ее впервые, я имел несказанное счастье встретить ее еще раз и обменяться с ней взглядами. Это, однако, произошло лишь по прошествии двух недель. Все это время я ежедневно справлялся о Толботе в его отеле и ежедневно приходил в ярость, слыша от его слуги неизменное: "Еще не приезжал".

Вот почему в описываемый вечер я был уже близок к помешательству. Мне сказали, что мадам Лаланд - парижанка, недавно приехала из Парижа - она могла ведь и уехать обратно - уехать до возвращения Толбота - а тогда будет потеряна для меня навеки. Мысль эта была непереносима. На карту было поставлено мое будущее счастье, и я решил действовать, как подобает настоящему мужчине. Словом, по окончании представления я последовал за дамой, заметил себе ее адрес, а на следующее утро послал ей пространное письмо, в котором излил свои чувства.

Я писал свободно, смело - словом, писал со страстью. Я ничего не скрыл - даже своих слабостей. Я упомянул о романтических обстоятельствах нашей первой встречи и даже о взглядах, которыми мы обменялись. Я решился написать, что уверен в ее любви; этой уверенностью, а также пылкостью моего собственного чувства я оправдывал поступок, который иначе был бы непостыжен. В качестве третьего оправдания я написал о своем опасении, что она может уехать из города, прежде чем мне явится возможность быть ей представленным. Я заключил это самое безумное и восторженное из посланий откровенным отчетом о своих денежных обстоятельствах, о своих немалых средствах и предложением руки и сердца.

Ответа я ждал с мучительным нетерпением. Спустя какое-то время, показавшееся мне столетием, ответ пришел.

Да, пришел. Как ни романтично все это может показаться, я действительно получил письмо от мадам Лаланд - от прекрасной, богатой, всех восхищавшей мадам Лаланд. Ее глаза - ее чудесные глаза - не обманывали: сердце ее было благородно. Как истая француженка, она послушалась честного голоса природы - щедрых побуждений сердца и презрела чопорные условности света. Она не отвергла мое предложение. Она не замкнулась в молчании. Она не возвратила мое письмо нераспечатанным. Она даже прислала ответ, начертанный ее собственной прелестной рукой. Ответ этот гласил:

"Мосье Симпсон будет извинить если плохо пишу прекрасного языка его contree [Страны (франц.)]. Я приехал недавно и не был еще случай его etudier [Изучить (франц.)].

С эта извинения, я скажу, *helas!* [Увы! (франц.)] Мосье Симпсон очень истинно догадалась. Не надо добавлять? *Helas!* Я уже слишком много сказать.

Эжени Лаланд".

Я тысячи раз целовал эту благородную записку и, вероятно, совершил множество других безумств, которых сейчас уж и не припомню. А Толбот все еще не возвращался. Ах, если б он хоть смутно догадывался о страданиях, какие причинял другу своим отсутствием, неужели он не поспешил бы их облегчить? Однако он не возвращался. Я написал ему. Он ответил. Его задерживали неотложные дела - но он скоро вернется. Он просил меня быть терпеливее - уморить мой пыл - читать успокоительные книги - не нить ничего крепче рейнвейна - и искать утешения в философии. Глупец! Если он не мог приехать сам, отчего, во имя всего разумного, он не прислал в своем письме рекомендательной записки? Я написал ему вторично, умоляя прислать таковую. Письмо мое было мне возвращено все тем же слугой со следующей карандашной надписью - негодяй уехал к своему господину:

"Уехали вчера из С., а куда и надолго ли - не сказали. Поэтому я решил лучше письмо вернуть, узнавши вашу руку, потому что вам всегда спешно.

Ваш покорный слуга

Стабсс".

Надо ли говорить, как я после этого проклинал и господина и слугу, - но от гнева было мало пользы, а от жалоб - ни малейшего утешения.

Моей последней надеждой оставалась моя врожденная смелость. Она уже сослужила мне службу, и я решил положиться на нее и далее. К тому же после обмена письмами что мог я совершить такого, что мадам Лаланд сочла бы за дерзость? После получения от нее письма я постоянно наблюдал за ее домом и обнаружил, что она имела обыкновение прогуливаться по вечерам в парке, куда выходили ее окна, в сопровождении одного лишь негра в ливрее. Здесь, под роскошными тенистыми купами, в сумерках теплого летного дня я дождался случая и подошел к ней.

Чтобы ввести в заблуждение сопровождавшего ее слугу, я принял уверенный вид старого, близкого знакомого. Она сразу поняла это и с истинно парижским присутствием духа протянула мне в качестве приветствия обворожительную маленькую ручку. Слуга тотчас же отстал на несколько шагов, и мы излили наши переполненные сердца в долгой беседе о нашей любви.

Так как мадам Лаланд изъяснялась по-английски еще менее свободно, чем писала, разговор мог идти только по-французски. На этом сладостном языке, созданном для любовных признаний, я дал волю своей необузданной страстности и со всем красноречием, на какое был способен, умолял ее согласиться на немедленный брак.

Мое нетерпение вызвало у нее улыбку. Она напомнила о светских приличиях - об этом пугале, которое столь многим преграждает путь к счастью, пока возможность его не бывает потеряна навеки. Она сказала, что я весьма неосторожно разгласил среди своих друзей, что ищу знакомства с нею, показав тем самым, что мы еще не знакомы, и теперь нам не удастся скрыть,

когда именно мы познакомились. Тут она, смущаясь, назвала эту столь недавнюю дату. Немедленное венчание было бы неприлично поспешным, неудобным, *outré* [Вызывающим (франц.).] Все это она высказала с очаровательной *naïvete* [Наивностью (франц.).] которая восхитила меня, хотя я с огорчением сознавал, что она права. Она даже обвинила меня, смеясь, в опрометчивости и безрассудстве. Она напомнила мне, что я не знаю, кто она, каковы ее средства, ее семья и положение в обществе. Она со вздохом попросила меня не спешить и назвала мою любовь ослеплением - вспышкой - минутной фантазией - непрочным созданием скорее воображения, нежели сердца. Пока она говорила, блаженные сумерки все более сгущались вокруг нас - и вдруг нежным пожатием своей волшебной ручки она в один сладостный миг опрокинула все здание своих доводов.

Я отвечал, как умел, - как умеют одни лишь истинно влюбленные. Я пространно и убедительно говорил о своей любви, о своей страсти - о ее дивной красоте и о моем безмерном восхищении. В заключение я энергично указал на опасности, окружающие любовь, - ту истинную любовь, чей путь никогда не бывает гладким, и вывел отсюда, что путь этот надлежит по возможности сократить.

Последний мой довод, казалось, несколько поколебал ее суровую решимость. Она смягчилась; но оставалось еще одно препятствие, о котором, по ее словам, я должным образом не подумал. Вопрос был щекотливый - женщине особенно не хотелось бы его касаться; делая это, она пересиливала себя, но ради меня она готова на любую жертву. Она имела в виду возраст. Знаю ли я, - точно ли я знаю, какая разница в годах нас разделяет? Когда муж бывает на несколько лет и даже на пятнадцать - двадцать лет старше жены, это свет считает допустимым и даже одобряет; но чтобы жена была старше мужа, этого мадам Лаланд никогда не одобряла. Подобное протivoестественное различие слишком часто, увы! бывает причиной несчастливого супружества. Она знает, что мне всего лишь двадцать два года; а вот мне, возможно, не известно, что моя Эжени значительно старше.

В этих словах звучало душевное благородство, достоинство и прямота, которые очаровали меня - привели в восхищение - и еще прочнее привязали к ней. Я едва мог сдерживать свой безмерный восторг.

- Прелестная Эжени! - вскричал я. - О чем вы толкуете? Вы несколько старше меня годами. Что ж из того? Обычай света - всего лишь пустые условности. Для такой любви, как наша, не все ли равно - год или час? Вы говорите, что мне всего двадцать два, хотя мне уже почти двадцать три. Ну а вам, милая Эжени, не может быть более - более чем - чем...

Тут я остановился, надеясь, что мадам Лаланд договорит за меня и назовет свой возраст. Но француженка редко отвечает прямо и на щекотливый вопрос всегда имеет наготове какую-нибудь увертку. В этом случае Эжени, перед тем искавшая что-то у себя на груди, уронила в траву медальон, который я немедленно подобрал и подал ей.

- Возьмите его! - сказала она с самой обворожительной своей улыбкой. - Примите его от той, которая здесь так лестно изображена. К тому же на обороте медальона вы, быть может, найдете ответ на свой вопрос. Сейчас слишком темно - вы рассмотрите его завтра утром. А теперь проводите меня домой. Мои друзья устраивают сегодня небольшой домашний *levee* [Прием (франц.).]. Обещаю, что вы услышите неплохое пение. Мы, французы, не столь чопорны, как вы, американцы, и я без труда проведу вас к себе, как будто старого знакомого.

Она оперлась на мою руку, и я проводил ее домой. Особняк ее был красив и, кажется, обставлен со вкусом. Об этом, впрочем, я едва ли мог судить, ибо к тому времени совсем стемнело, а в лучших американских домах редко зажигают лампы в летние вечера. Разумеется, спустя час после моего прихода в большой гостиной ванили карсельскую лампу под абажуром; и я смог увидеть, что эта комната была убрана с необыкновенным вкусом и даже роскошью; но две соседние, в которых главным образом и собрались гости, в течение всего вечера оставались погруженными в весьма приятный полумрак. Это отличный обычай, дающий гостям возможность выбирать между светом и сумраком, и нашим заморским друзьям следовало бы принять его немедленно.

Проведенный там вечер был, несомненно, счастливейшим в моей жизни. Мадам Лаланд не преувеличила музыкальные дарования своих друзей; я услышал пение, лучше которого еще не слышал в домашних концертах, разве лишь в Вене. Много было также талантливых исполнителей на музыкальных инструментах. Пели главным образом дамы - и все но меньшей мере хорошо. Когда собравшиеся требовательно закричали: "Мадам Лаланд", - она, не жеманясь и не отнекиваясь, встала с шезлонга, где сидела рядом со мною, и, в сопровождении одного-двух мужчин, а также подруги, с которой была в опере, направилась к фортепиано, стоявшему в большой гостиной. Я охотно сам проводил бы ее туда, но чувствовал, что обстоятельства моего появления в доме требовали, чтобы я не был слишком на виду. Поэтому я был лишен удовольствия смотреть на певицу - но мог слышать ее.

Впечатление, произведенное ею на слушателей, было потрясающим, но на меня действие ее пения было еще сильнее. Я не сумею описать его должным образом. Отчасти оно вызывалось переполнявшей меня любовью; но более всего - глубоким чувством, с каким она пела. Никакое мастерство не могло придать арии или речитативу более страстной выразительности. Ее исполнение романса из "Отелло", - интонация, с какою она пропела слова "Sul mio sasso" [Над моим утесом (итал.)] из "Капулетти", донныне звучат в моей памяти. В низком регистре она поистине творила чудеса. Голос ее обнимал три полные октавы, от контральтового D до верхнего D сопрано, и хотя он был достаточно силен, чтобы наполнить Сан Карло, она настолько владела им, что с легкостью справлялась со всеми вокальными сложностями - восходящими и нисходящими гаммами, каденциями и фиоритурами, Особенно эффектно прозвучал у нее финал "Сомнамбулы":

Ah! non giunge uman pensiero

Al contento ond'io son piena.

[Ум человеческий постичь не может

Той радости, которой я полна (итал.)]

Тут, в подражание Малибран, она изменила сочиненную Беллини фразу, взяв теноровое G, а затем сразу перебросив звук G на две октавы вверх.

После этих чудес вокального искусства она вернулась на свое место рядом со мной, и я в самых восторженных словах выразил ей мое восхищение. Я ничего не сказал о моем удивлении, а между тем я был немало удивлен, ибо некоторая слабость и как бы дрожание ее голоса при разговоре не позволяли ожидать, что пение ее окажется столь хорошо.

Тут между нами произошел долгий, серьезный, откровенный и никем не прерываемый разговор. Она заставила меня рассказать о моем детстве и слушала с напряженным вниманием. Я не утаил от нее ничего - я по чувствовал себя вправе что-либо скрывать от ее доверчивого и ласкового участия. Ободренный ее собственной откровенностью в деликатном вопросе о возрасте, я сознался не только в многочисленных дурных привычках, но также и в нравственных и даже физических недостатках, что требует гораздо большего мужества и тем самым служит вернейшим доказательством любви. Я коснулся студенческих лет - мотовства, пирушек, долгов и любовных увлечений. Я пошел еще дальше и признался в небольшом легочном кашле, который мне одно время докучал, в хроническом ревматизме, в наследственном расположении к подагре и, наконец, в неприятной, но донныне тщательно скрываемой слабости зрения.

- Что касается последнего, - сказала, смеясь, мадам Лаланд, - то вы напрасно сознались, ибо без этого признания вас никто бы не заподозрил. Кстати, - продолжала она, - помните ли вы, - и тут мне, несмотря на царивший в комнате полумрак, почудилось, что она покраснела, - помните ли вы, *mon cher ami* [Дорогой друг (франц.)] средство для улучшения зрения, которое и сейчас висит у меня на шее?

Говоря это, она вертела в руках тот самый двойной лорнет, который привел меня в такое смущение тогда в опере.

- Еще бы не помнить! - воскликнул я, страстно сжимая нежную ручку, протянувшую мне лорнет. Это была роскошная и затейливая игрушка, богато украшенная резьбой, филигранью и драгоценными камнями, высокая стоимость которых была мне видна даже в полумраке.

- *Eh bien, mon ami* [Так вот, мой друг (франц.)], - продолжала она с *empressement* [Поспешностью, готовностью (франц.)] несколько меня удивившей. - *Eh bien, mon ami*, вы просите меня о даре, который называется бесценным. Вы просите моей руки, и притом завтра же. Если я уступлю вашим мольбам и вместе голосу собственного сердца, разве нельзя и мне требовать исполнения одной очень маленькой просьбы?

- Назовите ее! - воскликнул я так пылко, что едва не привлек внимание гостей, и готовый, если б не они, броситься к ее ногам. - Назовите ее, моя любимая, моя Эжени, назовите! - но ах! Она уже исполнена прежде, чем высказана.

- Вы должны, *mon ami*, - сказала она, - ради любимой вами Эжени побороть маленькую слабость, в которой вы мне только что сознались, - слабость скорее моральную, чем физическую, и, поверьте, недостойную вашей благородной души - несовместимую с вашей прирожденной честностью - и которая наверняка навлечет когда-нибудь на вас большие неприятности. Ради меня вы должны победить кокетство, которое, как вы сами признаете, заставляет вас скрывать близорукость. Ибо вы скрываете ее, когда отказываетесь прибегнуть к обычному средству против нее. Словом, вы меня поняли; я хочу, чтобы вы носили очки, - тсс! Вы ведь уже обещали, ради меня. Примите же от меня в подарок вот эту вещицу, что я держу в руке; стекла в ней отличные, хотя ценность оправы и невелика. Видите, ее можно носить и так - и вот так - на носу, как очки, или в жилетном кармане в качестве лорнета. Но вы, ради меня, будете носить ее именно в виде очков, и притом постоянно.

Должен признаться, что эта просьба немало меня смутила. Однако условие, с которым она была связана, не допускало ни малейших колебаний.

- Согласен! - вскричал я со всем энтузиазмом, на какой я был в тот миг способен. - Согласен, и притом с радостью. Ради вас я готов на все. Сегодня я буду носить этот милый лорнет как лорнет, у сердца; но на заре того дня, когда я буду иметь счастье назвать вас своей женой, я надену его на - на нос и так стану носить всегда, в том менее романтическом и менее модном, но, несомненно, более полезном виде, какой вам угоден.

После этого разговор у нас перешел на подробности нашего завтрашнего плана. Толбот, как я узнал от своей нареченной, как раз вернулся в город. Я должен был немедленно с ним увидеться, а также нанять экипаж. Гости разойдутся не ранее чем к двум часам, и тогда, в суматохе разъезда, мадам Лаланд сможет незаметно в него сесть. Мы поедем к дому одного священника, который уже будет нас ждать; тут мы обвенчаемся, простимся с Толботом и отправимся в небольшое путешествие на восток, предоставив фешенебельному обществу города говорить о нас все, что ему угодно.

Уговорившись обо всем этом, я тотчас отправился к Толботу, но по дороге не утерпел и зашел в один из отелей, чтобы рассмотреть портрет в медальоне; это я сделал при мощном содействии очков. Лицо на миниатюрном портрете было несказанно прекрасно! Эти большие лучезарные глаза! - этот гордый греческий нос! - эти пышные темные локоны! - "О, - сказал я себе ликуя, - какое поразительное сходство!" На обратной стороне медальона я прочел: "Эжени Лаланд, двадцати семи лет и семи месяцев".

Я застал Толбота дома и немедленно сообщил ему о своем счастье. Он, разумеется, выразил крайнее удивление, однако от души меня поздравил и предложил помочь, чем только сможет. Словом, мы выполнили наш план; и в два часа пополудни, спустя десять минут после брачной церемонии, я уже сидел с мадам Лаланд - то есть с миссис Симпсон - в закрытом экипаже, с большой скоростью мчавшемся на северо-восток.

Поскольку нам предстояло ехать всю ночь, Толбот посоветовал сделать первую остановку в селении К. - милях в двадцати от города, чтобы позавтракать и отдохнуть, прежде чем продолжать путешествие. И вот, ровно в четыре часа утра, наш экипаж подъехал к лучшей тамошней гостинице. Я помог своей обожаемой жене выйти и тотчас же заказал завтрак. В ожидании его нас провели в небольшую гостиную, и мы сели.

Было уже почти, хотя и не совсем, светло; и глядя в восхищении на ангела, сидевшего рядом со мною, я вдруг вспомнил, что, как ни странно, с тех пор как я впервые увидел несравненную красоту мадам Лаланд, я еще ни разу не созерцал эту красоту вблизи и при свете дня.

- А теперь, mon ami, - сказала она, взяв меня за руку и прервав таким образом мои размышления, - а теперь, когда мы сочтались нерасторжимыми узами - когда я уступила вашим пылким мольбам и исполнила уговор, я надеюсь, вы не забыли, что и вам надлежит кое-что для меня сделать и сдержать свое обещание. Как это было? Дайте вспомнить. Да, вот точные слова обещания, которое вы дали вчера вечером своей Эжени. Слушайте! Вот что вы сказали: "Согласен, и притом с радостью. Ради вас я готов на все. Сегодня я буду носить этот милый лорнет как лорнет, у сердца; но на заре того дня, когда я буду иметь счастье назвать вас своей женой, я надену его на - на нос, и так стану носить всегда, в том менее романтическом и менее модном, но, несомненно, более полезном виде, какой вам угоден". Вот точные ваши слова, милый супруг, не правда ли?

- Да, - ответил я, - у вас отличная память; и поверьте, прекрасная моя Эжени, я не намерен уклоняться от выполнения этого пустячного обещания. Вот! Смотрите. Они мне даже к лицу, не так ли? - И, придав лорнету форму очков, я осторожно водрузил их на подходящее место; тем временем мадам Симпсон, поправив шляпку и скрестив руки, уселась на стуле в какой-то странной, напряженной и, пожалуй, неизящной позе.

- Боже! - вскричал я почти в тот же миг, как оправа очков коснулась моей переносицы. - Боже великий! Что же это за очки? - И быстро сняв их, я тщательно протер их шелковым платком и снова надел.

Но если в первый миг я был удивлен, то теперь удивление сменилось ошеломлением; ошеломление это было безгранично и могу даже сказать - ужасно. Во имя всего отвратительного, что это? Как поверить своим глазам - как? Неужели - неужели это румяна? А это - а это - неужели же это морщины на лице Эжени Лаланд? О Юпитер и все боги и богини, великие и малые! - что - что - что случилось с ее зубами? - Я в бешенстве швырнул очки на пол, вскочил со стула и стал перед миссис Симпсон, оперевшись руками в бока, скрежеща зубами, с пеною у рта, но не в силах ничего сказать от ужаса и ярости.

Я уже сказал, что мадам Эжени Лаланд - то есть Симпсон - говорила на английском языке почти так же плохо, как писала, и поэтому обычно к нему не прибегала. Но гнев способен довести женщину до любой крайности; на этот раз он толкнул миссис Симпсон на нечто необычайное: на попытку говорить на языке, которого она почти не знала.

- Ну и что, мсье, - сказала она, глядя на меня с видом крайнего удивления. - Ну и что, мсье? Что слышлось? Вам есть танец, святой Витт? Если меня не нравиться, зачем купите кот в мешок?

- Негодяйка! - произнес я, задыхаясь. - Мерзкая старая ведьма!

- Едьма? Стари? Не такой вообще стари. Только восемьдесят два лета.

- Восемьдесят два! - вскричал я, пятась к стене. - Восемьдесят две тысячи образин! Ведь на медальоне было написано: двадцать семь лет и семь месяцев!

- Конечно! Все есть верно! Но портрет рисовал уже пятьдесят пять год. Когда шел замуж, второй брак, с мсье Лаланд, делал портрет для мой дочь от первый брак с мсье Муассар. - Муассар? - сказал я.

- Да, Муассар, Муассар, - повторила она, передразнивая мой выговор, который был, по правде сказать, не из лучших. - И что? Что вы знать о Муассар?

- Ничего, старая карга. Я ничего о нем не знаю. Просто один из моих предков носил эту фамилию.

- Этот фамиль? Ну, что вы против этой фамиль имей? Ошень хороший фамиль; и Вуассар - тоже ошень хороший. Мой дочь мадмуазель Муассар выходил за мсье Вуассар; тоже ошень почтенный фамиль.

- Муассар! - воскликнул я, - и Вуассар! Да что же это такое?

- Что такой? Я говорю Муассар и Вуассар, а еще могу сказать, если хочу, Круассар и Фруассар. Дочь моей дочи, мадмуазель Вуассар, она женился на мсье Круассар, а моей дочи внучь,

мадмуазель Круассар, она выходил мсье Фруассар. Вы будет сказать, что эти тоже не есть почтенный фамиль?

- Фруассар! - сказал я, чувствуя, что близок к обмороку. - Неужели действительно Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар?

- Да! - ответила она, откидываясь на спинку стула и вытягивая ноги, - да! Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар. Но мсье Фруассар - это один большой, как говорит, дюрак - очень большой осел, как вы сам - потому что оставлял *la belle France* [Прекрасную Францию (франц.)] и ехал этой *stupide Amerique* [Дурацкую Америку (франц.)] - а там имел один очень глупи, очень-очень глупи сын, так я слышал, но еще не видал, и мой подруга, мадам Стефани Лаланд, тоже не видал. Его имя - Наполеон Бонапарт Фруассар. Вы может говорить, что это не почтенный фамиль?

То ли продолжительность этой речи, то ли ее содержание привели миссис Симпсон в настоящее исступление. С большим трудом закончив ее, она вскочила со стула как одержимая, уронив при этом на пол турнюр величиною с целую гору. Она скалила десны, размахивала руками и, засучив рукава, грозила мне кулаком; в заключение она сорвала с головы шляпку, а с нею вместе - огромный парик из весьма дорогих и красивых черных волос, с визгом швырнула их на пол и, растоптав ногами, в совершенном остервенении сплясала на них какое-то подобие фанданго.

Я между тем ошеломленно опустил на ее стул. "Муассар и Вуассар", - повторял я в раздумье, пока она выкидывала одно из своих коленец. "Круассар и Фруассар", - твердил я, пока она заканчивала другое. "Муассар, Вуассар, Круассар и Наполеон Бонапарт Фруассар! Да знаешь ли ты, невыразимая старая змея, ведь это я - я - слышишь? - я-а-а! Наполеон Бонапарт Фруассар - это я, и будь я проклят, если я не женился на собственной прапрабабушке!"

Мадам Эжени Лаланд, *quasi* [Почти (франц.)] Симпсон - по первому мужу Муассар - действительно приходилась мне прапрабабушкой. В молодости она была очень хороша собой и даже в восемьдесят два года сохранила величавую осанку, скульптурные очертания головы, великолепные глаза и греческий нос своих девических лет. Добавляя к этому жемчужную пудру, румяна, накладные волосы, вставные зубы, турнюр, а также искусство лучших парижских модисток, она сохраняла не последнее место среди красавиц - *un peu passees* [Несколько поблекших (франц.)] французской столицы. В этом отношении она могла соперничать с прославленной Нинон де Ланкло.

Она была очень богата; оставшись вторично вдовою, на этот раз бездетной, она вспомнила о моем существовании в Америке и, решив сделать меня своим наследником, отправилась в Соединенные Штаты в сопровождении дальней и на редкость красивой родственницы своего второго мужа - мадам Стефани Лаланд.

В опере моя прапрабабка заметила мой устремленный на нее взор; поглядев на меня в лорнет, она нашла некоторое фамильное сходство. Заинтересовавшись этим и зная, что разыскиваемый ею наследник проживает в том же городе, она спросила обо мне своих спутников. Сопровождавший ее джентльмен знал меня в лицо и сообщил ей, кто я. Это побудило ее оглядеть меня еще внимательнее и, в свою очередь, придало мне смелость вести себя уже описанным нелепым образом. Впрочем, отвечая на мой поклон, она думала, что я откуда-либо случайно узнал, кто она такая. Когда я, обманутый своей близорукостью и косметическими средствами относительно возраста и красоты незнакомой дамы, так настойчиво стал

расспрашивать о ней Толбота, он, разумеется, решил, что я имею в виду ее молодую спутницу и в полном соответствии с истиной сообщил мне, что это "известная вдова, мадам Лаланд".

На следующее утро моя прапрабабушка встретила на улице Толбота, своего старого знакомого по Парижу, и разговор, естественно, зашел обо мне. Ей рассказали о моей близорукости, всем известной, хотя я этого не подозревал; и моя добрая старая родственница, к большому своему огорчению, убедилась, что я вовсе не знал, кто она, а просто делал из себя посмешище, ухаживая на виду у всех за незнакомой старухой. Решив проучить меня, она составила с Толботом целый заговор. Он нарочно от меня прятался, чтобы не быть вынужденным представить меня ей. Мои расспросы на улицах о "прелестной вдове, мадам Лаланд" все, разумеется, относили к младшей из дам; в таком случае стал понятен и разговор трех джентльменов, встреченных мною по выходе от Толбота, так же как и их упоминание о Нинон де Ланкло. При дневном свете мне не пришлось видеть мадам Лаланд вблизи; а на ее музыкальном *soirée* [Вечере (франц.),] я не смог обнаружить ее возраст из-за своего глупого отказа воспользоваться очками. Когда "мадам Лаланд" просили спеть, это относилось к младшей; она и подошла к фортепиано, а моя прапрабабушка, чтобы оставить меня и дальше в заблуждении, поднялась одновременно с нею и вместе с нею пошла в большую гостиную. На случай, если б я захотел проводить ее туда, она намеревалась посоветовать мне оставаться там, где я был; но собственная моя осторожность сделала это излишним. Арии, которые так меня взволновали и еще раз убедили в молодости моей возлюбленной, были исполнены мадам Стефани Лаланд. Лорнет был мне подарен в назидание и чтобы добавить соли к насмешке. Это дало повод побранить меня за кокетство, каковое назидание так на меня подействовало.

Излишне говорить, что стекла, которыми пользовалась старая дама, были ею заменены на пару других, более подходящих для моего возраста. Они действительно оказались мне как раз по глазам.

Священник, будто бы сочетавший нас узами брака, был вовсе не священником, а закадычным приятелем Толбота. Зато он искусно правил лошадьми и, сменив свое облачение на кучерскую одежду, увез "счастливую чету" из города. Толбот сидел с ним рядом. Негодяи, таким образом, присутствовали при развязке. Подглядывая в полуотворенное окно гостиничной комнаты, они потешались над *dononement* [Развязкой (франц.).] моей драмы. Боюсь, как бы не пришлось вызвать их обоих на дуэль.

Итак, я не стал мужем своей прапрабабушки; и это сознание несказанно меня радует, но я все же стал мужем мадам Лаланд - мадам Стефани Лаланд, с которой меня сосватала моя добрая старая родственница, сделавшая меня к тому же единственным наследником после своей смерти - если только она когда-нибудь умрет. Добавлю в заключение, что я навсегда покончил с *billets doux* [Любовными письмами (франц.).] и нигде не появляюсь без ОЧКОВ.

Сила Слов

Перевод В.Рогов

Ойнос. Прости, Агатос, немощ духа, лишь недавно наделенного бессмертием!

Агатос. Ты не сказал ничего, мой Ойнос, за что следовало бы просить прощения. Даже и здесь познание не приобретается наитием. Что до мудрости, вопрошай без стеснения ангелов, и дастся тебе!

Ойнос. Но я мечтал, что в этом существовании я сразу стану всеведущим и со всеведением сразу обрету счастье.

Агатос. Ах, не в познании счастье, а в его приобретении! Вечно познавая, мы вечно блаженны; но знать все - проклятие нечистого.

Ойнос. Но разве Всевышний не знает всего?

Агатос. Это (ибо он и Всеблаженнейший) должно быть единственным, неведомым даже ему.

Ойнос. Но если познания наши растут с каждым часом, ужели мы наконец не узнаем всего?

Агатос. Направь взор долу, в бездну пространств! - попытайся продвинуть его вдоль бесчисленных звездных верениц, пока мы медленно проплываем мимо - так - и так! - и так! Разве даже духовное зрение не встречает повсюду преграды бесконечных золотых стен вселенной? - стен из мириад сверкающих небесных тел, одну свою бесчисленностью слитых воедино?

Ойнос. Вижу ясно, что бесконечность материи - не греза.

Агатос. В Эдеме нет грез, но здесь говорят шепотом, что единственная цель бесконечности материи - создать бесконечное множество источников, у которых душа может утолять жажду познания, вечно неутолимую в пределах материи, ибо утолить эту жажду - значит уничтожить бытие души. Впрошай же меня, мой Ойнос, без смущения и страха. Ну же! - оставим слева громозвучную гармонию Плеяд и воспарим от престола к звездным лугам за Орион, где вместо фиалок и нарциссов расцветают тройные и троецветные солнца.

Ойнос. А теперь, Агатос, пока мы в пути, наставь меня! - вещай мне привычным земным языком. Я не понимаю твоих слов: только что ты намекнул мне на образ или смысл того, что, будучи смертными, мы привыкли именовать Творением. Не хочешь ли ты сказать, что Творец - не Бог?

Агатос. Я хочу сказать, что божество не творит.

Ойнос. Поясни.

Агатос. Только вначале оно творило. Те кажущиеся создания, которые ныне во всей вселенной постоянно рождаются для жизни, могут считаться лишь косвенными или побочными, а не прямыми или непосредственными итогами божественной творческой силы.

Ойнос. Среди людей, мой Агатос, эту идею сочли бы крайне еретической.

Агатос. Среди ангелов, мой Ойнос, очевидно, что она - всего лишь простая истина.

Ойнос. Насколько я могу тебя покамест понять, от некоторых действий того, что мы называем Природой или естественными законами, при известных условиях возникает нечто, имеющее полную видимость творения. Я отлично помню, что незадолго до окончательной гибели Земли было поставлено много весьма успешных опытов того, что у некоторых философов хватило неразумия назвать созданием *animalculae* [Микроскопических существ (лат.)].

Агатос. Случаи, о которых ты говоришь, на самом деле являлись примерами вторичного творения - единственной категории творения, имевшей место с тех пор, как первое слово вызвало к жизни первый закон.

Ойнос. А ужели звездные миры, что ежечасно вырываются в небеса из бездны небытия, - ужели все эти звезды, Агатос, не сотворены самим Царем?

Агатос. Позволь мне попытаться, мой Ойнос, ступень за ступенью подвести тебя к наедаемому пониманию. Ты отлично знаешь, что, подобно тому, как никакая мысль не мокнет погибнуть, так же всякое действие рождает бесконечные следствия. К примеру, когда мы жили па Земле, то двигали руками, и каждое движение сообщало вибрацию окружающей атмосфере. Эта вибрация беспредельно распространялась, пока не сообщала импульс каждой частице земного воздуха, в котором с той поры и навсегда нечто было определено единым движением руки. Этот факт был хорошо известен математикам нашей планеты. Они достигали особых эффектов при сообщении жидкости особых импульсов, что поддавалось точному исчислению - так что стало легко определить, за какой именно период импульс данной величины опояшет земной шар и окажет воздействие (вечное) на каждый атом окружающей атмосферы. Идя назад, они без труда могли по данному эффекту в данных условиях определить характер первоначального импульса. А математики, постигшие, что следствия каждого данного импульса абсолютно бесконечны и что часть этих следствий точно определима путем алгебраического анализа, а также то, что определение исходной точки не составляет труда, - эти ученые в то же время увидели, что сам метод анализа заключает в себе возможности бесконечного прогресса, что его совершенствование и применимость не знают пределов, за исключением умственных пределов тех, кто его совершенствует и применяет. Но тут наши математики остановились.

Ойнос. А почему, Агатос, им следовало идти дальше?

Агатос. Потому что им пришли в голову некоторые соображения, полные глубокого интереса. Из того, что они знали, можно было вывести, что наделенному бесконечным знанием, сполна постигшему совершенство алгебраического анализа не составит труда проследить за каждым импульсом, сообщенным воздуху, а также межвоздушному эфиру - до отдаленнейших последствий, что возникнут даже в любое бесконечно отдаленное время. И в самом деле, можно доказать, что каждый такой импульс, сообщенный воздуху, должен в конечном счете воздействовать на каждый обособленный предмет в пределах вселенной; - и существо; наделенное бесконечным знанием, - существо, которое мы вообразим, - способно проследить все отдаленные колебания импульса - проследить по восходящей все их влияния на каждую частицу материи - вечно по восходящей в их модификациях старых форм - или, иными словами, в их творении нового - пока не найдет их наконец-то бездейственными, отраженными от престола божества. И не только это, но если в любую эпоху дать ему некое явление - например, если предоставить ему на рассмотрение одну из этих бесчисленных комет, - ему бы не составило труда определить аналитическим путем, каким первоначальным импульсом она была вызвана к существованию. Эта возможность анализа в абсолютной полноте и совершенстве - эта способность во все эпохи относить все следствия ко всем причинам, конечно, является исключительной прерогативой божества - но в любой степени, кроме абсолютного совершенства, эту способность обладают в совокупности все небесные Интеллекты.

Ойнос. Но ты говоришь всего-навсего об импульсах, сообщаемых воздуху.

Агатос. Говоря о воздухе, я касался только Земли; но общее положение относится к импульсам, сообщаемым эфиру, - а также как эфир, и только эфир, пронизывает все пространство, то он и является великой средой творения.

Ойнос. Стало быть, творит всякое движение, независимо от своей природы?

Агатос. Так должно быть; но истинная философия давно учит нас, что источник всякого движения - мысль, а источник всякой мысли...

Ойнос. Бог.

Агатос. Я поведал тебе как сыну недавно погибшей прекрасной Земли, Ойнос, об импульсах земной атмосферы.

Ойнос. Да.

Агатос. И пока я говорил, не проскользнула ли в твоём сознании некая мысль о материальной силе слов? Разве каждое слово - не импульс, сообщаемый воздуху?

Ойнос. Но почему, Агатос, ты плачешь? - и почему, о почему крыла твои никнут, пока мы парим над этой прекрасной звездой - самой зеленой и все же самой ужасной из всех, увиденных нами в полете? Ее лучезарные цветы подобны волшебному сновидению - но ее яростные вулканы подобны страстям смятенного сердца.

Агатос. Это так, это так! Три столетия миновало с той поры, как, ломая руки и струя потоки слез у ног моей возлюбленной - я создал эту мятежную звезду моими словами - немногими фразами, полными страсти. Ее лучезарные цветы - и вправду самые дорогие из моих несбывшихся мечтаний, а яростные вулканы - и вправду страсти самого смятенного и нечестивого из сердец.

Ангел необъяснимого

Экстраваганца

Был холодный ноябрьский вечер. Я только что покончил с весьма плотным обедом, в составе коего не последнее место занимали неудобоваримые французские трюфли, и теперь сидел один в столовой, задрал ноги на каминный экран и облокотясь о маленький столик, нарочно передвинутый мною к огню, - на нем размещался мой, с позволения сказать, десерт в окружении некоторого количества бутылок с разными винами, коньяками и ликерами. С утра я читал "Леониды" Гловера, "Эпигониаду" Уилки, "Паломничество" Ламартина, "Колумбиаду" Барлоу, "Сицилию" Таккермана и "Диковины" Гризуолда и потому, признаю, слегка одурел. Сколько я ни пытался взбодриться с помощью лафита, все было тщетно, и с горя я развернул попавшуюся под руку газету. Внимательно изучив колонку "Сдается дом", и колонку "Пропала собака", и две колонки "Сбежала жена", я храбро взялся за передовицу и прочел ее с начала до конца, не поняв при этом ни единого слова, так что я даже подумал: не по-китайски ли она написана, и прочитал еще раз, с конца до начала, ровно с тем же успехом. Я уже готов был отшвырнуть в сердцах

Сей фолиант из четырех листов завидных,

который даже критики не критикуют, -

когда внимание мое остановила одна заметка.

"Многочисленны и странны пути, ведущие к смерти, - говорилось в ней. - Одна лондонская газета сообщает о таком удивительном случае. Во время игры в так называемые "летучие стрелы", в которой партнеры дуют в жестяную трубку, выстреливая длинной иглой, вставленной в клубок шерсти, некто зарядил трубку иглой острием назад и сделал сильный вдох перед выстрелом - игла вошла ему в горло, проникла в легкие, и через несколько дней он умер".

Прочитав это, я пришел в страшную ярость, сам точно не знаю почему. "Презренная ложь! - воскликнул я. - Жалкая газетная утка. Лежалая стряпня какого-то газетного писаки, специалиста по сочинению немыслимых происшествий. Эти люди пользуются удивительной доверчивостью нашего века и употребляют свои мозги на изобретение самых невероятных историй, необъяснимых случаев, как они это называют, однако для мыслящего человека (вроде меня, добавил я в скобках, машинально дернув себя за кончик носа), для ума рассудительного и глубокого, каким обладаю я, сразу ясно, что необъяснимо тут только удивительное количество этих так называемых необъяснимых случаев. Что до меня, то я лично отныне не верю ничему, что хоть немного отдаст необъяснимым.

- Майн готт, тогда ты большой турак! - возразил мне на это голос, удивительнее которого я в жизни не слышал.

Поначалу я принял было его за шум в ушах - какой слышишь иногда спьяну, но потом сообразил, что он гораздо больше походит на гул, издаваемый пустой бочкой, если бить по ней большой палкой; так что на этом бы объяснении я и остановился, когда бы не членораздельное произнесение слогов и слов. По натуре я нельзя сказать чтобы нервный, да и несколько стаканов лафита, выпитые мною, придали мне храбрости, так что никакого трепета я не испытал, а просто поднял глаза и не спеша, внимательно огляделся, ища непрошеного гостя. Однако никого не увидел.

- Кхе-кхе, - продолжал голос, между тем как я озирался вокруг, - ты, ферно, пьян как свинья, раз не фидишь меня, федь я сиж у тебя под носом.

Тут я и в самом деле надумал взглянуть прямо перед собой и действительно, вижу - против меня за столом сидит некто, прямо сказать, невообразимый и трудно описуемый. Тело его представляло собой винную бочку или нечто в подобном роде и вид имело вполне фальстафовский. Снизу к ней были приставлены два бочонка, по всей видимости, исполнявшие роль ног. Вместо рук наверху туловища болтались две довольно большие бутылки горлышками наружу. Головой чудовищу, насколько я понял, служила гессенская фляга, из тех, что напоминают большую табакерку с отверстием в середине. Фляга эта (с воронкой на верхушке, сдвинутой набекрень на манер кавалерийской фуражки) стояла на бочке ребром и была повернута отверстием ко мне, и из этого отверстия, поджатого, точно рот жеманной старой девы, исходили раскатистые, гулкие звуки, которые это существо, очевидно, пыталось выдать за членораздельную речь.

- Ты, говорю, ферно, пьян как свинья, - произнес он. - Сидишь прямо тут, а меня не фидишь. И, ферно, глуп, как осел, что не феришь писанному в газетах. Это - нрафда. Все как есть - прафда.

- Помилуйте, кто вы такой? - с достоинством, хотя и слегка озадаченно спросил я. - Как вы сюда попали? И что вы тут такое говорите?

- Как я сюда попал, не твоя забота, - отвечала фигура. - А что я гофору, так я гофору то, что надо. А кто я такой, так я затем и пришел сюда, чтобы ты уфидел сфоими глазами.

- Вы просто пьяный бродяга, - сказал я. - Я сейчас позвоню в звонок и велю моему лакею вытолкать вас взащей.

- Хе-хе-хе! - засмеялся он. - Хо-хо-хо! Да федь ты не можешь!

- Чего не могу? - возмутился я. - Как вас прикажете понять?

- Позфонить не можешь, - отвечал он, и нечто вроде ухмылки растянуло его злобный круглый ротик.

Тут я сделал попытку встать на ноги, дабы осуществить мою угрозу, но негодяй преспокойно протянул через стол одну из своих бутылок и ткнул меня в лоб, отчего я снова упал в кресло, с которого начал было подниматься. Вне себя от изумления я совершенно растерялся и не знал, как поступить. Он же между тем продолжал говорить:

- Сам фидишь, лучше фсего тебе сидеть смирно. Так фот, теперь ты узнаешь, кто я. Фзгляни на меня! Смотри хорошенько! Я - Ангел Необъяснимого.

- Необъяснимо, - ответил я. - У меня всегда было такое впечатление, что у ангелов должны быть крылышки.

- Крылышки! - воскликнул он, сразу распаясь. - Фот еще! На что они мне! Майн готт! Разфе я цыпленок?

- Нет, нет, - поспешил я его уверить, - вы не цыпленок. Отнюдь.

- Тогда сиди и феди себя смирно, не то опять получишь от меня кулаком по лбу. Крылья имеет цыпленок, и софа в лесу имеет крылья, и черти с чертенятами, и главный тойфель, но ангелы крыльеф не имеют, а я - Ангел Необъяснимого.

- И какое же у вас ко мне дело?

- Дело? - воскликнула эта комбинация предметов. - Как же ты турно фоспитан, если спрашиваешь у тжентльмена, и к тому же ангела, о деле!

Таких речей я, понятно, даже от ангела снести не мог; поэтому, призвав на помощь всю мою храбрость, я протянул руку, схватил со столика солонку и запустил в голову непрошеному гостю. Однако то ли он пригнулся, то ли я плохо метил, но все, чего я добился, это разнес вдребезги стекло на циферблате каминных часов. Ангел же, со своей стороны, не оставил мои действия без внимания, ответив на них тремя новыми затрещинами, не менее увесистыми, чем первая. Я принужден был покориться, и стыдно признаться, но на глаза мои то ли от боли, то ли от обиды набежала слеза.

- Майн готт! - промолвил Ангел Необъяснимого, сразу заметно подобрев. - Майн готт, этот человек либо очень пьян, либо горько стратает. Тебе нельзя пить крепкую, надо разбафлять водой. Ну, ну, на-ка, фыпей фон этого, мой труг, и не плачь.

И Ангел Необъяснимого до краев наполнил мой бокал (в котором примерно на треть было налито портвейну) какой-то бесцветной жидкостью из своих рук-бутылок. Я заметил, что на них вокруг горлышка были наклейки со словами "Kirschenwasser" [Вишневая настойка (нем.)].

Доброта и внимание Ангела несколько успокоили меня, и наконец с помощью воды, которой он неоднократно доливал мое вино, я вернул себе присутствие духа настолько, чтобы слушать его удивительные речи. Я даже не пытаюсь пересказать здесь все, что от него услышал, но в общем я понял так, что он является неким гением, по чьему велению случаются все *contretemps* [Неурядицы (франц.)] рода человеческого, чье дело - устраивать все необъяснимые случаи, которые постоянно озадачивают скептиков. Раза два во время разговора, когда я отваживался выразить ему мое полнейшее недоверие, он страшно свирепел, так что в конце концов я почел за благо помалкивать и не оспаривать его утверждений. Он продолжал разглагольствовать, а я откинулся в кресле, закрыл глаза и только забавлялся тем, что жевал изюм, а черенки разбрасывал по комнате. Но через некоторое время Ангел вдруг возомнил, что и это для него оскорбительно. В страшном гневе он вскочил, надвинул воронку на самые глаза и с громовым проклятием произнес какую-то угрозу, которой я не понял, после чего отвесил низкий поклон и удалился, пожелав мне словами архиепископа из "Жиль Блаза" "*beaucoup de bonheur et un peu plus de bon sens*" ["Много счастья и немного больше здравого смысла" (франц.)].

Его уход принес мне облегчение. Несколько стаканчиков лафита, которые я выпил, вызвали у меня сонливость, и я был более чем расположен вздремнуть минут пятнадцать, как обычно после обеда. В шесть часов у меня было важное свидание, пропустить которое я ни в коем случае не мог. Накануне истек срок страховки на мой дом, и поскольку возникли кое-какие разногласия, было решено, что я приду на заседание правления страховой компании и на месте договорюсь о возобновлении страховки. Подняв глаза к каминным часам (мне так хотелось спать, что вытащить часы из кармана просто не было сил), я с удовольствием обнаружил, что у меня в запасе целых двадцать пять минут. Была половина шестого, до страховой конторы ходьбы от силы пять минут, а моя сиеста ни разу в жизни не затягивалась дольше двадцати пяти. Так что я мог не беспокоиться и не мешкая погрузился в сон.

Проснувшись, я снова взглянул на каминные часы и, право, почти был готов поверить в пресловутые необъяснимые случаи, когда обнаружил, что вместо обычных пятнадцати - двадцати минут проспал всего три, ибо до назначенного мне часа все еще оставалось добрых двадцать семь минут. Тогда я снова сладко задремал, но когда наконец проснулся опять, то, к величайшему моему изумлению, на часах все еще было без двадцати семи минут шесть. Я вскочил, снял их с каминной полки - они стояли. Мои карманные часы показывали половину восьмого; я проспал добрых два часа и в страховую контору, естественно, опоздал. "Неважно, - сказал я себе, - зайду завтра утром и извинюсь. Однако, что могло произойти с часами?" Я внимательно осмотрел их, и оказалось, что один из черенков от изюма, которые я разбрасывал по комнате во время рассуждений Ангела, влетел через разбитое стекло циферблата прямо в скважину для завода и торчал оттуда, препятствуя вращению минутной стрелки.

- Ага, - сказал я, - понятно. Такие вещи говорят сами за себя. Вполне естественная случайность, со всяким может произойти.

Тут не над чем было ломать голову, и в положенный час я отправился спать. В спальне, поставив свечку на тумбочку у кровати, я сделал было попытку проштудировать несколько страниц из книги "Вездесущность бога", однако, к сожалению, менее чем за двадцать секунд

погрузился в сон, а свеча так и осталась гореть у моего изголовья. Спал я тревожно - во сне мне без конца являлся Ангел Необъяснимого. Мне мерещилось, будто он стоит у меня в ногах, раздвигает шторы и гулким, отвратительным голосом винной бочки грозит мне ужасной мезтью за неуважительное с ним обращение. Кончил он свою длинную гневную речь тем, что сорвал с головы фуражку-воронку, вставил ее мне в глотку и буквально затопил меня вишневой настойкой, которую изливал непрерывной струей из правой длинногорлой бутылки, заменявшей ему руку. Он все лил и лил, мне стало невмоготу, я не вытерпел и проснулся - и как раз успел заметить, как крыса убегает в подполье с моей зажженной свечой в зубах, однако помешать ей в этом уже не успел. Очень скоро я почувствовал сильный удушливый запах: стало совершенно ясно, что дом горит. Через несколько минут языки пламени вырвались на волю и с невероятной быстротой охватили здание. Все пути отступления из моей спальни были отрезаны - оставалось только окно. Люди, толпившиеся на улице, быстро раздобыли длинную лестницу, подняли и приставили ее к подоконнику. По этой лестнице я стал торопливо спускаться, как вдруг прежирный боров, чье округлое брюхо, да и вообще весь облик и выражение лица напомнили мне Ангела Необъяснимого - так вот этот боров, мирно дремавший в грязи по соседству, ни с того ни с сего надумал вдруг почесать левое плечо и не нашел ничего лучшего, как воспользоваться для этой цели лестницей, на которой я находился. Я кувыркком полетел вниз и, преследуемый неудачами, сломал руку.

Это несчастье, а также потеря страховки и еще более серьезная утрата всей шевелюры, под корень спаленной пожаром, настроили меня на серьезный лад, так что в конце концов я принял решение жениться. В городе у нас жила богатая вдова, как раз безутешно оплакивавшая кончину седьмого мужа, и ее-то страждущей душе я и предложил бальзам моих сердечных признаний. Она стыдливо даровала мне свое согласие. Я с восторгом и благодарностью пал к ее ногам. Тогда, зардевшись, она склонила головку, и ее роскошные локоны соприкоснулись с моими - доставшимися мне во временное пользование от Гранжана. Как именно случилось, что они переплелись, не знаю, но с колен я поднялся без парика с голой сияющей лысиной, а негодующая вдова - вся опутанная чужими волосами. Так рухнули мои надежды на прекрасную вдову - из-за случайности, предвидеть которую, правда, было совершенно невозможно, но которую вызвала цепь вполне естественных причин.

Однако я не отчаялся и предпринял осаду сердца не столь неумолимого. И снова в течение краткого времени судьба благоприятствовала мне, но, как и в предыдущий раз, все сорвалось из-за вмешательства пустячной случайности. Встретившись однажды с моей нареченной на улице, где гуляло избранное общество нашего города, я поспешил было отвесить ей один из моих самых изысканных поклонов, как вдруг в глаз мне влетела крупница некоей посторонней материи, и я на какое-то время совершенно ослеп. Не успело зрение ко мне возвратиться, как уже моя возлюбленная исчезла, оскорбленная до глубины души таким, как она считала, вызывающим поступком - пройти мимо и не заметить ее! Пока, растерявшись от неожиданности (хотя это могло бы случиться со всяким смертным), я стоял, все еще не владея зрением, ко мне приблизился Ангел Необъяснимого и с любезностью, какой я от него вовсе не ожидал, предложил свою помощь. Бережно и весьма искусно исследовав мой пострадавший глаз, он объяснил, что в него попало, извлек это - что бы оно ни было, - и мне сразу стало легче.

Тогда я решил, что настала пора мне умереть (раз уж судьба так меня преследует), и с этим намерением я направился к ближайшей речке. Там, сняв одежду (ибо нет никаких причин нам умирать в ином виде, чем мы появились на свет), я бросился в воду вниз головой. Видела все это только одинокая ворона, которая отбилась от своего племени, пристрастившись к зерну, из

которого гонят спирт. И эта самая ворона, лишь только я плюхнулся в воду, не нашла ничего лучше, как ухватить в клюв самый важный предмет моего туалета и полететь прочь. Тогда, отложив исполнение моего самоубийственного замысла до другого раза, я спешно сунул нижние конечности в рукава и пустился вдогонку за грабительницей со всей скоростью, какую предписывала потребность и допускала возможность. Но злой рок по-прежнему преследовал меня. Я бежал во всю прыть, задрав голову в небо и все внимание сосредоточив на похитительнице моей собственности, как вдруг почувствовал, что мои ноги уже больше не касаются твердой земли; оказалось, что я сорвался и лечу в пропасть, на дне которой я неизбежно переломал бы себе все кости, если бы, по счастью, не успел ухватиться за волочившийся канат-гайдроп от гондолы летевшего надо мною воздушного шара.

Едва только успел я настолько оправиться от растерянности, чтобы осознать, перед какой страшной опасностью я стою, вернее, вишу, как я тут же во всю силу легких принялся оповещать об этой опасности находящегося надо мной аэронавта. Долгое время мои старания оставались безуспешны. То ли этот дурак меня не видел, то ли, подлец, не обращал внимания. Его летательный аппарат между тем быстро взмывал ввысь, и с такой же быстротой падали мои силы. Я уже готов был смириться с неизбежной гибелью и покорно свалиться в море, но тут настроение мое вновь поднялось, ибо сверху раздался гулкий голос, лениво напевавший какую-то оперную арию. Я поглядел вверх - на меня смотрел Ангел Необъяснимого. Сложив руки на груди, он свесился за борт гондолы; во рту у него торчала трубка, он ею попыхивал и имел вид человека, весьма довольного и собой, и белым светом. У меня уже не оставалось сил говорить, и я только устремил на него умоляющий взор.

Он смотрел мне прямо в лицо, но несколько минут не произносил ни слова. Затем наконец переложил трубку из правого угла рта в левый и соблаговолил заговорить.

- Кто фы такой? - спросил он. - И какофо тойфеля фам надо?

На столь вопиющее нахальство, жестокосердие и притворство я мог ответить только кратким призывом:

- Помогите!

- Фам помочь? - переспросил этот злодей. - Ну уж нет. Фот фам бутылка - не зефайте, она фам поможет)

С этими словами он выпустил из рук тяжелую бутылку с вишневой настойкой и попал ею мне прямо по темени, так что у меня создалось впечатление, будто она вышибла мне все мозги. Под этим впечатлением я уже готов был разжать руки и с миром отдать богу душу, но меня остановил окрик Ангела, который велел мне держаться.

- Тержитесь! - крикнул он. - Не надо торопиться. Хочешь еще бутылочку? Или ты уже тофольно отрезфел и пришел в себя?

В ответ я поспешил дважды помотать головой: отрицательно - в знак того, что еще одна бутылка мне сейчас не очень нужна; и утвердительно, желая этим заверить его, что я совершенно трезв и полностью пришел в себя. Ангел немного смягчился.

- Тогда, значит, ты наконец поферил? - спросил он. - Ты теперь феришь в необъяснимое?

Я снова кивнул утвердительно.

- И феришь в меня, Ангела Необъяснимого?

Я опять кивнул.

- И признаешь, что ты пьян в стельку и глуп как осел?

И я снова кивнул.

- Раз так, положи правую руку в левый карман панталон в знак полного подчинения Ангелу Необъяснимого.

Этого я по очевидным причинам сделать не мог. Начать с того, что левая рука у меня была сломана при падении с пожарной лестницы, так что если бы я разжал теперь правую руку и выпустил канат, то выпустил бы его безвозвратно. Кроме того, у меня не было панталон, и, чтобы их получить, я должен был догнать ворону. Вследствие всего этого я вынужден был, к величайшему моему сожалению, отрицательно покачать головой, желая этим сообщить Ангелу, что в данный момент мне было бы несколько затруднительно удовлетворить его вполне разумные требования. Но лишь только я перестал качать головой, как...

- Ну, и катись ко фсем чертям! - рявкнул с неба Ангел Необъяснимого.

При этом он полоснул острым ножом по канату, на котором я висел, а так как в это самое мгновение мы пролетали над моим домом (который за время моих странствий успели заново отстроить), вышло так, что я угодил в дымоход и обрушился в камин у себя в столовой.

Когда я пришел в себя (ибо падение порядком меня оглушило), оказалось, что сейчас около четырех часов утра. Я лежал ничком на том самом месте, куда упал с воздушного шара, лицом уткнувшись в холодную золу вчерашнего огня, а ногами попирая обломки опрокинутого столика, а вокруг валялись всевозможные остатки десерта вперемешку с газетой, несколькими разбитыми стаканами и бутылками и пустым графином из-под вишневой настойки. Так отомстил мне Ангел Необъяснимого.

Черный кот

Перевод В.Хинкиса

Я не надеюсь и не притязую на то, что кто-нибудь поверит самой чудовищной и вместе с тем самой обыденной истории, которую я собираюсь рассказать. Только сумасшедший мог бы на это надеяться, коль скоро я сам себе не могу поверить. А я не сумасшедший - и все это явно не сон. Но завтра меня уже не будет в живых, и сегодня я должен облегчить свою душу покаянием. Единственное мое намерение - это ясно, кратко, не мудрствуя лукаво, поведать миру о некоторых чисто семейных событиях. Мне эти события в конце концов принесли лишь ужас - они извели, они погубили меня. И все же я не стану искать разгадки. Я из-за них натерпелся страху - многим же они покажутся безобидней самых несуразных фантазий. Потом, быть может, какой-нибудь умный человек найдет сгубившему меня призраку самое простое объяснение - такой человек, с умом, более холодным, более логическим и, главное, не столь впечатлительным, как у меня, усмотрит в обстоятельствах, о которых я не могу говорить без благоговейного трепета, всего только цепь закономерных причин и следствий.

С детских лет я отличался послушанием и кротостью нрава. Нежность моей души проявлялась столь открыто, что сверстники даже дразнили меня из-за этого. В особенности любил я разных зверюшек, и родители не препятствовали мне держать домашних животных. С ними я проводил всякую свободную минуту и бывал наверху блаженства, когда мог их кормить и ласкать. С годами эта особенность моего характера развивалась, и когда я вырос, немного в жизни могло доставить мне более удовольствия. Кто испытал привязанность к верной и умной собаке, тому нет нужды объяснять, какой горячей благодарностью платит она за это. В бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть нечто покоряющее сердце всякого, кому не раз довелось изведать вероломную дружбу и обманчивую преданность, свойственные Человеку.

Женился я рано и, по счастью, обнаружил в своей супруге близкие мне наклонности. Видя мое пристрастие к домашним животным, она не упускала случая меня порадовать. У нас были птицы, золотые рыбки, породистая собака, кролики, обезьянка и кот.

Кот, необычайно крупный, красивый и сплошь черный, без единого пятнышка, отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности, моя жена, в душе не чуждая суеверий, часто намекала на старинную народную примету, по которой всех черных котов считали оборотнями. Намекала, разумеется, не всерьез - и я привожу эту подробность единственно для того, что сейчас самое время о ней вспомнить.

Плутон - так звали кота - был моим любимцем, и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил его, и он ходил за мной по пятам, когда я бывал дома. Он норовил даже увязаться со мной на улице, и мне стоило немалого труда отвадить его от этого.

Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это время мой нрав и характер - под влиянием Дьявольского Соблазна - резко изменились (я сгораю от стыда, признаваясь в этом) в худшую сторону. День ото дня я становился все мрачнее, раздражительней, безразличней к чувствам окружающих. Я позволял себе грубо кричать на жену. В конце концов я даже поднял на нее руку. Мои питомцы, разумеется, тоже чувствовали эту перемену. Я не только перестал обращать на них внимание, но даже обходился с ними дурно. Однако к Плутону я все же сохранил довольно почтительности и не позволял себе его обижать, как обижал без зазрения совести кроликов, обезьянку и даже собаку, когда они ласкались ко мне или случайно попадались под руку. По болезнь развивалась во мне, - а нет болезни ужаснее пристрастия к Алкоголю! - и наконец даже Плутон, который уже состарился и от этого стал капризнее, - даже Плутон начал страдать от моего скверного нрава.

Однажды ночью я вернулся в сильном подпитии, побывав в одном из своих любимых кабачков, и тут мне взбрело в голову, будто кот меня избегает. Я поймал его; испуганный моей грубостью, он не сильно, но все же до крови укусил меня за руку. Демон ярости тотчас вселился в меня. Я более не владел собою. Душа моя, казалось, вдруг покинула тело; и злоба, свирепее дьявольской, распаленная джином, мгновенно обуяла все мое существо. Я выхватил из кармана жилетки перочинный нож, открыл его, стиснул шею несчастного кота и без жалости вырезал ему глаз! Я краснею, я весь горю, я содрогаюсь, описывая это чудовищное злодейство.

Наутро, когда рассудок вернулся ко мне - когда я проспался после ночной попойки и винные пары выветрились, - грязное дело, лежавшее на моей совести, вызвало у меня раскаянье, смешанное со страхом; но то было лишь смутное и двойственное чувство, не оставившее следа в моей душе. Я снова стал пить запоем и вскоре утопил в вине самое воспоминание о содеянном.

Рана у кота тем временем понемногу заживала. Правда, пустая глазница производила ужасающее впечатление, но боль, по-видимому, утихла. Он все так же расхаживал по дому, но, как и следовало ожидать, в страхе бежал, едва завидя меня. Сердце мое еще не совсем ожесточилось, и поначалу я горько сожалел, что существо, некогда так ко мне привязанное, теперь не скрывает своей ненависти. Но вскоре чувство это уступило место озлоблению. И тогда, словно в довершение окончательной моей гибели, во мне пробудился дух противоречия. Философы оставляют его без внимания. Но я убежден до глубины души, что дух противоречия принадлежит к извечным побуждающим началам в сердце человеческом - к неотторжимым, первозданным способностям, или чувствам, которые определяют самую природу Человека. Кому не случалось сотню раз совершить дурной или бессмысленный поступок безо всякой на то причины, лишь потому, что этого нельзя делать? И разве не испытываем мы, вопреки здравому смыслу, постоянного искушения нарушить Закон лишь потому, что это запрещено? Так вот, дух противоречия пробудился во мне в довершение окончательной моей гибели. Эта непостижимая склонность души к самоистязанию - к насилию над собственным своим естеством, склонность творить зло ради зла - и побудила меня довести до конца мучительство над бессловесной тварью. Как-то утром я хладнокровно накинул коту на шею петлю и повесил его на суку - повесил, хотя слезы текли у меня из глаз и сердце разрывалось от раскаянья, - повесил, потому что знал, как он некогда меня любил, потому что чувствовал, как несправедливо я с ним поступаю, - повесил, потому что знал, какой совершаю грех - смертный грех, обрекающий мою бессмертную душу на столь страшное проклятие, что она оказалась бы низвергнута - будь это возможно - в такие глубины, куда не простирается даже милосердие Всеблагого и Всекарающего Господа.

В ночь после совершения этого злодеяния меня разбудил крик: "Пожар!" Занавеси у моей кровати полыхали. Весь дом был объят пламенем. Моя жена, слуга и я сам едва не сгорели заживо. Я был разорен совершенно. Огонь поглотил все мое имущество, и с тех пор отчаянье стало моим уделом.

Во мне довольно твердости, дабы не пытаться изыскать причину и следствие, связать несчастье со своим безжалостным поступком. Я хочу лишь проследить в подробности всю цепь событий - и не намерен пренебречь ни единым, пусть даже сомнительным звеном. На другой день после пожара я побывал на пепелище. Все степы, кроме одной, рухнули. Уцелела лишь довольно тонкая внутренняя перегородка посреди дома, к которой примыкало изголовье моей кровати. Здесь штукатурка вполне противостояла огню - я объяснил это тем, что стена была оштукатурена совсем недавно. Подле нее собралась большая толпа, множество глаз пристально и жадно всматривались все в одно место. Слова: "Странно!", "Поразительно!" и всякие восклицания в том же роде возбудили мое любопытство. Я подошел ближе и увидел на белей поверхности нечто вроде барельефа, изображавшего огромного кота. Точность изображения поистине казалась непостижимой. На шее у кота была веревка.

Сначала этот призрак - я попросту не могу назвать его иначе - поверг меня в ужас и недоумение. Но, поразмыслив, я несколько успокоился. Я вспомнил, что повесил кота в саду подле дома. Во время переполоха, поднятого пожаром, сад наводнила толпа - кто-то перерезал веревку и швырнул кота через открытое окно ко мне в комнату. Возможно, таким способом он хотел меня разбудить. Когда стены рухнули, развалины притиснули жертву моей жестокости к свежоштукатуренной перегородке, и от жара пламени и едких испарений на ней запечатлелся рисунок, который я видел.

Хотя я успокоил если не свою совесть, то, по крайней мере, ум, быстро объяснив поразительное явление, которое только что описал, оно все же оставило во мне глубокий след. Долгие месяцы меня неотступно преследовал призрак кота; и тут в душу мою вернулось смутное чувство, внешне, но только внешне, похожее на раскаянье. Я начал даже жалеть об утрате и искал в грязных притонах, откуда теперь почти не вылезал, похожего кота той же породы, который заменил бы мне бывшего моего любимца.

Однажды ночью, когда я сидел, томимый полузабытьем, в каком-то богомерзком месте, внимание мое вдруг привлекло что-то черное на одной из огромных бочек с джином или ромом, из которых состояла едва ли не вся обстановка заведения. Несколько минут я не сводил глаз с бочки, недоумевая, как это я до сих пор не замечал столь странной штуки. Я подошел и коснулся ее рукой. То был черный кот, очень крупный - под стать Плутону - и похожий на него как две кайли воды, с одним лишь отличием. В шкуре Плутона не было ни единой белой шерстинки; а у этого кота оказалось грязно-белое пятно чуть ли не во всю грудь.

Когда я коснулся его, он вскочил с громким мурлыканьем и потерял о мою руку, видимо, очень обрадованный моим вниманием. А ведь я как раз искал такого кота. Я тотчас пожелал его купить; но хозяин заведения отказался от денег - он не знал, откуда этот кот взялся, - никогда его раньше не видел.

Я все время гладил кота, а когда собрался домой, он явно пожелал идти со мною. Я ему не препятствовал; по дороге я иногда нагибался и поглаживал его. Дома он быстро освоился и сразу стал любимцем моей жены.

Но сам я вскоре начал испытывать к нему растущую неприязнь. Этого я никак не ожидал; однако - не знаю, как и почему это случилось, - его очевидная любовь вызывала во мне лишь отвращение и досаду. Мало-помалу эти чувства вылились в злейшую ненависть. Я всячески избегал кота; лишь смутный стыд и память о моем прежнем злодеянии удерживали меня от расправы над ним. Проходили недели, а я ни разу не ударил его и вообще не тронул пальцем: но медленно - очень медленно - мною овладело неизъяснимое омерзение, и я молчаливо бежал от постылой твари как от чумы.

Я ненавидел этого кота тем сильнее, что он, как обнаружилось в первое же утро, лишился, подобно Плутону, одного глаза. Однако моей жене он стал от этого еще дороже, она ведь, как я уже говорил, сохранила в своей душе ту мягкость, которая некогда была мне свойственна и служила для меня неиссякаемым источником самых простых и чистых удовольствий.

Но, казалось, чем более возрастала моя недоброжелательность, тем крепче кот ко мне привязывался. Он ходил за мной по пятам с упорством, которое трудно описать. Стоило мне сесть, как он забирался под мой стул или прыгал ко мне на колени, донимая меня своими отвратительными ласками. Когда я вставал, намереваясь уйти, он путался у меня под ногами, так что я едва не падал, или, вонзая острые когти в мою одежду, взбирался ко мне на грудь. В такие минуты мне нестерпимо хотелось убить его на месте, но меня удерживало до некоторой степени сознание прежней вины, а главное - не стану скрывать, - страх перед этой тварью.

В сущности, то не был страх перед каким-либо конкретным несчастьем, - но я затрудняюсь определить это чувство другим словом. Мне стыдно признаться - даже теперь, за решеткой, мне стыдно признаться, - что чудовищный ужас, который вселял в меня кот, усугубило самое немислимое наваждение. Жена не раз указывала мне на белесое пятно, о котором я уже упоминал, единственное, что внешне отличало эту странную тварь от моей жертвы. Читатель,

вероятно, помнит, что пятно это было довольно большое, однако поначалу очень расплывчатое; по медленно - едва уловимо, так что разум мой долгое время восставал против столь очевидной нелепости, - оно приобрело наконец неумолимо ясные очертания. Не могу без трепета назвать то, что оно отныне изображало - из-за этого главным образом я испытывал отвращение и страх и избавился бы, если б только посмел, от проклятого чудовища, - отныне, да будет вам ведомо, оно являло взору нечто мерзкое - нечто злое, - виселицу! - это кровавое и грозное орудие Ужаса и Злодейства - Страдания и Погибели!

Теперь я воистину был несчастнейшим из смертных. Презренная тварь, подобная той, которую я прикончил, не моргнув глазом, - эта презренная тварь причиняла мне - мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Всевышнего, - столько невыносимых страданий! Увы! Денно и ночью не знал я более благословенного покоя! Днем кот ни на миг не отходил от меня, ночью же я что ни час пробуждался от мучительных сновидений и ощущал горячее дыхание этого существа на моем лице и его невыносимую тяжесть, - кошмар во плоти, который я не в силах был стряхнуть, - до конца дней навалившуюся мне на сердце!

Эти страдания вытеснили из моей души последние остатки добрых чувств. Я лелеял теперь лишь злобные мысли - самые черные и злобные мысли, какие только могут прийти в голову. Моя обычная мрачность переросла в ненависть ко всему сущему и ко всему роду человеческому; и более всех страдала от внезапных, частых и неукротимых взрывов ярости, которым я слепо предавался, моя безропотная и многотерпеливая жена.

Однажды по какой-то хозяйственной надобности мы с ней спустились в подвал старого дома, в котором бедность принуждала нас жить. Кот увязался следом за мной по крутой лестнице, я споткнулся, едва не свернул себе шею и обезумел от бешенства. Я схватил топор и, позабыв в гневе презренный страх, который до тех пор меня останавливал, готов был нанести коту такой удар, что зарубил бы его на месте. Но жена удержала мою руку. В ярости, перед которой бледнеет ярость самого дьявола, я вырвался и раскроил ей голову топором. Она упала без единого стоны.

Совершив это чудовищное убийство, я с полнейшим хладнокровием стал искать способа спрятать труп. Я понимал, что не могу вынести его из дома днем или даже под покровом ночи без риска, что это увидят соседи. Много всяких замыслов приходило мне на ум. Сперва я хотел разрубить тело на мелкие куски и сжечь в печке. Потом решил закопать его в подвале. Тут мне подумалось, что лучше, пожалуй, бросить его в колодец на дворе - или забить в ящик, нанять носильщика и велеть вынести его из дома. Наконец я избрал, как мне казалось, наилучший путь. Я решил замуровать труп в стене, как некогда замуровывали свои жертвы средневековые монахи.

Подвал прекрасно подходил для такой цели. Кладка стен была непрочной, к тому же не столь давно их наспех оштукатурили, и по причине сырости штукатурка до сих пор не просохла. Более того, одна стена имела выступ, в котором для украшения устроено было подобие камина или очага, позднее заложеного кирпичами и тоже оштукатуренного. Я не сомневался, что легко сумею вынуть кирпичи, упрятать туда труп и снова заделать отверстие так, что самый наметанный глаз по обнаружит ничего подозрительного.

Я не ошибся в расчетах. Взяв лом, я легко вывернул кирпичи, поставил труп стоя, прислонив его к внутренней стене, и без труда водворил кирпичи на место. Со всяческими предосторожностями я добыл известь, песок и паклю, приготовил штукатурку, совершенно

неотличимую от прежней, и старательно замазал новую кладку. Покончив с этим, я убедился, что все в полном порядке. До стоны словно никто и не касался. Я прибрал с полу весь мусор до последней крошки. Затем огляделся с торжеством и сказал себе:

- На сей раз, по крайней мере, труды мои не пропали даром.

После этого я принялся искать тварь, бывшую причиной стольких несчастий; теперь я наконец твердо решился ее убить. Попадись мне кот в то время, участь его была бы решена; но хитрый зверь, напуганный, как видно, моей недавней яростью, исчез, будто в воду канул. Невозможно ни описать, ни даже вообразить, сколь глубокое и блаженное чувство облегчения наполнило мою грудь, едва ненавистный кот исчез. Всю ночь он не показывался; то была первая ночь, с тех пор как он появился в доме, когда я спал крепким и спокойным сном; да, спал, хотя на душе моей лежало бремя преступления.

Прошел второй день, потом третий, а мучителя моего все не было. Я вновь дышал свободно. Чудовище в страхе бежало из дома навсегда! Я более его не увижу! Какое блаженство! Раскаиваться в содеянном я и не думал. Было учинено короткое дознание, но мне не составило труда оправдаться. Сделали даже обыск - но, разумеется, ничего не нашли. Я не сомневался, что отныне буду счастлив.

На четвертый день после убийства ко мне неожиданно нагрянули полицейские и снова произвели в доме тщательный обыск. Однако я был уверен, что тайник невозможно обнаружить, и чувствовал себя преспокойно. Полицейские велели мне присутствовать при обыске. Они обшарили все уголки и закоулки. Наконец они в третий или четвертый раз спустились в подвал. Я не повел и бровью. Сердце мое билось так ровно, словно я спал сном праведника. Я прохаживался по всему подвалу. Скрестив руки на груди, я неторопливо вышагивал взад-вперед. Полицейские сделали свое дело и собрались уходить. Сердце мое ликовало, и я не мог сдержаться. Для полноты торжества я жаждал сказать хоть словечко и окончательно убедить их в своей невинности.

- Господа, - сказал я наконец, когда они уже поднимались по лестнице, - я счастлив, что рассеял ваши подозрения. Желая вам всем здоровья и немного более учтивости. Кстати, господа, это... это очень хорошая постройка (в неистовом желании говорить непринужденно я едва отдавал себе отчет в своих словах), я сказал бы даже, что постройка попросту превосходна. В кладке этих стен - вы торопитесь, господа? - нет ни единой трещинки. - И тут, упиваясь своей безрассудной удалью, я стал с размаху колотить тростью, которую держал в руке, по тем самым кирпичам, где был замурован труп моей благоверной.

Господи боже, спаси и оборони меня от когтей Сатаны! Едва смолкли отголоски этих ударов, как мне откликнулся голос из могилы!.. Крик, сперва глухой и прерывистый, словно детский плач, быстро перешел в неумолчный, громкий, протяжный вопль, дикий и нечеловеческий, - в звериный вой, в душераздирающее стенание, которое выражало ужас, смешанный с торжеством, и могло исходить только из ада, где вопиют все обреченные на вечную муку и злобно ликуют дьяволы.

Нечего и говорить о том, какие безумные мысли полезли мне в голову. Едва не лишившись чувств, я отшатнулся к противоположной стене. Мгновение полицейские неподвижно стояли на лестнице, скованные ужасом и удивлением. Но тотчас же десяток сильных рук принялись взламывать стену. Она тотчас рухнула. Труп моей жены, уже тронутый распадом и перепачканный запекшейся кровью, открылся взору. На голове у нее, разинув красную пасть и

сверкая единственным глазом, восседала гнусная тварь, которая коварно толкнула меня на убийство, а теперь выдала меня своим воем и обрекла на смерть от руки палача. Я замуровал это чудовище в каменной могиле.

Надувательство как точная наука

Перевод И.Бернштейн

Гули, гули, гули,

А тебя надули!

Дразнилка

С сотворения мира было два Иеремии. Один написал иеремиаду против ростовщичества и звался Иеремия Бентам. Он пользовался особым признанием мистера Джона Нийла и был, в узком смысле, великий человек. Другой дал имя самой важной из точных наук и был великим человеком в широком смысле слова - я бы сказал даже, величайшим.

Понятие "надувательство", - вернее, отвлеченная идея, заключенная в глаголе "надувать", - знакомо каждому. Но самый акт, надувательство как единичное действие, с трудом поддается определению. Впрочем, некоторой ясности в этом вопросе можно достичь, если дать определение не надувательству как таковому, но человеку как животному, которое надувает. Напади в свое время на эту мысль Платон, и ему не пришлось бы проглатывать оскорблений из-за ошипанной курицы.

Ему был задан очень остроумный вопрос: "Не будет ли ошипанная курица, безусловно являющаяся "двуногим существом без перьев", согласно его же собственному определению, человеком?" Мне таких каверзных вопросов не зададут. Человек - это животное, которое надувает; кроме человека, ни одного животного, которое надувает, не существует. И с этим даже целый курятник ошипанных кур ничего не сможет сделать. То, что составляет существо, основу, принцип надувательства, свойственно классу живых тварей, характеризующемуся ношением сюртуков и панталон. Ворона ворует, лиса плутует; хорек хитрит - человек надувает. Надувать - таков его жребий. "Человек рожден, чтоб плакать", - сказал поэт. Но это не так; он рожден, чтобы надувать. Такова цель его жизни - его жизненная задача - его предназначение. Потому про человека, совершившего надувательство, говорят, что он уже "отпетый".

Надувательство, если рассмотреть его в правильном свете, есть понятие сложное, его составными частями являются: малый размах, корысть, упорство, выдумка, отвага, невозмутимость, оригинальность, нахальство и оскал.

Малый размах. - Надуватель работает с небольшим размахом. Его операции - операции мелкого масштаба, розничные, за наличный расчет или за чеки на предъявителя. Соблазнить он на крупные спекуляции, и он сразу же утратит свои характерные особенности, это уже будет не надуватель, а так называемый "финансист", каковой термин передает все аспекты понятия "надувательства", за исключением его масштаба. Таким образом, надуватель может быть рассмотрен как банкир *in petto* [В миниатюре, в уменьшенном виде (лат.).] а "финансовая

операция" - как надувательство в Бробдингнеге. Они соотносятся одно с другим, как Гомер с "Флакком" - как мастодонт с мышью - как хвост кометы с хвостиком поросенка.

Корысть. - Надувателем руководит корысть. Он не станет надувать просто ради того, чтобы надуть. Он считает это недостойным. У него есть объект деятельности - свой карман. И ваш тоже. И он всегда выбирает наиболее благоприятный момент. Его занимает Номер Первый. А вы - Номер Второй и должны сами о себе позаботиться.

Упорство. - Надуватель упорен. Он не отчаивается из-за пустяков. Его не так-то просто сбить с избранного пути. Даже если все банки лопнут, ему мало дела. Он упорно добивается своей цели, и

Ut canis a corio nunquam absterrebitur uncto

[Ты не отгонишь ее, как пса от засаленной шкуры (лат.).] -

так и он не выпускает свою добычу.

Выдумка. - Надуватель горазд на выдумки. Он обладает большой изобретательностью. Способен на хитрейшие замыслы. Умеет войти в доверие и выйти из любого положения. Если он не Александр Македонский, значит, он - Диоген. Не будь он надувателем, он мастерил бы патентованные крысоловки или ловил на удочку форель.

Отвага. - Надуватель отважен. Он - храбрый человек. Он ведет войну на вражеской территории. Нападает и побеждает. Тайные убийцы со своими кинжалами его бы не испугали. Чуть побольше рассудительности, и неплохой надуватель подучился бы из Дика Терпина; чуть поменьше болтовни - из Дэниела О'Коннелла, а лишний фунт-другой мозгов - из Карла Двенадцатого.

Невозмутимость. - Надуватель невозмутим. Никогда не нервничает. У него вообще нет нервов и отродясь не было. Не поддается суете. Его никто не выведет из себя - даже если выведет за дверь. Он абсолютно хладнокровен и спокоен - "как светлая улыбка леди Бэри". Он держится свободно, как старая перчатка на руке или как девы древних Байи.

Оригинальность. - Надуватель оригинален, иначе ему совесть не позволяет. Мысли у него - собственные. Чужих ему не надо. Устаревшие приемы он презирает. Я уверен, что он вернет вам кошелек, если только убедится, что прикарманил его с помощью неоригинального надувательства.

Нахальство. - Надуватель нахален. Он ходит вразвалку. Ставит руки в боки. Держит кулаки в карманах. Ухмыляется вам в лицо. Наступает вам на мозоли. Он ест ваш обед, пьет ваше вино, занимает у вас деньги, оставляет вас с носом, пинает вашу собачку и целует вашу жену.

Оскал. - Настоящий надуватель венчает все эти свойства оскалом. Но никто, кроме него самого, этого не видит. Он скалит зубы, когда закончен день трудов - когда дело сделано - поздно вечером у себя в каморке и исключительно для собственного удовольствия. Он приходит домой. Запирает дверь. Раздевается. Задувает свечу. Ложится в постель. Опускает голову на подушку. И по завершении всего этого надуватель широко скалит зубы. Это не гипотеза, а нечто само собой разумеющееся. Я рассуждаю a priori [Исходя из общих соображений (лат.)] ибо надувательство без оскала - не надувательство.

Происхождение надувательства относится к эпохе детства человечества. Первым надувателем, я думаю, можно считать Адама. Во всяком случае, эта наука прослеживается в

веках вплоть до самой глубокой древности. Однако современные люди довели ее до совершенства, о каком и мечтать не могли наши толстолобые праотцы. И потому, не отвлекаясь для пересказа "преданий старины", удовлетворюсь кратким обзором примеров из наших дней.

Отличным надувательством можно считать такое. Хозяйка дома, вознамерившись купить, скажем, диван, ходит из одного мебельного магазина в другой. Наконец, в десятом рекламируют как раз то, что ей надо. У дверей к ней обращается некий весьма вежливый и речистый индивидуум и с поклоном приглашает войти. Диван, как она и думала, вполне отвечает ее требованиям, а осведомившись о цене, она с удивлением и радостью слышит сумму, процентов на двадцать ниже ее ожиданий. Она спешит произвести покупку, просит чек, платит, получает квитанцию, оставляет адрес с просьбой доставить диван как можно скорее и удаляется, провожаемая до самого порога любезно кланяющимся приказчиком. Наступает вечер - дивана нет. Проходит следующий день - все то же. Слугу посылают навести справки о причинах задержки. Никакой диван продан не был, и денег никто не получал - кроме надувателя, прикинувшегося для этого случая приказчиком.

У нас в мебельных магазинах обычно никто не сидит, благодаря чему и возникает возможность для подобного жульничества. Люди входят, разглядывают мебель и удаляются, и никто их не видит и не слышит. Захоти ты сделать покупку или осведомиться о цене, тут же висит звонок, и находят, что этого вполне достаточно.

Почтенным надувательством считается такое. В лавку входит хорошо одетый человек и делает покупки на сумму в один доллар; обнаруживает, раздосадованный, что оставил бумажник в кармане другого сюртука, и говорит приказчику так:

- Мой дорогой сэр, бог с ним со всем. Сделайте мне одолжение, отошлите весь пакет ко мне домой, хорошо?.. Хотя постоит, кажется, у меня и там нет мелочи меньше пятидолларовой банкноты. Ну, да вы можете отослать и четыре доллара сдачи вместе с покупкой.

- Очень хорошо, сэр, - отвечает приказчик, сразу же проникнувшись уважением к возвышенному образу мыслей своего покупателя. "Я знаю молодчиков, - говорит он себе, - которые бы просто положили товар под мышку и пошли вон, посулившись зайти на обратном пути и принести доллар".

И он посылает мальчика с пакетом и сдачей. По дороге ему - совершенно случайно - встречается давешний господин и восклицает:

- А, это мои покупки, как я вижу! Я думал, они уже давно у меня дома. Ну, ну, беги. Моя жена, миссис Троттер, даст тебе пять долларов - я ей оставил указания на этот счет. А сдачу можешь отдать прямо мне, серебро мне как раз кстати: я должен зайти на почту. Прекрасно! Один, два... это не фальшивый четвертак?.. три, четыре - все верно! Скажешь миссис Троттер, что повстречался со мною, да смотри не замешкайся по дороге.

Мальчишка не мешкает по дороге - и однако очень долго не возвращается в лавку, потому что дамы по имени миссис Троттер ему отыскать не удалось. Впрочем, он утешает себя сознанием, что но такой уж он дурак, чтобы оставить товар без денег, возвращается в лавку с самодовольным видом и испытывает обиду и возмущение, когда хозяин спрашивает его, а где же сдача.

Очень простое надувательство вот какое. К капитану судна, готового отвалить от пристани, является официального вида господин и вручает на редкость умеренный счет портовых пошлин. Радешенек отделаться по дешевке, капитан, задуренный тысячей неотложных забот, спешит расплатиться. Минут через пятнадцать ему вручается другой, уже не столь умеренный, счет лицом, которое сразу же со всей очевидностью доказывает, что первый сборщик пошлин - надуватель и ранее произведенный сбор - надувательство.

Или еще нечто в этом же роде. От пристани с минуты на минуту отвалит пароход. К сходням со всех ног бежит пассажир с чемоданом в руке. Внезапно он останавливается как вкопанный, нагибается и в большом волнении подбирает что-то с земли. Это бумажник. "Кто из джентльменов потерял бумажник?" - кричит он. Никто суверенностью не может утверждать, что именно он потерял бумажник, однако все взволнованы, когда господин обнаруживает, что находка его - ценная. Пароход, однако, задерживать нельзя.

- Семеро одного не ждут, - говорит капитан.

- Ради всего святого, повремените хоть несколько минут, - просит господин с бумажником.
- Законный владелец должен объявиться с минуты на минуту.

- Нельзя! - отвечает корабельный вседержитель. - Эй, вы там! Отдать концы!

- Ах, ну что же мне делать? - восклицает нашедший в великом беспокойстве. - Я уезжаю за границу на несколько лет, и мне просто совесть не позволяет оставить у себя такую ценность. Прошу у вас прощения, сэр (здесь он обращается к господину, стоящему на пристани), вы выглядите честным человеком. Не окажете ли вы мне любезность, взяв на себя заботу об этом бумажнике? Я знаю, что могу вам доверять. Надо поместить объявление. Дело в том, что банкноты составляют немалую сумму. Владелец, без сомнения, пожелает отблагодарить вас за хлопоты...

- Меня? Нет, вас! Ведь это вы нашли бумажник.

- Ну, если вы настаиваете, я готов принять маленькое вознаграждение - только чтобы удовлетворить вашу щепетильность. Позвольте, позвольте, да тут одни только сотенные! Вот незадача! Сотня - это слишком много, без сомнения, пятидесяти было бы вполне достаточно.

- Отдать концы! - командует капитан.

- Но у меня нечем разменять сотню, и все-таки лучше вам...

- Отдавай концы!

- Ничего! - кричит господин на берегу, порывшись в собственном бумажнике. - Сейчас все устроим! Вот вам пятьдесят долларов, обеспеченные Североамериканским банком. Бросайте мне бумажник!

Совестливый пассажир с видимой неохотой берет пятьдесят долларов и бросает господину на берегу бумажник, между тем как пароход отчаливает, пыхтя и пуская пары. Примерно через полчаса после его отплытия обнаруживается, что "банкноты на большую сумму" - не более как грубая подделка и вся эта история - первосортное надувательство.

А вот смелое надувательство. Где-то назначен загородный митинг. К месту, где он должен состояться, дорога ведет через мост. Надуватель располагается на мосту и вежливо объясняет

всем, кто хочет пройти или проехать, что в графстве принят новый закон, по которому взимается пошлина - один цент с пешехода, два - с лошади или осла, и так далее, и тому подобное. Кое-кто ворчит, но все подчиняются, и надуватель возвращается домой, разбогатев на пятьдесят - шестьдесят тяжким трудом заработанных долларов. Взимание денег с большого количества народу - занятие в высшей степени утомительное.

А вот тонкое надувательство. Знакомый надувателя владеет долговым обязательством последнего, написанным красными чернилами на обычном бланке и снабженным подписью. Надуватель покупает дюжины две таких бланков и ежедневно окунает по одному бланку в суп, а затем заставляет свою собаку прыгать за ним и в конце концов отдает ей его на съедение. По наступлении срока расплаты по долговому обязательству надуватель и надувателева собака являются в гости к знакомому, и речь тут же заходит о долге. Знакомый вынимают расписку из своего бюроара и готов протянуть ее надувателю, как вдруг надувателева собака подпрыгивает и пожирает бумагу без следа. Надуватель не только удивлен, но даже раздосадован и возмущен подобным нелепым поведением своей собаки и выражает полную готовность расплатиться по своему обязательству, как только ему его предьявят.

Очень мелкое надувательство такое. Сообщник надувателя оскорбляет на улице даму. Сам надуватель бросается ей на помощь, и любовно отколотив своего дружка, почитает своим долгом проводить пострадавшую до дверей ее дома. Прощаясь, низко кланяется, прижав руку к сердцу. Она умоляет своего спасителя войти с ней в дом и быть представленным ее старшему братцу и папаше. Он со вздохом отказывается. "Неужели, сэр, - лепечет она, - нет никакого способа мне выразить мою благодарность?"

- Почему же, мадам, конечно, есть. Не будете ли вы столь добры, чтобы ссудить меня двумя-тремя шиллингами?

В первом приступе душевного смятения дама решает немедленно упасть в обморок. Но затем, одумавшись, она развязывает кошелек и извлекает требуемую сумму. Это, как я уже сказал, очень мелкое надувательство, поскольку ровно половину приходится отдать джентльмену, взявшему на себя труд нанести оскорбление и быть за это поколоченным.

Небольшое, но вполне научное надувательство вот какое. Надуватель подходит к прилавку в пивной и требует пачку табаку. Получив, некоторое время ее разглядывает и говорит:

- Нет, не нравится мне этот табак. Натe, возьмите обратно, а мне взамен налейте стакан бренди с водой.

Бренди наливается и выпивается, и надуватель направляется к дверям. Но голос буфетчика останавливает его:

- По-моему, сэр, вы забыли заплатить за стакан бренди с водой.

- Заплатить за бренди? Но разве я не отдал вам взамен табак? Что же вам еще надо?

- Но, сэр, прошу прощения, я не помню, чтобы вы заплатили за табак.

- Что это значит, негодяй? Разве я не вернул вам ваш табак? Разве это не ваш табак вон там лежит? Или вы хотите, чтобы я платил за то, что не брал?

- Но, сэр, - бормочет буфетчик, совершенно растерявшись, - но, сэр...

- Никаких "но", сэр, - обрывает его надуватель в величайшем негодовании. - Знаем мы ваши штучки, - и ретируюсь, хлопает дверью.

Или еще одно очень хитрое надувательство, самая простота которого служит ему рекомендацией. Кто-то действительно теряет кошелек или бумажник и помещает подробное объявление о пропаже в одной из многих газет большого города.

Надуватель заимствует из этого объявления факты, изменив заглавие, общую фразеологию и адрес. Оригинал, скажем, длинный и многословный, дан под заголовком: "Утерян бумажник" и содержит просьбу о возвращении сокровища, буде оно найдется, по адресу: Том-стрит, N 1. А копия лаконична, озаглавлена одним словом: "Потерян" и адрес указан: Дик-стрит, N 2, или Гарри-стрит, N 3. Кроме того, копия помещена одновременно в пяти или шести газетах, а во времени отстает от оригинала всего на несколько часов. Случись, что ее прочитает истинный пострадавший, едва ли он заподозрит, что это имеет какое-то отношение к его собственной пропаже. И разумеется, пять или шесть шансов против одного, что нашедший принесет бумажник по адресу, указанному надувателем, а не в дом настоящего владельца. Надуватель уплачивает вознаграждение, получает сокровище и сматывает удочки.

Другое надувательство совсем в том же роде. Светская дама обронила что-то на улице, скажем, перстень с особо ценным бриллиантом. Тому, кто его найдет и возвратит, она предлагает вознаграждение в сорок - пятьдесят долларов, прилагая к объявлению подробнейшее описание самого камня и оправы, а также специально оговаривает, что доставившему драгоценность в дом помер такой-то по сямой-то улице вознаграждение будет выплачено на месте, безо всяких расспросов. Дня два спустя, в то время, как дама отлучилась из дому, у дверей такого-то номера по сямой-то улице раздается звонок; слуга открывает; посетитель спрашивает хозяйку дома, слышит, что ее нет, и при этом потрясающем известии выражает глубочайшее разочарование. У него очень важное дело и именно к самой хозяйке. Видите ли, ему посчастливилось найти ее бриллиантовый перстень. Но, пожалуй, будет лучше, если он зайдет позже. "Ни в коем случае!" - восклицает слуга. "Ни в коем случае!" - восклицают хозяйкина сестра и хозяйкина невестка, немедленно призванные к месту переговоров. Перстень рассматривают, шумно признают за подлинный, выплачивают вознаграждение, и посетителя чуть ли не взащей выталкивают на улицу. Возвращается дама и выражает сестре и невестке свое неодобрение, ибо они заплатили сорок или пятьдесят долларов за facsimile [Копию (лат.)] ее бриллиантового перстня - facsimile, сделанное из настоящей железки и неподдельного стекла.

Но как нет, в сущности, конца надувательствам, так не было бы конца и моему исследованию, вздумай я перечислить хотя бы половину тех разновидностей и вариантов, которые допускает эта паука. И потому я вынужден завершить мое сочинение, для каковой цели лучше всего послужит заключительное описание одного весьма пристойного, хотя и замысловатого надувательства, которое было сравнительно недавно проделано у нас в городе, а впоследствии не без успеха повторено и в некоторых других, не менее значных местностях Союза. В город неведомо откуда приезжает пожилой джентльмен. По всему видно, что это человек положительный, аккуратный, уравновешенный и разумный. Одет безупречно, по скромно, просто - белый галстук, просторный жилет, покрой которого продиктован исключительно соображениями удобства; мягкие штилеты на толстой подошве и панталоны без штрипок. Словом, с ног до головы зажиточный, уважаемый, трезвый делец par excellence [Прежде всего (франц.)] - один из тех суровых и по видимости жестоких, а в душе мягких

людей, вроде героев современных возвышенных мелодрам, которые, как известно, одной рукой раздают гиней, а другой, просто из коммерческого принципа, вытрясут из человека все до сотовой доли последнего фартинга.

Господин этот с большой разборчивостью принимается за поиски квартиры. Он не любит детей. Привык к тишине. Образ жизни ведет весьма размеренный. И вообще предпочитает снять комнату и поселиться в почтенной семье, отличающейся религиозным направлением ума. При этом за ценой он не постоит, единственное его условие - это что за квартиру он будет платить точно по первым числам каждого месяца (сегодня второе); и он умоляет свою квартирную хозяйку, когда наконец находит таковую себе по вкусу, ни под каким видом не забывать этого его правила и присылать ему счет, а заодно и квитанцию, ровно в десять часов утра первого числа каждого месяца и ни при каких обстоятельствах не откладывать на второе.

Устроившись с квартирой, наш господин снимает себе помещение под контору в квартале скорее солидном, чем фешенебельном. Ничего на свете он так не презирает, как пускание пыли в глаза.

"За богатой вывеской, - провозглашает он, - редко бывает по-настоящему солидное дело", - замечание, столь глубоко поразившее воображение его квартирной хозяйки, что она спешит записать его для памяти карандашом в своей толстой семейной Библии на широких полях Притчей Соломоновых.

Следующий шаг - объявление, вроде нижеследующего, которое помещается в главной деловой газете города. (При этом шесть пенсов за его помещение не вносятся - во-первых, это несолидно, а во-вторых, нечего требовать платы вперед; наш господин, как в святое Евангелие, верит в то, что ни за какую работу не следует платить до того, как она сделана.)

"Требуется. - Податели сего объявления намерены начать в этом городе широкие деловые операции, в связи с чем им потребуются услуги трех или четырех образованных и высококвалифицированных клерков, которым будет выплачиваться значительное жалованье. Рекомендации и свидетельства представлять только самые лучшие и не столько о деловых качествах, сколько о нравственной безупречности. Более того, так как будущие обязанности клерков связаны с большой ответственностью и так как через их руки будут проходить значительные суммы, было сочтено желательным, чтобы каждый из нанимаемых клерков вносил залог в размере пятидесяти долларов. В силу этого лиц, не располагающих указанной суммой для внесения залога и не имеющих убедительных свидетельств о строгих нравственных правилах, просят не беспокоиться. Предпочтение будет отдано молодым людям с религиозным направлением ума. Обращаться между десятью и одиннадцатью часами утра и четырем и пятью часами дня к господам

Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и Ко

в доме N 110 по Сучкью-стрит".

К тридцать первому числу указанного месяца объявление привело в контору господ Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и Компания человек пятнадцать - двадцать молодых людей с религиозным направлением ума. Но наш почтенный делец ни с одним из них не спешит заключить контракт, - какой же делец в таких вопросах торопится? - так что каждый молодой человек подвергается весьма тщательному допросу касательно религиозности направления своего

ума, прежде чем принимается на службу и получает квитанцию на свои пятьдесят долларов - просто для порядка - от уважаемой фирмы Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и Компания. Утром первого числа следующего месяца хозяйка квартиры не вручает, как обещала, своего счета - упущение, за которое почтенный глава торгового дома, оканчивающегося на - кью, без сомнения, сурово выбрал бы ее, когда бы ему удалось задержать для этой цели в городе еще на день или два.

Между тем полицейские с ног сбились, бегая по городу, и все, что им удалось, это объявить, что почтеннейший господин - п.е.и., каковые буквы расшифровываются людьми знающими как начальные классической латинской фразы: *pop est inventus* [Не возвратился (лат.)]. Между тем молодые люди, все как один, стали отличаться несколько менее религиозным направлением ума, а хозяйка квартиры покупает на шиллинг лучшей резинки и тщательно стирает карандашную запись, которую какой-то дурак сделал в ее толстой семейной Библии на широких полях Притчей Соломоновых.

Литературная жизнь Какваса Тама, Эсквайра

Перевод М.Урнова

(Бывший редактор журнала "Абракадабра")

Написано им самим

Я уже в годах, и так как мне известно, что Шекспир и мистер Эммонс скончались, то не исключено, что даже я могу умереть. Мысль об этом побуждает меня оставить литературное поприще и почить на лаврах. Но я горю желанием ознаменовать мое отречение от литературного скипетра каким-нибудь ценным даром потомству, и, пожалуй, самое лучшее - это описать начало моей карьеры. Право же, имя мое так долго и часто мелькало перед глазами публики, что я не только считаю совершенно естественным вызванный им интерес, но и готов удовлетворить то крайнее любопытство, которое им возбуждено. Действительно, долг всякого, кто достигает величия, - оставлять на пути своего восхождения вехи, которые могут помочь другим стать великими. Поэтому в настоящем труде (у меня была мысль озаглавить его "Материалы к абрису литературной истории Америки") я предполагаю подробно рассказать о тех пусть еще слабых и робких, но знаменательных первых шагах, которые вывели меня на широкую дорогу, ведущую к вершине славы.

Об очень отдаленных предках распространяться излишне. Мой отец, Томас Там, эскв., в течение многих лет был самым известным в Фат-сити парикмахером - фирма "Томас Там и Ко". Его заведение служило прибежищем для знатных людей города, особенно журнальной братии - сословия, которое всем внушает глубокое почтение и страх. Что касается меня лично, я смотрел на представителей этого сословия как на богов и с жадностью впивал живительную влагу мудрости и остроумия, которая потоками лилась с их священных уст во время операции, именуемой "намыливанием". Появление у меня первой вспышки творческого вдохновения следует отнести к той достопамятной эпохе, когда знаменитый редактор "Слепня" в перерывах упомянутой выше знаменитой операции прочел конклаву наших подмастерьев неподражаемую поэму в честь "Настоящего брильянтина Тама" (названного так по имени его талантливого изобретателя, моего отца), за сочинение каковой был вознагражден с королевской щедростью фирмой "Томас Там и Ко, парикмахеры".

Гениальные строфы во славу "Брильянтина Тама" впервые, говорю я, заронили во мне искру божию. Не долго думая, я решил стать великим человеком, а для начала - великим поэтом. В тот же вечер упал я перед отцом на колени.

- Отец, - сказал я, - прости меня! Но душа моя не приемлет мыльной пены. Я не хочу быть парикмахером. Я хочу стать редактором... хочу стать поэтом... хочу слагать стихи во славу "Брильянтина Тама". Прости меня и помоги стать великим!

- Дорогой мой Каквас, - отвечал отец (меня окрестили Каквасом в честь богатого родственника, носившего это прозвище), - мой дорогой Каквас, - сказал он, поднимая меня с пола за уши, - Каквас, дитя мое, ты славный малый и душой весь в отца. Голова у тебя огромная, и в ней должно быть много мозгов. Я давно это заметил и потому имел намерение сделать тебя адвокатом. Но адвокаты теперь не в моде, а профессия политика невыгодна. Словом, ты рассудил мудро, нет ничего лучше, чем ремесло редактора, а если ты станешь еще и поэтом, - ими, кстати, становится большинство редакторов, - ты сразу убьешь двух зайцев. Я поддержу тебя на первых порах. Я предоставлю в твое распоряжение чердак, дам перо, чернила, бумагу, словарь рифм и экземпляр "Слепня". Надеюсь, ты не станешь требовать большего?

- Я был бы неблагодарной свиньей, если б посмел, - с подъемом отвечал я. - Щедроты ваши беспредельны. Я отплачу вам тем, что сделаю вас отцом гения.

Так закончилась моя беседа с лучшим из людей, и сразу же по ее окончании я ревностно принялся сочинять стихи, так как на них главным образом основывал свои надежды воссесть со временем на редакторское кресло.

Первые пробы моего пера убедили меня, что строфы "Брильянтина Тама" служат мне скорее помехой, чем подспорьем. Их великолепие не столько просветляло, сколько ослепляло меня. Созерцание их совершенств и сопоставление с недоносками моего поэтического воображения повергало меня в уныние, и долгое время усилия мои оставались тщетными. Наконец меня осенила одна из тех неповторимо оригинальных идей, которые время от времени все же озаряют ум гения. Вот ее сущность, точнее - вот как она была осуществлена. Роясь в старой книжной лавчонке, на глухой окраине города, я откопал среди хлама несколько древних, никому не известных или совершенно забытых книг. Букинист уступил мне их за бесценок. Из одной, по-видимому перевода "Ада" какого-то Данте, я с примерным усердием выписал большой отрывок о некоем Уголино, у которого была куча детей-сорванцов. Из другой, содержащей множество старинных театральных пьес какого-то автора (фамилию не помню), я тем же способом и с таким же тщанием извлек множество стихов о "неба серафимах", "блаженном духе", "демоне проклятом" и тому подобном. Из третьей, сочинения слепца, не то грека, не то чоктоса, - не стану же я утруждать себя запоминанием всякого пустяка, - я заимствовал около пятидесяти стихов о "гневе Ахиллеса", "приношениях" и еще кое о чем. Из четвертой, написанной, помнится, тоже слепцом, я взял несколько страниц, где говорилось сплошь о "граде" и "свете небесном"; и, хотя не дело слепого писать о свете, стихи все же были недурны.

Сделав несколько тщательных копий, я под каждой поставил подпись "Оподельдок" (имя красивое и звучное) и послал, каждую в отдельном конверте, во все четыре ведущих наших журнала с просьбой поместить немедленно и не тянуть с выплатой гонорара. Однако результат этого столь хорошо продуманного плана (успех которого избавил бы меня от многих забот в дальнейшем) убедил меня, что не всякого редактора можно одурачить, и нанес *coup de grace*

[Последний удар, которым добивают жертву, чтобы прекратить ее страдания (франц.).] (как говорят во Франции) по моим зарождающимся упованиям (как говорят на родине трансценденталистов).

Словом, все журналы, все, как один, учинили мистеру "Опodelьдоку" полный разгром в своих "Ежемесячных репликах корреспондентам". "Трамтарарам" отделал его таким манером:

"Опodelьдок (кто бы он ни был) прислал нам длинную тираду о сумасброде, названном Уголино, многодетном родителе, которому следовало драть своих сорванцов ремнем и отправлять их спать без ужина. Вся эта история не только банальна, но и скучна до зевоты. Опodelьдок (кто бы он ни был) лишен всякого воображения, а воображение, по нашему скромному мнению, не только душа ПОЭЗИИ, но и сердце ее. Опodelьдок (кто бы он ни был) имеет наглость требовать, чтобы мы немедленно напечатали его чепуху и "не тянули с выплатой гонорара". Мы не печатаем и не поднаем подобной галиматьи. Впрочем, можно не сомневаться, что всю ту дрянь, которую он способен намарать своим пером, охотно возьмут в редакциях "Горлодера", "Сластены" или "Абракадабры".

Надо сказать, что с Опodelьдоком обошлись слишком немилосердно, но обиднее всего было слово ПОЭЗИЯ, напечатанное крупным шрифтом. Сколько желчи было влито в эти шесть букв!

Не менее бесцеремонно отделили Опodelьдока в "Горлодере", который писал так:

"Мы получили крайне странное и возмутительное послание от субъекта (кто бы он ни был), подписавшегося "Опodelьдок" и оскорбившего тем самым величие прославленного римского императора, носившего это имя. К письму Опodelьдока приложены бессмысленные и омерзительные вирши о "неба серафимах" и "демонe проклятом", столь омерзительные, что их мог сочинить только сумасшедший вроде Опodelьдока или Ната Ли. И вот нас скромно просят выплатить гонорар за этот архивздор. Нет, сэр, увольте! За такую чепуху мы не платим. Обратитесь в "Трамтарарам", "Сластену" или в "Абракадабру". Эти _повременные_ издания охотно примут у вас всякую литературную дребедень и охотно пообещают заплатить за нее".

Бедному Опodelьдоку крепко досталось; но в данном случае острие сатиры было обращено против "Трамтарарам", "Сластены" и "Абракадабры", которые язвительно - и к тому же курсивом - названы "повременными", что должно было поразить их в самое сердце.

Не менее взыскательным оказался "Сластена", который изъяснился так:

"Некий субъект, коему доставляет удовольствие называть себя "Опodelьдоком" (в сколь низменных целях употребляют порой имена прославленных мертвецов!), препроводил нам свои стишонки (строка пятьдесят-шестьдесят), начинающиеся таким манером:

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,

Грозный, который ахейнам: тысячи бедствий соделал... -

и т. д. и т. п.

Почтительно уведомляем Опodelьдока (кто бы он ни был), что самый захудалый наборщик нашей типографии сочиняет куплетики получше этих. Опodelьдок не в ладу с размером. Ему надо научиться подсчитывать слоги. И как ему пришло в голову, что мы (никто другой, а

именно мы!) решимся осквернить страницы нашего журнала такой беспардонной чепухой, - уму непостижимо. По совести сказать, вся эта белиберда едва-едва подойдет для "Трамтарарама", "Горлодера", "Абракадабры" - органов печати, которые без зазрения совести публикуют "Напевы Матушки-Гусыни" как оригинальное лирическое произведение. И Оподельдок еще имеет наглость требовать гонорар за свою галиматью! Да понимает ли Оподельдок (кто бы он ни был) в состоянии ли он понять, что, озолоти он нас, мы не станем его печатать!"

Вчитываясь в эти строки, я чувствовал, как становлюсь все меньше и меньше; когда же я увидел, с каким презрением редактор называет мое произведение "стишонками", весу во мне осталось не более унции. И мне стало искренне жаль беднягу Оподельдока. Но "Абракадабра" оказалось, если это возможно, еще менее снисходительной, чем "Сластена". Именно "Абракадабра" писала:

"Жалкий стихоблуд, подписывающийся "Оподельдоком", настолько глуп, что вообразил, будто МЫ поместим и оплатим бессмысленную, безграмотную и выспреннюю белиберду, которую он прислал нам и представление о которой можно составить по следующим хоть сколько-нибудь вразумительным строкам:

О, свет небес, их отпрыск первородный, Священный град...

"Хоть сколько-нибудь вразумительным", говорим МЫ. Не будет ли Оподельдок (кто бы он ни был) столь любезен разъяснить вам, каким это образом "град" может быть "священным"? До сих пор мы полагали, что град - это замерзший дождь. Не сообщит ли он вместе с тем, каким образом замерзший дождь может быть одновременно "священным градом" (оставим это выражение на совести автора) и "отпрыском", - ибо последним термином (если мы хоть чуточку смыслим в английском языке) обозначают только грудных младенцев в пределах шестинедельного возраста. Не стоит и обсуждать подобную нелепость. А вот Оподельдок (кто бы он ни был) с беспримерным нахальством полагает, что мы не только поместим его напыщенный вздор, но и (он так и пишет, черным по белому) выплатим за него гонорар!

Прелестно, не правда ли? Бесподобно! Мы не прочь проучить этого новоиспеченного строчкогона за его самомнение, действительно опубликовав его поэтические излияния *verbatim et literatim* [Дословно (лат.)] так, как они вышли из-под его пера. Мы не знаем худшего наказания, и мы применили бы его, если б не боялись наскучить нашим читателям.

Рекомендуем Оподельдоку (кто бы он ни был) посылать свои будущие произведения, написанные в том же духе в "Трамтарарам", в "Сластену" или в "Горлодер". Эти напечатают. Эти ежемесячно печатают такую же дрянь. Посылайте им. МЫ же не позволим безнаказанно оскорблять себя".

Этот отзыв доконал меня; что до "Трамтарарама", "Горлодера" я "Сластены", то я не могу себе представить, как они это вынесли. Их тиснули мельчайшим миньоном (ядовитый намек: вот, мол, какие вы маленькие и подленькие), а "МЫ" взирали на них с высоты гигантских прописных!.. О, это убийственно!.. Им плевали в лицо, их втоптывали в грязь! Будь я на месте любого из этих журналов, я бы не пожалел сил - уж я бы посадил "Абракадабру" на скамью подсудимых, я бы подвел ее под статью закона "Об охране животных от жестокого обращения"! Что до Оподельдока (кто бы он ни был), то этот субъект окончательно вывел меня из терпения

и больше не вызывал у меня сочувствия. Он остался в дураках (кто бы он ни был) и получил пинков ровно столько, сколько засиживал.

Результат моих опытов с древними книгами убедил меня, во-первых, в том, что "честность - лучшая политика" и, во-вторых, что если мне не удалось написать стихи удачнее мистера Данте, обоих слепцов и других представителей допотопной литературной братии, то хуже их писать невозможно. Я собрался с духом и решил сочинить нечто "совершенно оригинальное" (как пишут на обложках журналов), каких бы трудов мне это ни стоило. За образец я снова взял великолепные строфы редактора "Слепня", написанные в честь "Брильянтина Тама", и, восплавав духом соперничества, решился создать оду на ту же возвышенную тему. Первая строка не вызвала серьезных затруднений. Вот она:

Писать стихи о "Брильянтине Тама"...

Однако, внимательно просмотрев в справочнике все общеупотребительные рифмы к "Там", я убедился в тщетности дальнейших попыток. Тогда я прибег к родительской помощи, и соединенными усилиями нашей мысли спустя несколько часов мы с отцом сочинили стихотворение:

Писать стихи о "Брильянтине Тама"... -

Нелегкий труд, скажу вам прямо.

Точка (стоп).

(Подпись) -Сноб,

Конечно, опус этот не был слишком пространным, но "пора понять", как сказано в "Эдинбургском обозрении", что достоинство литературного произведения не определяется его размером. Что касается требования "Ежеквартального обозрения" "много и упорно учиться", то смысл его туманен. В общем, я был доволен первой пробой пера, и возникал только вопрос о том, куда бы ее пристроить. Отец советовал послать стихи в "Слепень", но два обстоятельства побудили меня отклонить его предложение: я опасался вызвать у редактора зависть и к тому же мне было известно, что он не склонен платить за оригинальные произведения. Тщательно все взвесив, я предназначил мои стихи для страниц "Сластены", журнала более солидного, и стал с нетерпением, но покорный судьбе ждать дальнейшего развития событий. В следующем же номере я с радостью увидел мое стихотворение на первой странице, оно было опубликовано полностью в сопровождении следующих примечательных слов, напечатанных курсивом и в скобках:

(Обращаем внимание наших читателей на публикуемые ниже восхитительные стансы "Брильянтин Тама". Нет нужды говорить о их великолепии и пафосе; их невозможно читать без слез. Тем, кто с отвращением вспоминает снотворные строки, написанные на ту же возвышенную тему грязной лапой редактора "Слепня", рекомендуем сравнить оба эти произведения.

P.S. Сгораем от нетерпения разгадать тайну, которую скрывает псевдоним "Сноб". Можем ли мы надеяться побеседовать с автором лично?)

Все это несколько не расходилось с истиной, но, признаюсь, несколько превзошло мои ожидания, - пусть былое непонимание ляжет вечным позором на мою родину и человечество.

Однако я, не теряя времени даром, отправился к редактору "Сластены" и, к великому моему счастью, застал этого джентльмена дома. Он приветствовал меня с искренней почтительностью, в которой сквозило отеческое и покровительственное восхищение, вызванное, конечно, моим крайне юным и беспомощным видом. Пригласив меня сесть, он сразу же заговорил о моем стихотворении, но скромность да не позволит мне повторить те тысячи комплиментов, которые он расточал. Впрочем, похвалы мистера Краба (такова была фамилия редактора) отнюдь не являлись набором льстивых фраз. Он разобрал мое произведение с полной непринужденностью и знанием дела, смело указав мне на ряд ничтожных погрешностей, что высоко подняло его в моих глазах. Разумеется, речь зашла о "Слепне", и, надеюсь, я никогда не навлеку на себя столь взыскательной критики и столь ядовитых насмешек, какими мистер Краб осыпал это злополучное издание. Я привык считать редактора "Слепня" чуть ли не сверхчеловеком, но мистер Краб рассеял мое заблуждение. Он обрисовал литературную и частную жизнь "Кровососной мухи" (так язвительно назвал мистер Краб редактора "Слепня", своего конкурента) в их истинном свете. Он, "Кровососная муха", дрянь, каких мало. Он прескверный сочинитель. Продажный писака и фигляр. Мерзавец. Он написал трагедию - и вся страна хохотала до упаду, написал фарс - и вселенная залилась слезами. А кроме того, он не погнушался настроичить на него (мистера Краба) пасквиль и обозвать его "ослом". Если же я пожелаю высказать свое мнение о мистере "Кровососной мухе", страницы "Сластены", заверил меня мистер Краб, всегда в полном моем распоряжении. Тем временем, поскольку "Слепень" не преминет обрушиться на меня за мою попытку соперничать с автором "Брильянтина Тама", он (мистер Краб) берет непосредственно на себя защиту моих личных и прочих интересов. И если я в два счета не выйду в люди, то не по его (мистера Краба) вине.

Мистер Краб прервал на секунду свою речь (последнюю ее часть я никак не мог понять), и я осмелился намекнуть на гонорар, который ожидал получить за свои стихи, согласно объявлению на обложке "Сластены", гласившему, что он ("Сластена") "щедро оплачивает все принятые материалы, нередко тратя на одно маленькое стихотворение сумму, превышающую годовой расход "Грамтарарама", "Горлодера" и "Абракадабры" вместе взятых.

Едва я произнес слово "гонорар", мистер Краб широко раскрыл глаза, затем рот, напомнив своим видом испуганную старую утку, которая тщетно силится крикнуть. В таком виде он пребывал (то и дело хватаясь за голову, словно в крайней растерянности), пока я не выложил ему почти все, что хотел сказать.

Когда я умолк, он в изнеможении откинулся на спинку кресла, беспомощно опустив руки, но все так же по-утиному разинув рот. Я молчал, озадаченный столь необычным поведением. Вдруг он вскочил и потянулся к звонку, но, коснувшись его, видимо, изменил свое намерение, каково бы оно ни было, нырнул под стол и тут же вылез, держа в руках дубинку. Поднял ее (затрудняюсь сказать, с какой целью), однако в тот же миг кроткая улыбка осветила его лицо, и он спокойно опустился в кресло.

- Мистер Там, - сказал он (я заранее послал ему визитную карточку), - мистер Там, вы ведь молоды, даже очень?

Я согласился, присовокупив, что еще не достиг совершеннолетия.

- Ах, вот как! - сказал он. - Очень хорошо? Все понятно без слов! Вас интересует вопрос о компенсации, это естественно... можно сказать, вполне и безусловно. Но гм... э... э... первое выступление в печати... первое, говорю я... и не в обычае нашего журнала платить за...

понимаете, а? Дело в том, что в подобных обстоятельствах обыкновенно мы оказываемся получателями. (Мистер Краб ласково улыбнулся, сделав ударение на слове "получатели".) В большинстве случаев нам платят за то, что мы помещаем первую пробу пера... особенно если это стихи. Во-вторых, мистер Там, мы придерживаемся правила никогда не платить тем, что во Франции называют *argent comptait* [Наличными (франц.)], - вы понимаете, конечно. Спустя три - шесть месяцев после публикации... или через годик-два... мы не против того, чтобы выдать обязательство сроком на девять месяцев, если твердо знаем, что "погорим" через полгода. Я уверен, мистер Там, что мои разъяснения вполне удовлетворят вас.

Мистер Краб умолк, и на его глазах выступили слезы.

Огорченный до глубины души тем, что явился, пусть невольно, причиной страданий столь замечательного и столь отзывчивого человека, я поспешил извиниться и успокоить его, заверив в полном совпадении наших взглядов и в моем полном понимании деликатности его положения. Изложив все это изящным слогом, я удалился.

В одно прекрасное утро, вскоре после этого, "я проснулся и узнал, что я знаменит". О степени моей славы лучше всего судить по отзывам печати того дня. Эти отзывы, как будет видно дальше, представляют собой критические заметки о номере "Сластены" с моими стихами и являются вполне убедительными, исчерпывающими и ясными, за исключением, пожалуй, иероглифической подписи "Sep. 15 - It" [Сентября 15 текущего года (лат.)] - в конце каждой заметки.

"Олух", журнал необычайно разборчивый, известный трезвостью литературных оценок, "Олух", говорю я, высказался так:

"Сластена"! Октябрьский номер этого прелестного журнала превосходит все предшествующие и стоит вне конкурса. Великолепием печати и бумаги, количеством и совершенством иллюстраций, литературными достоинствами опубликованных в номере материалов "Сластена" так же похож на своих старомодных конкурентов, как Гиперион на сатира. Правда, "Трамтарарам", "Горлодер" и "Абракадабра" превосходят его своим бахвальством, но во всем остальном - подавайте нам "Сластену"! Как этот прославленный журнал выдерживает такие громадные расходы, остается для нас загадкой. Верно, его тираж равен 100 000 экземпляров и число его подписчиков за последний месяц увеличилось на одну четверть; по, с другой стороны, он выплачивает своим авторам баснословные гонорары. Говорят, что мистер Плутосел получил не менее тридцати семи с половиной центов за свою неподражаемую статью "О свиньях". С таким редактором, как мистер Краб, и с такими именами в списке сотрудников, как Сноб и Плутосел, успех "Сластены" обеспечен. Идите и подпишитесь. Sep. 15 - It",

Признаюсь, я был польщен этим восторженным отзывом со стороны столь почтенного органа, как "Олух". Поместив мое имя, то есть мой *nom de guerre* [Псевдоним (франц.)] перед великим Плутослом, он оказал мне любезность, весьма приятную и вполне заслуженную.

Затем мое внимание привлекли следующие строки в "Гадине" - журнале, знаменитом своей прямоотой и свободой... полной свободой: льстить и раболепствовать перед теми, кто дает званые обеды:

"Октябрьская книжка "Сластены" появилась ранее всех других журналов и бесконечно превосходит их роскошью оформления и богатством содержания. Мы допускаем, что "Трамтарарам", "Горлодер" и "Абракадабра" выделяются своим бахвальством, но во всем

остальном - подавайте нам "Сластену"! Как этот прославленный журнал выдерживает столь непомерные расходы, остается для нас загадкой. Правда, его тираж 200 000 экземпляров, и за последние две недели число его подписчиков увеличилось на одну треть, но, с другой стороны, он ежемесячно выплачивает своим авторам баснословные гонорары. Нам известно, что мистер Пустомеля получил не менее пятидесяти центов за свою последнюю "Монодию в грязной луже". Среди литераторов, поместивших в этом номере свои произведения, мы видим (кроме его выдающегося редактора) такие имена, как Сноб, Плутосел и Пустомеля. И все же, думается нам, наиболее значительным произведением в номере, не считая примечаний от редакции, является поэтическая жемчужина Сноба "Брильянтин Тама", - пусть наши читатели не судят по заглавию, будто этот несравненный bijou [Сокровище, драгоценность (франц.)] имеет сходство с галиматей, написанной на ту же тему презренным субъектом, самое имя которого невыносимо для слуха уважающего себя человека. Подлинные стихи о "Брильянтине Тама" возбудили всеобщее любопытство и страстное желание узнать, кто же скрывается под псевдонимом "Сноб", желание, которое мы в силах удовлетворить. "Сноб" - nom de plume [Псевдоним (франц.)] Какваса Тама, уроженца нашего города, родственника великого мистера Какваса (в честь которого он и назван), связанного различными нитями с самыми знатными семьями штата. Его отец, Томас Там, эскв., богатый коммерсант в Фат-сити. Sep. 15 - It".

Эта великодушная оценка тронула меня до глубины души, особенно потому, что исходила от столь светлого, кристально чистого источника, как "Гадина". Слово "галиматей" в применении к "Брильянтину Тама", опубликованному в "Кровососной мухе", я нашел как нельзя более уместным и выразительным. В то же время слова "жемчужина" и "bijou", примененные к моему произведению, показались мне несколько бесцветными. Им не хватало экспрессии. Они были недостаточно rпоnoses [Здесь: точны (франц.)] (как говорят во Франции).

Едва я кончил читать "Гадину", как мой друг сунул мне в руку экземпляр "Крота" - журнала, пользовавшегося высокой репутацией благодаря пронизательности своих суждений вообще и откровенному, честному и беспристрастному тону передовиц в особенности. "Крот" отзывался о "Сластене" так:

"Мы только что получили октябрьскую книжку "Сластены" и должны заявить, что никогда при чтении нами периодических изданий ни один номер не доставлял нам столь изысканного наслаждения. Мы не зря говорим об этом. "Трамтарараму", "Горлодеру" и "Абракадабре" не мешает присматривать за своими лаврами. Спору нет, эти издания превосходят всех и вся крикливой заносчивостью, но в остальном - подавайте нам "Сластену"! Как удастся этому прославленному журналу выдерживать столь чудовищные расходы, остается для нас загадкой. Правда, его тираж 300 000 экземпляров и за последнюю неделю число его подписчиков возросло наполовину, но суммы, которые он ежемесячно выплачивает авторам, все же баснословно велики. Нам известно из достоверных источников, что мистер Пустомеля получил не менее шестидесяти двух с половиной центов за свою последнюю повесть из семейной жизни "Кухонное полотенце".

Лежащий перед нами номер украшают произведения мистера Краба (выдающегося редактора). Сноба, Плутосла, Пустомели и других; но после неподражаемых творений самого редактора мы особое предпочтение отдаем поэтическому алмазу, граненному пером восходящего таланта, подписывающегося "Сноб" - nom de guerre, - он вскоре, мы это предсказываем, затмит славу "Воза". Под "Снобом", как нам известно, скрывается мистер Каквас Там, единственный наследник богатого местного коммерсанта Томаса Тама, эскв., и близкий родственник знаменитого мистера Какваса. Прелестное стихотворение мистера Тама

озаглавлено "Брильянтин Тама", - заглавие, кстати сказать, не совсем удачное, так как некий пройдоха, связанный с продажной прессой, уже вызвал к нему отвращение всего города, написав изрядную порцию белиберды на ту же тему. Впрочем, маловероятно, чтобы кто-нибудь спутал эти два произведения. Sep. 15 - It".

Благосклонное одобрение такого пронизательного журнала, как "Крот", наполнило мою душу восторгом. Единственное возникшее у меня возражение сводилось к тому, что лучше было бы написать не "пройдоха", а "гнусный и презренный злодей, мерзавец и пройдоха". Это, на мой взгляд, звучало бы более изысканно. Следует также признать, что выражение "поэтический алмаз" едва ли обладает достаточной силой, чтобы передать то, что "Крот" хотел сказать о великолепии "Брильянтина Тама".

Вечером того же дня, после того, как я прочел отзывы "Олуха", "Гадины" и "Крота", мне попался экземпляр "Долгоножки", журнала, известного широтой своих взглядов. Именно "Долгоножка" писала:

"Сластена"! Читатель уже держит в руках октябрьскую книжку этого роскошного журнала. Спор о превосходстве решен окончательно, и отныне было бы абсурдом со стороны "Трамтарарама", "Горлодера" или "Абракадабры" делать судорожные попытки завоевать первенство. Эти журналы превосходят "Сластену" нахальством, но во всем остальном - подавайте нам "Сластену"! Как этот прославленный журнал выдерживает явно непомерные расходы, остается загадкой. Правда, его тираж достигает почти 500 000 экземпляров, и за последние два дня число его подписчиков возросло на семьдесят шесть процентов, но вместе с тем суммы, ежемесячно выплачиваемые журналом своим авторам, баснословно велики. Нам известно, что мадемуазель Плагиатон получила не менее восьмидесяти семи с половиной центов за свой превосходный р-революционный рассказ "В Йорке бродит черный кот, в Нью-Йорке - наоборот".

В настоящем номере наиболее талантливые материалы принадлежат, разумеется, перу редактора (достопочтенному мистеру Крабу), но в нем немало великолепных произведений и таких авторов, как Сноб, мадемуазель Плагиатон, Плутосел, миссис Фальшивочка, Пустомеля, миссис Пасквилянтка, наконец, последний в списке, но не из последних - Шарлатан. Мир еще не знал столь бесценной плеяды гениев.

Стихотворение за подписью "Сноб" справедливо вызывает всеобщий восторг и, по нашему мнению, заслуживает еще больших похвал.

"Брильянтин Тама" - так называется этот шедевр красноречия и мастерства. Кое у кого из наших читателей может возникнуть смутное, но достаточно неприятное воспоминание о стихотворении (?) с таким же названием, подлой стряпне продажного писаки, побирушки и головореза, находящего применение своей способности плодить мерзости и кровно связанного, как мы полагаем, с одним из непристойных изданий, выпускаемых в черте нашего города; мы просим читателей, ради всего святого, не путать эти два произведения. Автором "Брильянтина Тама" является, насколько нам известно, Каквас Там, эскв., джентльмен, одаренный гением, и ученый. "Сноб" - всего лишь пот de guerre. Sep. 15 - It".

Я едва сдерживал негодование, читая заключительные строки диатрибы. Для меня было ясно, что уклончивая, чтобы не сказать, уступчивая, манера выражаться... намеренная снисходительность, с какой "Долгоножка" разглагольствовала об этой свинье, редакторе "Слепня", - для меня, я подчеркиваю, было очевидно, что мягкость в выражении вызвана не чем

иным, как пристрастным отношением к "Слепню", явным стремлением "Долгоножки" поддержать за мой счет его репутацию. В самом деле, всякий легко может убедиться, что если бы "Долгоножка" действительно хотела сказать все, как есть, а не делала вид, то она ("Долгоножка") могла подобрать выражения более решительные, резкие и гораздо более подходящие к случаю. Слова и выражения "продажный писака", "побирушка", "плодить мерзости", "головорез" столь (не без умысла) бесцветны и неопределенны, что лучше бы вовсе ничего не говорить об авторе гнуснейших стихов, когда-либо написанных представителем рода человеческого. Все мы отлично знаем, как можно изругать, слегка похвалив, и, наоборот, кто усомнится в тайном намерении "Долгоножки" слегка поругать, чтобы прославить.

Мне, собственно, было наплевать на то, что "Долгоножка" болтает о "Слепне". Но тут речь шла обо мне. После возвышенного тона, в каком "Олух", "Гадина" и "Крот" высказались о моих способностях, слишком уж безучастно звучали слова захудалой "Долгоножки": "джентльмен, одаренный гением, и ученый". Джентльмен - и это точно! И я тут же решил добиться от "Долгоножки" письменного извинения или вызвать ее на дуэль.

Поглощенный этой задачей, я стал думать, кого из друзей направить с поручением к "досточтимой" "Долгоножке", и, поскольку редактор "Сластены" выказывал мне явные знаки расположения, я в конце концов решился прибегнуть к его помощи.

До сих пор не могу найти удовлетворительного объяснения весьма странному выражению лица и жестам, с которыми мистер Краб слушал меня, пока я излагал ему свой план. Он повторил сцену со звонком и дубинкой и не преминул по-утиному раскрыть рот. Был такой момент, когда мне казалось, что он вот-вот крикнет. Но припадок прошел, как и в тот раз, и он начал говорить и действовать, как разумное существо. Однако он отказался выполнить поручение и убедил меня вовсе не посылать вызов, хотя и признал, что ошибка "Долгоножки" возмутительна, особенно же неуместны слова "джентльмен" и "ученый".

В конце беседы мистер Краб, выказывая, по-видимому, чисто отеческую заботу о моем благополучии заявил, что я могу хорошо подработать и в то же время упрочить свою репутацию, если соглашусь иногда исполнять для "Сластены" роль Томаса Гавка.

Я попросил мистера Краба объяснить мне, кто такой мистер Томас Гавк и что от меня требуется, чтобы исполнить его роль.

Тут мистер Краб снова "сделал большие глаза" (как говорят в Германии), но, оправившись в конце концов от приступа изумления, пояснил, что слова "Томас Гавк" он употребил, дабы избежать просторечного и вульгарного "Томми", а вообще-то следует говорить Томми Гавк или Томагавк, и что "исполнять роль томагавка" - значит разносить, запугивать, словом, всячески изничтожать свору неугодных нам авторов.

Я заверил моего патрона, что если в этом все дело, то я с готовностью возьму на себя роль Томаса Гавка. Тогда мистер Краб предложил мне не терять времени и для пробы сил разделить редактора "Слепня" со всей злостью, на какую я только способен. И я тут же, не покидая редакции, выполнил это поручение, написав рецензию на оригинальный текст "Брильянтина Тама", которая заняла тридцать шесть страниц "Сластены". Я убедился, что исполнять роль Томаса Гавка куда легче, чем писать стихи; я строго следовал определенной системе, поэтому мне было нетрудно обстоятельно и со вкусом делать свое дело. Работал я так. Я приобрел на аукционе (по дешевке) "Речи" лорда Брума, Полное собрание сочинений Коббета, "Новый словарь вульгаризмов", "Искусство посрамлять" (полный курс), "Самоучитель

площадной брани" (ин-фолио) и "Льюис Г. Кларк о языке". Эти труды я основательно изодрал скребницей, затем, бросив клочки в сито, тщательно отсеял все мало-мальски пристойное (суший пустяк), а крепкие выражения запихнул в большую оловянную перечницу с продольными дырками, в них фразы проходили целиком и без задержки. Смесь была готова к употреблению. Когда требовалось исполнить роль Томаса Гавка, я смазывал лист писчей бумаги белком гусиного яйца, затем, изодрав предназначенное к разбору произведение тем же способом, каким я раздирал книги, только более осторожно, чтобы на каждом клочке осталось по слову, я бросал их в ту же перечницу, завинчивал крышку, встряхивал и высыпал всю смесь на смазанный белком лист, к которому она мгновенно прилипла. Эффект получался изумительный. Просто сердце радовалось! Прямо скажу, никому не удавалось создать что-либо, хотя бы близко напоминающее мои рецензии, которые я изготовлял таким простым способом на удивление всему миру. Правда, первое время меня несколько смущала - вследствие застенчивости, вызванной неопытностью, - некоторая бессвязность, какой-то оттенок *bizarre* (как говорят во Франции), присущий моим рецензиям в целом. Все фразы вставляли не на свое место (как говорят англосаксы). Многие строились шиворот-навыворот, иные даже вверх ногами, и не было ни одной, которая от этой путаницы не утратила бы в какой-то степени своего смысла. Только изречения мистера Льюиса Кларка оказались столь категорическими и стойкими, что, по-видимому, не смущались самыми необычными положениями и выглядели одинаково довольными и веселыми, - стояли они вверх или вниз ногами.

Трудно сказать, какая судьба постигла редактора "Слепня" по напечатании моей рецензии на его "Брильянтин Тама". Вероятнее всего, он умер, изойдя слезами. Во всяком случае, он мгновенно исчез с лица земли, и с тех пор даже призрака его никто не видел.

С этим делом было покончено, фурии умиротворены, и я сразу завоевал особую благосклонность мистера Краба. Он доверил мне свои тайны, определил меня в "Сластене" на постоянную должность Томаса Гавка и, не имея пока возможности назначить мне содержание, разрешил широко пользоваться его советами.

- Дорогой мой Каквас, - сказал он мне однажды после обеда. - Я ценю ваши способности и люблю вас, как сына. Вы станете моим наследником. После смерти я откажу вам "Сластену". А пока я сделаю из вас человека... сделаю... только слушайте моих советов. Прежде всего надо избавиться от этого старого кабана.

- Кабана? - с любопытством спросил я. - Свиньи, да?.. арег [Кабан (лат.)] (как говорят полатыни)?.. где свинья?.. кто свинья?..

- Ваш отец, - отвечал он.

- Совершенно верно, - сказал я. - Свинья.

- Вам надо сделать карьеру, Каквас, - продолжал мистер Краб, - а этот ваш наставник висит у вас словно жернов на шее. Нам надо его отсечь. (Тут я вынул нож.) Нам надо отсечь его, - продолжал мистер Краб, - раз и навсегда. Он нам ни к чему... ни к чему. Дайте ему пинка или поколотите палкой, - словом, сделайте что-нибудь в этом роде.

- А что вы скажете, - вкрадчиво вставил я, - если я сначала дам ему пинка, потом поколочу палкой и приведу в себя, дернув за нос?

Мистер Краб задумчиво посмотрел на меня и ответил:

- Я нахожу, мистер Там, то, что вы предлагаете, очень удачным... это замечательно, так сказать, само по себе... Но парикмахеры народ бывалый, и, учитывая все "за" и "против", я полагаю, что после того, как вы проделаете над мистером Томасом Тамом намечаемые вами операции, не плохо бы подбить ему кулаком оба глаза, да так, чтобы он закаялся следить за вами на увеселительных прогулках. Вот тогда, мне кажется, с вашей стороны будет сделано все возможное. Впрочем, не мешало бы искупать его разок-другой в сточной канаве и передать в руки полиции. На следующее утро вы в любой час можете явиться в полицейский участок и заявить под присягой, что на вас было совершено нападение.

Я был весьма тронут добрыми чувствами, побудившими мистера Краба дать мне такой превосходный совет, и не замедлил воспользоваться им. В итоге я избавился от старого кабана, почувствовал себя джентльменом и вздохнул свободно. Правда, нехватка денег служила некоторое время для меня источником неудобств, но в конце концов, посмотрев повнимательнее в оба и увидев, что творится у меня под самым носом, я понял, как уладить такую вещь.

Прошу учесть: я сказал "вещь", потому что по-латыни, насколько известно, "вещь" значит - res. Кстати, относительно латыни: пусть-ка кто-нибудь скажет мне, что значит quosunque [Куда бы ни (лат.).] или что такое modo? [Только (лат.).]

План мой был чрезвычайно прост. Я купил за бесценок шестнадцатую долю "Зубастой черепахи" - вот и все. Дело было сделано, и я положил денежки в карман. Конечно, надо было уладить еще кое-какие пустяки, не предусмотренные планом. Но оно уж явилось следствием... результатом. Например, я обзавелся пером, чернилами и бумагой и пустил их в оборот с бешеной энергией. Написав журнальную статью, я озаглавил ее "Чик-чирик" автора "Брильянтина Тама" и послал в "Абракадабру". Однако в "Ежемесячных репликах корреспондентам" мою статью назвали "пустой болтовней"; тогда я переменял заглавие на "Кукареку" Какваса Тама, эскв., автора оды в честь "Брильянтина Тама" и редактора "Зубастой черепахи". С этой поправкой я снова отправил статью в "Абракадабру", а в ожидании ответа ежедневно печатал в "Черепаше" по шести столбцов философических, можно сказать, размышлений о литературных достоинствах журнала "Абракадабра" и личных качествах его редактора. Спустя несколько дней "Абракадабра" убедилась, что произошла досадная ошибка: она "спутала" глупейшую статью "Кукареку", написанную каким-то безвестным невеждой, с драгоценной жемчужиной под тем же заглавием, творением Какваса Тама, эскв., знаменитого автора "Брильянтина Тама". "Абракадабра" выразила "глубокое сожаление по поводу вполне понятного недоразумения" и, кроме того, обещала поместить подлинник "Кукареку" в очередном номере журнала.

Без сомнения, я так и думал... Я, право же, думал... думал в то время... думал потом... и не имею никаких оснований думать иначе теперь, что "Абракадабра" действительно ошиблась. Я не знаю никого, кто бы с наилучшими намерениями делал так много самых невероятных ошибок, как "Абракадабра". С этого дня я почувствовал симпатию к "Абракадабре", вследствие чего вскоре смог уяснить подлинное значение ее литературных достоинств и не терял случая поговорить о них в "Черепаше". И, представьте, странное совпадение, одно из тех воистину поразительных совпадений, которые наводят человека на серьезное раздумье: точно такой же коренной переворот во мнениях, точно такое же решительное bouleversement [Потрясение, переворот (франц.).] (как говорят французы), точно такой же всеобъемлющий шиворот-навыворот (позволю себе употребить это довольно сильное выражение, заимствованное у

племени чоктосов), какой совершился pro et contra [За и против (лат.)] между мной, с одной стороны, и "Абракадаброй" - с другой, снова имел место при таких те обстоятельствах немного спустя в моих отношениях с "Горлодером" и "Трамтарарамом".

Так, одним гениальным ходом, я одержал полную победу - "набил потуже кошелек" и, можно сказать, уверенно и честно начал блестящую и бурную карьеру, которая сделала меня знаменитым и сейчас позволяет мне сказать вместе с Шатобрианом: "Я делал историю" - "J'ai fait l'histoire".

Да, я делал историю. С того славного времени, о котором я повествую, мои дела, мои труды являются достоянием человечества. Они известны всему миру. Поэтому нет необходимости подробно описывать, как, стремительно возвышаясь, я унаследовал "Сластену", как я слил этот журнал с "Трамтарарамом", как потом приобрел "Горлодера" и как, наконец, заключил сделку с последним из оставшихся конкурентов и объединил всю литературу страны в одном великолепном всемирно известном журнале: "ГОРЛОДЕР, СЛАСТЕНА, ТРАМТАРАРАМ И АБРАКАДАБРА"

Да, я делал историю. Я достиг мировой славы. Нет такого уголка земли, где бы имя мое не было известно. Возьмите любую газету, и вы непременно столкнетесь с бессмертным Каквасом Тамом: мистер Каквас Там сказал то-то, мистер Каквас Там написал то-то, мистер Каквас Там сделал то-то. Но я скромн и покидаю мир со смирением. В конце концов, что такое то неизъяснимое, что люди называют "гением"? Я согласен с Бюффоном... с Хогартом... в сущности говоря, "гений" - это усердие.

Посмотрите на меня!.. Как я работал... как я трудился... как я писал! О боги, разве я не писал! Я не знал, что такое досуг. Днем я сидел за столом, наступала ночь, и я - несчастный труженик - зажигал полуночную лампаду. Надо было видеть меня. Я наклонялся вправо. Я наклонялся влево. Я сидел прямо. Я откидывался на спинку кресла. Я сидел *tete baissee* [Склонив голову (франц.)] (как говорят на языке кикапу), склонив голову к белой, как алебастр, странице. И во всех положениях я... писал. И в горе и в радости я... писал. И в холоде и в голоде я... писал. И в солнечный день, и в дождливый день, и в лунную ночь, и в темную ночь я... писал. Что я писал - это не важно. Как я писал - стиль, - вот в чем соль. Я перенял его у Шарлатана... бамм!.. дзинь! Тараааахх!!! - и предлагаю вам его образчик.

Продолговатый ящик

Перевод И.Гуровой

Несколько лет тому назад, направляясь в Нью-Йорк из Чарлстона в штате Южная Каролина, я взял каюту на превосходном пакетботе "Индепенденс", которым командовал капитан Харди. Отплытие - если не воспрепятствует погода - было назначено на пятнадцатое число текущего месяца (июня), и четырнадцатого я поднялся на борт, чтобы присмотреть за размещением моих вещей.

На пакетботе я узнал, что пассажиров будет очень много, причем число дам среди них заметно превышало обычное. В списке я заметил фамилии нескольких моих знакомых и с большим удовольствием обнаружил, что моим спутником будет также мистер Корнелий Уайет,

молодой художник, к которому я питал чувство живейшей дружбы. Мы вместе учились в Ш-ском университете, где были почти неразлучны. Он обладал темпераментом, обычным для гениев, и натура его слагалась из мизантропии, впечатлительности и пылкости. К этим качествам следует добавить еще самое горячее и верное сердце, какое когда-либо билось в человеческой груди.

Я заметил, что его фамилией были помечены целых три каюты, и, вновь обратившись к списку пассажиров, узнал, что он едет не один, но с женой и двумя своими сестрами. Каюты были достаточно просторны, и в каждой имелось по две койки -- одна над другой. Правда, койки эти были настолько узки, что на каждой мог уместиться только один человек, но тем не менее я не понимал, почему этим четверем людям понадобились три каюты, а не две. Тем летом мною владело то мрачное душевное настроение, которому нередко сопутствует неестественное любопытство ко всяким пустякам, и со стыдом сознаю, что по поводу этой лишней каюты я строил немало не делающих мне чести нелепых предположений. Разумеется, меня все это нисколько не касалось, однако я упрямо продолжал ломать голову над тайной лишней каюты. Наконец я нашел отгадку и даже удивился тому, что такое простое решение не пришло мне в голову раньше. "Конечно же, с ними едет горничная! - сказал я себе. - Как глупо было с моей стороны не подумать об этом сразу!" Я еще раз справился со списком, но оказалось, что они отправляются в путь без прислуги, хотя первоначально и собирались взять с собой служанку, ибо в список были внесены, а затем вычеркнуты слова "с горничной". "О, все дело, без сомнения, в лишнем багаже! - сказал я себе. - Что-то из своих вещей он не хочет везти в трюме и предпочитает хранить возле себя... А, понимаю! Какая-нибудь картина... Так вот о чем он вел переговоры с Николини, итальянским евреем!" Такой вывод вполне меня удовлетворил, и этот пустяк перестал тревожить мое любопытство.

Сестер Уайета, очаровательных и умных барышень, я знал очень хорошо, но жены его никогда не видел, так как они обвенчались совсем недавно. Однако он часто говорил мне о ней с обычной своей пылкой восторженностью. По его словам, она была необыкновенно красива, остроумна и одарена всевозможными талантами. Поэтому мне не терпелось познакомиться с ней.

В тот день, когда я посетил пакетбот, то есть четырнадцатого, там собирался побывать и Уайет с супругой и сестрами, о чем мне сообщил капитан, а потому я задержался на борту еще час, в надежде, что буду представлен новобрачной. Но затем капитан получил записку с извинениями: "Миссис У. нездоровится, а потому она прибудет на пакетбот только завтра перед самым отплытием". На следующий день, когда я уже покинул отель и направился к пристани, меня встретил капитан Харди и сказал, что "ввиду некоторых обстоятельств" (глупая, но удобная ссылка) "Индепенденс", вероятно, задержится в порту еще на день-два и что он пришлет мне сказать, когда все будет готово к отплытию. Мне это показалось странным, так как дул свежий южный бриз, но поскольку капитан не объяснил, в чем заключались эти "обстоятельства", хотя я настойчиво выспрашивал его о них, мне оставалось только вернуться в отель и на досуге изнывать от любопытства.

Чуть ли не неделю я тщетно ждал известия от капитана, но наконец оно пришло, и я немедленно отправился на пакетбот. Почти все пассажиры были уже на борту, где царил обычная суматоха, предшествующая отплытию. Уайет и его спутницы прибыли через десять минут после меня. Сестры, новобрачная и сам художник поднялись на корабль, и я заметил, что последний был в одном из самых своих мизантропических настроений, но я давно к ним привык и перестал обращать на них внимание. Он даже не представил меня жене, так что исполнить этот долг вежливости пришлось его сестре Мэриэн, очень милой и тактичной барышне, которая и произнесла торопливо несколько отвечающих случаю слов.

Лицо миссис Уайет было скрыто густой вуалью, и когда она в ответ на мой поклон приподняла ее, признаюсь, я был глубоко поражен. Изумление мое было бы еще больше, если бы долгий опыт не научил меня лишь с оглядкой полагаться на восторженные описания моего друга-художника, когда речь шла о женской прелести. Я прекрасно знал, с какой легкостью уносился он в сферы идеального, если темой нашей беседы служила красота.

Дело в том, что миссис Уайет показалась мне настоящей дурнушкой. На мой взгляд, ее почти можно было назвать безобразной. Однако одета она была с изысканным вкусом, и тогда у меня не возникло сомнения в том, что она пленила сердце моего друга менее преходящими чарами ума и души. Сказав мне лишь два-три слова, она тотчас удалилась в свою каюту вместе с мистером Уайетом.

Во мне вновь вспыхнуло неутолимое любопытство. Горничной с ними не было - в этом я убедился собственными глазами. Оставалось подождать, не появится ли еще какой-нибудь багаж. Некоторое время спустя на пристани показалась повозка с продолговатым сосновым ящиком - по-видимому, пакетбот ждал только его, чтобы отплыть. Едва ящик перенесли на борт, как мы отчалили и вскоре, благополучно миновав мель в устье реки, вышли в открытое море.

Ящик этот, как я уже сказал, был продолговатым. Он имел примерно шесть футов в длину и два с половиной в ширину - я внимательно рассмотрел его, и я люблю быть точным. Подобная форма встречается не часто, и едва я увидел ящик, как похвалил себя за догадливость. Читатель, вероятно, помнит, что, по моим предположениям, особый багаж моего друга художника должен был состоять из картин или, по крайней мере, из одной картины. Мне было известно, что в течение нескольких недель он часто виделся с Николини, и вот теперь на пакетбот доставили ящик, который, судя по его форме, мог служить только вместилищем для копии "Тайной вечери" Леонардо да Винчи. Я же знал, что Николини некоторое время назад приобрел копию "Тайной вечери", сделанную во Флоренции Рубини-младшим. Таким образом, можно было считать, что и этот вопрос разрешен. Думая о своей проницательности, я весело посмеивался. Никогда раньше Уайет не имел от меня секретов во всем, что казалось его профессии, но теперь по-видимому, ему захотелось подшутить надо мной и прямо у меня на глазах тайком привезти в Нью-Йорк превосходное полотно, с расчетом, что я ни о чем не догадаюсь. Я решил, что буду в отместку всячески поддразнивать его.

Одно обстоятельство тем не менее весьма меня раздосадовало: ящик отнесли не в третью каюту, а в собственную каюту Уайета, где он и остался, занимая почти весь пол и, вероятно, причиняя множество неудобств художнику и его жене, тем более что на его крышке большими корявыми буквами была выведена надпись не то смолой, не то краской, которая пахла очень сильно и дурно - мне этот запах показался отвратительным. Надпись на крышке гласила: "Миссис Аделаиде Кертис, Олбани, штат Нью-Йорк, под надзором Корнелия Уайета, эсквайра. Верх. Обращаться с осторожностью".

Я знал, что миссис Аделаида Кертис, проживающая в Олбани, - это мать жены художника, но решил, что ее адрес написан на ящике ради мистификации, для того чтобы ввести в заблуждение именно меня. Я не сомневался в том, что крайней точкой, которой достигнет ящик на своем пути па север, будет мастерская моего друга на Чемберс-стрит в Нью-Йорке.

Первые три-четыре дня нашего плавания погода стояла прекрасная, хотя ветер все время был лобовым - он задул с севера, едва берег скрылся за кормой. Пассажиры, разумеется, были в превосходном расположении духа и весьма общительны. Исключение составляли только Уайет и

его сестры, которые были со всеми настолько сухи и сдержанны, что, на мой взгляд, это даже граничило с неучтивостью. Поведение самого Уайета меня не очень удивляло. Он был мрачен еще больше обыкновенного - можно даже сказать, угрюм, - но я и привык ждать от него чудачеств. Для его сестер, однако, я не находил оправдания. Они почти все время уединялись у себя в каюте и, как я их ни уговаривал, наотрез отказывались присоединиться к корабельному обществу. Миссис Уайет держалась куда более любезно. Вернее сказать, она была очень словоохотлива, а словоохотливость во время морского путешествия - весьма приятный светский талант. Она завязала самое короткое знакомство с большинством дам и, к глубочайшему моему изумлению, чрезвычайно охотно кокетничала о мужчинами. Она нас всех очень развлекала. Я употребил слово "развлекала", не зная, как выразить мою мысль точнее. Откровенно говоря, я скоро убедился, что общество чаще смеялось над миссис У., чем вместе с ней. Мужчины воздерживались от каких-либо замечаний на ее счет, а дамы не замедлили объявить ее "добросердечной простушкой, довольно невзрачной, совершенно невоспитанной и, бесспорно, вульгарной". И все недоумевали, что заставило Уайета решиться на подобный брак. Богатство - таков был всеобщий приговор; по я-то знал, что эта догадка неверна. В свое время Уайет сказал мне, что она не принесла ему в приданое ни доллара и что у нее нет состоятельных родственников, которые могли бы оставить ей наследство. Он говорил мне, что женился "по любви и ради одной любви, найдя ту, кто была более чем достойна любви". Когда я вспомнил эти слова моего друга, меня охватило глубочайшее недоумение. Неужели он помешался? Какое другое объяснение мог я найти? Ведь он был таким утонченным, таким возвышенным, таким взыскательным, таким чутким к малейшим недостаткам и изъянам, таким страстным ценителем всего прекрасного! Правда, сама дама, по-видимому, питала к нему нежнейшую привязанность - это становилось особенно заметно в его отсутствие, когда она ставила себя в весьма и весьма смешное положение, постоянно сообщая что-нибудь, что ей говорил "ее возлюбленный муж, мистер Уайет". Слово "муж" - если прибегнуть к одному из ее собственных изящных выражений - казалось, "все время вертелось у нее на языке". Тем не менее все, кто был на борту, постоянно замечали, что он избегает ее общества самым подчеркнутым образом и все время затворяется у себя в каюте, которую, собственно говоря, он почти не покидал, предоставляя жене полную свободу развлекаться в салоне как ей угодно.

То, что я видел и слышал, заставило меня прийти к заключению, что мой друг по необъяснимому капризу судьбы, а может быть, под влиянием слепого увлечения связал себя с особой, стоящей во всех отношениях ниже него, и, вполне естественно, вскоре проникся к ней величайшим отвращением. Я всем сердцем жалел его, но все-таки не мог вполне простить ему, что он скрыл от меня покупку "Тайной вечери". За это я решил с ним поквитаться.

Однажды он вышел на палубу, и я, по своему обыкновению взяв его под руку, начал прогуливаться с ним взад и вперед. Однако мрачность его нисколько не рассеялась (что я счел при таких обстоятельствах вполне извинительным). Он почти все время молчал, а если и говорил, то угрюмо, с видимым усилием. Я раза два рискнул пошутить, и он сделал мучительную попытку улыбнуться. Бедняга! Вспомнив его жену, я удивился, что у него хватило сил даже на такую притворную улыбку. Наконец я приступил к исполнению моего плана: я намеревался сделать несколько скрытых намеков на продолговатый ящик - лишь так, чтобы он постепенно понял, что ему не удалось меня провести и я не стал жертвой его остроумной мистификации. И вот я открыл огонь моей замаскированной батареи, сказав что-то о "своеобразной форме этого ящика". Свои слова я сопроводил многозначительной улыбкой, чуть-чуть подмигнул и легонько ткнул художника указательным пальцем в ребра.

То, как Уайет воспринял эту безобидную шутку, немедленно убедило меня в его безумии. Сначала он уставился на меня так, словно был не в силах понять моих слов, но по мере того, как его мозг медленно постигал их скрытый смысл, глаза его все больше вылезали из орбит. Затем он побагровел, затем страшно побледнел, а затем, словно мой намек чрезвычайно его позабавил, он разразился буйным смехом и, к моему удивлению, продолжал хохотать все громче и исступленнее более десяти минут. В заключение он тяжело упал на палубу. Я нагнулся, чтобы помочь ему встать, и мне показалось, что он мертв.

Я позвал на помощь, и нам лишь с большим трудом удалось привести его в чувство. Очнувшись, он что-то неразборчиво забормотал. Тогда мы пустили ему кровь и уложили его в постель. На другое утро он совсем оправился - то есть телесно. О его рассудке я, конечно, промолчу. С этого дня я старательно избегал его, как посоветовал мне капитан, который, видимо, вполне разделял мое мнение о его помешательстве, но настоятельно попросил меня никому на пакетботе ничего об этом не говорить.

После этого припадка Уайета мое пробудившееся любопытство продолжало распалаться все сильнее, чему способствовали кое-какие обстоятельства. В их числе слезет упомянуть следующее: я был в нервическом состоянии - пил слишком много зеленого чая и дурно спал. Собственно говоря, были две ночи, когда я почти вовсе не сомкнул глаз. Дверь моей каюты выходила в главный салон, служивший также столовой, - туда же выходили все мужские каюты. Три каюты Уайета сообщались с малым салоном, отделенным от главного лишь легкой скользящей дверью, которая на ночь никогда не запиралась. Так как мы почти все время шли против лобового ветра, причем довольно крепкого, то наше судно непрерывно лавировало, и когда оно кренилось на правый борт, скользящая дверь между салонами открывалась и оставалась открытой - никто не брал на себя труд вставать с постели и закрывать ее. Однако моя койка располагалась так, что в тех случаях, когда скользящая дверь открывалась, а дверь моей каюты была открыта (из-за жары же она бывала открыта постоянно), я мог видеть почти весь малый салон, причем именно ту его часть, где находились каюты мистера У. Так вот, в те две ночи (не следовавшие одна за другой), когда меня томила бессонница, я совершенно ясно видел, как около одиннадцати часов и в ту и в другую ночь миссис У. крадучись выходила из каюты мистера У. и скрывалась в третьей каюте, где оставалась до рассвета, а тогда по зову мужа возвращалась обратно. Это неопровержимо доказывало, что разрыв между ними был полным. Они уже отказались от общей спальни, вероятно, помышляя о формальном разводе, и я опять решил, что тайна третьей каюты наконец разъяснилась.

Было и еще одно обстоятельство, которое весьма меня заинтересовало. В обе упомянутые бессонные ночи, немедленно после того, как миссис Уайет удалялась в третью каюту, мой слух начинал различать в каюте ее мужа легкие шорохи и постукивания. Я некоторое время сосредоточенно к ним прислушивался, и в конце концов мне удалось найти верное их истолкование. Их производил художник, вскрывая продолговатый ящик с помощью стамески и деревянного молотка, который был, по-видимому, обернут какой-то мягкой шерстяной или бумажной материей, чтобы приглушить стук.

Мне казалось, что я способен совершенно точно различить миг, когда он открывал крышку, и когда снимал ее, и когда клал ее на нижнюю койку. Последнее, например, я определял по тихому постукиванию крышки о деревянную закраину койки, которого он не мог избежать, хотя и опускал крышку на койку с большой осторожностью. На полу же места для крышки просто не нашлось бы. Вслед за этим наступала мертвая тишина, и до рассвета я ни в первый, ни во второй раз больше ничего не слышал; правда, порой мне чудилось, что там раздаются почти

беззвучные рыдания или шепот, но это, возможно, было лишь плодом моего воображения. Я сказал, что звуки эти походили на рыдания или вздохи, но, разумеется, они не могли быть ни тем, ни другим. Я склонен думать, что у меня просто звенело в ушах. Без сомнения, мистер Уайет в полном соответствии с обычными представлениями всего лишь давал волю своему артистическому темпераменту, подчиняясь властительной страсти. Он вскрывал продолговатый ящик, чтобы насладиться созерцанием спрятанной там бесценной картины. Но с какой стати он начал бы над ней рыдать? А потому, повторяю, меня, несомненно, вводила в заблуждение моя фантазия, подстегнутая зеленым чаем почтенного капитана Харди. Перед зарей я оба раза ясно слышал, как мистер Уайет вновь закрывал продолговатый ящик крышкой и возвращал гвозди в прежнее положение с помощью обернутого материей молотка. Вслед за тем он выходил из каюты совершенно одетый и вызывал миссис Уайет из третьей каюты.

Наше плаванье продолжалось уже семь дней, и мы находились на траверзе мыса Гаттерас, когда с юго-запада налетел шторм. Однако мы в известной мере были готовы к нему, так как погода уже некоторое время угрожающе портилась. Люки были задрены, багаж и все предметы внизу и на палубе надежно закреплены. По мере того как ветер крепчал, мы убрали паруса и несли теперь только контрбизань и фор-марсель, взяв на них по два рифа.

Мы шли таким образом двое суток - наш пакетбот во многих отношениях показал себя отличным мореходом, и мы совсем не набрали воды в трюм. Однако на исходе второго дня ветер стал ураганным, наша контрбизань была разорвана в клочья, мы потеряли ход, и на нас обрушилось подряд несколько гигантских валов. Они увлекли за собой в море трех матросов, камбуз и почти весь левый фальшборт. Не успели мы прийти в себя, как лопнул фор-марсель, но мы поставили штормовые паруса, и в течение нескольких часов наше судно продолжало благополучно продвигаться вперед.

Однако ураган не стихал и ничто не свидетельствовало о скором его прекращении. Ванты, как оказалось, были плохо натянуты и все время испытывали излишнее напряжение - в результате на третий день около пяти часов дня, когда корабль резко вильнул, бизань-мачта не выдержала и рухнула на палубу. Более часа мы тщетно пытались освободить от нее судно, которое теперь подвергалось чудовищной боковой качке, а затем на корму явился плотник и доложил, что вода в трюме поднялась на четыре фута. В довершение всех бед выяснилось, что помпы засорены и ничего не откачивают.

Теперь на судне воцарилось отчаяние и смятение, однако была сделана попытка облегчить его, выбросив за борт весь груз, до которого удалось добраться, и срубив оставшиеся две мачты. В конце концов нам удалось это сделать, но помпы по-прежнему бездействовали, а вода в трюме стремительно прибывала.

На закате ураган заметно стих, а с ним немного улеглось и волнение, и у нас появилась слабая надежда спастись в шлюпках. В восемь часов вечера тучи с наветренной стороны разошлись, и нас озарили лучи полной луны, - эта нежданная удача немало нас подбодрила.

Ценой невероятных усилий нам удалось благополучно спустить па воду вельбот, и в него погрузилась команда и почти все пассажиры. Вельбот тотчас же отвалил от судна, и на третий день после кораблекрушения те, кто в нем находился, немало настрадавшись, добрались до Окракок-Инлет.

На борту пакетбота осталось четырнадцать человек, включая капитана, которые решились доверить свою судьбу кормовой шлюпке. Мы спустили ее без особых затруднений, хотя, когда

она коснулась воды, волна не залила ее лишь чудом. В эту шлюпку сели капитан с супругой, мистер Уайет и его спутницы, мексиканский офицер, его жена и четверо детей, а также я сам со слугой-негром.

Разумеется, в шлюпке почти не оставалось места, а потому мы могли взять с собой лишь несколько совершенно необходимых навигационных инструментов и немного провизии. Все наши вещи, кроме одежды, которая была на нас, остались на борту, и, разумеется, никто даже не помышлял о том, чтобы спасти хоть часть своего багажа. Как же должны были изумиться мы все, когда сидевший на корме шлюпки мистер Уайет вдруг поднялся на ноги, едва мы отошли от пакетбота на несколько саженей, и спокойно потребовал от капитана Харди повернуть назад к пакетботу, чтобы он мог взять с собой свой продолговатый ящик!

- Сядьте, мистер Уайет, - сурово сказал капитан. - Вы опрокинете нас, если не будете сидеть неподвижно. Ведь шлюпка и так погружена в воду по самый планшир.

- Ящик! - воскликнул мистер Уайет, продолжая стоять. - Я говорю о ящике! Капитан Харди, вы не можете... вы не посмеете мне отказать. Его вес... это же пустяк, сушая безделица. Матерью, родившей вас, милостью небесной, вашей надеждой на вечное спасение заклинаю вас - вернитесь за ящиком!

Капитан, казалось, был на миг тронут отчаянным призывом художника, но его лицо тут же обрело прежнее суровое выражение, и он ответил только:

- Мистер Уайет, вы безумны! Я не буду вас слушать. Сядьте же, или вы утопите шлюпку. Погодите... Хватайте его!.. Держите!.. Он хочет прыгнуть за борт! Ну вот... я предвидел это... он бросился в море!

И действительно, мистер Уайет кинулся в волны, и, так как мы были еще совсем рядом с пакетботом, заслонявшим нас от ветра, ему удалось ценой сверхчеловеческих усилий схватиться за канат, свисавший из носового клюза. Секунду спустя он был уже на палубе и стремглав бросился вниз в каюту.

Тем временем нас отнесло за корму судна, и мы оказались в полной власти все еще бушевавших волн. Мы попытались вернуться к пакетботу, но буря гнала нашу скорлупку куда хотела. И мы поняли, что злополучный художник обречен.

От разбитого пакетбота нас отделяло уже довольно большое расстояние, когда безумец (ибо мы были убеждены, что он лишился рассудка) поднялся по трапу и, хотя это должно было потребовать поистине колоссальной силы, вытащил на палубу продолговатый ящик. Пока мы смотрели на него, пораженные удивлением, он быстро обмотал ящик трехдюймовым канатом и тем же канатом обвязал себя. В следующий миг ящик с художником были уже в море, которое сразу же поглотило их.

Несколько мгновений мы удерживали шлюпку в неподвижности и с грустью глядели на роковое место. Потом мы начали грести и поплыли прочь. Больше часа в нашей шлюпке царило полное молчание. Наконец я осмелился прервать его:

- Вы заметили, капитан, что они сразу пошли ко дну? Разве это не странно? Признаюсь, когда я увидел, что он привязывает себя к ящику перед тем, как предаться волнам, во мне пробудилась слабая надежда на его спасение.

- Они и должны были пойти ко дну, - ответил капитан. - Как камень. Впрочем, они вскоре вновь всплывут - однако не прежде чем растворится соль.

- Соль?! - воскликнул я.

- Шшш, - сказал капитан, указывая на жену и сестер покойного. - Мы поговорим об этом после, в более подходящее время.

=

Нам пришлось перенести немало страданий, и мы с трудом избежали смерти в пучине, однако счастье улыбнулось не только вельботу, но и нашей шлюпке. Короче говоря, мы, еле живые, причалили после четырех дней тяжелых испытаний к песчаному берегу напротив острова Роанок. Там мы провели неделю, не претерпев никакого ущерба от тех, кто наживается на кораблекрушениях, и в конце концов нас подобрало судно, шедшее в Нью-Йорк.

Примерно через месяц после гибели "Индепенденса" я случайно встретил на Бродвее капитана Харди. Как и следовало ожидать, мы вскоре разговорились о случившемся и о печальной судьбе бедного Уайета. Тогда-то я и узнал следующие подробности.

Художник взял каюты для себя, своей жены и двух сестер, а также для горничной. Его жена действительно была, как он и утверждал, необыкновенно красивой и необыкновенно одаренной женщиной. Утром четырнадцатого июня (в тот день, когда я в первый раз приехал на пакетбот) она внезапно занемогла и через несколько часов скончалась. Молодой муж был вне себя от горя, но по некоторым причинам не мог отложить свое возвращение в Нью-Йорк. Он должен был отвезти тело своей обожаемой жены к ее матери, однако не мог сделать этого открыто, так как широко известный предрассудок воспрепятствовал бы ему привести его намерение в исполнение. Девять десятых пассажиров предпочли бы вовсе отказаться от поездки, лишь бы не путешествовать на одном корабле с покойником.

Чтобы выйти из этого затруднения, капитан Харди устроил так, что труп, частично набальзамированный и уложенный в соль в ящике соответствующих размеров, был доставлен на борт как багаж. Смерть новобрачной держали в тайне, и, так как всем было известно, что мистер Уайет собирался в Нью-Йорк с женой, нужно было найти женщину, которая выдавала бы себя за нее во время плавания. На это без долгих уговоров дала согласие горничная покойной. Третью каюту, первоначально предназначавшуюся для нее, мистер Уайет оставил за собой, а лжежена, разумеется, проводила там все ночи. Днем она в меру способностей разыгрывала роль своей покойной хозяйки, которую - как они позаботились выяснить заранее - никто из пассажиров не знал в лицо.

В моей вполне естественной ошибке был повинен мой слишком беспечный, слишком любопытный и слишком импульсивный характер. Однако последнее время я по ночам почти не смыкаю глаз. Как ни ворочаюсь я с боку на бок, перед моим взором все время стоит некое лицо. И в моих ушах никогда не умолкает пронзительный истерический хохот.

Месмерическое откровение

Перевод В.Неделина

Как бы сомнительны ни оставались пока попытки дать месмеризму научное объяснение, поразительность его результатов признана почти безоговорочно. Упорствуют лишь записные скептики, не верящие ни во что просто из принципа, - народ никчемный и доброго слова не стоящий. Теперь мы бы стали ломиться в открытые двери, принявшись доказывать, что человек способен, воздействуя на партнера только усилием воли, привести того в патологическое состояние, необычность которого в том, что оно по своим признакам очень близко напоминает смерть, или, во всяком случае, напоминает скорее именно ее, чем какое-либо другое известное нам естественное состояние человека; что, когда человек находится в подобном состоянии, органы чувств почти теряют восприимчивость; но зато по каналам, пока неизвестным, он воспринимает с исключительной чуткостью явления, обычным органам чувств не доступные; более того, уму его чудодейственно сообщаются высота и озаренность; между ним и внушающим ему свою волю устанавливается глубочайшее взаимопонимание, и, наконец, восприимчивость человека к подобному внушению растет в прямой зависимости от частоты и регулярности повторения сеансов, одновременно с чем и поразительные явления, сопровождающие их, обнаруживают себя все полней и отчетливей.

Все эти положения, повторяю, суть общие прописи месмеризма, так что и нет нужды докучать ими читателям. Цель у нас совершенно иная. Я решил, чего бы это мне ни стоило и назло всем злопыхателям и маловерам, просто изложить поподробней и без всяких комментариев в высшей степени примечательное содержание моей беседы с человеком, бодрствующим во сне.

Я долгое время пользовал с помощью месмерического воздействия человека, о котором в дальнейшем пойдет речь (мистера Вэнкерка), и резкое усиление внушаемости, а также повышенная месмерическая восприимчивость уже, как и положено, были достигнуты. Много месяцев подряд он боролся с чахоткой, открытый процесс протекал мучительно, и мне удалось посредством ряда манипуляций несколько облегчить его страдания, и вот в ночь со среды на четверг пятнадцатого числа текущего месяца меня позвали к его одру.

Больного мучили острые боли в области сердца, он еле дышал, налицо были все признаки астмы. Как правило, ему при этих спазмах приносили облегчение горчичники, прикладывавшиеся к нервным центрам, но на этот раз, сколько их ни прикладывали, они никакого действия не оказывали.

Когда я вошел, он поздоровался с приветливой улыбкой; несмотря на страдания, он, казалось, был бодр и ясен духом.

- Сегодня я послал за вами, - сказал он, - не за тем, чтобы вы избавили меня от страданий, - я хочу, чтобы вы удовлетворили мое любопытство по поводу некоторых ощущений, поразивших меня в прошлый раз, которые чрезвычайно заинтересовали меня и озадачили. Вы помните, как недоверчиво относился я до сих пор к вопросу о бессмертии души. Не могу отрицать, что где-то, и, похоже, как раз в той самой душе, существования которой я не признавал, всегда жила смутная догадка о ее бытии. Но в уверенность она никак не превращалась. И тут я просто терялся. Вполне понятно, что все попытки разобраться логически лишь укрепляли мое недоверие. Мне посоветовали обратиться к Кузену. Я изучал его взгляды и по его собственным трудам, и по книгам его европейских и американских последователей. Мне, например, достали "Чарльза Элвуда" мистера Браунсона. Я читал эту книгу особенно вдумчиво. В целом она показалась мне логичной, но, к сожалению, элементарной логики явно недостает именно тем ее частям, в которых обосновывается неверие ее героя. В итоге,

- что, как мне кажется, просто бросается в глаза, - ему, при всем его уме, не удастся убедить даже самого себя. В конце он, подобно правительству Тринкуло, уже просто не помнит, о чем шла речь сначала. Короче говоря, я довольно скоро понял, что если человека и можно убедить в его бессмертии, то одними лишь чисто умозрительными теориями, которые испокон веков в таком почете у моралистов Англии, Франции, Германии, тут не обойтись. Умозрения, пожалуй, и заняты, и по-своему бесполезны, но для постижения духа нужно что-то другое. Я пришел к выводу, что так уж все мы, видно, устроены, и философия так никогда и не приучит нас рассматривать качества как нечто предметное само по себе. Мы, может быть, и рады бы, но ни ум, ни чувства не приемлют этого.

Так вот, повторяю, я смутно чувствовал в себе душу, хоть разумом - не верил. Но в последнее время это чувство во мне заметно углубилось, разум же настолько далеко пошел ему навстречу, что сейчас я уже затрудняюсь определить, где кончается одно и где начинается другое. Притом же оказалось нетрудно убедиться, что это положение - результат месмерического воздействия. Объяснить свою мысль яснее я мог бы, только высказав предположение, что месмерическое озарение позволяет мне схватывать самый ход рассуждений, который, пока я нахожусь в этом необычном состоянии, я могу проследить, но который - такова сама месмерическая феноменальность подобного состояния - становится недоступен моему пониманию в нормальных условиях, тогда в сознании остаются лишь результаты этих рассуждений. Бодрствующему во сне рассуждения и вывод - то есть причина и конечный результат - даны нераздельно. В естественном же состоянии причина исчезает, и остается - да и то, пожалуй, лишь частично - один результат.

- Эти соображения навели меня на мысль, что если, когда я буду усыплен, мне задать искусней ряд наводящих вопросов, то из этого, пожалуй, вышел бы толк. Вы часто наблюдали, на какое глубокое самопостижение способен бодрствующий во сне - удивительную осведомленность, которую он обнаруживает по части особенностей месмерического транса; на эту его способность к углублению в себя лучше всего и ориентироваться, чтобы составить подобный катехизис по всем правилам.

Я, разумеется, согласился на предложенный эксперимент. Несколько пассов погрузили мистера Вэнкерка в месмерический сон. Он сразу же задышал легче, и, казалось, все его муки тут же как рукой сняло. Разговор принял вот какой оборот: В. в нашем диалоге - это больной, П. - я сам.

П. Вы спите?

В. Да - нет; я предпочел бы заснуть покрепче.

П. (продлав еще ряд пассов). А теперь?

В. Теперь да.

П. Что вы думаете об исходе вашей теперешней болезни?

В. (после долгих колебаний, говорит словно через силу), Только смерть.

П. Печалит ли вас мысль о смерти?

В. (не задумываясь). Нет-нет!

П. Разве подобная перспектива прельщает вас?

В. Если бы я бодрствовал, мне хотелось бы умереть, а сейчас мне все равно. Месмерическое состояние настолько близко к смерти, что мне хорошо и так.

П. Будьте добры, объяснитесь, мистер Вэнкерк.

В. Я бы рад, но боюсь, мне эта задача не по плечу. Вы задаете не те вопросы.

П. Как же тогда мне вас спрашивать?

В. Вы должны начать с самого начала.

П. С начала! Но где оно, это начало?

В. Вы же знаете, что начало есть бог. (Сказано это было глухим, прерывистым голосом и, судя по всему, с глубочайшим благоговением.)

П. Так что же такое бог?

В. (несколько минут остается в нерешимости). Я не знаю, как это объяснить.

П. Разве бог - не дух?

В. В бытность свою наяву я знал, что вы понимаете под словом "дух", но теперь оно для меня - слово и больше ничего... Такое же, к примеру, как истина, красота - то есть обозначение какого-то качества.

П. Но ведь бог нематериален?

В. Нематериальности не существует. Это просто слово. То, что нематериально, не существует вообще, если только не отождествлять предметы с их свойствами.

П. А бог, стало быть, материален?

В. Нет. (Этот ответ просто ошеломил меня.)

П. Так что же он в таком случае?

В. (после долгого молчания, бессвязно). Я представляю себе, но словами это передать трудно. (Снова долгое молчание.) Он не дух, ибо он - сущий. И вместе с тем он и не материален в вашем понимании. Но есть также та ступени превращений материи, о которых человеку ничего не известно; более простые и примитивные пробуждают более тонкие и изощренные, более изощренные пронизывают собою более простые. Атмосфера, например, возбуждает электричество, а электричество насыщает собой атмосферу. Градации материи восходят все выше, по мере утраты ею плотности и компактности, пока мы не добиремся до материи, уже совершенно лишенной предметности - нерасторгаемой и единой; и здесь закон, побуждающий к действию силы и проникновения, преобразуется. Эта первоматерия, или нерасторжимая материя, не только проникает собою все сущее, но и побудительная причина всего сущего и, таким образом, сама в себе и есть все сущее. Эта материя и есть бог. И то, что люди силятся воплотить в слове "мысль", есть эта материя в движении.

П. Метафизики утверждают, что всякое деяние сводится к движению и мысли, и что вторая является прообразом первого.

В. Да, утверждают; и мне теперь ясно, в чем здесь заблуждение. Движение - это действие духа, а не мысли. Нерасторжимая материя, иди бог, в покое и есть (насколько мы можем приблизиться к пониманию этого) то, что люди называют духом. А сила самопобуждаемого движения (по своему конечному результату эквивалентного человеческой воле) в нерасторжимой материи является результатом ее неделимости и вездесущности, - как это происходит, я не знаю и теперь ясно понимаю, что никогда уже не узнаю. Но нерасторжимая материя, приведенная в действие законом или свойством, заключенным в ней самой, и есть мысль.

П. Не можете ли вы уточнить понятие, которое вы называете "нерасторжимой материей"?

В. Известные людям вещества, по мере восхождения материи на более высокие ступени, становятся все менее доступными чувственному восприятию. Возьмем, например: металл, кусок древесины, каплю воды, воздух, газ, теплоту, электричество, светоносный эфир. Мы же называем все эти вещества и явления материей, охватывая таким образом единым и всеобщим определением все материальное; но так или иначе, а ведь не может быть двух представлений, более существенно отличных друг от друга, чем то, которое связано у нас в одном случае с металлом и в другом - со светоносным эфиром. Как только дело доходит до второго, мы чувствуем почти неодолимую потребность отождествить его с бесплотным духом или с пустотой. И удерживает нас от этого только то соображение, что он состоит из атомов; но даже и тогда мы ищем себе опору в понятии об атоме как о чем-то, хотя бы и в бесконечно малых размерах, но все-таки имеющем плотность, осязаемость, вес. Устраните понятие о его атомистичности - и мы уже не в состоянии будем рассматривать эфир как вполне реальное вещество, или, во всяком случае, как материю. За неимением лучшего определения нам пришлось бы называть его духом. Сделаем, однако, от рассмотрения светоносного эфира еще один шаг дальше и представим себе вещество, которое настолько же бесплотней эфира, насколько эфир бесплотней металла, - и мы наконец приблизимся (вопреки всем ученым догмам) к массе, единственной в своем роде, - к нерасторжимой материи. Потому что, хотя мы и примиряемся с бесконечной малостью самих атомов, бесконечная малость пространства между ними представляется абсурдом. Ибо тогда непременно возникло бы какое-то критическое состояние, какая-то степень разреженности, когда, если атомы достаточно многочисленны, промежуточное пространство между ними должно было бы совершенно исчезнуть и вся их масса - абсолютно уплотниться. Ну, а поскольку само понятие об атомистической структуре в данном случае исключается, природа этой массы неизбежно сводится теперь к нашему представлению о духе. Совершенно очевидно, однако, что наше вещество по-прежнему остается материей. По правде говоря, мы ведь не можем уяснить себе, что такое дух, поскольку не в состоянии представить себе то, чего не существует. И обольщаемся мыслью, будто составили себе о нем какое-то понятие потому только, что обманываем себя представлением о нем как о бесконечно разреженном веществе.

П. По-моему, ваша мысль об абсолютном уплотнении наталкивается на одно возражение, которое невозможно оспаривать; оно заключено в том ничтожно малом сопротивлении, которое испытывают небесные тела при своем обращении в мировом пространстве, - сопротивлении, которое, как теперь установлено со всей очевидностью, существует в каких-то размерах, но настолько мало, что его совершенно не заметило даже Ньютоново всевидящее око. Мы знаем, что сопротивление тел зависит главным образом от их плотности. Абсолютное уплотнение даст абсолютную плотность. А там, где нет промежуточного пространства, не может быть и

податливости. И абсолютно плотный эфир был бы для движения звезд преградой бесконечно более могучей, чем если бы они двигались в алмазной или железной среде.

В. Легкость ответа на ваше возражение прямо пропорциональна кажущейся невозможности на него ответить. Если уж говорить о движении звезды, то ведь совершенно одно и то же, звезда ли проходит через эфир или эфир сквозь звезду. И самое странное заблуждение в астрономии - это попытка совместить постоянно наблюдаемое замедление хода комет с их движением в эфире; потому что, какую бы большую разреженность эфира ни допустить, он бы остановил все обращение звезд гораздо раньше срока, положенного астрономами, которые всячески стараются смазать этот вопрос, оказавшийся выше их понимания. С другой же стороны, замедление, которое в действительности имеет место, можно было бы предвидеть заранее, учитывая трение эфира, мгновенно проходящего сквозь светило. В первом случае действие замедляющей силы должно быть единовременным и всецело замкнутым в себе самом, во втором - оно накапливается нескончаемо.

П. Но разве во всем этом - в вашем отождествлении простейшей материи с богом - нет некоторого непочтения? (Усыпленный не сразу понял, что я имею в виду, и мне пришлось повторить свой вопрос.)

В. А вы можете объяснить, почему материя менее почтенна, чем дух? Но вы забыли, что та материя, о которой я говорю, и есть во всех отношениях именно тот самый "дух", "душа", о которых твердят ученые; она наделена всеми их высшими способностями и, более того, остается в то же самое время тем, что те же ученые называют "материей". Бог и все способности, приписываемые "духу", - это всего лишь совершеннейшее состояние материи.

П. Вы, стало быть, утверждаете, что нерасторжимая материя в движении есть мысль.

В. В общем это движение есть вселенская мысль вселенского разума. Эта мысль созидает. Все, что сотворено, - это не более как мысль бога.

П. Вы говорите - "в общем".

В. Да. Вездесущий дух - это бог. Для каждого нового отдельного бытия необходима материя.

П. Но вы говорите сейчас о "духе" и "материи" точь-в-точь как метафизики.

В. Да - во избежание путаницы. Когда я говорю "дух", то имею в виду нерасторжимую материю или сверхматерию, под "материей" предполагается все остальное.

П. Вы говорили о том, что "для каждого нового отдельного бытия необходима материя".

В. Да, дух, существующий исключительно сам по себе, - только бог. Для сотворения самостоятельного, мыслящего существа необходимо воплощение частицы духа божия. Так человек получает личное бытие. Без воплощения в телесную оболочку он был бы просто богом. Ну, а обособленное движение частных воплощений нерасторжимой материи - это мысль человеческая, точно так же, как общее ее движение - мысль божия.

П. Так, по вашим словам, выходит, расставшись с телом, человек станет богом?

В. (после мучительных колебаний), Я не мог так сказать, это абсурд.

П. (справляется по своей записи). Вы сказали, что "без воплощения в телесную оболочку человек был бы богом".

В. И воистину. Таким образом, человек стал бы богом - избавился бы от отдельности своего бытия. Но такого освобождения от плоти ему не дано или, во всяком случае, никогда такого с ним не бывает; иначе нам пришлось бы представить себе деяние божие обращающимся вспять на самого бога - бесцельным и бессмысленным. Человек - творение. Творения - суть мысли божьи. А мысль по самой своей природе преходяща.

П. Не совсем понял. Вы говорите, что человеку не дано вовеки совлечь с себя телесную оболочку?

В. Я говорю, что он никогда не будет бестелесным.

П. Поясните.

В. Есть два вида телесности: зачаточная и полная - соответствующие состояниям гусеницы и бабочки. То, что мы называем словом "смерть", - всего лишь мучительное преобразование. Наше нынешнее воплощение преходяще, предварительно, временно. А грядущее - совершенно, законченно, нетленно. Грядущая жизнь и есть осуществление предначертанного нам.

П. Но ведь метаморфоза гусеницы известна нам досконально.

В. Нам - безусловно, но не гусенице. Вещество, из которого состоит наше рудиментарное тело, по своим свойствам не выходит из пределов восприятия органов этого тела, или, точнее, наши рудиментарные органы соответствуют веществу, из которого вылеплено наше рудиментарное тело, но материи нашего окончательного претворения они не соответствуют. И таким образом конечная наша телесность недоступна нашим рудиментарным чувствам, и мы способны ощущать лишь оболочку, которая спадет, чтобы истлеть, освободив скрытую форму; но и эта сокровенная форма, и оболочка равно доступны восприятию тех, кто уже достиг конечного бытия.

П. Вы часто говорили, что месмерическое состояние очень походит на смерть. Как это надо понимать?

В. Когда я говорю, что оно похоже на смерть, я имею в виду, что оно приближается к конечному бытию; потому что, когда я погружаюсь в транс, мои рудиментарные чувственные восприятия временно выключаются, и я воспринимаю внешние явления прямо, без опосредствования их органами чувств, а через посредника, который будет мне служить в предстоящей жизни, в которой нет нашей упорядоченности.

П. Нет упорядоченности?

В. Да, ведь органы - это приспособления, с помощью которых человек приводится в осмысленное отношение к одним видам и формам материи, а к другим - не приводится. Человеческие органы приспособлены к условиям рудиментарного бытия, и только к ним; и совершенно понятно, что предстоящее бытие человека не нуждается ни в какой организации, ибо оно подчинено прямо божьей воле, то есть движению нерасторжимой материи. Вы сможете создать себе ясное понятие о теле конечного претворения, если представите себе его как сплошной мозг. Оно не таково; но такого рода допущение все-таки приблизит вас к пониманию, что же оно такое. От светящегося тела исходят волны в светоносный эфир. Он, в свою очередь, передает их на сетчатую оболочку глаза, от которой они передаются зрительному нерву.

Нерв сообщает их мозгу; мозг - нерасторжимой материи, проходящей сквозь него. Движение этой последней есть мысль, волна которой начинает свой бег с перцепции. Так сознание в рудиментарной жизни сообщается с внешним миром, восприятие этого внешнего мира ограничено в рудиментарной жизни возможностями ее органов. А в предстоящей, не регламентированной органикой жизни внешний мир воспринимается всем телом (которое состоит из вещества, наделенного, как я уже говорил, примерно теми же свойствами, что и мозг), и нет между ними никакого посредника, кроме эфира, даже еще более бесконечно разреженного, чем светонесущий эфир; и все тело вибрирует вместе с этим эфиром, передавая свои колебания нерасторжимой материи. Именно отсутствие локализованности нашего восприятия органами чувств мы и обязаны в предстоящем бытии почти беспредельной восприимчивостью. Для рудиментарных существ органы чувств - клетки, в которых их держат, пока не оперятся.

П. Вы говорите о рудиментарных "существах". Но разве есть, кроме человека, еще и другие мыслящие существа?

В. Бесконечное многообразие разреженной материи в космических туманностях, планетах, солнцах и других телах, не являющихся ни туманностями, ни планетами, ни солнцами, единственно и предназначено для локализованных органов чувств бесчисленных рудиментарных существ. Все эти тела необходимы для рудиментарной жизни, для предстоящего бытия, иначе их и не существовало бы вовсе. Каждое из них заселено определенной породой рудиментарных мыслящих существ, живущих органической жизнью. В общем свойства органов чувств меняются в зависимости от места обитания этих существ. Когда же наступает смерть, или - метаморфоза, все эти создания, приобщаясь к предстоящей жизни, бессмертию и всех тайн, кроме одной, совершают любое действие и переносятся куда угодно, и для этого им не нужно ничего, кроме проявления воли; они обитают уже не на звездах, представляющихся нам единственной достоверностью и единственно для размещения которых, как мы в слепоте своей полагаем, пространство и создано, - а прямо в мировом пространстве, в бесконечности, сама инстинносущностная безмерность которой поглощает эти звездные островки, не давая ангелам даже задерживать на них внимания, как словно бы их и не было.

П. Вот вы говорите, что "если бы не их необходимость для рудиментарной жизни, то звезд бы не существовало". Но откуда берется эта необходимость?

В. В неорганической жизни, как и в неживой материи вообще, не может быть никаких препятствий действию одного простого и не имеющего себе подобия закона - божественной воли. Чтобы создать ему сопротивление, и была сотворена органическая материя, органическая жизнь (сложная, собственносущностная, стойкая в сопротивлении этому закону).

П. Но зачем же понадобилось создавать ему сопротивление?

В. Результатом подчинения закону является совершенство, истинность, счастье как отсутствие страданий. Результатом же нарушения закона становятся несовершенство, несправедливость и страдание как таковое. Из-за помех его осуществлению, которые возникают в силу множественности, сложности и собственносущности законов органической жизни и материи, становится практически возможной какая-то мера воздаяния за нарушение высшего

закона. Так, невозможное в неорганической жизни, страдание становится возможным в органической.

П. А какая благая цель при этом достигается?

В. Все сущее хорошо или плохо в сравнении с чем-нибудь. обстоятельное исследование убеждает, что наслаждение во всех случаях является не чем иным, как только противоположностью страдания. И в чистом виде наслаждение - фикция. Радость нам дается лишь там, где мы уже страдали. Не испытать страдания значило бы никогда не познать блаженства. Но я уже указывал, что в неорганической жизни страдание немислимо, отсюда - необходимость органической. Страдания в начальной, земной жизни являются залогом блаженства конечной, небесной жизни.

П. Вы употребили также и еще одно выражение, смысла которого я не уразумел: "истинносущностная безмерность бесконечности".

В. По всей видимости, причина этого в том, что само понятие "сущность" является у вас недостаточно общим. Его следует рассматривать не как качество, а как ощущение: у мыслящих существ оно является восприятием приспособления материи к собственному их устройству. На земле найдется немало такого, существования чего жители Венеры не могли бы воспринять, и многого, что на Венере видимо и осязаемо, мы бы не были в состоянии заметить и воспринять. Но для существ, не наделенных органичностью, для ангелов, - вся нерасторжимая материя является сущностью, то есть, иначе говоря, все, что мы определяем словом "пространства", для них - вещественнейшая реальность, и в то же время звезды - именно в силу того, что мы считаем доказательством их материальности, - оказываются вне восприятия ангелов, и эта их невосприимчивость прямо пропорциональна тому, в какой мере нерасторжимая материя - в силу тех своих свойств, которые заставляют ее казаться нам не материей вообще, - не поддается восприятию органической.

В то время, как усыпленный уже еле слышно договаривал эти последние слова, я заметил, что лицо его приняло странное выражение, которое встревожило меня и вынудило тут же разбудить его. Но не успел я этого сделать, как он с просветленной улыбкой, озарившей все лицо, откинулся на подушку и испустил дух. Я обратил внимание, что не прошло и минуты, как тело успело окоченеть и стало словно каменным. Лоб его был холоден, как лед. Так обычно бывает лишь после того, как рука Азраила уже долго сжимала человека. Неужели и вправду усыпленный мной со своими последними рассуждениями обращался ко мне уже из царства теней?

Разговор с мумией

Перевод И.Бернштейн

Вчерашняя наша застольная беседа оказалась чересчур утомительной для моих нервов. Разыгралась головная боль, появилась сонливость. Словом, нынче, вместо того чтобы идти со двора, как я прежде намеревался, я предпочел подобру-поздорову остаться дома, поужинать самую малость и отправиться спать.

Ужин, разумеется, совсем легкий. Я страстный любитель гренков с сыром. Но даже их больше фунта в один присест не всегда съешь. Впрочем, и два фунта не могут вызвать серьезных возражений. А где два, там и три, разницы почти никакой. Я, помнится, отважился на четыре. Жена, правда, утверждает, что на пять, но она, очевидно, просто перепутала. Цифру пять, взятую как таковую, я и сам признаю, но в конкретном применении она может относиться только к пяти бутылкам черного портера, без какой-либо приправы гренки с сыром никак не идут.

Завершив таким образом мою скромную трапезу и надевши ночной колпак, я в предвкушении сладостного отдыха до полудня приклонил голову на подушку и, как человек с совершенно незапятнанной совестью, немедленно погрузился в сон.

Но когда сбывались людские надежды? Я не всхрапнул еще и в третий раз, как у входной двери яростно зазвонили и вслед за этим нетерпеливо застучали дверным молотком, отчего я тут же и проснулся. А минуту спустя, пока я еще продираю глаза, жена сунула мне под нос записку от моего старого друга доктора Йейбогуса. В ней значилось:

"Во что бы то ни стало приходите ко мне, мой добрый друг, как только получите это письмо. Приходите и разделите нашу радость. Я наконец благодаря упорству и дипломатии добился от дирекции Городского музея согласия на обследование мумии - вы помните какой. Мне разрешено распеленать ее и, если потребуется, вскрыть. При этом будут присутствовать лишь двое-трое близких друзей, вы, разумеется, в том числе. Мумия уже у меня дома, и мы начнем ее разматывать сегодня в одиннадцать часов вечера.

Всегда ваш Йейбогус".

Дойдя до слова "Йейбогус", я почувствовал, что совершенно, окончательно проснулся. В восторге выпрыгнул я из-под одеяла, сокрушая все на своем пути, оделся с быстротой прямо-таки фантастической и со всех ног бросился к дому доктора.

Там я застал уже всех в сборе, с нетерпением ожидающими моего прибытия. Мумия лежала распростертая на обеденном столе, и лишь только я вошел, было приступлено к обследованию.

Это была одна из двух мумий, привезенных несколько лет назад кузеном Йейбогуса капитаном Артуром Ментиком с Ливийского нагорья, где он их нашел в одном захоронении близ Элейтиаса, на много миль вверх по Нилу от Фив. В этой местности пещеры хотя и не столь величественны, как фиванские гробницы, зато представляют большой интерес, ибо содержат многочисленные изображения, проливающие свет на жизнь и быт древних египтян. Камера, из которой был извлечен лежащий перед нами экземпляр, по рассказам, особенно изобиловала такими изображениями - ее стены были сплошь покрыты фресками и барельефами, в то время как статуи, вазы и мозаичные узоры свидетельствовали о незаурядном богатстве погребенного.

Драгоценная находка была передана музею в том самом виде, в каком впервые попала на глаза капитану Ментиком, - саркофаг остался не вскрыт. И так он простоял восемь лет, доступный лишь наружному осмотру публики. Иначе говоря, в нашем распоряжении сейчас была цельная, нетронутая мумия, и те, кто отдает себе отчет в том, сколь редко достигают наших берегов непопорченные памятники древности, сразу же поймут, что мы имели полное право поздравить себя с такой удачей.

Подойдя к столу, я увидел большой короб, или ящик, едва ли не семи футов в длину, трех в ширину и высотой не менее двух с половиной футов. Он имел правильную овальную форму, а не суживающуюся к одному концу, как гроб. Материал, из которого он был сделан, мы сначала приняли за дерево сикоморы (Platanus), но оказалось, когда сделали разрез, что это картон, вернее, papier-mache из папируса. Снаружи его густо покрывали рисунки - сцены похорон и другие печальные сюжеты, между которыми тут и там во всевозможных положениях повторялись одинаковые иероглифические письмена, знаменующие собою, вне всякого сомнения, имя усопшего. По счастью, среди нас находился мистер Глиддон, который без труда расшифровал эту надпись: она была сделана просто фонетическим письмом и читалась как "Бестолквео".

Нам не сразу удалось вскрыть ящик так, чтобы не повредить его, но, когда наконец мы в этом преуспели, нашим глазам открылся другой ящик, уже в форме гроба и значительно меньших размеров, чем наружный, но во всем прочем - его совершенная копия. Промежуток между ними был заполнен смолой, отчего краски на втором ящике несколько пострадали.

Открыв и его (что мы осуществили с легкостью), мы обнаружили третий ящик, также сужающийся с одного конца и вообще отличающийся от второго лишь материалом: он был сделан из кедра и все еще источал присущий этому дереву своеобразный аромат. Никакого зазора между вторым и третьим ящиком не было - стенки одного вплотную прилегали к стенкам другого.

Сняв третий ящик, мы обнаружили и извлекли саму мумию. Мы ожидали, что она, как всегда в таких случаях, будет плотно обернута, как бы забинтована, полосами ткани, но вместо этого оказалось, что тело заключено в своего рода футляр из папируса, покрытый толстым слоем лака, раззолоченный и испещренный рисунками. На них изображены были всевозможные мытарства души и ее встречи с различными богами. Повторялись одни и те же человеческие фигуры, - но всей видимости, портреты набальзамированных особ. От головы до ног перпендикулярной колонкой шла надпись, также сделанная фонетическими иероглифами и указывающая имя и различные титулы усопшего, а кроме того, имена и титулы его родственников.

На шее мумии мы обнаружили ожерелье из разноцветных цилиндрических бусин с изображениями божеств, скарабеев и прочего, а также крылатого шара. Второе подобное, так сказать, ожерелье, стягивало мумию в поясе.

Содрав папирус, мы обнажили тело, которое оказалось в отличной сохранности и совершенно не пахло. Кожа имела красноватый оттенок. Она была гладкой, плотной и блестящей. В прекрасном состоянии были и зубы и волосы. Глаза, по-видимому, были вынуты, и на их место вставлены стеклянные, выполненные очень красиво и с большим правдоподобием. Только, пожалуй, взгляд получился слишком уж решительный. Ногти и концы пальцев были щедро позолочены.

Мистер Глиддон высказал мнение, что, судя по красноватой окраске эпидермиса, бальзамирование осуществлено исключительно асфальтовыми смолами. Однако, когда с поверхности тела соскребли стальным инструментом некоторое количество порошкообразной субстанции и бросили в пламя, стало очевидным присутствие камфоры и других пахучих веществ.

Мы тщательно осмотрели тело в поисках отверстия, через которое были извлечены внутренности, но, к нашему недоумению, таковое не обнаружили. Никто из присутствовавших

тогда не знал, что цельные или невскрытые мумии - явление не столь уж и редкое. Нам было известно, что, как правило, мозг покойника удаляли через нос, для извлечения кишок делали надрез сбоку живота, после чего труп обривали, мыли и опускали в рассол, и только позднее, по прошествии нескольких недель, приступали к собственно бальзамированию.

Так и не обнаружив надреза, доктор Йейбогус приготовил свой хирургический инструмент, чтобы начать вскрытие, но тут я спохватился, что уже третий час ночи. Было решено отложить внутреннее обследование до завтрашнего вечера, и мы уже собирались разойтись, когда кто-то предложил один-два опыта с вольтовой батареей.

Мысль воздействовать электричеством на мумию трех- или четырехтысячелетнего возраста была если и не очень умна, то, во всяком случае, оригинальна, и мы все тотчас же ею загорелись. На девять десятых в шутку и на одну десятую всерьез мы установили у доктора в кабинете батарею, а затем перенесли туда египтянина.

Нам стоило немалых трудов обнажить край височной мышцы, которая оказалась значительно менее окостенелой, чем остальная мускулатура тела, однако же, как и следовало ожидать, при соприкосновении с проводом не проявила, разумеется, ни малейшей гальванической чувствительности. Эту первую попытку мы сочли достаточно убедительной и, от души смеясь над собственной глупостью, стали прощаться, как вдруг я мельком взглянул на мумию и замер в изумлении. Одного беглого взгляда было довольно, чтобы удостовериться, что глазные яблоки, которые мы все принимали за стеклянные, хотя и было замечено их странное выражение, теперь оказались прикрыты веками, так что оставались видны только узкие полоски *tunica albuginea* [Белки глаз (лат.)].

Громким возгласом я обратил на это обстоятельство внимание остальных, и все сразу же убедились в моей правоте.

Не могу сказать, чтобы я был встревожен этим явлением, "встревожен" - не совсем то слово. Думаю, что, если бы не портер, можно было бы утверждать, что я испытал некоторое беспокойство. Из остальных же собравшихся никто даже не делал попытки скрыть самый обыкновенный испуг. На доктора Йейбогуса просто жалко было смотреть. Мистер Глиддон вообще умудрился куда-то скрыться. А у мистера Силка Бакингема, я надеюсь, не останется храбрости отрицать, что он на четвереньках ретировался под стол.

Однако, когда первое потрясение прошло, мы, нимало не колеблясь, немедленно приступили к дальнейшим экспериментам. Теперь наши действия были направлены против большого пальца правой ноги. Был сделан надрез над наружной *os sesamoideum pollicis pedis* [Сесамовидной костью большого пальца ноги (лат.)] и тем самым обнажен корень *musculus abductor* [Отводящей мышцы (лат.)]. Снова наладив батарею, мы подействовали током на рассеченный нерв, и тут мумия, ну прямо совершенно как живая, сначала согнула правое колено, подтянув ногу чуть не к самому животу, а затем, выпрямив ее необыкновенно сильным толчком, так брыкнула доктора Йейбогуса, что этот солидный ученый муж вылетел, словно стрела из катапульты, через окно третьего этажа на улицу.

Мы все *en masse* [Скопом (франц.)] ринулись вон из дома, чтобы подобрать разбитые останки нашего погибшего друга, но имели счастье повстречать на лестнице его самого, задыхающегося от спешки, исполненного философическим пылом испытателя и еще более прежнего убежденного в необходимости с усердием и тщанием продолжить наши опыты.

По его указанию, мы, не медля ни минуты, сделали глубокий надрез на кончике носа испытуемого, и доктор, крепко ухватившись, притянул его в соприкосновение с проводом.

Эффект - морально и физически, в прямом и переносном смысле - был электрический. Во-первых, покойник открыл глаза и часто замигал, точно мистер Барнс в пантомиме; во-вторых, он чихнул; в-третьих, сел; в-четвертых, потряс кулаком под носом у доктора Йейбогуса; и в-пятых, обратившись к господам Глиддону и Бакингему, адресовался к ним на безупречном египетском языке со следующей речью:

- Должен сказать, джентльмены, что нахожу ваше поведение столь же оскорбительным, сколь и непонятным. Ну, хорошо, от доктора Йейбогуса ничего другого и не приходится ожидать. Он просто жирный неуч, где ему, бедняге, понять, как нужно обращаться с порядочным человеком. Мне жаль его. Я его прощаю. Но вы, мистер Глиддон, и вы, Силк, вы столько путешествовали и жили в Египте, почти, можно сказать, родились там, вы, так долго жившие среди нас, что говорите по-египетски, вероятно, так же хорошо, как пишете на своем родном языке, вы, кого я всегда был склонен считать верными друзьями мумий, - право же, уж кто-кто, а вы могли бы вести себя лучше. Вы видите, что со мною возмутительно обращаются, но преспокойно стоите в стороне и смотрите. Как это надо понимать? Вы позволяете всякому встречному и поперечному снимать с меня мои саркофаги и облачения в таком непереносимо холодном климате. Что я, по-вашему, должен об этом думать? И наконец, самое вопиющее, вы содействуете и попустительствуете этому жалкому грубияну доктору Йейбогусу, решившемуся потянуть меня за нос. Что все это значит?

Естественно предположить, что, услышав эти речи, мы все бросились бежать, или впали в истерическое состояние, или же дружно шлепнулись в обморок. Любое из этих трех предположений напрашивается само собой. Я убежден, что, поведи мы себя таким образом, никто бы не удивился. Более того, честью клянусь, что сам не понимаю, как и почему ничего подобного с нами не произошло. Разве только причину нужно искать в так называемом духе времени, который действует по принципу "все наоборот" и которым в наши дни легко объясняют любые нелепицы и противоречия. А может быть, дело тут в том, что мумия держалась уж очень естественно и непринужденно, и потому речи ее не прозвучали так жутко, как должны были бы. Словом, как бы то ни было, но из нас ни один не испытал особого трепета и вообще не нашел в этом явлении ничего из ряда вон выходящего.

Я, например, ничуть не удивился и просто отступил на шаг подальше от египетского кулака. Доктор Йейбогус побагровел и уставился в лицо мумии, глубоко засунув руки в карманы панталон. Мистер Глиддон погладил бороду и поправил крахмальный воротничок. Мистер Бакингом низко опустил голову и сунул в левый угол рта большой палец правой руки.

Египтянин посмотрел на него с негодованием, помолчал минуту, а затем с язвительной усмешкой продолжал:

- Что же вы не отвечаете, мистер Бакингом? Вы слышали, о чем вас спрашивают? Выньте-ка палец изо рта, сделайте милость!

При этом мистер Бакингом вздрогнул, вынул из левого угла рта большой палец правой руки и тут же возместил понесенный урон тем, что всунул в правый угол названного отверстия большой палец левой руки.

Так и не добившись ответа от мистера Б., мумия обратилась к мистеру Глиддону и тем же безапелляционным тоном потребовала объяснений от него.

И мистер Глиддон дал пространные объяснения на разговорном египетском языке. Не будь в наших американских типографиях так плохо с египетскими иероглифами, я бы с огромным удовольствием привел здесь целиком в исконном виде его превосходную речь.

Кстати замечу, что вся последующая беседа с мумией происходила на разговорном египетском через посредство (что касается меня и остальных необразованных членов нашей компании) - через посредство, стало быть, переводчиков Глиддона и Бакингема. Эти джентльмены говорили на родном языке мумии совершенно свободно и бегло, однако я заметил, что временами (когда речь заходила о понятиях и вещах исключительно современных и для нашего гостя совершенно незнакомых) они бывали принуждены переходить на язык вещественный. Мистер Глиддон, например, оказался бессилён сообщить египтянину смысл термина "политика", покуда не взял уголек и не нарисовал на стене маленького красноного субъекта с продранными локтями, который стоит на помосте, отставив левую ногу, выбросив вперед сжатую в кулак правую руку, закатив глаза и разинув рот под углом в 90 градусов. Точно так же мистеру Бакингема не удалось выразить современное понятие "прорехи в экономике" до тех пор, пока, сильно побледнев, он не решился (по совету доктора Йейбогуса) снять свой новехонький сюртук и показать спину крахмальной сорочки.

Как вы сами понимаете, мистер Глиддон говорил главным образом о той великой пользе, какую приносит науке распеленывание и потрошение мумий. Выразив сожаление о тех неудобствах, которые эта операция доставит ему, одной мумифицированной личности по имени Бестолковео, он кончил свою речь, намекнув (право, это был не больше чем тонкий намек), что теперь, когда все разъяснилось, неплохо бы продолжить исследование. При этих словах доктор Йейбогус опять стал готовить инструменты.

Относительно последнего предложения оратора у Бестолковео нашлись кое-какие контрдоводы идейного свойства, какие именно, я не понял; но он выразил удовлетворение принесенными ему извинениями, слез со стола и пожал руки всем присутствующим.

По окончании этой церемонии мы все занялись возмещением ущерба, понесенного нашим гостем от скальпеля. Зашили рану на виске, перебинтовали колено и наклеили на кончик носа добрый дюйм черного пластыря.

Затем мы обратили внимание на то, что граф (ибо таков был титул Бестолковео) слегка дрожит - без сомнения, от холода. Доктор сразу же удалился к себе в гардеробную и вынес оттуда черный фрак наимоднейшего покроя, пару небесно-голубых клетчатых панталон со штрипками, розовую, в полоску chemise [Сорочку (франц.)] широкий расшитый жилет, трость с загнутой ручкой, цилиндр без полей, лакированные штиблеты, желтые замшевые перчатки, монокль, пару накладных бакенбард и пышный шелковый галстук. Из-за некоторой разницы в росте между графом и доктором (соотношение было примерно два к одному) при облачении египтянина возникли небольшие трудности; но потом все кое-как уладилось и наш гость был в общем и целом одет. Мистер Глиддон взял его под руку и подвел к креслу перед камином, между тем как доктор позвонил и распорядился принести ему сигар и вина.

Разговор вскоре оживился. Всех, естественно, весьма заинтересовал тот довольно-таки потрясающий факт, что Бестолковео оказался живым.

- На мой взгляд, вам давно бы следовало помереть, - заметил мистер Бакингом.

- Что вы! - крайне удивленно ответил граф. - Ведь мне немногим больше семисот лет! Мой папаша прожил тысячу и умер молодец молодцом.

Тут посыпались вопросы и выкладки, с помощью каких было скоро выяснено, что предполагаемая древность мумии сильно преуменьшена. Со времени заключения ее в элейтиадские катакомбы прошло на самом деле пять тысяч пятьдесят лет и несколько месяцев.

- Мое замечание вовсе не относилось к вашему возрасту в момент захоронения, - пояснил Бакингом. - Готов признать, что вы еще сравнительно молоды. Я просто имел в виду тот огромный промежуток времени, который, по вашему же собственному признанию, вы пролежали в асфальтовых смолах.

- В чем, в чем? - переспросил граф.

- В асфальтовых смолах.

- А-а, кажется, я знаю, что это такое. Их, вероятно, тоже можно использовать. Но в мое время употреблялся исключительно бихлорид ртути, иначе - сулема.

- Вот еще чего мы никак не можем понять, - сказал доктор Йейбогус. - Каким образом получилось, что вы умерли и похоронены в Египте пять тысяч лет назад, а теперь разговариваете с нами живой и, можно сказать, цветущий?

- Если б я действительно, как вы говорите, умер, - отвечал граф, - весьма вероятно, что я бы и сейчас оставался мертвым, ибо, я вижу, вы еще совершенные дети в гальванизме и не умеете того, что у нас когда-то почиталось делом пустяковым. Но я просто впал в каталептический сон, и мои близкие решили, что я либо уже умер, либо должен очень скоро умереть, и поспешили меня бальзамировать. Полагаю, вам знакомы основные принципы бальзамирования?

- М-м, не совсем, знаете ли.

- Понятно. Плачевная необразованность! Входить в подробности я сейчас не могу, по следует вам сказать, что бальзамировать - значило у нас в Египте остановить на неопределенный срок в животном организме абсолютно все процессы. Я употребляю слово "животный" в самом широком смысле, включающем как физическое, так и духовное, и витальное бытие. Повторяю, ведущим принципом бальзамирования у нас была моментальная и полная остановка всех животных функций. Иными словами, в каком состоянии человек находился в момент бальзамирования, в таком он и сохраняется. Я имею счастье принадлежать к роду Скарабея и поэтому был забальзамирован живым, как вы можете теперь убедиться.

- К роду Скарабея? - воскликнул доктор Йейбогус.

- Да. Скарабей был своего рода наследственным гербом одной очень знатной и высокой фамилии. Принадлежать к роду Скарабея означало просто быть членом этой фамилии. Мои слова надо понимать фигурально.

- Но как это связано с тем, что вы остались живы?

- Да ведь у нас в Египте повсеместно принято было перед бальзамированием трупа удалять внутренности и мозг. Одни только Скарабеи не подчинялись этому обычаю. Следовательно, не будь я Скарабеем, я остался бы без мозга и внутренностей, а в таком виде жить довольно неудобно.

- Я понял, - сказал мистер Бакингом. - Стало быть, все попадающиеся нам цельные мумии принадлежали к роду Скарабея?

- Без сомнения.

- Я думал, - кротко заметил мистер Глиддон, - что Скарабей - один из египетских богов.

- Из египетских богов? - вскочив, воскликнула мумия.

- Да, - подтвердил известный путешественник.

- Мистер Глиддон, вы меня удивляете, - произнес граф, снова усевшись в кресло. - Ни один народ на земле никогда не поклонялся более чем одному богу. Скарабей, ибис и прочие были для нас (как иные подобные существа для других) всего лишь символами, media [Посредниками (лат.).] при поклонении Создателю, который слишком велик, чтобы обращаться к нему прямо.

Наступила пауза. Потом доктор Йейбогус продолжил разговор.

- Правильно ли будет предположить на основании ваших слов, - спросил он, - что в нильских катакомбах лежат и другие мумии из рода Скарабея, сохранившие состояние витальности?

- В этом не может быть сомнения, - отвечал граф. - Все Скарабеи, по случайности бальзамированные заживо, живы и в настоящее время. Даже среди тех, кого забальзамировали нарочно, тоже могут отыскаться по недосмотру душеприказчиков оставшиеся в гробницах.

- Не будете ли вы столь добры объяснить, что означает "забальзамировали нарочно"? - попросил я.

- С великим удовольствием, - отозвалась мумия, доброжелательно осмотрев меня в монокль, поскольку это был первый вопрос, который задал ей лично я. - С великим удовольствием. Обычная продолжительность человеческой жизни в мое время была примерно восемьсот лет. Крайне редко случалось, если не считать экстраординарных происшествий, что человек умирал, не достигнув шестисотлетнего возраста. Бывали и такие, что проживали дольше десяти сотен. Но естественным сроком жизни считалось восемьсот лет. После того как был открыт принцип бальзамирования, который я вам ранее изложил, нашим философам пришла мысль удовлетворить похвальную людскую любознательность, а заодно содействовать развитию наук, устроив проживание этого естественного срока по частям с перерывами. Для истории, например, такой способ жизни, как показывает опыт, просто необходим. Скажем, ученый-историк, дожив до пятисот лет и употребив немало стараний, напишет толстый труд. Затем прикажет себя тщательно забальзамовать и оставит своим будущим душеприказчикам строгое указание оживить его по прошествии какого-то времени - допустим, шестисот лет. Возвратившись через этот срок к жизни, он обнаружит, что из его книги сделали какой-то бессвязный набор цитат, превратив ее в литературную арену для столкновения противоречивых мнений, догадок и недомыслий целой своры драчливых комментаторов. Все эти недомыслия и проч. под общим названием "исправлений и добавлений" до такой степени исказили, затопили и поглотили текст, что автор принужден ходить с фонарем в поисках своей книги. И, найдя,

убедиться, что не стоило стараться. Он садится и все переписывает заново, а кроме того, долг ученого историка велит ему внести поправки в ходячие предания новых людей о той эпохе, в которой он когда-то жил. Благодаря такому самопереписыванию и поправкам живых свидетелей длительные старания отдельных мудрецов привели к тому, что наша история не выродилась в пустые побасенки.

- Прошу прощения, - проговорил тут доктор Йейбогус, кладя ладонь на руку египтянина. - Прошу прощения, сэр, но позвольте мне на минуту перебить вас.

- Сделайте одолжение, сэр, - ответил граф, убирая руку.

- Я только хотел задать вопрос, - сказал доктор. - Вы говорили о поправках, вносимых историком в предания о его эпохе. Скажите, сэр, велика ли в среднем доля истины в этой абракадабре?

- В этой абракадабре, как вы справедливо ее именуете, сэр, как правило, содержится ровно такая же доля истины, как и в исторических трудах, ждущих переписывания. Иными словами, ни в тех, ни в других нельзя отыскать ни единого сведения, которое не было бы совершенно, стопроцентно ложным.

- А раз так, - продолжал доктор, - то поскольку мы точно установили, что с момента ваших похорон прошло, по крайней мере, пять тысяч лет, можно предположить, что в ваших книгах, равно как и в ваших преданиях, имелись богатые данные о том, что так интересует все человечество - о сотворении мира, которое произошло, как вы, конечно, знаете, всего за тысячу лет до вас.

- Что это значит, сэр? - спросил граф Бестолковее.

Доктор повторил свою мысль, но потребовалось немало дополнительных объяснений, прежде чем чужеземец смог его понять. Наконец тот с сомнением сказал:

- То, что вы сейчас мне сообщили, признаюсь, для меня абсолютно ново. В мое время я не знал никого, кто бы придерживался столь фантастического взгляда, что будто бы вселенная (или этот мир, если вам угодно) имела некогда начало. Вспоминаю, что однажды, но только однажды, я имел случай побеседовать с одним премудрым человеком, который говорил что-то о происхождении человеческого рода. Он употреблял, кстати, имя Адам, или Красная Глина, которое и у вас в ходу. Но он им пользовался в обобщенном смысле, в связи с самозарождением из плодородной почвы (как зародились до того тысячи низших видов) - в связи с одновременным самозарождением, говорю я, пяти человеческих орд на пяти различных частях земного шара.

Здесь мы все легонько пожали плечами, а кое-кто еще и многозначительно постучал себя пальцем по лбу. Мистер Силк Бакингом скользнул взглядом по затылочному бугру, а затем по надбровным дугам Бестолковее и сказал:

- Большая продолжительность жизни в ваше время, да к тому же еще эта практика проживания ее по частям, как вы нам объяснили, должны были бы привести к существенному развитию и накоплению знаний. Поэтому тот факт, что древние египтяне тем не менее уступают современным людям, особенно американцам, во всех достижениях науки, я объясняю превосходящей толщиной египетского черепа.

- Признаюсь, - любезнейшим тоном ответил граф, - что опять не вполне понимаю вас. Не могли ли бы вы пояснить, какие именно достижения науки вы имеете в виду?

Тут все присутствующие принялись хором излагать основные положения френологии и перечислять чудеса животного магнетизма.

Граф выслушал нас до конца, а затем рассказал два-три забавных анекдота, из которых явствовало, что прототипы наших Галля и Шпурцгейма пользовались славой, а потом впали в безвестность в Египте так давно, что о них уже успели забыть, и что демонстрации Месмера - не более как жалкие фокусы в сравнении с подлинными чудодействиями фиванских savants [Мудрецов (франц.)], которые умели сотворять вшей и прочих им подобных существ.

Тогда я спросил у графа, а умели ли его соотечественники предсказывать затмения. Он с довольно презрительной улыбкой ответил, что умели.

Это меня несколько озадачило, но я продолжал выпрашивать, что они еще понимают в астрономии, пока один из нашей компании, до сих пор не раскрывавший рта, шепнул мне на ухо, что за сведениями на этот счет мне лучше всего обратиться к Птолемею (не знаю такого, не слышал), да еще к некоему Плутарху, написавшему труд "De facie lunae" ["О лике, видимом на луне" (лат.)].

Тогда я задал мумии вопрос о зажигательных и увеличительных стеклах и вообще о производстве стекла. Но не успел еще и договорить, как все тот же молчаливый гость тихонько тронул меня за локоть и покорнейше попросил познакомиться, хотя бы слегка, с Диодором Сицилийским. Граф же вместо ответа только осведомился, есть ли у нас, современных людей, такие микроскопы, которые позволили бы нам резать камеи, подобные египетским. Пока я размышлял, что бы ему такое сказать на это, в разговор вмешался наш маленький доктор Йейбогус, и при этом довольно неудачно.

- А наша архитектура! - воскликнул он, к глубокому возмущению обоих путешественников, которые незаметно пинали его и щипали, но все напрасно. - Посмотрите фонтан на Боулинг-рин у нас в Нью-Йорке! Или - если это сооружение уж слишком величаво для сопоставления - возьмите здание Капитолия в Вашингтоне!

И наш коротышка-лекарь пустился подробно перечислять и описывать прекрасные линии и пропорции упомянутого сооружения. Только в портале, с жаром восклицал он, имеется ни много ни мало как двадцать четыре колонны пяти футов в диаметре каждая и в десяти футах одна от другой!

Граф сказал на это, что, к своему сожалению, не может сейчас назвать точные цифры пропорций ни одного из главных зданий в городе Карнаке, который был заложен некогда во тьме времен, но развалины которого в его эпоху еще можно было видеть в песчаной пустыне к западу от Фив. Однако, если говорить о порталах, он помнит, что у одного из малых загородных дворцов в предместье, именуемом Азнаком, был портал из ста сорока четырех колонн по тридцати семи футов в обхвате и в двадцати пяти футах одна от другой. Подъезд к этому portalу со стороны Нила был обстроен сфинксами, статуями и обелисками двадцати, шестидесяти и ста футов высотой. А сам дворец, если он не путает, имел две мили в длину и, вероятно, миль семь в окружности. Стены и снаружи и изнутри были сверху донизу расписаны иероглифами. Он не берется положительно утверждать, что на этой площади поместилось бы пятьдесят - шестьдесят таких Капитолиев, как рисовал тут доктор, но, с другой стороны,

допускает, что с грехом пополам их вполне можно было бы туда напихать штук этак двести или триста. В сущности-то это был малый дворец, так себе, загородная постройка. Однако граф не может не признать великолепия, прихотливости и своеобразия фонтана на Боулинг-грин, так красочно описанного доктором. Ничего подобного, он вынужден признать, у них в Египте, да и вообще нигде и никогда не было.

Тут я спросил графа, что он скажет о наших железных дорогах.

- Ничего особенного, - ответил он. По его мнению, они довольно ненадежны, неважно продуманы и плоховато уложены. И не идут, разумеется, ни в какое сравнение с безукоризненно ровными и прямыми, снабженными металлической колеей широкими дорогами, по которым египтяне транспортировали целые храмы и монолитные обелиски ста пятидесяти футов высотой. Я сослался на наши могучие механические двигатели. Он согласился, сказал, что слышал об этом кое-что, но спросил, как бы я смог расположить пяты арок на такой высоте, как хотя бы в самом маленьком из дворцов Карнака.

Этот вопрос я счел за благо не расслышать и поинтересовался, имели ли они какое-нибудь понятие об артезианских колодцах. Он только поднял брови, а мистер Глиддон стал мне яростно подмигивать и зашептал, что как раз недавно во время буровых работ в поисках воды для Большого Оазиса рабочие обнаружили древнеегипетский артезианский колодец.

Я упомянул нашу сталь; но чужеземец задрал нос и спросил, можно ли нашей сталью резать камень, как на египетских обелисках, где все работы производились медными резцами.

Это нас совсем обескуражило, и мы решили перенести свои атаки в область метафизики. Была принесена книга под заглавием "Дайел", и оттуда ему зачитали две-три главы, посвященные чему-то довольно непонятному, что в Бостоне называют "великим движением", или "прогрессом".

Граф на это сказал только, что в его дни великие движения попадались на каждом шагу, а что до прогресса, то от него одно время просто житья не было, но потом он как-то рассосался.

Тогда мы заговорили о красоте и величии демократии и очень старались внушить графу правильное сознание тех преимуществ, какими мы пользуемся, обладая правом голосования *ad libitum* [Вдоволь (лат.)] и не имея над собой короля.

Наши речи его заметно заинтересовали и даже явно позабавили. Когда же мы кончили, он пояснил, что у них в Египте тоже в незапамятные времена было нечто в совершенно подобном роде. Тринадцать египетских провинций вдруг решили, что им надо освободиться и положить великий почин для всего человечества. Их мудрецы собрались и сочинили самую что ни на есть замечательную конституцию. Сначала все шло хорошо, только необычайно развилось хвастовство. Кончилось, однако, дело тем, что эти тринадцать провинций объединились с остальными не то пятнадцатью, не то двадцатью в одну деспотию, такую гнусную и невыносимую, какой еще свет не видывал.

Я спросил, каково было имя деспота-узурпатора.

Он ответил, что, насколько помнит, имя ему было - Толпа.

Не зная, что сказать на это, я громогласно выразил сожаление по поводу того, что египтяне не знали пара.

Граф посмотрел на меня с изумлением и ничего не ответил. А молчаливый господин довольно чувствительно пихнул меня локтем под ребро и прошипел, что я и без того достаточно обнаружил свою безграмотность и что неужели я действительно настолько глуп и не слыхал, что современный паровой двигатель основан на изобретении Герона, дошедшем до нас благодаря Соломону де Ко.

Было ясно, что нам угрожает полное поражение, но тут, по счастью, на выручку пришел доктор, который успел собраться с мыслями и попросил египтянина ответить, могут ли его соотечественники всерьез тягаться с современными людьми в такой важной области, как одежда.

Граф опустил глаза, задержал взгляд на штрипках своих панталон, потом взял в руку одну фалду фрака, поднял к лицу и несколько мгновений молча рассматривал. Потом выпустил, и рот его медленно растянулся от уха до уха; но, по-моему, он так ничего и не ответил.

Мы приободрились, и доктор, величаво приблизившись к мумии, потребовал, чтобы она со всей откровенностью, по чести признала, умели ли египтяне в какую-либо эпоху изготавливать "Слабительное Йейбогуса" или "Пилюли Брандрета".

С замиранием сердца ждали мы ответа, но напрасно. Ответа не последовало. Египтянин покраснел и опустил голову. То был полнейший триумф. Он был побежден и имел весьма жалкий вид. Честно признаюсь, мне просто больно было смотреть на его унижение. Я взял шляпу, сдержанно поклонился мумии и ушел.

Придя домой, я обнаружил, что уже пятый час, и немедленно улегся спать. Сейчас десять часов утра. Я не сплю с семи и все это время был занят составлением настоящей памятной записки на благо моей семье и всему человечеству в целом. Семью свою я больше не увижу. Моя жена - мегера. Да и вообще, по совести сказать, мне давно поперек горла встала эта жизнь и наш девятнадцатый век. Убежден, что все идет как-то не так. К тому же мне очень хочется узнать, кто будет президентом в 2025 году. Так что я вот только побреюсь и выпью чашку кофе и, не мешкая, отправлюсь к Йейбогусу - пусть меня забальзамируют лет на двести.

Тысяча вторая сказка Шехерезады

Перевод З.Александровой

Правда всякой выдумки странней.

Старая пословица

Когда мне недавно представился случай, занимаясь одним ориенталистским исследованием, заглянуть в "Таклинетли" - сочинение, почти неизвестное даже в Европе (подобно "Зохару" Симона Иохаидеса), и, насколько я знаю, не цитированное ни одним американским ученым, исключая, кажется, автора "Достопримечательностей американской литературы" - итак, когда мне представился случай перелистать некоторые страницы первого, весьма любопытного сочинения, я был немало удивлен, обнаружив, что литературный мир донныне пребывает в заблуждении относительно судьбы дочери визиря Шехерезады, описанной в "Арабских ночах", и что приведенная там *denouement* [Развязка (франц.)] не то чтобы совсем неверна, но далеко не доведена до конца.

Любознательного читателя, интересующегося подробностями этой увлекательной темы, я вынужден отослать к самому "Таклинетли", а пока позволю себе вкратце изложить то, что я там прочел.

Как мы помним, согласно общепринятой версии сказок, некий царь, имея серьезные основания приревновать свою царицу, не только казнит ее, но клянется своей бородой и пророком ежедневно брать в жены красивейшую девушку своей страны, а на следующее утро отдавать ее в руки палача.

После того как царь уже много лет выполнял этот обет с набожностью и аккуратностью, снискавшими ему репутацию человека праведного и разумного, его посетил как-то под вечер (несомненно, в час молитвы) великий визирь, чьей дочери пришла в голову некая мысль.

Ее звали Шехерезадой, а мысль состояла в том, чтобы избавить страну от разорительного налога на красоту или погибнуть при этой попытке по примеру всех героинь.

Вот почему, хотя год, как оказалось, не был високосным (что сделало бы ее жертву еще похвальнее), она посылает своего отца, великого визиря, предложить царю ее руку. Это предложение царь спешит принять (он и сам имел подобное намерение и откладывал его со дня на день только из страха перед визирем), но при этом очень ясно дает понять всем участникам дела, что визирь визирем, а он, царь, отнюдь не намерен отступать от своего обета или поступаться своими привилегиями. Поэтому, когда прекрасная Шехерезада пожелала выйти за царя и вышла-таки, наперекор благоразумному совету отца не делать ничего подобного, - когда она, повторяю, захотела выйти замуж и вышла, то ее прекрасные черные глаза были открыты на все последствия такого поступка.

Однако у этой мудрой девицы (несомненно, читавшей Макиавелли) имелся весьма остроумный план. В брачную ночь, не помню уж под каким благовидным предлогом, она устроила так, что ее сестра заняла ложе в достаточной близости от ложа царственных супругов, чтобы можно было без труда переговариваться; и незадолго до первых петухов сумела разбудить доброго государя, своего супруга (который относился к ней ничуть не хуже из-за того, что наутро намеревался ее удавить), итак, она сумела (хотя он благодаря чистой совести и исправному пищеварению спал весьма крепко) разбудить его, рассказывая сестре (разумеется, вполголоса) захватывающую историю (если не ошибаюсь, речь там шла о крысе и черной кошке). Когда занялась заря, оказалось, что рассказ не вполне окончен, а Шехерезада, натурально, не может его окончить, ибо ей пора вставать и быть раздавленной - процедура едва ли более приятная, чем повешение, хотя и несколько более благородная.

Здесь я вынужден с сожалением отметить, что любопытство царя взяло верх даже над его религиозными принципами и заставило его на сей раз отложить до следующего утра исполнение обета, с целью и надеждой услышать ночью, что же случилось наконец с крысой и черной кошкой (кажется, именно черной).

Однако ночью леди Шехерезада не только покончила с черной кошкой и крысой (крыса была голубая), но как-то незаметно для себя пустилась рассказывать запутанную историю (если не ошибаюсь) о розовом коне (с зелеными крыльями), который скакал во весь опор, будучи заведен синим ключом. Эта повесть заинтересовала царя еще больше, чем первая, а поскольку к рассвету она не была окончена (несмотря на все старания царицы быть раздавленной вовремя), пришлось еще раз отложить эту церемонию на сутки. Нечто подобное повторилось и в следующую ночь с тем же результатом; а затем еще и еще раз, так что в конце

концов наш славный царь, лишенный возможности выполнять свой обет в течение целых тысячи и одной ночи, либо забыл о нем к тому времени, либо снял его с себя по всем правилам, либо (что всего вероятнее) послал его к черту, а заодно и своего духовника. Во всяком случае, Шехерезада, происходившая по прямой линии от Евы и, должно быть, полнившая по наследству все семь корзин рассказней, которые эта последняя, как известно, собрала под деревьями райского сада. - Шехерезада, говорю я, одержала победу, и подать на красоту была отменена.

Такая развязка (а именно она приведена в общеизвестном источнике) несомненно весьма приятна и прилична - но увы! - подобно очень многим приятным вещам скорее приятна, чем правдива; возможности исправить ошибку я всецело обязан "Таклинетли". "Le mieux, - гласит французская поговорка, - est l'ennemi du bien"; [Лучшее - враг хорошего (франц.)] и, сказав, что Шехерезада унаследовала семь корзин болтовни, мне следовало добавить, что она отдала их в рост, и их стало семьдесят семь.

- Милая сестрица, - сказала она в ночь тысяча вторую (здесь я verbatim [Дословно (лат.)] цитирую "Таклинетли"), - милая сестрица, - сказала она, - теперь, когда улажен неприятный вопрос с петлей, а ненавистная подать, к счастью, отменена, я чувствую за собой вину, ибо утаила от тебя и царя (который, к сожалению, храпит, чего не позволил бы себе ни один джентльмен) окончание истории Синдбада-морехода. Этот человек испытал еще множество других, более интересных приключений, кроме тех, о каких я поведала; но мне, по правде сказать, в ту ночь очень хотелось спать, и я поддалась искушению их сократить - весьма дурной поступок, который да простит мне Аллах. Но исправить мое упущение не поздно и сейчас; вот только ущипну пару раз царя и разбужу его хоть настолько, чтобы он прекратил этот ужасный храп, а тогда расскажу тебе (и ему, если ему будет угодно) продолжение этой весьма замечательной повести.

Сестра Шехерезады, по свидетельству "Таклинетли", не выказала при этих словах особого восторга; но царь после должного числа щипков перестал храпеть и произнес "гм!", а затем "х-хо!"; и тогда царица, поняв эти слова (несомненно, арабские) в том смысле, что он - весь внимание и постарается больше не храпеть, - царица, повторяю, уладив все это к своему удовольствию, тотчас же принялась досказывать историю Синдбада-морехода.

- "Под старость (таковы были слова Синдбада, переданные Шехерезадой), под старость, много лет проживши дома на покое, я вновь ощутил желание повидать чужие страны; однажды, не предупредив о своем намерении никого из домашних, я увязал в тюки кое-какие товары из тех, что подороже, а места занимают мало, и наняв для них носильщика, отправился вместе с ним на берег моря, чтобы дожидаться там какого-нибудь корабля, который доставил бы меня в края, где мне еще не удалось побывать.

Сложивши тюки на песок, мы сели в тени деревьев и стали глядеть на море, надеясь увидеть корабль, но в течение нескольких часов ничего не было видно. Наконец мне послышалось странное жужжание или гудение; носильщик, прислушавшись, подтвердил, что он также его слышит. Оно становилось все громче, и у нас не было сомнения, что издававший его предмет приближается к нам. Наконец мы увидели на горизонте темное пятнышко, которое быстро росло и скоро оказалось огромным чудищем, плывшим по морю, выставляя на поверхность большую часть туловища. Оно приближалось с невиданной быстротой, вздымая грудью пенные волны и освещая море далеко тянувшейся огненной полосой.

Когда оно приблизилось, мы смогли ясно его разглядеть. Длина его равнялась трем величайшим деревьям, а ширина была не меньше, чем у большой залы твоего дворца, о величайший и великодушнейший из калифов. Тело его, не похожее на тело обычных рыб, было твердым, как скала, и совершенно черным в той части, что виднелась над водою, не считая узкой кроваво-красной полосы, которой оно было опоясано. Брюхо его, скрытое под водой и видимое лишь по временам, когда чудище подымалось на волнах, было сплошь покрыто металлической чешуей, а цветом напоминало луну в тумане. Спина была плоской и почти белой, и из нее торчало шесть шипов длиною едва ли не в половину туловища.

Это ужасное существо, по-видимому, не имело рта; но словно в возмещение этого недостатка было снабжено, по крайней мере, восемьюдесятью глазами, вылезавшими из орбит, как у зеленых стрекоз, и расположенными вокруг всего тела в два ряда, один над другим, параллельно красной полосе, которая, видимо, заменяла брови. Два или три из этих страшных глаз были гораздо больше остальных и казались сделанными из чистого золота.

Хотя чудовище, как я уже сказал, приближалось к нам с огромной скоростью, оно, несомненно, двигалось с помощью волшебства - ибо не имело ни плавников, как рыба, ни перепончатых лап, как у утки, ни крыльев, как у раковины-кораблика, подгоняемой ветром; но и не извивалось, как это делает угорь. Голова и хвост были у него совершенно одинаковой формы; но возле этого последнего имелись два небольших отверстия, служивших ноздрями, через которые чудовище выдыхало с большой силой и неприятным пронзительным звуком.

Наш ужас при виде отвратительного создания был велик; но еще большим было наше изумление, когда, всмотревшись в него вблизи, мы заметили на его спине множество тварей, величиной и обликом похожих на людей, только вместо одежды, подобающей людям, облаченных (вероятно, от природы) в уродливые и неудобные оболочки, с виду матерчатые, но прилегающие так плотно к коже, что они придавали бедным созданиям потешный и неуклюжий вид и, видимо, причиняли сильную боль. На макушках у них были квадратные коробки, которые сперва показались мне тюрбанами, но я скоро заметил, что они крайние тяжелы и плотны, и заключил, что их назначение состоит в том, чтобы прочнее удерживать на плечах головы этих существ. Вокруг шеи у них были черные ошейники (несомненно, знаки рабства), какие мы надеваем на собак, только гораздо более широкие и жесткие, так что бедняги не могли повернуть головы, не поворачиваясь одновременно всем туловищем, и были обречены созерцать собственные носы, дивясь их необычайно курносой форме.

Когда чудовище почти вплотную приблизилось к берегу, где мы стояли, один из его глаз внезапно выставился вперед и изрыгнул сноп огня, сопровождавшийся густым облаком дыма и шумом, который можно сравнить лишь с раскатами грома. Едва дым рассеялся, мы увидели, что одна из диковинных человекоподобных тварей стоит подле головы чудища с большой трубой в руке, через которую, (приставив ее ко рту) она обратилась к нам, издавая громкие, резкие и неприятные звуки, которые мы приняли бы за слова, если бы они не исходили из носа.

На это обращение я не знал, как отвечать, ибо не понимал, что говорилось; в своей растерянности я обратился к носильщику, едва не лишившемуся чувств от страха, и спросил, какой породы, по его мнению, это чудовище и что за существа копошатся у него на спине. Носильщик, сотрясаясь от ужаса, пролепетал, что однажды уже слышал о таком морском звере, что это свирепый демон с горячей серой вместо внутренностей и огнем вместо крови, сотворенный злыми джиннами на мучение людям; а создания на его спине - паразиты, вроде тех, что иногда заводятся на собаках и кошках, только крупнее и злее; что они имеют свое

назначение, хотя и пагубное; ибо, кусая и жая чудовище, доводят его до бешенства, заставляющего его рычать и творить всяческое зло, осуществляя тем самым мстительный и коварный замысел злых джиннов.

Это объяснение побудило меня пуститься наутек; ни разу не оглянувшись, я со всех ног побежал к холмам; носильщик кинулся бежать с такой же быстротой, но в противоположную сторону, спасая мои тюки, которые он несомненно, сберег в целости, - этого, впрочем, я не могу утверждать, ибо не помню, чтобы с тех пор с ним встречался.

Что касается меня, то человекоподобные паразиты (которые высадились на берег в лодках) пустились за мною в погоню, и скоро я был схвачен, связан по рукам и ногам и доставлен на спину чудовища, немедленно отплывшего в море.

Теперь я горько раскаивался в безрассудстве, заставившем меня покинуть домашний очаг, чтобы подвергать свою жизнь подобным опасностям; но, так как сожаления были бесполезны, я решил не унывать и постарался снискать расположение человеко-животного, владевшего трубой, который, очевидно, имел какую-то власть над своими спутниками. Это мне настолько удалось, что спустя несколько дней оно уже оказывало мне различные знаки благосклонности, а затем даже взяло на себя труд обучать меня основам того, что в своем тщеславии считало языком, так что я смог свободно с ним объясняться и сообщить о своем пылком желании повидать свет.

"Уошиш скуошиш, скуик, Синдбад, хэй дидл дидл, грант знд грамбл, хисс, фисс, уисс", - сказал он мне однажды после обеда, - но прошу прощения! Я позабыл, что ваше величество незнакомы с наречием кок-неев (это нечто среднее между ржанием и кукареканием). С вашего позволения я переведу. "Уошиш скуошиш" и т. д., то есть: "Я рад, любезный Синдбад, что ты оказался отличным малым; мы сейчас совершаем, как это называется, кругосветное плавание, и раз уж тебе так хочется повидать свет, я, так и быть, бесплатно повезу тебя на спине чудовища".

Когда леди Шехерезада дошла до этого места, сообщает "Таклинетли", царь повернулся с левого бока на правый и промолвил:

- Поистине, весьма удивительно, дорогая царица, что ты опустила эти последние приключения Синдбада. Я, знаешь ли, нахожу их крайне занимательными и необычайными.

После того как царь высказал таким образом свое мнение, прекрасная Шехерезада вернулась к своему повествованию:

- Продолжая свой рассказ калифу, Синдбад сказал так: "Я поблагодарил человеко-животное за его доброту и скоро совершенно освоился на спине чудовища, с неимоверной быстротой плывшего по океану, хотя поверхность последнего в той части света отнюдь не плоская, но выпуклая, наподобие плода граната, так что мы все время плыли то в гору, то под гору".

- Это мне кажется очень странным, - прервал царь.

- Тем не менее это чистая правда, - ответила Шехерезада.

- Сомневаюсь, - возразил царь, - но прошу тебя, продолжай рассказ.

- Так я и сделаю, - сказала царица. - "Чудовище, - так продолжал Синдбад, обращаясь к калифу, - плыло, как я уже говорил, то вверх, то вниз, пока мы наконец не достигли острова, имевшего в окружности много сотен миль и, однако, выстроенного посреди моря колонией крошечных существ, вроде гусениц" [Коралловые полипы].

- Гм! - сказал царь.

- "Оставив позади этот остров, - продолжал Синдбад (ибо Шехерезада не обратила внимания на неучливое замечание супруга), - оставив позади этот остров, мы прибыли к другому, где деревья были из массивного камня, столь твердого, что о него вдребезги разбивались самые острые топоры, которыми мы пытались их срубить" [Одним из величайших природных чудес Техаса является окаменевший лес у истоков реки Пасиньо. Он состоит из нескольких сот стоящих стоймя деревьев, обратившихся в камень. Другие деревья, продолжающие расти, окаменели частично. Вот поразительный факт, который должен заставить естествоиспытателей изменить существующую теорию "окаменения". - Кеннеди.

Это сообщение, вначале встреченное недоверчиво, было впоследствии подтверждено открытием совершенно окаменевшего леса в верховьях реки Шайенн, или Шьенн, текущей с Черных холмов в Скалистых горах.

Едва ли существует на земле более удивительное зрелище как для геолога, и с точки зрения живописности, чем каменный лес вблизи Каира. Миновав гробницы калифов, сразу же за городскими воротами, путешественник направляется к югу, почти под прямым углом к дороге, идущей через пустыню Суэц, и, проделав несколько миль по бесплодной низменности, покрытой песком, галькой и морскими ракушками, влажными, точно их оставил вчерашний прилив, пересекает гряду низких песчаных холмов, которая некоторое время тянулась вдоль его пути. Предстоящее перед ним зрелище необыкновенно странно и уныло. На много миль вокруг простирается поваленный мертвый лес - бесчисленные обломки деревьев, ставших камнем и звенящих под копытами коня, как чугун. Дерево приобрело темно-бурый цвет, но полностью сохранило свою форму; обломки имеют в длину от одного до пятнадцати футов, а в толщину - от полуфута до трех; они лежат так тесно, что египетский ослик едва пробирается между ними, а выглядят так естественно, что в Шотландии или Ирландии местность могла бы сойти за огромное осушенное болото, где извлеченные наружу стволы гниют под солнцем. Корни и сучья часто вполне сохранились, а иногда можно различить даже отверстия, проточенные под корой червями. Сохранились тончайшие волокна заболони и строение сердцевины - их можно рассматривать при любом увеличении. И все это настолько окаменело, что способно царапать стекло и принимает какую угодно шлифовку. - "Азиатик мегезин".]

- Гм! - снова произнес царь, но Шехерезада, не обращая на него внимания, продолжала рассказ Синдбада.

- "Миновав и этот остров, мы достигли страны, где была пещера, уходившая на тридцать или сорок миль в глубь земли, а в - больше дворцов, и притом более обширных и великолепных, чем во всем Дамаске и Багдаде. С потолка этих дворцов свисали мириады драгоценностей, подобных алмазам, но размерами превышающих рост человека; а среди подземных улиц, образованных башнями, пирамидами и храмами, текли огромные реки, черные, как черное дерево, где обитали безглазые рыбы"[Мамонтова пещера в Кентукки].

- Гм! - сказал царь.

- "Затем мы попали в такую часть океана, где была высокая гора, по склонам которой струились потоки расплавленного металла, иные - двенадцати миль в ширину и шестидесяти миль в длину [В Исландии, в 1783 году.], а из бездонного отверстия на ее вершине вылетало столько пепла, что он совершенно затмил солнце и вокруг стало темнее, чем в самую темную полночь, так что даже на расстоянии полутора миль от горы нельзя было различить самых светлых предметов, как бы близко ни подносить их к глазам" ["В 1766 году, при извержении вулкана Гекла, подобные тучи настолько затемнили небо над Глаумбой, находящейся более чем в пятидесяти лье от вулкана, что жителям приходилось пробираться ощупью. В 1794 году, во время извержения Везувия, в Казерте, в четырех лье от него, можно было ходить только с факелами. Первого мая 1812 года туча вулканического пепла и песка, извергнутая вулканом на острове Св. Винченца, застлала весь остров Барбадос, и там настала такая тьма, что в полдень, под открытым небом, нельзя было различить ближайšie деревья и другие предметы и даже белый платок, на расстоянии шести дюймов от глаз". - Меррей, с. 215, Phil. edit.].

- Гм! - сказал царь.

- "Отплыв от этих берегов, чудовище продолжало свой путь, пока мы не прибыли в страну, где все было словно наоборот, - ибо мы увидели там большое озеро, на дне которого, более чем в ста футах от поверхности, зеленел роскошный лес" ["В 1790 году, во время землетрясения в Каракасе, гранитная подпочва осела и образовала озеро диаметром в восемьсот ярдов, а глубиной от восьмидесяти до ста футов. На этом месте находилась часть леса Арипао, и деревья в течение нескольких месяцев оставались зелеными под водой". - Меррей, с. 221.].

- Хо! - сказал царь.

- "Еще несколько сот миль пути, и мы очутились в таком климате, где в плотном воздухе держались железо и сталь, как у нас - пух" [Самая твердая сталь, какая была когда-либо изготовлена, с помощью паяльной трубки может быть превращена в неосязаемую пыль, способную легко держаться в атмосферном воздухе.].

- Враки! - сказал царь.

- "Плывя дальше в том же направлении, мы достигли прекраснейшей страны в целом свете. Там протекала красивая река длиною в несколько тысяч миль. Эта река была необыкновенно глубока и более прозрачна, чем янтарь. В ширину она имела от трех до шести миль, а на берегах, подымавшихся отвесно на высоту тысячи двухсот футов, росли вечноцветущие деревья и неувядаемые благоуханные цветы, превращавшие всю местность в сплошной роскошный сад; но эта цветущая страна звалась царством Ужаса и вступить в нее - значило неминуемо погибнуть" [Область Нигера. См. "Колониел мэгезин" Симмондса.].

- Гм! - сказал царь.

- "Мы поспешили покинуть этот край и спустя несколько дней прибыли в другой, где с изумлением увидели мириады чудовищ, имевших на голове рога, острые, как косы. Эти отвратительные существа роют в земле обширные логова в форме воронок и выкладывают их края камнями, размещенными один над другим так, что они обрушиваются, едва лишь на них наступит какое-нибудь другое животное, и оно попадает в логово чудовища, которое высасывает из него кровь, а труп с пренебрежением отбрасывает на огромное расстояние от этих пещер смерти [Mugteleon, иди муравьиный лев. Слово "чудовище" одинаково применимо как к большим аномалиям, так и к малым, а эпитет "обширный" является относительным.

Нора муравьиного льва обширна по сравнению с норкой обыкновенного рыжего муравья. А песчинка - это ведь тоже "камень".].

- Фу-ты! - сказал царь.

- "Продолжая наш путь, мы повидали край, изобилующий растениями, которые растут не на земле, а в воздухе [Epidendron, Flos Aeris из семейства Orchideae растет, прикрепившись только поверхностью корней к дереву или другому предмету, и не извлекает из него питательных веществ - питание ему доставляет исключительно воздух.]. Есть и такие, что растут на других растениях [Паразиты вроде удивительного Rafflesia Arnoldi.], или произрастают на тела живых существ [Шоу доказывает существование особой категории растений, растущих на теле животных, - Plantae Epizone. К ним относятся Fungi и Algae. Мистер Дж. Б. Вильяме из Салема, штат Массачусетс, подарил Национальному институту новозеландское насекомое, приложив следующее описание: "Notte, несомненно представляющее собой гусеницу или червя, находят у подножья дерева Rata, а из головы его прорастает росток. Это необыкновенное насекомое вползает на деревья Rata и Pupigi, проникает в дерево сверху и проедает его ствол, пока не добирается до корня; вылезши оттуда, оно умирает или погружается в спячку, а из его головы начинает расти росток; тело насекомого сохраняется полностью и становится тверже, чем оно было при жизни. Из этого насекомого туземцы готовят краску для татуировки".], или ярко светятся; [В шахтах и в естественных пещерах находят род тайнобрачного fungus (грибкового), испускающего сильное свечение.] есть такие, которые способны передвигаться куда захотят; [Орхидея, скабиоза и вадлиснерия.] а что еще удивительнее, мы обнаружили цветы, которые живут, дышат, произвольно двигают своими членами и вдобавок обладают отвратительной человеческой склонностью поработать другие существа и заключать их в мрачные одиночные темницы, пока те не выполнят заданную работу" ["Трубчатый венчик этого цветка (Aristolochia Clematitis), оканчивающийся вверху язычком, внизу расширяется в виде шарика. Трубчатая часть усеяна внутри жесткими волосками, направленными книзу. В шарообразном расширении находится пестик, состоящий только из завязи и рыльца, вместе с окружающими тычинками. Однако, поскольку тычинки короче завязи, пыльца с них не может попасть на рыльце, ибо цветок до опыления стоит вертикально. Таким образом без посторонней помощи пыльца попадала бы на дно цветка. В этом случае Природа предусмотрела помощь в виде Tipula Pennicornis, маленького насекомого, которое проникает в трубчатый венчик в поисках меда, спускается на дно и копошится там, пока не покроется пылью; не находя оттуда выхода вследствие расположения волосков, которые направлены книзу и сходятся подобно проволочкам мышеловки, насекомое мечется туда и сюда и тычется во все уголки, не раз проползая и по рыльцу, на котором оставляет достаточно пыли для опыления; а когда цветок клонится книзу, волоски прижимаются к стенкам венчика и позволяют насекомому легко выбраться наружу". -Преподобный П. Квит, "Система физиологической ботаники".].

- Пхе! - сказал царь.

- "Покинув эту страну, мы вскорости достигли другой, где пчелы и птицы являются столь гениальными и учеными математиками, что ежедневно преподают уроки геометрии самым ученым людям. Когда тамошний царь предложил награду за решение двух весьма трудных задач, они также были решены - одна пчелами, а другая птицами; но, поскольку царь держал их решение в тайне, математики лишь после многолетних трудов и исследований, составивших бесчисленное множество толстых томов, пришли наконец к тем же решениям, какие были немедленно даны пчелами и птицами" [Пчелы - с тех пор как существуют - строят свои ячейки с такими именно стенками, в таком именно количестве и под таким именно наклоном, которые,

как было доказано (путем весьма сложных математических выкладок), дают им наибольший простор, совместимый с максимальной прочностью их сооружения.

В конце прошлого столетия среди математиков возник замысел "определить наилучшую форму для крыльев ветряной мельницы, при любых возможных расстояниях от вращающихся лопастей, а также от центров вращения". Проблема эта крайне сложна, ибо требует нахождения наилучшего положения при бесконечном числе расстояний и бесконечном числе точек. Известнейшие математики много раз пробовали ее решить, а когда решение было найдено, люди обнаружили, что его можно найти в устройстве птичьих крыльев со времен первой птицы, поднявшейся в воздух.].

- О, бог ты мой! - сказал царь.

- "Едва скрылась из виду эта страна, как мы оказались вблизи другой, где с берега над нашими головами полетела стая птиц шириною в милю, а длиною в двести сорок миль; так что, хотя они летели со скоростью мили в минуту, потребовалось не менее четырех часов, чтобы над нами пролетела вся стая, в которой были миллионы миллионов птиц" [Он наблюдал стаю голубей, пролетающую между Франкфуртом и территорией Индианы, шириною не менее мили; перелет продолжался четыре часа, а это, при скорости одна миля в минуту, дает расстояние 240 миль; таким образом считая по три голубя на квадратный ярд, в стае было 2230272000 голубей. - Лейтенант Ф. Холл, "Путешествия по Канаде и Соединенным Штатам".].

- Черт те что! - сказал царь.

- "Не успели мы избавиться от этих птиц, которые доставили нам немало хлопот, как были напуганы появлением птицы иного рода, несравненно более крупной, чем даже птица Рух, встречавшаяся мне во время прежних путешествий; ибо она была больше самого большого из куполов над твоим сералем, о великодушнейший из калифов. У этой страшной птицы не было видно головы, а только одно брюхо, удивительно толстое и круглое, из чего-то мягкого, гладкого, блестящего, в разноцветные полосы. Чудовищная птица уносила в когтях в свое заоблачное гвездо целый дом, с которого она сорвала крышу и внутри которого мы явственно различили людей, очевидно в отчаянии ожидавших своей страшной участи. Мы кричали что было мочи, надеясь напугать птицу и заставить ее выпустить добычу, но она только запыхтела и зафыркала, точно разозлилась, и уронила нам на голову мешок, оказавшийся полным песку".

- Чепуха! - сказал царь.

- "Тотчас же после этого приключения мы достигли материка, который, несмотря на свою огромную протяженность и плотность, целиком покоился на спине небесно-голубой коровы, имевшей не менее четырехсот рогов" ["Земля покоится на корове голубого цвета, у которой четыреста рогов". - Коран в переводе Сейла.].

- Вот этому я верю, - сказал царь, - ибо читал нечто подобное в книге.

- "Мы прошли под этим материком (проплыв между ног коровы) и спустя несколько часов оказались в стране поистине удивительной, которая, по словам человеко-животного, была его роди-пой, населенной такими же, как он, созданиями. Это очень возвысило человеко-животное в моих глазах; и я даже устыдился презрительной фамильярности, с какою до тех пор с ним обращался, ибо обнаружил, что человеко-животные являются нацией могущественных волшебников; в мозгу у них водятся черви [Entozoa, или кишечных червей, нередко

обнаруживают в мышцах и в мозгу человека. - См.: Уайет, "Физиология", с. 143.] которые, извиваясь там, несомненно возбуждают усиленную работу мышления".

- Вздор! - сказал царь.

- "Эти волшебники приручили несколько весьма странных пород животных, например, лошадь с железными костями и кипящей водой вместо крови. Вместо овса она обычно питается черными камнями; но, несмотря на столь твердую пищу, обладает такой силой и резвостью, что может везти тяжести, превосходящие весом самый большой из здешних храмов, и притом со скоростью, какой не достигает в полете большинство птиц" [На Западной железной дороге, между Лондоном и Эксетером, достигнута скорость в 71 милю в час. Состав весом в 90 тонн примчался от вокзала Паддингтон в Дидкот (53 мили) за 51 минуту.].

- Чушь! - сказал царь.

- "Видел я также у этого народа курицу без перьев, но ростом больше верблюда; вместо мяса и костей у нее железо и кирпич; кровь ее, как и у лошади (которой она приходится сродни), состоит из кипящей воды; подобно ей, она питается одними лишь деревяшками или же черными камнями. Эта курица часто приносит в день по сотне цыплят, которые потом еще несколько недель остаются в утробе матери" [Escaleobion [Инкубатор].].

- Бредни! - сказал царь.

- "Один из этих могучих чародеев сотворил человека из меди, дерева и кожи, наделив его такой мудростью, что он может обыграть в шахматы кого угодно на свете, кроме великого калифа Гаруна-аль-Рашида [Автоматический игрок в шахматы Мельцеля.]. Другой чародей (из таких же материалов) создал существо, посрамившее даже своего гениального создателя; ибо разум его столь могуч, что за секунду оно производит вычисления, требующие труда пятидесяти тысяч человек в течение целого года [Счетная машина Бэббиджа.]. А еще более искусный волшебник создал нечто, не похожее ни на человека, ни на животное, но обладающее мозгом из свинца и какого-то черного вещества вроде дегтя, а также пальцами, действующими с невообразимой быстротой и ловкостью, так что оно без труда могло бы сделать за час целых двадцать тысяч списков Корана, и притом с такой безошибочной точностью, что ни один из них не отличался бы от другого даже на волосок. Это создание наделено таким могуществом, что единым дыханием возводит и свергает величайшие империи; но мощь его используется как во благо, так и во зло".

- Нелепость! - сказал царь.

- "Среди этого народа чародеев был один, в чьих жилах текла кровь саламандр; ибо он мог как ни в чем не бывало сидеть и покуривать свою трубку в раскаленной печи, пока там готовился его обед [Шабер, а после него сотня других.]. Другой обладал способностью превращать обыкновенные металлы в золото, даже не глядя на них [Электротипия.]. Третий имел столь тонкое осязание, что мог изготавливать проволоку, невидимую глазу [Волластон изготовил для телескопа платиновую проволоку толщиной в одну восемнадцатитысячную дюйма. Увидеть ее можно было только под микроскопом.]. Четвертый обладал такой быстротой соображения, что мог сосчитать все отдельные движения упругого тела, колеблющегося со скоростью девятисот миллионов раз в секунду" [Ньютон доказал, что под действием фиолетового луча спектра ретина глаза колеблется 900 000 000 раз в секунду.].

- Ерунда! - сказал царь.

- "Был и такой чародей, что с помощью флюида, которого еще никто не видел, мог по своей воле заставить трупы своих друзей размахивать руками, дрыгать ногами, драться и даже вставать и плясать [Вольтов столб.]. Другой настолько развил свой голос, что он был слышен из края в край земли [Электрический телеграф передает сообщение моментально, во всяком случае, для любого земного расстояния.]. У третьего была столь длинная рука, что, находясь в Дамаске, он мог написать письмо в Багдаде и вообще на любом расстоянии [Электротелеграфный печатающий аппарат.]. Четвертый повелевал молнией и мог призвать ее с небес, а призвав, забавлялся ею, точно игрушкой. Пятый брал два громких звука и творил из них тишину. Шестой из двух ярких лучей света извлекал густую тьму [Обычные в естественных науках опыты. Если два красных луча из двух источников света пропустить через темную камеру так, чтобы они падали на белую поверхность, а разница в их длине была 0,0000258 дюйма, их яркость удвоится. Так же будет, если разница в длине равна любому кратному этой дроби, представляющему собой целое число. Если эти кратные - $2\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{4}$ и т. п., получаем яркость одного луча; а кратные $2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$ и т. п. дают полную темноту. Для фиолетовых лучей мы имеем подобное явление при разнице длины в 0,000157 дюйма; те же результаты дают и все другие лучи спектра, причем разница в их длине равномерно возрастает от фиолетовых к красным.

Аналогичные опыты со звуками дают подобный же результат.]

Еще один изготовлял лед в раскаленной печи [Поместите платиновый тигель над спиртовкой и раскалите его докрасна; влейте туда серной кислоты, которая обладает чрезвычайной летучестью при обычных температурах, но в раскаленном тигле будет стойкой, и ни одна капля не испарится - ибо она окружена собственной атмосферой и не соприкасается со стенками сосуда. Если теперь добавить туда несколько капель воды, кислота немедленно войдет в соприкосновение с раскаленными стенками тигля и превратится в пары серной кислоты, притом так быстро, что одновременно уйдет и тепло воды, и на дно сосуда выпадет кусочек льда; а если поторопиться и не дать ему растаять, можно извлечь из раскаленного докрасна сосуда кусок льда.]. Еще один приказывал солнцу рисовать свой портрет, и солнце повиновалось [Дагерротип.]. Еще один брал это светило, а также луну и планету, взвешивал их с большой точностью, а затем исследовал их недра и определял плотность вещества, из которого они состоят. Впрочем, весь тамошний народ настолько искусен в волшебстве, что не только малые дети, но даже обычные кошки и собаки без труда видят предметы либо вовсе не существующие, либо такие, которые исчезли с лица земли за двадцать тысяч лет до появления самого этого народа" [Хотя скорость света составляет 200000 миль в секунду, расстояние до ближайшей, насколько мы знаем, из неподвижных звезд (Сириуса) так бесконечно велико, что его лучам требуется не менее трех лет, чтобы достичь Земли. Для более отдаленных звезд, по скромному подсчету, нужно 20 и даже 1000 лет. Таким образом, если они исчезли 20 или 1000 лет назад, они сейчас еще видны нам по свету, испускавшемуся их поверхностью 20 или 1000 лет назад. Что многие из тех звезд, которые мы ежедневно видим, уже угасли, возможно и даже более того - вероятно.

[Гершель-старший утверждает, что свет самой отдаленной туманности, видимой в его большой телескоп, доходит до Земли за 3000000 лет. В таком случае для некоторых звезд, ставших видимыми благодаря инструменту лорда Росса, это должно быть по меньшей мере 20000000 лет. (Примечание Грисволда.)]]

- Невероятно! - сказал царь.

- "Жены и дочери этих могущественных чародеев, - продолжала Шехерезада, ничуть не смущаясь многократными и весьма невежливыми замечаниями супруга, - жены и дочери этих великих магов обладают всеми талантами и прелестями и были бы совершенством, если бы не некоторые роковые заблуждения, от которых пока еще бессильно избавить их даже чудодейственное могущество их мужей и отцов. Заблуждения эти принимают то один вид, то другой, но то, о котором я говорю, постигло их в виде турнюра".

- Чего? - переспросил царь.

- Турнюра, - сказала Шехерезада. - "Один из злобных джиннов, вечно готовых творить зло, внушил этим изысканным дамам, будто то, что мы зовем телесной красотой, целиком помещается в некоей части тела, расположенной пониже спины. Идеал красоты, как они считают, прямо зависит от величины этой выпуклости; так как они вообразили это уже давно, а подушки в тех краях дешевы, там не помнят времен, когда можно было отличить женщину от дромадера..."

- Довольно! - сказал царь. - Я не желаю больше слушать и не стану. От твоего вранья у меня и так уже разболелась голова. Да и утро, как я вижу, уже наступает. Сколько бишь времени мы женаты? У меня опять проснулась совесть. Дромадер! Ты, кажется, считаешь меня ослом. Короче говоря, пора тебя удавить.

Эти слова, как я узнал из "Таклинетли", удивили и огорчили Шехерезаду; но, зная царя за человека добросовестного и неспособного нарушить слово, она покорилась своей участи, не сопротивляясь. Правда, пока на ней затягивали петлю, она обрела немалое утешение в мысли, что столько еще осталось нерассказанным и что ее раздражительный супруг наказал себя, лишившись возможности услышать еще много удивительного.

Золотой Жук

Перевод А. Старцев

Глядите! Хо!

Он пляшет, как безумный.

Тарантул укусил его...

"Все не правы"

Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избежать унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Сэлливановом острове, поблизости от Чарлстона в Южной Каролине.

Это очень странный остров. Он тянется в длину мили на три и состоит почти что из одного морского песка. Ширина его нигде не превышает четверти мили. От материка он отделен едва заметным проливом, вода в котором с трудом пробивает себе путь сквозь тину и густой камыш - убежище болотных курочек. Деревьев на острове мало, и растут они плохо. Настоящего дерева не встретишь совсем. На западной оконечности острова, где возвышается форт Моултри и стоит несколько жалких строений, заселенных в летние месяцы городскими жителями, спасающимися от лихорадки и чарлстонской пыли, - можно увидеть колючую карликовую пальму. Зато весь остров, если не считать этого мыса на западе и белой, твердой как камень, песчаной каймы на взморье, покрыт частой зарослью душистого мирта, столь высоко ценимого английскими садоводами. Кусты его достигают нередко пятнадцати - двадцати футов и образуют сплошную чашу, наполняющую воздух тяжким благоуханием и почти непроходимую для человека.

В сокровенных глубинах миртовой чащи, ближе к восточной, удаленной от материка оконечности острова, Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я, по воле случая, с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Многие в характере отшельника внушали интерес и уважение. Я увидел, что он отлично образован и наделен недюжинными способностями, но вместе с тем заражен мизантропией и страдает от болезненного состояния ума, впадая попеременно то в восторженность, то в угрюмость. У Леграна было немало книг, но он редко к ним обращался. Он предпочитал охотиться и ловить рыбу или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. Его коллекции насекомых позавидовал бы Сваммердам. В этих странствиях Леграна обычно сопровождал старый негр Юпитер. Он был отпущен на волю еще до разорения семьи; однако ни угрозами, ни посулами Юпитера нельзя было убедить, что он лишился неотъемлемого, как он полагал, права следовать повсюду за своим "масса Биллом". Возможно, впрочем, что родные Леграна, обеспокоенные его психической неуравновешенностью, поддерживали это упорство в Юпитере, чтобы не оставить беглеца без всякого попечения.

Зимы на широте Сэлливанова острова редко бывают очень суровыми, и в осеннее время почти никогда не приходится разводиться огонь в помещении. В средних числах октября 18... года выдался, однако, необычайно холодный день. Перед самым заходом солнца я пробрался сквозь вечнозеленые заросли к хижине моего друга, которого не видел уже несколько недель. Я жил в Чарлстоне, в девяти милях от острова, и удобства сообщения в те дни далеко отставали от нынешних. Добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в тайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивавшим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

Они пришли вскоре после наступления темноты и сердечно меня приветствовали. Юпитер, улыбаясь до ушей, стал хлопотать по хозяйству, приготовляя на ужин болотных курочек. У Леграна был очередной приступ восторженности - не знаю, как точнее именовать его состояние. Он нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее, и, что еще более радовало его, выследил и с помощью Юпитера поймал жука, неизвестного, по его словам, доселе науке. Он сказал, что завтра хочет услышать мое суждение об этом жуке.

- А почему не сегодня? - спросил я, потирая руки у огня и мысленно посылая к чертям всех жуков на свете.

- Если бы я знал, что вы здесь! - воскликнул Легран. - Но ведь мы так давно не виделись. Как я мог угадать, что именно сегодня вечером вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали лейтенанта Дж. из форта, и я но какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Переночуйте, и мы пошлем за ним Юпа, как только взойдет солнце. Это просто восторг.

- Что? Восход солнца?

- К черту солнце! Я - о жуке! Он ослепительно золотой, величиной с крупный лесной орех, и на спине у него три пятнышка, черных как смоль. Два круглых повыше и одно продолговатое книзу. А усики и голову...

- Где же там олово, масса Вилл, послушайте-ка меня, - вмешался Юпитер, - жук весь золотой, чистое золото, внутри и снаружи; только вот пятна на спинке. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.

- Допустим, что все это так, и жук из чистого золота, - сказал Легран, как мне показалось, более серьезным тоном, чем того требовали обстоятельства, - но почему же, Юп, мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? Действительно, жук таков, - продолжал он, обращаясь ко мне, - что я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск - в этом вы сами сможете завтра же убедиться. Пока что я покажу вам, каков он на вид.

Легран сел за столик, где было перо и чернильница. Бумаги не оказалось. Он поискал в ящике, но и там ничего не нашел.

- Не беда, - промолвил он наконец, - обойдусь этим. - Он вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он был этим занят, я продолжал греться; озноб мой еще не прошел. Легран закончил рисунок и протянул его мне, не поднимаясь со стула. В эту минуту послышался громкий лай и царапанье у входной двери. Юпитер распахнул ее, и огромный ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату и бурно меня приветствовал, положив свои лапы мне прямо на плечи; я подружился с ним еще в прежние посещения. Когда нес утих, я взглянул на бумагу, которую все это время держал в руке, и, по правде сказать, был немало озадачен рисунком моего друга.

- Что же, - сказал я, наглядевшись на него вдосталь, - это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка, никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах. Да что там походит... Форменный череп!

- Череп? - отозвался Легран. - Пожалуй, что так, в особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. Два черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли? А нижнее удлиненное пятнышко можно счесть за оскал черепа.

- Может быть, что и так, Легран, - сказал я ему, - но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами.

- Как вам угодно, - отозвался он с некоторой досадой, - но, по-моему, я рисую недурно, по крайней мере, я привык так считать. У меня были отличные учителя, и позволю себе заметить, чему-то я должен был у них научиться.

- В таком случае вы дурачите меня, милый друг, - сказал я ему. - Вы нарисовали довольно порядочный череп, готов допустить даже, хотя я и полный профан в остеологии, что вы нарисовали замечательный череп, и если ваш жук на самом деле похож на него, это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Я не сомневаюсь, что вы назовете его *Scarabaeus caput hominis* [Жук; здесь: человеческая голова (лат.)] или как-нибудь еще в этом роде; естественная история полна подобных наименований. Хорошо, а где же у него усики?

- Усики? - повторил Легран, которого наш спор почему-то привел в дурное расположение духа. - Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете.

- Не стоит волноваться, - сказал я, - может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. - И я отдал ему рисунок без дальнейших замечаний, не желая сердить его. Я был удивлен странным оборотом, который приняла эта история. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук как две капли воды походил на череп.

Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его.

Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова устался на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак, однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее тоже молчать; как видно, он погружался в свое угрюмое настроение. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Он как будто очнулся, но прежнее оживление уже не вернулось к нему. Он не был мрачен, но его мысли где-то блуждали. Рассеянность Леграна все возрастала, и мои попытки развлечь его не имели успеха. Я думал сперва заночевать в гостях, как бывало уже не раз, но, считаясь с настроением хозяина, решил вернуться домой. Легран меня не удерживал; однако, прощаясь, пожал мне руку сердечнее обыкновенного.

По прошествии месяца, в течение которого я не имел ни малейших сведений о Легране, меня посетил в Чарлстоне Юпитер. Я никогда не видел старого добряка-негра таким удрученным, и меня охватила тревога: уж не случилось ли чего с моим другом?

- Ну, Юп, - сказал я, - что там у вас? Как поживает твой господин?

- По чести говоря, масса, он нездоров.

- Нездоров? Ты пугаешь меня! На что он жалуется?

- В том-то и штука! Ни на что он не жалуется. Но он очень болен.

- Очень болен, Юпитер? Что же ты сразу мне не сказал? Лежит в постели?

- Где там лежит! Его и с собаками не догонишь! В том-то и горе! Ох, болит у меня душа! Бедный мой масса Вилл!..

- Юпитер, я хочу все-таки знать, в чем у вас дело. Ты сказал, что хозяин твой болен. Не говорил он тебе, что у него болит?

- Вы не сердчайте, масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот спрошу вас, почему масса Вилл ходит весь день, уставившись в землю, а сам белый, как гусь? И почему он все время считает?

- Что он делает?

- Считает да цифры пишет, таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю. А вчера проворонил, он убежал, солнце еще не вставало, и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет, да пожалел, старый дурак, уж очень он грустный вернулся...

- Как? Что? Отлупить его?.. Нет, Юпитер, не будь слишком суров с беднягой, не бей его, он этого не перенесет. Скажи лучше вот что: как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина или, вернее, этого странного поведения? Не приключилось ли с ним что дурное после того, как я приходил к вам?

- После того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось. В тот самый день приключилось.

- Что? О чем ты толкуешь?

- Известно, масса, о чем! О жуке!

- О чем?

- О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил масса Вилла в голову.

- Золотой жук укусил его? Эка напасть!

- Вот-вот, масса, очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука, бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Масса Вилл схватил его, да и выронил, тут же выронил, вот тогда жук, наверно, и укусил его. А мне морда этого жука не понравилась, и я сразу решил - голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги, да в бумагу и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул, вот что я сделал!

- Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук и это причина его болезни?

- Ничего я не думаю - точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве ему снилось бы золото? Я много кое-чего слышал про таких золотых жуков.

- А откуда ты знаешь, что ему снится золото?

- Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю.

- Хорошо, Юп, может быть, ты и прав. Ну а каким же счастливым обстоятельствам я обязан чести твоего сегодняшнего визита?

- О чем это вы толкуете, масса?

- Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна?

- Нет, масса. Но он приказал передать вам вот это. И Юпитер вручил мне записку следующего содержания:

"Дорогой N!

Почему вы совсем перестали бывать у нас? Неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очердную мою brusquerie? [Резкость (франц.).] Нет, это, конечно, не так.

За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как браться за это, да и рассказывать ли вообще.

Последние дни я был не совсем здоров, и старина Юп вконец извел меня своим непрошеным попечением. Вчера, представьте, он приготовил огромнейшую дубину, чтобы побить меня за то, что я ускользнул от него и прогулял весь день solus [Один (лат.).] в горах на материке. Кажется, только нездоровье спасло меня от неожиданной взбучки.

Со времени нашей встречи ничего нового в моей коллекции не прибавилось.

Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. Очень прошу вас. Мне нужно увидеться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело великой важности. Ваш, как всегда,

Вильям Легран".

Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так непохож на Леграна. Что взбрело ему в голову? Какая новая блажь завладела его необузданным воображением? Что за "дело великой важности" могло быть у него, у Леграна? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его несчастье надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать вместе с негром.

Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопаты, как видно, совсем новые.

- Это что, Юп? - спросил я.

- Коса и еще две лопаты, масса.

- Ты совершенно прав. Но откуда они взялись?

- Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег.

- Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему "масса Виллу" коса и лопаты?

- Зачем - я не знаю, и черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке!

Видя, что от Юпитера толку сейчас не добьешься и что все его мыслительные способности парализованы этим жуком, я вскочил в лодку и поднял парус. Сильный попутный ветер быстро пригнал нас в опоясанную скалами бухточку к северу от форта Моултри, откуда нам оставалось до хижины около двух миль. Мы пришли в три часа пополудни. Легран ожидал нас с видимым нетерпением. Здороваясь, он крепко стиснул мне руку, и эта нервическая горячность вновь пробудила и усилила мои недавние опасения. В лице Леграна сквозила какая-то мертвенная

бледность, запавшие глаза сверкали лихорадочным блеском. Осведомившись о его самочувствии и не зная, о чем еще говорить, я спросил, получил ли он от лейтенанта Дж. своего золотого жука.

- О да! - ответил он, заливаясь ярким румянцем. - На другое же утро! Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?

- В чем Юпитер был прав? - спросил я, и меня охватило горестное предчувствие.

- Жук - из чистого золота!

Он произнес эти слова с полной серьезностью. Я был глубоко потрясен.

- Этот жук принесет мне счастье, - продолжал Легран, торжествующе усмехаясь, - он вернет мне утраченное родовое богатство. Что ж удивительного, что я его так ценю? Он ниспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если только я правильно пойму его указания. Юпитер, пойдя принеси жука!

- Что? Жука, масса? Не буду я связываться с этим жуком. Несите его сами.

Легран поднялся с важным видом и вынул жука из застекленного ящика, где он хранил его.

Жук был действительно великолепен. В научной ценности находки Леграна не могло быть сомнений - натуралисты в то время еще не знали таких жуков. На спинке виднелись с одной стороны два черных округлых пятнышка, и ниже с другой еще одно, подлиннее. Надкрылья были удивительно твердыми и блестели действительно как полированное золото. Тяжесть жука была тоже весьма необычной. Учитывая все это, можно было не так уж строго судить Юпитера. Но как мог Легран разделять суждение Юпитера, оставалось для меня неразрешимой загадкой.

- Я послал за вами, - начал Легран торжественным тоном, когда я кончил осмотр, - я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли Судьбы и жука...

- Дорогой Легран, - воскликнул я, прерывая его, - вы совсем больны, вам надо лечиться. Ложитесь сейчас же в постель, и я побуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас лихорадит.

- Пощупайте мне пульс, - сказал он.

Я пощупал ему пульс и вынужден был признать, что никакой лихорадки у него не было.

- Бывают болезни и без лихорадки. Послушайтесь на этот раз моего совета. Прежде всего в постель. А затем...

- Вы заблуждаетесь, - прервал он меня. - Я совершенно здоров, но меня терзает волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.

- А как это сделать?

- Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы, и нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас там успех или же неудача, все равно это волнение во мне сразу утихнет.

- Я буду счастлив, если смогу быть полезным, - ответил я, - но, скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?

- Да!

- Если так, Легран, я отказываюсь принимать участие в вашей нелепой затее.

- Жаль! Очень жаль! Нам придется идти одним.

Идти одним! Он действительно сумасшедший!

- Погодите! Сколько времени вы намереваетесь пробыть там?

- Должно быть, всю ночь. Мы выйдем сию же минуту и к восходу солнца вернемся домой, что бы там ни было.

- А вы поклянетесь честью, что, когда ваша прихоть будет исполнена и вся эта затея с жуком (боже правый!) благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?

- Да. Обещаю. Скорее в путь! Время не ждет!

С тяжелым сердцем решил я сопровождать моего друга. Было около четырех часов дня, когда мы пустились в путь - Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер нес косу и лопаты; он настоял на этом не от избытка любезности или же прилежания, но, как я полагаю, из страха доверить эти орудия своему господину. Вид у него был преупрямый. "Чертов жук!" - вот единственное, что я услышал от него за все путешествие. Мне поручили два потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель. Когда я заметил это новое явное доказательство безумия моего друга, я с трудом удержался от слез. Тем не менее я пока решил ни в чем не перечить Леграну и ждать случая, когда я смогу предпринять какие-либо энергичные меры. Я попытался несколько раз завязать беседу о целях похода, но безуспешно. Уговорив меня идти вместе с ним и довольный этим, Легран, видимо, не хотел больше вести никаких разговоров, и на все мои расспросы отвечал односложно: "Увидим! "

Дойдя до мыса, мы сели в ялик и переправились на материк. Потом взобрались по высокому берегу и, взяв направление на северо-запад, углубились в дикий, пустынный край, где, казалось, никогда не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас вперед, лишь изредка останавливаясь и сверяясь с ориентирами, которые, видимо, заметил, посещая эти места до того.

Так мы шли часа два, и на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был род плато, раскинувшегося у подножья почти неприступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость.

Плоскогорье, по которому мы поднимались, сплошь поросло ежевикой. Вскоре стало ясно, что без косы нам сквозь заросли не пробраться. По приказу Леграна Юпитер стал выкашивать для нас тропинку к тюльпановому дереву необыкновенной высоты, которое стояло, окруженное десятком дубов, и далеко превосходило и эти дубы, и вообще все деревья, какие мне приходилось когда-либо видеть, раскидистой кроной, величавой красотой листвы и царственностью общих очертаний. Когда мы пришли наконец к цели, Легран обернулся к Юпитеру и спросил, сможет ли

он взобраться на это дерево. Старик был сперва озадачен вопросом и ничего не ответил. Потом, подойдя к лесному гиганту, он обошел ствол кругом, внимательно вглядываясь. Когда осмотр был закончен. Юпитер сказал просто:

- Да, масса! Еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться.

- Тогда не мешкай и лезь, потому что скоро станет темно и мы ничего не успеем сделать.

- Высоко залезть, масса? - спросил Юпитер.

- Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикну... Эй, погоди. Возьми и жука!

- Жука, масса Вилл? Золотого жука? - закричал негр, отшатываясь в испуге. - Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму.

- Слушай, Юпитер, если ты, здоровенный рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке, но если ты вовсе откажешься взять жука, мне придется, как это ни грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой.

- Совсем ни к чему шуметь, масса, - сказал Юпитер, как видно, пристыженный и ставший более сговорчивым. - Всегда вы браните старого негра. А я пошутил, и только! Что я, боюсь жука? Подумаешь, жук!

И, осторожно взявшись за самый конец шнура, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево.

Тюльпановое дерево, или *Liriodendron Tulipiferum*, - великолепнейшее из деревьев, произрастающих в американских лесах. В юном возрасте оно отличается необыкновенно гладким стволом и выгоняет ветви лишь на большой высоте. Однако, по мере того как оно стареет, кора на стволе становится неровной и узловатой, а вместе с тем появляются короткие сучья. Так что задача, стоявшая перед Юпитером, казалась невыполнимой только на первый взгляд. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая пальцами босых ног неровности коры для упора и раза два счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола и, видимо, считал свою миссию выполненной. Главная опасность действительно была позади, но Юпитер находился на высоте в шестьдесят или семьдесят футов.

- Куда мне лезть дальше, масса Вилл? - спросил он.

- По толстому суку вверх, вон с той стороны, - ответил Легран.

Негр тотчас повиновался, лезть было, должно быть, нетрудно. Он поднимался все выше, и скоро его коренастая фигура исчезла из виду, потерявшись в густой листве. Потом послышался голос как будто издалека:

- Сколько еще лезть?

- Где ты сейчас? - спросил Легран.

- Высоко, высоко! - ответил негр. - Вижу верхушку дерева, а дальше - небо.

- Поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я тебе скажу. Посмотри теперь вниз и сочти, сколько всего ветвей на суку, на который ты влез. Сколько ветвей ты миновал?

- Одна, две, три, четыре, пять. Подо мной пять ветвей, масса.

- Поднимись еще на одну.

Вскоре Юпитер заверил нас, что он добрался до седьмой ветви.

- А теперь, Юп, - закричал Легран, вне себя от волнения, - ты полезешь по этой ветви, пока она будет тебя держать! А найдешь что-нибудь, крикни.

Если у меня еще оставались какие-нибудь сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их не стало. Увы, он был сумасшедший! Следовало подумать о том, как доставить его домой. Пока я терялся в мыслях, опять послышался голос Юпитера:

- По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти вся сухая.

- Ты говоришь, что она сухая, Юпитер? - закричал Легран прерывающимся голосом.

- Да, масса, мертвая, готова для того света.

- Боже мой, что же делать? - воскликнул Легран, как видео, в отчаянии.

- Что делать? - откликнулся я, обрадованный, что наступил мой черед сказать свое слово. - Вернуться домой и сразу в постель. Будьте умницей, уже поздно, и к тому же вы мне обещали.

- Юпитер! - закричал он, не обращая на мои слова никакого внимания. - Ты слышишь меня?

- Слышу, масса Вилл, как не слышать?

- Возьми нож. Постругай эту ветвь. Может быть, она не очень гнилая.

- Она, конечно, гнилая, - ответил негр, немного спустя, - да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед. Но только один.

- Что это значит? Разве ты и так не один?

- Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит.

- Старый плут! - закричал Легран с видимым облегчением. - Не городи вздора! Если ты бросишь жука, я сверну тебе шею. Эй, Юпитер, ты слышишь меня?

- Как не слышать, масса? Нехорошо так ругать бедного негра.

- Так вот, послушай! Если ты проберешься еще немного вперед, осторожно, конечно, чтобы не грохнуться вниз, и если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар, сразу, как только ты спустишься.
- Хорошо, масса Вилл, лезу, - очень быстро ответил Юпитер, - а вот уже и конец.
- Конец ветви? - вскричал Легран. - Ты вправду мне говоришь, ты на конце ветви?
- Не совсем на конце, масса... Ой-ой-ой! Господи боже мой! Что это здесь на дереве?
- Ну? - крикнул Легран, очень довольный. - Что ты там видишь?
- Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо.
- Ты говоришь - череп?! Отлично! А как он там держится? Почему он не падает?
- А верно ведь, масса! Сейчас погляжу. Что за притча такая! Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем.
- Теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня?
- Слышу, масса.
- Слушай меня внимательно! Найди левый глаз у черепа.
- Угу! Да! А где же у черепа левый глаз, если он вовсе безглазый?
- Ох, какой ты болван, Юпитер! Знаешь ты, где у тебя правая рука и где левая?
- Знаю, как же не знать, левой рукой я колю дрова.

- Правильно. Ты левша. Так вот, левый глаз у тебя с той стороны, что и рука. Ну, сумеешь теперь отыскать левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз?

Юпитер долго молчал, потом он сказал:

- Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа? Но у черепа нет левой руки... Что ж, на нет и суда нет! Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать?

- Пропусти сквозь него жука и спусти его вниз, сколько хватит шнура. Только не урони.

- Пропустил, масса Вилл. Это самое плевое дело - пропустить жука через дырку. Смотрите-ка!

Во время этого диалога Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если б Юпитер сейчас отпустил шнурок, тот упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в девять - двенадцать футов, после чего он велел Юпитеру отпустить шнурок и слезать поскорее вниз.

Забив колышек точно в том месте, куда упал жук, мой друг вытащил из кармана землемерную ленту. Прикрепив ее за конец к стволу дерева, как раз напротив забитого колышка, он протянул ее прямо, до колышка, после чего, продолжая разматывать ленту и отступая назад, отмерил еще пятьдесят футов. Юпитер с косой в руках шел перед ним, срезая кусты ежевики. Дойдя до нужного места, Легран забил еще один колышек и, принимая его за центр, очистил круг диаметром примерно в четыре фута. Потом он дал по лопате мне и Юпитеру, сам взял лопату и приказал нам копать.

Откровенно скажу, я не питаю склонности к такого рода забавам даже при свете дня; теперь же спускалась ночь, а я и так изрядно устал от нашей прогулки. Всего охотнее я отказался бы. Но мне не хотелось противоречить моему бедному другу и тем усугублять его душевное беспокойство. Так что выхода не было. Если бы я мог рассчитывать на помощь Юпитера, то, ничуть не колеблясь, применил бы сейчас силу и увел бы безумца домой. Но я слишком хорошо знал старого негра и понимал, что ни при каких обстоятельствах он не поддержит меня против своего господина. Что до Леграна, мне стало теперь ясно, что он заразился столь обычной у нас на Юге манией кладоискательства и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой

жука и еще, наверное, упрямством Юпитера, затвердившего, что найденный жук - "из чистого золота".

Подобные мании могут легко подтолкнуть к помешательству неустойчивый разум, особенно если они находят себе пищу в тайных стремлениях души. Я вспомнил слова моего бедного друга о том, что жук вернет ему родовое богатство. Я был раздосадован и вместе с тем глубоко огорчен. В конце концов я решил проявить добрую волю (поскольку не видел иного выхода) и принять участие в поисках клада, чтобы быстрее и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его замысла.

Мы зажгли фонари и принялись рыть с усердием, которое заслуживало лучшего применения. Свет струился по нашим лицам, и я подумал, что мы втроем образуем весьма живописную группу и что случайный путник, который наткнется на нас, должен будет преисполниться странных мыслей и подозрений.

Так мы копали не менее двух часов. Мы сохраняли молчание, и нас смущал только лай собаки, которая выказывала необычайный интерес к нашей работе. Этот лай становился все более настойчивым, и мы начали опасаться, как бы он не привлек какого-нибудь бродягу, расположившегося по соседству на отдых. Точнее, боялся Легран; я был бы только доволен, если бы смог при содействии постороннего человека вернуть домой моего путешественника. Разбушевавшегося пса утихомирил Юпитер, проявив при этом немалую изобретательность. Он вылез из ямы с решительным видом и стянул ему пасть своими подтяжками, после чего, хмуро посмеиваясь, снова взялся за лопату.

После двухчасовых трудов мы вырыли яму глубиной в пять футов, однако никаких признаков клада не было видно. Мы приостановились, и я стал надеяться, что комедия подходит к концу. Однако Легран, хотя и расстроенный, как я мог заметить, отер пот со лба и снова взялся за работу. Яма уже имела четыре фута в диаметре и занимала всю площадь очерченного Леграном круга. Теперь мы расширили этот круг, потом углубили яму еще на два фута. Результаты остались все теми же. Мой золотоискатель, которого мне было жаль от души, наконец вылез из ямы и принялся медленно и неохотно натягивать свой сюртук, который сбросил перед началом работы. В каждой черточке его лица сквозило горькое разочарование. Я молчал, Юпитер по знаку своего господина стал собирать инструменты. Потом он снял с собаки свой самодельный намордник, и мы двинулись в путь, домой, не произнеся ни слова.

Не успели пройти мы и десятка шагов, как Легран с громким проклятием повернулся к негру и крепко схватил его за ворот. Пораженный Юпитер разинул рот, выпучил глаза и, уронив лопаты, упал на колени.

- Каналья, - с трудом промолвил Легран сквозь сжатые зубы, - проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай без уверток, где у тебя левый глаз?

- Помилуй бог, масса Вилл, вот у меня левый глаз, вот он! - ревел перепуганный Юпитер, кладя руку на правый глаз и прижимая его изо всей мочи, словно страшась, что его господин вырвет ему этот глаз.

- Так я и думал! Я знал! Ура! - закричал Легран отпуская негра. Он исполнил несколько сложных танцевальных фигур, поразивших его слугу, который, поднявшись на ноги и словно окаменев, переводил взгляд с хозяина на меня и с меня опять на хозяина.

- За дело! - сказал Легран. - Вернемся! Мы еще выиграем эту игру! - И он повел нас обратно к тюльпановому дереву.

- Ну, Юпитер, - сказал Легран, когда мы снова стояли втроем у подножья дерева, - говори: как был прибит этот череп к ветке, лицом или наружу?

- Наружу, масса, так чтоб вороны могли клевать глаза без хлопот.

- Теперь говори мне, в какой ты глаз опустил жука - в тот или этот? - И Легран тронул пальцем сперва один глаз Юпитера и потом другой.

- В этот самый, масса, в левый, как вы велели! - Юпитер указывал пальцем на правый глаз.

- Отлично, начнем все сначала!

С этими словами мой друг, в безумии которого, как мне показалось, появилась теперь некоторая система, вытащил кольцо, вбитый им ранее на месте падения жука, и переставил его на три дюйма к западу. Снова связав землемерной лентой кольцо со стволом дерева, он отмерил еще пятьдесят футов до новой точки, отстоявшей от нашей ямы на несколько ярдов.

Мы очертили еще раз круг, несколько большего диаметра, чем предыдущий, и снова взялись за лопаты.

Я смертельно устал, но хотя и сам еще не отдавал себе в том отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес, более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план, и это, вероятно, оказало на меня свое действие. Продолжая усердно копать, я ловил себя несколько раз на том, что и сам со вниманием гляжу себе под ноги, в яму, словно тоже ищу на дне ее мифическое сокровище, мечта о котором свела с ума моего бедного друга. Мы трудились уже часа полтора, и эти странные прихоти мысли овладевали мной все настойчивее, когда нас опять всполошил отчаянный лай нашего пса. Если раньше он лаял из озорства или же из каприза, то теперь его беспокойство было нешуточным. Он не дался Юпитеру, когда тот опять хотел напялить ему намордник, и, прыгнув в яму, стал яростно разгребать лапами землю. Через пять-шесть секунд он отрыл два человеческих скелета, а вернее, груды костей, перемешанных с обрывками полуистлевшей шерстяной материи и металлическими пуговицами. Еще два удара лопатой - и мы увидели широкое лезвие испанского ножа и несколько монет, золотых и серебряных.

При виде монет Юпитер предался необузданной радости, но на лице его господина выразилось сильнейшее разочарование. Он умолял нас, однако, не прекращать работу. Не успел он вымолвить эту просьбу, как я оступился и тут же упал ничком, зацепившись ногой за большое железное кольцо, прикрытое рыхлой землей.

Теперь работа пошла уже не на шутку. Лихорадочное напряжение, испытанное за эти десять минут, я не решусь сравнить ни с чем в своей жизни. Мы отрыли продолговатый деревянный сундук, прекрасно сохранившийся. Необыкновенная твердость досок, из которых он был сколочен, наводила на мысль, что дерево подверглось химической обработке, вероятно, было пропитано двухлористой ртутью. Сундук был длиною в три с половиной фута, шириной в три фута и высотой - в два с половиной. Он был надежно окован железными полосами и обит заклепками. Перекрещиваясь, железные полосы покрывали сундук, образуя как бы решетку. С боков сундука под самую крышку было ввинчено по три железных кольца, всего шесть колец, так что за него могли взяться разом шесть человек. Взавшись втроем, мы сумели только что сдвинуть сундук с места. Стало ясно, что унести такой груз нам не под силу. По счастью, крышка держалась лишь на двух выдвижных болтах. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто ослеплены.

Чувства, с которыми я взирал на сокровища, не передать словами. Прежде всего я, конечно, был изумлен. Легран, казалось, изнемогал от волнения и почти не разговаривал с нами. Лицо Юпитера на минуту стало смертельно бледным, если можно говорить о бледности применительно к черноте негра. Он был словно поражен громом. Потом он упал на колени и, погрузив по локоть в сокровища свои голые руки, блаженно застыл в этой позе, словно был в теплой ванне. Наконец, глубоко вздохнув, он произнес примерно такую речь:

- И все это сделал золотой жук! Милый золотой жук, бедный золотой жучок. А я-то его обижал, я бранил его! И не стыдно тебе, старый негр? Отвечай!..

Я оказался вынужденным призвать их обоих - и слугу и господина - к порядку; нужно было забрать сокровище. Спускалась ночь, до рассвета нам предстояло доставить его домой. Мы не знали, как взяться за дело, голова шла кругом, и много времени ушло на раздумья. Наконец мы извлекли из сундука две трети его содержимого, после чего, тоже не без труда, вытащили сундук из ямы. Вынутые сокровища мы спрятали в ежевичных кустах и оставили под охраной нашего пса, которому Юпитер строго-настроено приказал ни под каким видом не двигаться с места и не разевать пасти до нашего возвращения. Затем мы подняли сундук и поспешно двинулись в путь. Дорога была нелегкой, но к часу ночи мы благополучно пришли домой. Слишком измученные, чтобы идти обратно, - ведь и человеческая выносливость имеет предел, - мы закусили и дали себе отдых до двух часов; после чего, захватив три больших мешка, отыскавшихся, к нашему счастью, тут же на месте, мы поспешили назад. Около четырех часов, - ночь уже шла на убыль, - мы подошли к тюльпановому дереву, разделили остатки добычи на три примерно равные части, бросили ямы как есть, незасыпанными, снова пустились в путь и сложили драгоценную ношу в хижине у Леграна, когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкою леса.

Мы изнемогали от тяжелой усталости, но внутреннее волнение не оставляло нас. Проспав три-четыре часа беспокойным сном, мы, словно уговорившись заранее, поднялись и стали рассматривать наши сокровища.

Сундук был наполнен до самых краев, и мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Видно было, что их бросали в сундук не глядя. После тщательной разборки выяснилось, что доставшееся нам богатство даже значительнее, чем нам показалось с первого взгляда. Одних золотых монет, исчисляя стоимость золота по тогдашнему курсу, было не менее чем на четыреста пятьдесят тысяч долларов. Серебра там не было вовсе, одно только золото, иностранного происхождения и старинной чеканки - французское, испанское и немецкое, несколько английских гиней и еще какие-то монеты, нам совсем неизвестные. Попадались тяжелые большие монеты, стертые до того, что нельзя было прочитать на них надписи. Американских не было ни одной. Определить стоимость драгоценностей было труднее. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Всего было сто десять бриллиантов, и среди них ни одного мелкого. Мы нашли восемнадцать рубинов удивительного блеска, триста десять превосходных изумрудов, двадцать один сапфир и один опал. Все камни были, как видно, вынуты из оправ и брошены в сундук небрежной рукой. Оправы же, перемешанные с другими золотыми вещами, были сплюснены молотком, видимо, для того, чтобы нельзя было опознать драгоценности. Кроме того, что я перечислил, в сундуке было множество золотых украшений, около двухсот массивных колец и серег; золотые цепочки, всего тридцать штук, если не ошибаюсь; восемьдесят три тяжелых больших распятия; пять золотых кадильниц огромной ценности; большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурами искусной ювелирной работы; две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких вещей, которые я не в силах сейчас припомнить. Общий вес драгоценностей превышал триста пятьдесят английских фунтов. Я уж не говорю о

часах, их было сто девяносто семь штук, и трое из них стоили не менее чем по пятьсот долларов. Часы были старинной системы, и ржавчина разрушила механизмы, но украшенные драгоценными камнями золотые крышки были в сохранности. В эту ночь мы оценили содержимое нашего сундука в полтора миллиона долларов. В дальнейшем, когда мы продали драгоценные камни и золотые изделия (некоторые безделушки мы сохранили на память), оказалось, что наша оценка клада была слишком скромной.

Когда наконец мы завершили осмотр и владевшее нами необычайное волнение чуть-чуть поутихло, Легран, который видел, что я сгораю от нетерпения и жажду получить разгадку этой поразительной тайны, принялся за рассказ, не упуская ни малейшей подробности.

- Вы помните, - сказал он, - тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука. Вспомните также, как я был раздосадован, когда вы сказали, что мой рисунок походит на череп. Вначале я думал, что вы просто шутите; потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спинке жука, и решил, что ваше замечание не столь уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня - я считаю недурным рисовальщиком. Потому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылил и хотел скомкать его и швырнуть в огонь.

- Клочок бумаги, вы хотите сказать, - заметил я.

- Нет! Я сам так думал вначале, но как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий-претонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязен. Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал вам жука. В первую минуту я растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мною рисунок не был похож на тот, который я увидел сейчас, хотя в их общих чертах и можно было усмотреть нечто сходное. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать пергамент более тщательно. Перевернув его, я тотчас нашел свой рисунок, совершенно такой, каким он вышел из-под моего пера. Близость этих изображений на двух сторонах пергамента была поистине странной. На обороте пергамента, в точности под моим рисунком жука, был нарисован череп, который напоминал моего жука и размером и очертаниями! Невероятное совпадение на минуту ошеломило меня. Это обычное следствие такого рода случайностей. Рассудок силится установить причинную связь явлений и, потерпев неудачу, оказывается на время как бы парализованным. Когда я пришел в себя, меня осенила вдруг мысль, которая была еще удивительнее, чем то совпадение, о котором я говорю. Я совершенно ясно, отчетливо помнил, что, когда я рисовал своего жука, на пергаменте не было никакого другого рисунка. Я был в этом совершенно уверен потому, что, отыскивая для рисунка местечко почище, поворачивал пергамент то одной, то другой стороной. Если бы череп там был, я бы, конечно, его заметил. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить. Впрочем, скажу вам, уже тогда, в этот первый момент, где-то в далеких тайниках моего мозга чуть мерцало, подобное светлячку, то предчувствие, которое столь блистательно подтвердила вчера наша ночная прогулка. Я встал, спрятал пергамент в укромное место и отложил все дальнейшие размышления до того, как останусь один.

Когда вы ушли и Юпитер крепко уснул, я приступил к более методическому исследованию стоявшей передо мною задачи. Прежде всего я постарался восстановить обстоятельства, при которых пергамент попал ко мне в руки. Мы нашли жука на материке, в миле к востоку от острова и поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу выронил. Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать листок или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту же минуту иония, одновременно, увидели этот пергамент; мне показалось тогда, что это бумага. Пергамент лежал полузасытый в песке, только один уголок его торчал на поверхности. Поблизости я заметил остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки почти ничего не осталось.

Итак, Юпитер поднял пергамент, завернул в него золотого жука и передал его мне. Вскоре мы собрались домой. По дороге мы встретили лейтенанта Дж., я показал ему нашу находку, и он попросил у меня позволения взять жука с собой в форт. Я согласился, он быстро сунул жука в жилетный карман, оставив пергамент мне. Лейтенант поспешил воспользоваться моим разрешением и спрятал жука, быть может, боясь, что я передумаю; вы ведь знаете, как горячо он относится ко всему, что связано с естествознанием. Я, в свою очередь, сунул пергамент в карман совсем машинально.

Вы помните, когда я подсел к столу, чтобы нарисовать жука, у меня не оказалось бумаги. Я заглянул в ящик, но и там ничего не нашел. Я стал рыться в карманах, рассчитывая отыскать какой-нибудь старый конверт, и нащупал пергамент. Я описываю с наивозможнейшей точностью, как пергамент попал ко мне: эти обстоятельства имеют большое значение.

Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую связь событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шлюпка, неподалеку от шлюпки пергамент - не бумага, заметьте, пергамент, на котором был нарисован череп. Вы, конечно, спросите, где же здесь связь? Я отвечу, что череп - всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа.

Итак, я уже сказал, то была не бумага, пергамент. Пергамент сохраняется очень долго, то, что называется вечно. Его редко используют для ординарных записей уже потому, что писать или рисовать на бумаге гораздо легче. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. Я обратил внимание и на формат пергамента. Один уголок листа был по какой-то причине оборван, но первоначально пергамент был удлиненным. Это был лист пергамента, предназначенный для памятной записи, которую следует тщательно, долго хранить.

- Все это так, - прервал я Леграна, - но вы ведь сами сказали, что, когда рисовали жука на пергаменте, там не было черепа. Как же вы утверждаете, что существует некая связь между шляпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован (один только бог знает кем!) уже после того, как вы нарисовали жука?

- А! Здесь-то и начинается тайна. Хотя должен сказать, что разгадка ее в этой части не составила для меня большого труда. Я не давал своим мыслям сбиться с пути, логика же допускала только одно решение. Рассуждал я примерно так. Когда я стал рисовать жука, на пергаменте не было никаких признаков черепа. Я кончил рисунок, передал его вам и пристально за вами следил, пока вы мне не вернули пергамент. Следовательно, не вы нарисовали там череп. Однако помимо вас нарисовать его было некому. Значит, череп вообще нарисован не был. Откуда же он взялся?

Тут я постарался припомнить с полной отчетливостью решительно все, что случилось в тот вечер. Стояла холодная погода (о, редкий, счастливый случай!), в камине пылал огонь. Я разогрелся от быстрой ходьбы и присел у стола. Ну а вы пододвинули свое кресло еще ближе к камину. В ту же минуту, как я передал вам пергамент и вы стали его разглядывать, вбежал Волк, наш ньюфаундленд, и бросился вас обнимать. Лево́й рукой вы гладили пса, стараясь его отстранить, а правую руку с пергаментом опустили между колен, совсем близко к огню. Я побоялся даже, как бы пергамент не вспыхнул, и хотел уже вам об этом сказать, но не успел, потому что вы тут же подняли руку и стали снова его разглядывать. Когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте под влиянием тепла.

Вы, конечно, слышали, что с давних времен существуют химические составы, при посредстве которых можно тайно писать и на бумаге и на пергаменте. Запись становится видимой под влиянием тепла. Растворите цафру в "царской водке" и разведите потом в четырехкратном объеме воды, чернила будут зелеными. Растворите кобальтовый королек в нашатырном спирте - они будут красными. Ваша запись вскоре исчезнет, но появится вновь, если вы прогреете бумагу или пергамент вторично.

Я стал тщательно рассматривать изображение черепа на пергаменте. Наружный контур рисунка - я имею в виду очертания его, близкие к краю пергамента, - выделялся отчетливее. Значит, действие тепла было либо малым, либо неравномерным. Я тотчас разжег огонь и стал нагревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно; когда же я продолжил свой опыт, то по диагонали от черепа в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок.

- Ха-ха-ха! - рассмеялся я. - Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами, полтора миллиона долларов не тема для шуток, но прибавить еще звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместны. Пираты не занимаются скотоводством; это - прерогатива фермеров.

- Но я же сказал вам, что это была не коза.

- Не коза, так козленок, не вижу большой разницы.

- Большой я тоже не вижу, но разница есть, - ответил Легран, - сопоставьте два слова kid (козленок) и Kidd! Доводилось ли вам читать или слышать о капитане Кидде? Я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунка в ребусе. "Подпись" я говорю потому, что козленок был нарисован на нашем пергаменте именно в том самом месте, где ставится подпись. А изображение черепа в противоположном по диагонали углу, в свою очередь, наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескураживало отсутствие главного - текста моего воображаемого документа.

- Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо?

- Да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладевало непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Это было, быть может, не столько предчувствие, сколько самовнушение. Представьте, глупая шутка Юпитера, что жук - из чистого золота, сильно подействовала на меня. К тому же эта удивительная цепь случайностей и совпадений!.. Ведь все события пришлось на тот самый день, выпадающий, может быть, раз в году, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда не узнал бы о черепае и никогда не стал бы владельцем сокровищ.

- Хорошо, что же дальше?

- Вы, конечно, знаете, что есть множество смутных преданий о кладах, зарытых Киддом и его сообщниками где-то на атлантическом побережье. В основе этих преданий, конечно, лежат факты. Предания живут с давних пор и не теряют своей живучести; на мой взгляд, это значит, что клад до сих пор не найден. Если бы Кидд сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, едва ли предания дошли бы до нас все в той же устойчивой форме. Заметьте, предания рассказывают лишь о поисках клада, о находке в них нет ни слова. Но если бы пират отрыл сокровище, толки о нем затихли бы. Мне всегда казалось, что какая-нибудь случайность, скажем, потеря карты, где было обозначено местонахождение клада, помешало Кидду найти его и забрать. О несчастье Кидда разведали другие пираты, без того никогда не узнавшие бы о зарытом сокровище, и их бесплодные поиски, предпринятые наудачу, и породили все эти предания и толки, которые разошлись по свету и дожили до нашего времени. Доводилось вам слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад?

- Нет, никогда.

- А ведь всякий знает, что Кидд владел несметным богатством. Итак, я сделал вывод, что клад остался в земле. Не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничившая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу Кидда.

- Что вы предприняли дальше?

- Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешают грязь, наросшая на пергаменте. Я осторожно обмыл его теплой водой. Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил сковороду на уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. Я снова положил пергамент на сковороду и подержал еще над огнем. Тут надпись выступила вся целиком - сейчас я вам покажу.

Легран разогрел пергамент и дал его мне. Между черепом и козленком, грубо начертанные чем-то красным, стояли такие знаки:

53##+305))6*;4826)4#.)4#);806*;48+8||60))85;;]8*;;#*8+83(88)5*
+;46(;88*96*?;8)*#(;485);5*+2:*#(;4956*2(5*=4)8||8*;4069285);)
6+8)4##;1#9;48081;8:8#1;48+85;4)485+528806*81(#9;48;(88;4(#?34 ;48)4#;161;;188;#?;

- Что ж! - сказал я, возвращая Леграну пергамент, - меня это не подвинуло бы ни на шаг. За все алмазы Голконды я не возьмусь решать подобную головоломку.

- И все же, - сказал Легран, - она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, - шифр; иными словами, они скрывают словесную запись. Кидд, насколько мы можем о нем судить, не сумел бы составить истинно сложную криптограмму. И я сразу решил, что передо мной примитивный шифр, но притом такой, который незатейливой фантазии моряка должен был показаться совершенно непостижимым.

- И что же, вы сумели найти решение?

- С легкостью! В моей практике встречались шифры в тысячу раз сложнее. Я стал заниматься подобными головоломками благодаря обстоятельствам моей жизни и особым природным склонностям и пришел к заключению, что едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, которую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Прямо скажу, если текст зашифрован без грубых ошибок и документ в приличной сохранности, я больше ни в чем не нуждаюсь; последующие трудности для меня просто не существуют.

Прежде всего, как всегда в этих случаях, возникает вопрос о языке криптограммы. Принцип решения (в особенности это относится к шифрам простейшего типа) в значительной мере зависит от языка. Выяснить этот вопрос можно только одним путем, испытывая один язык за другим и постепенно их исключая, пока не найдешь решение. С нашим пергаментом такой трудности не было; подпись давала разгадку. Игра словами kid и Kidd возможна лишь по-английски. Если б не это, я начал бы поиски с других языков. Пират испанских морей скорее всего избрал бы для тайной записи французский или испанский язык. Но я уже знал, что криптограмма написана по-английски.

Как видите, текст криптограммы идет в сплошную строку. Задача была бы намного проще, если б отдельные слова были выделены просветами. Я начал тогда бы с анализа и сличения более коротких слов, и как только нашел слово из одной буквы (например, местоимение я или союз и), счел бы задачу решенной. Но просветов в строке не было, и я принялся подсчитывать однотипные знаки, чтобы узнать, какие из них чаще, какие реже встречаются в криптограмме. Закончив подсчет, я составил такую таблицу:

Знак 8 встречается 34 раза

знак ; встречается 27 раз

знак 4 встречается 19 раз

знак) встречается 16 раз

знак # встречается 15 раз

знак * встречается 14 раз

знак 5 встречается 12 раз

знак 6 встречается 11 раз

знак + встречается 8 раз

знак 1 встречается 7 раз

знак 0 встречается 6 раз

знак 9 и 2 встречается 5 раз

знак : и 3 встречается 4 раза

знак ? встречается 3 раза

знак || встречается 2 раза

знак = и] встречается 1 раз.

В английской письменной речи самая частая буква - e. Далее идут в нисходящем порядке a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, y, c, f, g, l, m, w, b, k, p, q, x, z. Буква e, однако, настолько часто встречается, что трудно построить фразу, в которой она не занимала бы господствующего положения.

Итак, уже сразу у нас в руках путеводная нить. Составленная таблица, вообще говоря, может быть очень полезна, но в данном случае она нам понадобится лишь в начале работы. Поскольку знак 8 встречается в криптограмме чаще других, мы примем его за букву e английского алфавита. Для проверки нашей гипотезы взглянем, встречается ли этот знак дважды подряд, потому что в английском, как вам известно, буква e очень часто удваивается, например в словах meet или fleet, speed или seed, seen, been, agree и так далее. Хотя криптограмма невелика, знак 8 стоит в нем дважды подряд не менее пяти раз.

Итак, будем считать, что 8 - это e. Самое частое слово в английском - определенный артикль the. Посмотрим, не повторяется ли у нас сочетание из трех знаков, расположенных в той же последовательности, и оканчивающееся знаком 8. Если такое найдется, это будет, по всей вероятности, определенный артикль. Приглядевшись, находим не менее семи раз сочетание из трех знаков ;48. Итак, мы имеем право предположить, что знак ; - это буква t, а 4 - h; вместе с тем подтверждается, что 8 действительно e. Мы сделали важный шаг вперед.

То, что мы расшифровали целое слово, потому так существенно, что позволяет найти границы других слов. Для примера возьмем предпоследнее из сочетаний этого рода ;48. Идущий сразу за 8 знак ; будет, как видно, начальной буквой нового слова. Выписываем, начиная с него, шесть знаков подряд. Только один из них нам незнаком. Обозначим теперь знаки буквами и оставим свободное место для неизвестного знака: t.eeth

Ни одно слово, начинающееся на t и состоящее из шести букв, не имеет в английском языке окончания th, в этом легко убедиться, подставляя на свободное место все буквы по очереди. Потому мы отбрасываем две последние буквы как посторонние и получаем: t.ee

Для заполнения свободного места можно снова взяться за алфавит. Единственным верным прочтением этого слова будет: tree (дерево).

Итак, мы узнали еще одну букву - г, она обозначена знаком (, и мы можем теперь прочитать два слова подряд: the tree

Немного дальше находим уже знакомое нам сочетание ;48. Примем его опять за границу нового слова и выпишем целый отрывок, начиная с двух расшифрованных нами слов. Получаем такую запись: the tree ;4(#?34 the

Заменим уже известные знаки буквами: the tree thr # ? 3h the

А неизвестные знаки точками: the tree thr...h the

Нет никакого сомнения, что неясное слово - through (через). Это открытие дает нам еще три буквы - о, и и г, обозначенные в криптограмме знаками # ? и 3.

Внимательно вглядываясь в криптограмму, находим вблизи от ее начала группу знакомых нам знаков: 83(88

которое читается так: egree. Это, конечно, слово degree (градус) без первой буквы. Теперь мы знаем, что буква d обозначена знаком +.

Вслед за словом degree, через четыре знака, встречаем такую группу: ;46(;88*

Заменим, как уже делали раз, известные знаки буквами, а неизвестные точками: th.rtee.

Сомнения нет, перед нами слово thirteen (тринадцать). К известным нам буквам прибавились i и n, обозначенные в криптограмме знаками 6 и *.

Криптограмма начинается так: 5 3 # # +

Подставляя по-прежнему буквы и точки, получаем: .good

Недостающая буква, конечно, а, и, значит, два первые слова будут читаться так: A good (хороший).

Чтобы теперь не сбиться, расположим знаки в виде такой таблицы.

5 означает а

+ означает d

8 означает e

3 означает g

4 означает h

6 означает i

* означает п

^ означает о

(означает г

; означает t

Здесь ключ к десяти главным буквам. Я думаю, нет нужды рассказывать вам, как я распознал остальные. Я познакомил вас с общей структурой шифра и, надеюсь, что убедил, что он поддается разгадке. Повторяю, впрочем, что криптограмма - из самых простейших. Теперь я даю вам полный текст записи. Вот она в расшифрованном виде:

"A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat twenty one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death's head a bee line from the tree through the shot fifty feet out".

(Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут северо-северо-восток главный сук седьмая ветвь восточная сторона стреляй из левого глаза мертвой головы прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов.)

- Что же, - сказал я, - загадка осталась загадкой. Как перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину: "трактир епископа", "мертвую голову", "чертов стул"?

- Согласен, - сказал Легран, - текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленивать эту запись по смыслу.

- Расставить точки и запятые?

- Да, в этом роде.

- И как же вы сделали это?

- Я исходил из того, что автор намеренно писал криптограмму в сплошную строку, чтобы затруднить тем разгадку. Причем человек не слишком утонченный, задавшись такой целью, легко ударяется в крайность. Там, где в тексте по смыслу нужен просвет, он будет ставить буквы еще теснее. Взгляните на запись, и вы сразу увидите пять таких мест. По этому признаку я разделил криптограмму на несколько фраз:

"Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле - двадцать один градус и тринадцать минут - северо-северо-восток - главный сук седьмая ветвь восточная сторона - стреляй из левого глаза мертвой головы - прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов".

- Запятые и точки расставлены, - сказал я, - но смысла не стало больше.

- И мне так казалось первое время, - сказал Легран. - Сперва я расспрашивал всех, кого ни встречал, нет ли где по соседству с островом Сэлливановым какого-нибудь строения, известного под названием "трактир епископа". Никто ничего не знал, и я уже принял решение расширить мои поиски и вести их систематичнее, как вдруг однажды утром мне пришло в голову, что, быть может, это название "трактир епископа" (bishop's hostel) нужно связать со старинной фамилией Бессопов (Bessor), владевшей в давние времена усадьбой в четырех милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилам этого края. После многих расспросов самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось "трактиром епископа", и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир и даже не таверна, а высокий скалистый утес.

Я обещал ей хорошо заплатить за труды, и после некоторых колебаний она согласилась пойти туда вместе со мной. Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, я осмотрелся кругом. "Трактир" оказался нагромождением скал и утесов. Одна скала, стоявшая особняком,

выделялась своей высотой и странностью формы, напоминая искусственное сооружение. Я добрался до самой ее вершины и стал там в смущении, не зная, что делать дальше.

Пока я раздумывал, взор мой упал на узкий выступ в скале, на восточном ее склоне, примерно в ярде от места, где я стоял. Выступ имел в ширину около фута и выдавался наружу дюймов на восемнадцать. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших прадедов. Я сразу понял, что это и есть "чертов стул" и что я проник в тайну записи на пергаменте.

"Хорошее стекло" могло означать только одно - подзорную трубу; моряки часто пользуются словом "стекло" в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем с заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений. Слова "двадцать один градус и тринадцать минут" и "северо-северо-восток" указывали направление подзорной трубы. Сильно взволнованный своими открытиями, я поспешил домой, взял трубу и вернулся в "трактир епископа".

Опустившись на "чертов стул", я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Догадка моя таким образом подтверждалась. Я поднял трубу. Направление по горизонтали было указано - "северо-северо-восток". Следовательно, "двадцать один градус и тринадцать минут" значили высоту над видимым горизонтом. Сориентировавшись по карманному компасу, я направил трубу приблизительно под углом в двадцать один градус и стал осторожно передвигать ее вверх, пока взор мой не задержался на круглом отверстии или просвете в листе громадного дерева, поднявшего высоко свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я заметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп.

Открытие окрылило меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что "главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона" означают место, где надо искать череп на дереве, а приказ "стреляй из левого глаза мертвой головы" допускает тоже лишь одно толкование и указывает местонахождение клада. Надо было спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести "прямую", то есть прямую линию от ближайшей точки ствола через "выстрел" (место падения пули) на пятьдесят футов вперед. Там, по всей вероятности, и было зарыто сокровище.

- Все это выглядит убедительно, - сказал я, - и при некоторой фантастичности все же логично и просто. Что же вы сделали, покинув "трактир епископа"?

- Хорошенько приметив дерево, я решил возвращаться домой. В ту же минуту, как я поднялся с "чертова стула", круглый просвет исчез и, сколько я ни старался, я его больше не видел. В том-то

и состояло все остроумие замысла, что просвет в листе дерева (как я убедился, несколько раз вставая и снова садясь) открывался зрителю с одной лишь единственной точки, с узкого выступа в этой скале.

К "трактиру епископа" мы ходили вместе с Юпитером, который, конечно, заметил за эти дни, что я веду себя как-то странно, и потому не отставал от меня ни на шаг. Но на завтра я встал чуть свет, ускользнул от его надзора и ушел один в горы разыскивать дерево. Разыскал я его с немалым трудом. Когда я вернулся вечером, Юпитер, как вы уже знаете, хотел отдубасить меня. О дальнейших событиях я могу не рассказывать. Они вам известны.

- Значит, - сказал я, - первый раз вы ошиблись местом из-за Юпитера; он опустил жука в правую глазницу черепа вместо левой?

- Разумеется! Разница в "выстреле", иными словами, в положении колышка не превышала двух с половиной дюймов, и если бы сокровище было зарыто под деревом, ошибка была бы пустячной. Но ведь линия через "выстрел" лишь указывала нам направление, по которому надо идти. По мере того как я удалялся от дерева, отклонение все возрастало, и когда я прошел пятьдесят футов, клад остался совсем в стороне. Не будь я так свято уверен, что сокровище здесь, наши труды пропади бы даром.

- Не пиратский ли флаг внушил Кидду эту странную выдумку с черепом, в пустую глазницу которого он велит опускать пулю? Обрести драгоценный клад через посредство зловещей эмблемы пиратов - в этом чувствуется некий поэтический замысел.

- Быть может, вы правы, хотя я лично думаю, что практический смысл играл здесь не меньшую роль, чем поэтическая фантазия. Увидеть с "чертова стула" столь малый предмет можно только в единственном случае - если он будет белым. А что тут сравнится с черепом? Череп ведь не темнеет от бурь и дождей. Напротив, становится все белее...

- Ну а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке?! Что за странное это было чудачество! Я решил, что вы не в себе. И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули?

- Что же, не скрою! Ваши намеки на то, что я не в себе, рассердили меня, и я решил отплатить вам маленькой мистификацией в моем вкусе. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, сама эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью.

- Теперь все ясно. Ответьте еще на последний вопрос. Откуда взялись эти скелеты в яме?

- Об этом я знаю не больше вашего. Тут допустима, по-видимому, только одна догадка, но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кидд - если именно он владелец сокровища, в чем я совершенно уверен, - не мог обойтись без подручных. Когда они, выполнив все, что им было приказано, стояли внизу в яме, Кидд рассудил, наверно, что не нуждается в лишних свидетелях. Два-три удара ломом тут же решили дело. А может, и целый десяток - кто скажет?

Убийство На Улице Морг

Перевод Р.Гальпериной

Что за песню пели сирены или каким именем назывался Ахилл, скрываясь среди женщин, - уж на что это, кажется, мудреные вопросы, а какая-то догадка и здесь возможна.

Сэр Томас Браун. Захоронения в урнах

Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе малодоступны анализу. Мы судим о них только по результатам. Среди прочего нам известно, что для человека, особенно одаренного в этом смысле, дар анализа служит источником живейшего наслаждения. Подобно тому как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик радуется любой возможности что-то прояснить или распутать. Всякая, хотя бы и нехитрая задача, высекающая искры из его таланта, ему приятна. Он обожает загадки, ребусы и криптограммы, обнаруживая в их решении проницательность, которая уму заурядному представляется чуть ли не сверхъестественной. Его решения, рожденные существом и душой метода, и в самом деле кажутся чудесами интуиции. Эта способность решения, возможно, выигрывает от занятий математикой, особенно тем высшим ее разделом, который неправомерно и только в силу обратного характера своих действий именуется анализом, так сказать анализом *par excellence* [По преимуществу (франц.)] Между тем рассчитывать, вычислять - само по себе еще не значит анализировать. Шахматист, например, рассчитывает, но отнюдь не анализирует. А отсюда следует, что представление о шахматах как об игре, исключительно полезной для ума, основано на чистейшем недоразумении. И так как перед вами, читатель, не трактат, а лишь несколько случайных соображений, которые должны послужить предисловием к моему не совсем обычному рассказу, то я пользуюсь случаем заявить, что неприятная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат. В шахматах, где фигуры неравноценны и где им присвоены самые разнообразные и причудливые ходы, сложность (как это нередко бывает) ошибочно принимается за глубину. Между тем здесь решает внимание. Стоит ему ослабеть, и вы совершаете оплошность, которая приводит к просчету или поражению. А поскольку шахматные ходы не только многообразны, но и многозначны, то шансы на оплошность соответственно растут, и в девяти случаях из десяти выигрывает не более способный, а более

сосредоточенный игрок. Другое дело шатки, где допускается один только ход с незначительными вариантами; здесь шансов на недосмотр куда меньше, внимание не играет особой роли и успех зависит главным образом от сметливости. Представим себе для ясности партию в шашки, где остались только четыре дамки и, значит, ни о каком недосмотре не может быть и речи. Очевидно, здесь (при равных силах) победа зависит от удачного хода, от неожиданного и остроумного решения. За отсутствием других возможностей, аналитик старается проникнуть в мысли противника, ставит себя на его место и нередко с одного взгляда замечает ту единственную (и порой до очевидности простую) комбинацию, которая может вовлечь его в просчет или сбить с толку.

Вист давно известен как прекрасная школа для того, что именуется искусством расчета; известно также, что многие выдающиеся умы питали, казалось бы, необъяснимую слабость к висту, пренебрегая шахматами, как пустым занятием. В самом деле, никакая другая игра не требует такой способности к анализу. Лучший в мире шахматист - шахматист, и только, тогда как мастерская игра в вист сопряжена с умением добиваться победы и в тех более важных областях человеческой предприимчивости, в которых ум соревнуется с умом. Говоря "мастерская игра", я имею в виду ту степень совершенства, при которой игрок владеет всеми средствами, приводящими к законной победе. Эти средства не только многочисленны, но и многообразны и часто предполагают такое знание человеческой души, какое недоступно игроку средних способностей. Кто внимательно наблюдает, тот отчетливо и помнит, а следовательно, всякий сосредоточенно играющий шахматист может рассчитывать на успех в висте, поскольку руководство Хойла (основанное на простой механике игры) общепонятно и общедоступно. Чтобы хорошо играть в вист, достаточно, по распространенному мнению, соблюдать "правила" и обладать хорошей памятью. Однако искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено. Каких он только не делает про себя выводов и наблюдений! Его партнер, быть может, тоже; но перевес в этой обоюдной разведке зависит не столько от надежности выводов, сколько от качества наблюдения. Важно, конечно, знать, на что обращать внимание. Но наш игрок ничем себя не ограничивает. И хотя прямая его цель - игра, он не пренебрегает и самыми отдаленными указаниями. Он изучает лицо своего партнера и сравнивает его с лицом каждого из противников, подмечает, как они распределяют карты в обеих руках, и нередко угадывает козырь за козырем и онёр за онёром по взглядам, какие они на них бросают. Следит по ходу игры за мимикой игроков и делает уйму заключений, подмечая все оттенки уверенности, удивления, торжества или досады, сменяющиеся на их физиономиях. Судя по тому, как человек сгреб взятку, он заключает, последует ли за ней другая. По тому, как карта брошена, догадывается, что противник финтит, что ход сделан для отвода глаз. Невзначай или необдуманно оброненное слово; случайно упавшая или открывшаяся карта и как ее прячут - с опаской или спокойно; подсчет взяток и их расположение; растерянность, колебания, нетерпение или боязнь - ничто не ускользает от якобы безразличного взгляда аналитика. С двух-трех ходов ему уже ясно, что у кого на руках, и он выбрасывает карту с такой уверенностью, словно все игроки раскрылись.

Способность к анализу не следует смешивать с простой изобретательностью, ибо аналитик всегда изобретателен, тогда как не всякий изобретательный человек способен к анализу. Умение придумывать и комбинировать, в котором обычно проявляется изобретательность и для которого френологи (совершенно напрасно, по-моему) отводят особый орган, считая эту способность первичной, нередко наблюдается даже у тех, чей умственный уровень в остальном граничит с

кретинизмом, что не раз отмечалось писателями, живописующими быт и нравы. Между умом изобретательным и аналитическим существует куда большее различие, чем между фантазией и воображением, но это различие того же порядка. В самом деле, нетрудно заметить, что люди изобретательные - большие фантазеры и что человек с подлинно богатым воображением, как правило, склонен к анализу.

Дальнейший рассказ послужит для читателя своего рода иллюстрацией к приведенным соображениям.

Весну и часть лета 18... года я прожил в Париже, где свел знакомство с неким мосье С.-Огюстом Дюпеном. Еще молодой человек, потомок знатного и даже прославленного рода, он испытал превратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь плачевных, что утратил всю свою природную энергию, ничего не добивался в жизни и меньше всего помышлял о возвращении прежнего богатства. Любезность кредиторов сохранила Дюпену небольшую часть отцовского наследства, и, живя на ренту и придерживаясь строжайшей экономии, он кое-как сводил концы с концами, равнодушный к приманкам жизни. Единственная роскошь, какую он себе позволял, - книги, - вполне доступна в Париже.

Впервые мы встретились в плохонькой библиотеке на улице Монмартр, и так как оба случайно искали одну и ту же книгу, чрезвычайно редкое и примечательное издание, то, естественно, разговорились. Потом мы не раз встречались. Я заинтересовался семейной историей Дюпена, и он поведал ее мне с обычной чистосердечностью француза, рассказывающего вам о себе. Поразила меня и обширная начитанность Дюпена, а главное - я не мог не восхищаться неудержимым жаром и свежестью его воображения.

Я жил тогда в Париже совершенно особыми интересами и, чувствуя, что общество такого человека неоценимая для меня находка, не замедлил ему в этом признаться. Вскоре у нас возникло решение на время моего пребывания в Париже поселиться вместе; а поскольку обстоятельства мои были чуть получше, чем у Дюпена, то я снял с его согласия и обставил в духе столь милой нам обоим романтической меланхолии сильно пострадавший от времени дом причудливой архитектуры в уединенном уголке Сен-Жерменского предместья; давно покинутый хозяевами из-за каких-то суеверных преданий, в суть которых мы не стали вдаваться, он клонился к упадку.

Если бы наш образ жизни в этой обители стал известен миру, нас сочли бы маньяками, хоть и безобидными маньяками. Наше уединение было полным. Мы никого не хотели видеть. Я скрыл от друзей свой новый адрес, а Дюпен давно порвал с Парижем, да и Париж не вспоминал о нем. Мы жили только в себе и для себя.

Одной из фантастических причуд моего друга - ибо как еще это назвать? - была влюбленность в ночь, в ее особое очарование; и я покорно принял эту bizarrerie [Странность, чудачестве (франц.).] как принимал и все другие, самозабвенно отдаваясь прихотям друга. Темноликая богиня то и дело покидала нас, и, чтобы не лишаться ее милостей, мы прибегали к бутафории: при первом проблеске зари захлопывали тяжелые ставни старого дома и зажигали два-три светильника, которые, курясь благовониями, изливали тусклое, призрачное сияние. В их бледном свете мы предавались грезам, читали, писали, беседовали, пока звон часов не возвещал нам приход истинной Тьмы. И тогда мы рука об руку выходили на улицу, продолжая дневной разговор или бесцельно бродили до поздней ночи, находя в мелькающих огнях и тенях большого города ту неисчерпаемую пищу для умственных восторгов, какую дарит тихое созерцание-

В такие минуты я не мог не восхищаться аналитическим дарованием Дюпена, хотя и понимал, что это лишь неотъемлемое следствие ярко выраженной умозрительности его мышления. Да и Дюпену, видимо, нравилось упражнять эти способности, если не блистать ими, и он, не чинясь, признавался мне, сколько радости это ему доставляет. Не раз хвалился он с довольным смешком, что люди в большинстве для него - открытая книга, и тут же приводил ошеломляющие доказательства того, как ясно он читает в моей душе. В подобных случаях мне чудилась в нем какая-то холодность и отрешенность; пустой, ничего не выражающий взгляд его был устремлен куда-то вдаль, а голос, сочный тенор, срывался на фальцет и звучал бы раздраженно, если бы не четкая дикция и спокойный тон. Наблюдая его в эти минуты, я часто вспоминал старинное учение о двойственности души и забавлялся мыслью о двух Дюпенах: созидающем и расчленяющем.

Из сказанного отнюдь не следует, что разговор здесь пойдет о неких чудесах; я также не намерен романтизировать своего героя. Описанные черты моего приятеля-француза были только следствием перевозбужденного, а может быть, и больного ума. Но о характере его замечаний вам лучше поведает живой пример.

Как-то вечером гуляли мы по необычайно длинной грязной улице в окрестностях Пале-Рояля. Каждый думал, по-видимому, о своем, и в течение четверти часа никто из нас не проронил ни слова. Как вдруг Дюпен, словно невзначай, сказал:

- Куда ему, такому заморышу! Лучше б он попытал счастья в театре "Варьете".

- Вот именно, - ответил я машинально.

Я так задумался, что не сразу сообразил, как удачно слова Дюпена совпали с моими мыслями. Но тут же опомнился, и удивлению моему не было границ.

- Дюпен, - сказал я серьезно, - это выше моего понимания. Сказать по чести, я поражен, я просто ушам своим не верю. Как вы догадались, что я думал о... - Тут я остановился, чтобы убедиться, точно ли он знает, о ком я думал.

- ...о Шантильи, - закончил он. - Почему же вы запнулись? Вы говорили себе, что при его тщедушном сложении нечего ему было соваться в трагики.

Да, это и составляло предмет моих размышлений. Шантильи, quondam [Некогда (лат.).] сапожник с улицы Сен-Дени, помешавшийся на театре, недавно дебютировал в роли Ксеркса в одноименной трагедии Кребийона и был за все свои старания жестоко освистан.

- Объясните мне, ради бога, свой метод, - настаивал я, - если он у вас есть и если вы с его помощью так безошибочно прочли мои мысли. - Признаться, я даже старался не показать всей меры своего удивления.

- Не кто иной, как зеленщик, - ответил мой друг, - навел вас на мысль, что сей врачеватель подметок не дорос до Ксеркса et id genus omne [И ему подобных (лат.)].

- Зеленщик? Да бог с вами! Я знать не знаю никакого зеленщика!

- Ну, тот увалень, что налетел на вас, когда мы свернули сюда с четверть часа назад.

Тут я вспомнил, что зеленщик с большой корзиной яблок на голове по нечаянности чуть не сбил меня с ног, когда мы из переулка вышли на людную улицу. Но какое отношение имеет к этому Шантильи, я так и не мог понять.

Однако у Дюпена ни на волос не было того, что французы называют charlatanerie [Очковтирательство (франц.)].

- Извольте, я объясню вам, - вызвался он. - А чтобы вы лучше меня поняли, давайте восстановим весь ход ваших мыслей с нашего последнего разговора и до встречи с пресловутым зеленщиком. Основные вехи - Шантильи, Орион, доктор Никольс, Эпикур, стереотомия, булыжник и - зеленщик.

Вряд ли найдется человек, которому ни разу не приходило в голову проследить забавы ради шаг за шагом все, что привело его к известному выводу. Это - преувлекательное подчас занятие, и кто впервые к нему обратится, будет поражен, какое неизмеримое на первый взгляд расстояние отделяет исходный пункт от конечного вывода и как мало они друг другу соответствуют. С удивлением выслушал я Дюпена и не мог не признать справедливости его слов.

Мой друг между тем продолжал:

- До того как свернуть, мы, помнится, говорили о лошадях. На этом разговор наш оборвался. Когда же мы вышли сюда, на эту улицу, выскочивший откуда-то зеленщик с большой корзиной яблок на голове пробежал мимо и второпях толкнул вас на грудь булыжника, сваленного там, где каменщики чинили мостовую. Вы споткнулись о камень, поскользнулись, слегка насупились, пробормотали что-то, еще раз оглянулись на грудь булыжника и молча зашагали дальше. Я не то чтобы следил за вами: просто наблюдательность стала за последнее время моей второй натурой.

Вы упорно не поднимали глаз и только косились на выбоины и трещины в панели (из чего я заключил, что вы все еще думаете о булыжнике), пока мы не поравнялись с переулком, который носит имя Ламартина и вымощен на новый лад - плотно пригнанными плитками, уложенными в шахматном порядке. Вы заметно повеселели, и по движению ваших губ я угадал слово "стереотомия" - термин, которым для пущей важности окрестили такое мощение. Я понимал, что слово "стереотомия" должно навести вас на мысль об атомах и, кстати, об учении Эпикура; а поскольку это было темой нашего недавнего разговора - я еще доказывал вам, как разительно смутные догадки благородного грека подтверждаются выводами современной космогонии по части небесных туманностей, в чем никто еще не отдал ему должного, - то я так и ждал, что вы устремите глаза на огромную туманность в созвездии Ориона. И вы действительно посмотрели вверх, чем показали, что я безошибочно иду по вашему следу. Кстати, в злобном выпаде против Шантильи во вчерашнем "Musee" некий зоил, весьма недостойно пройдясь насчет того, что сапожник, взобравшийся на котурны, постарался изменить самое имя свое, процитировал строчку латинского автора, к которой мы не раз обращались в наших беседах. Я разумею стих:

Perdidit antiquum litera prima sonum

[Утратила былое звучание первая буква (лат.).]

Я как-то пояснил вам, что здесь разумеется Орион - когда-то он писался Урион, - мы с вами еще пошутили на этот счет, так что случай, можно сказать, памятный. Я понимал, что Орион наведет вас на мысль о Шантильи, и улыбка ваша это мне подтвердила. Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклятие. Все время вы шагали сутулясь, а тут выпрямились во весь рост, и я решил, что вы подумали о тщедушном сапожнике. Тогда-то я и прервал ваши размышления, заметив, что

он в самом деле не вышел ростом, наш Шантильи, и лучше бы ему попытаться счастья в театре "Варьете".

Вскоре затем, просматривая вечерний выпуск "Судебной газеты", наткнулись мы на следующую заметку:

"НЕСЛЫХАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ"

Сегодня, часов около трех утра, мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками. Следуя один за другим без перерыва, они доносились, по-видимому, с пятого этажа дома на улице Морг, где, как известно местным обывателям, проживала единственно некая мадам Л'Эспанэ с незамужней дочерью мадемуазель Камиллой Л'Эспанэ. После небольшой заминки у запертых дверей при безуспешной попытке проникнуть в подъезд обычным путем пришлось прибегнуть к лому, и с десятков соседей, в сопровождении двух жандармов, ворвались в здание. Крики уже стихли; но едва лишь кучка смельчаков поднялась по первому маршу, как сверху послышалась перебранка двух, а возможно, и трех голосов, звучавших отрывисто и сердито. Покуда добрались до третьего этажа, стихли и эти звуки, и водворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до большой угловой спальни на пятом этаже (дверь, запертую изнутри, тоже взломали), - толпа отступила перед открывшимся зрелищем, охваченная ужасом и изумлением.

Здесь все было вверх дном, повсюду раскидана поломанная мебель. В комнате стояла одна только кровать, но без постели, подушки и одеяло валялись на полу. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной решетке. На полу, под ногами, найдены четыре наполеондора, одна серьга с топазом, три столовые серебряные и три чайные мельхиоровые ложки и два мешочка с золотыми монетами - общим счетом без малого четыре тысячи франков. Ящики комода в углу были выдвинуты наружу, грабители, очевидно, рылись в них, хотя всего не унесли. Железная укладка обнаружена под постелью (а не под кроватью). Она была открыта, ключ еще торчал в замке, но в ней ничего не осталось, кроме пожелтевших писем и других заваливавшихся бумажек.

И никаких следов мадам Л'Эспанэ! Кто-то заметил в камине большую грудку золы, стали шарить в дымоходе и - о ужас! - вытащили за голову труп дочери: его вверх ногами, и притом довольно далеко, затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана - явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно исцарапано, на шее сине-багровые подтеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили.

После того как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, на мощный дворик, и там наткнулись на мертвую старуху - ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого.

Таково это поистине ужасное преступление, пока еще окутанное непроницаемой тайной".

Назавтра газета принесла следующие дополнительные сообщения:

"ТРАГЕДИЯ НА УЛИЦЕ МОРГ

Неслыханное по жестокости убийство всколыхнуло весь Париж, допрошен ряд свидетелей, но ничего нового, проясняющего тайну, пока не обнаружено. Ниже приведены вкратце наиболее существенные показания:

Полина Дюбур, прачка, показывает, что знала покойниц последние три года, стирала на них. Старая дама с дочкой, видно, жили дружно, душа в душу. Платили исправно. Насчет их образа жизни и средств ничего сказать не может. Полагает, что мадам Л'Эспанэ была гадалкой, этим и кормились. Поговаривали, что у нее есть деньги. Свидетельница никого не встречала в доме, когда приходила за бельем или приносила его после стирки. Знает наверняка, что служанки они не держали. Насколько ей известно, мебелью был обставлен только пятый этаж.

Пьер Моро, владелец табачной лавки, показывает, что в течение четырех лет отпускал мадам Л'Эспанэ нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Он местный уроженец и коренной житель. Покойница с дочерью уже больше шести лет как поселилась в доме, где их нашли убитыми. До этого здесь квартировал ювелир, сдававший верхние комнаты жильцам. Дом принадлежал мадам Л'Эспанэ. Старуха всякое терпение потеряла с квартирантом, который пускал к себе жильцов, и переехала сама на верхний этаж, а от сдачи внаем свободных помещений и вовсе отказалась. Не иначе как впала в детство. За все эти годы свидетель только пять-шесть раз видел дочь. Обе женщины жили уединенно, по слухам, у них имелись деньги. Болтали, будто мадам Л. промышляет гаданьем, но он этому не верил. Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в дом, кроме самой и дочери да кое-когда привратника, да раз восемь - десять наведывался доктор.

Примерно то же свидетельствовали и другие соседи. Никто не замечал, чтобы к покойницам кто-либо захаживал. Были ли у них где-нибудь друзья или родственники, тоже никому слышать не приходилось. Ставни по фасаду открывались редко, а со двора их и вовсе заколотили, за исключением большой комнаты на пятом этаже. Дом еще не старый, крепкий.

Изидор Мюзе, жандарм, показывает, что за ним пришли около трех утра. Застал у дома толпу, человек в двадцать - тридцать, осаждавшую дверь. Замок взломал он, и не ломом, а штыком. Дверь поддавалась легко, она двустворчатая, ни сверху, ни снизу не закреплена. Крики доносились все время, пока не открыли дверь, - и вдруг оборвались. Кричали (не разберешь - один или двое) как будто в смертной тоске, крики были протяжные и громкие, а не отрывистые и хриплые. Наверх свидетель поднимался первым. Взойдя на второй этаж, услышал, как двое сердито и громко переругиваются - один глухим, а другой вроде как визгливым голосом, и голос какой-то чудной. Отдельные слова первого разобрал. Это был француз. Нет, ни в коем случае не женщина. Он разобрал слова "sacre" и "diable" ["Проклятие" и "черт" (франц.)] визгливым голосом говорил иностранец. Не поймешь, мужчина или женщина. Не разобрать, что говорил, а только скорее всего язык испанский. Рассказывая, в каком виде нашли комнату и трупы, свидетель не добавил ничего нового к нашему вчерашнему сообщению.

Анри Дюваль, сосед, по профессии серебряник, показывает, что с первой же группой вошел в дом. В целом подтверждает показания Мюзе. Едва проникнув в подъезд, они заперли за собой дверь, чтобы задержать толпу, которая все прибывала, хотя стояла глухая ночь. Визгливый голос, по впечатлению свидетеля, принадлежал итальянцу. Уверен, что не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина. Возможно, что женщина. Итальянского не знает, слов не разобрал, но, судя по интонации, полагает, что итальянец. С мадам Л. и дочерью был лично знаком. Не раз беседовал с обеими. Уверен, что ни та, ни другая не говорила визгливым голосом.

Оденгеймер, ресторатор. Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Уроженец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали долго, несколько минут, пожалуй, что и десять. Крики протяжные, громкие, хватающие за душу, леденящие кровь. Одним из первых вошел в дом. Подтверждает предыдущие показания по всем пунктам, кроме одного: уверен, что визгливый голос принадлежал мужчине, и притом французу. Нет, слов не разобрал, говорили очень громко и часто-часто, будто захлебываясь, не то от гнева, не то от страха. Голос резкий - скорее резкий, чем визгливый. Нет, визгливым его не назовешь. Хриплый голос все время повторял "sacre" и "diable", а однажды сказал "mon Dieu!" [Боже мой! (франц.)]

Жюль Миньо, банкир, фирма "Миньо и сыновья" на улице Делорен. Он - Миньо-старший. У мадам Л'Эспанэ имелся кое-какой капиталец. Весною такого-то года (восемь лет назад) вдова открыла у них счет. Часто делала новые вклады - небольшими суммами. Чеков не выписывала, но всего за три дня до смерти лично забрала со счета четыре тысячи франков. Деньги были выплачены золотом и доставлены на дом конторщиком банка.

Адольф Лебон, конторщик фирмы "Миньо и сыновья", показывает, что в означенный день, часу в двенадцатом, проводил мадам Л'Эспанэ до самого дома, отнес ей четыре тысячи франков, сложенных в два мешочка. Дверь открыла мадемуазель Л'Эспанэ; она взяла у него один мешочек,

а старуха другой. После чего он откланялся и ушел. Никого на улице он в тот раз не видел. Улица тихая, безлюдная.

Уильям Берд, портной, показывает, что вместе с другими вошел в дом. Англичанин. В Париже живет два года. Одним из первых поднялся по лестнице. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос принадлежал французу. Отдельные слова можно было разобрать, но всего он не помнит. Ясно слышал "sacre" и "mon Dieu!". Слова сопровождались шумом борьбы, топотом и возней, как будто дрались несколько человек. Пронзительный голос звучал очень громко, куда громче, чем хриплый. Уверен, что не англичанин. Скорее, немец. Может быть, и женщина. Сам он по-немецки не говорит.

Четверо из числа означенных свидетелей на вторичном допросе показали, что дверь спальни, где нашли труп мадемуазель Л" была заперта изнутри. Тишина стояла мертвая, ни стопа, ни малейшего шороха. Когда дверь взломали, там уже никого не было. Окна спальни и смежной комнаты, что на улицу, были опущены и наглухо заперты изнутри, дверь между ними притворена, но не заперта. Дверь из передней комнаты в коридор была заперта изнутри. Небольшая комнатка окнами на улицу, в дальнем конце коридора, на том же пятом этаже, была не заперта, дверь притворена. Здесь были свалены старые кровати, ящики и прочая рухлядь. Вещи вынесли и тщательно осмотрели. Дом обшарили сверху донизу. Дымоходы обследованы трубочистами. В доме пять этажей, не считая чердачных помещений (mansardes). На крышу ведет люк, он забит гвоздями и, видимо, давно бездействует. Время, истекшее между тем, как свидетели услышали перебранку и как взломали входную дверь в спальню, оценивается по-разному: от трех до пяти минут. Взломать ее стоило немалых усилий.

Альфонсо Гарсио, гробовщик, показал, что проживает на улице Морг. Испанец по рождению. Вместе с другими побывал в доме. Наверх не подымался. У него нервы слабые, ему нельзя волноваться. Слышал, как двое спорили, хриплый голос - несомненно француз. О чем спорили, не уловил. Визгливым голосом говорил англичанин. Сам он по-английски не понимает, судит по интонации. Альберта Монтани, владелец магазина готового платья, показывает, что одним из первых взбежал наверх. Голоса слышал. Хрипло говорил француз. Кое-что понять можно было. Говоривший в чем-то упрекал другого. Слов второго не разобрал. Второй говорил часто-часто, заплетаящимся языком. Похоже, что по-русски. В остальном свидетель подтверждает предыдущие показания. Сам он итальянец. С русскими говорить ему не приходилось. Кое-кто из свидетелей на вторичном допросе подтвердил, что дымоходы на четвертом этаже слишком узкие и человеку в них не пролезть. Под "трубочистами" они разумели цилиндрической формы щетки, какие употребляют при чистке труб. В доме пет черной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи поднимались наверх. Труп мадемуазель Л'Эспанэ был так плотно затиснут в дымоход, что только общими усилиями четырех или пяти человек удалось его вытащить.

Поль Дюма, врач, показывает, что утром, чуть рассвело, его позвали освидетельствовать тела убитых женщин. Оба трупа лежали на старом матрасе, снятом с кровати в спальне, где найдена мадемуазель Л. Тело дочери все в кровоподтеках и ссадинах. Это вполне объясняется тем, что его загалкивали в тесный дымоход. Особенно пострадала шея. Под самым подбородком несколько глубоких ссадин и сине-багровых подтеков - очевидно, отпечатки пальцев. Лицо в страшных синяках, глаза вылезли из орбит. Язык чуть ли не насквозь прокушен. Большой кровоподтек на нижней части живота показывает, что здесь надавливали коленом. По мнению мосье Дюма, мадемуазель Л'Эснанэ задушена, - убийца был, возможно, не один. Тело матери чудовищно изувечено. Все кости правой руки и ноги переломаны и частично раздроблены. Расщеплена левая tibia [Берцовая кость (лат.)] равно как и ребра с левой стороны. Все тело в синяках и ссадинах. Трудно сказать, чем нанесены повреждения. Увесистая дубинка или железный лом, ножка кресла - да, собственно, любое тяжелое орудие в руках необычайно сильного человека могло это сделать. Женщина была бы не в силах нанести такие увечья. Голова убитой, когда ее увидел врач, была отделена от тела и тоже сильно изуродована. Горло перерезано острым лезвием, возможно, бритвой.

Александр Этьенн, хирург, был вместе с мосье Дюма приглашен освидетельствовать трупы. Полностью присоединяется к показаниям и заключениям мосье Дюма.

Ничего существенного больше установить не удалось, хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Париже не запомнят убийства, совершенного при столь туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это? Полиция сбита с толку. Ни малейшей путеводной нити, ни намека на возможную разгадку".

В вечернем выпуске сообщалось, что в квартале Сен-Рок по-прежнему сильнейший переполох, но ни новый обыск в доме, ни повторные допросы свидетелей ни к чему не привели. Дополнительно сообщалось, что арестован и посажен в тюрьму Адольф Лебой, хотя никаких новых отягчающих улик, кроме уже известных фактов, не обнаружено.

Я видел, что Дюнен крайне заинтересован ходом следствия, но от комментариев он воздерживался. И только когда появилось сообщение об аресте Лебона, он пожелал узнать, что я думаю об этом убийстве.

Я мог лишь вместе со всем Парижем объявить его неразрешимой загадкой. Я не видел ни малейшей возможности напасть на след убийцы.

- А вы не судите по этой пародии на следствие, - возразил Дюпен. - Парижская полиция берет только хитростью, ее хваленая догадливость - чистейшая басня. В ее действиях нет системы, если не считать системой обыкновение хвататься за первое, что подскажет минута. Они кричат о своих

мероприятиях, но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспоминаешь Журдена: "pour mieux entendre la musique" [Чтобы лучше слышать музыку (франц.)], он требовал подать себе свой "gobe de chambre" [Халат (франц.)]. Если они кое-чего и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпят крах. У Видока, например, была догадка и упорство, при полном неумении систематически мыслить; самая горячность его поисков подводила его, и он часто попадал впросак. Он так близко вглядывался в свой объект, что это искажало перспективу. Пусть он ясно различал то или другое, зато целое от него ускользало. В глубокомыслии легко перемудрить. Истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных вопросах она, по-моему, скорее лежит на поверхности. Мы ищем ее на дне ущелий, а она поджидает нас на горных вершинах. Чтобы уразуметь характер подобных ошибок и их причину, обратимся к наблюдению над небесными телами. Бросьте на звезду быстрый взгляд, посмотрите на нее краешком сетчатки (более чувствительным к слабым световым раздражениям, нежели центр), и вы увидите светило со всей ясностью и сможете оценить его блеск, который тускнеет, по мере того как вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть на него в упор. В последнем случае на глаз упадет больше лучей, зато в первом восприимчивость куда острее. Чрезмерная глубина лишь путает и затуманивает мысли. Слишком сосредоточенный, настойчивый и упорный взгляд может и Венеру согнать с небес.

Что касается убийства, то давайте учиним самостоятельный розыск, а потом уже вынесем суждение. Такое расследование нас позабавит (у меня мелькнуло, что "позабавит" не то слово, но я промолчал), к тому же Лебон когда-то оказал мне услугу, за которую я поныне ему обязан. Пойдемте же поглядим на все своими глазами. Полицейский префект Г. - мой старый знакомый - не откажет нам в разрешении.

Разрешение было получено, и мы не мешкая отправились на улицу Морг. Это одна из тихих, неказистых улочек, соединяющих улицу Ришелье с улицей Сен-Рок. Мы жили на другом конце города и только часам к трем добрались до места. Дом сразу бросился нам в глаза, так как немало зевак все еще бесцельно глазело с противоположного тротуара на закрытые ставни. Это был обычный парижский особняк с подворотней, сбоку прилепилась стеклянная сторожка с подъемным оконцем, так называемая loge de concierge [Привратническая (франц.)]. Не заходя, мы проследовали дальше по улице, свернули в переулок, опять свернули и вышли к задкам дома. Дюпен так внимательно оглядывал усадьбу и соседние строения, что я только диву давался, не находя в них ничего достойного внимания.

Вернувшись к входу, мы позвонили. Наши верительные грамоты произвели впечатление, и дежурные полицейские впустили нас. Мы поднялись по лестнице в спальню, где была найдена мадемуазель Л'Эспанэ и где все еще лежали оба трупа. Здесь, как и полагается, все оставалось в неприкосновенности и по-прежнему царил хаос. Я видел перед собой картину, описанную в "Судебной газете", - и ничего больше. Однако Дюпен все подверг самому тщательному осмотру, в том числе и трупы. Мы обошли и остальные комнаты и спустились во двор, все это под бдительным оком сопровождавшего нас полицейского. Осмотр затянулся до вечера; наконец мы попрощались. На обратном пути мой спутник еще наведлся в редакцию одной из утренних газет.

Я уже рассказал здесь о многообразных причудах моего друга и о том, как *je les menageais* [Я им потакал (франц.)] - соответствующее английское выражение не приходит мне в голову. Сейчас он был явно не в настроении обсуждать убийство и заговорил о нем только назавтра, в полдень. Начав без предисловий, он огорошил меня вопросом: не заметил ли я чего-то особенного в этой картине зверской жестокости?

"Особенного" он сказал таким тоном, что я невольно содрогнулся.

- Нет, ничего особенного, - сказал я, - по сравнению с тем, конечно, что мы читали в газете.

- Боюсь, что в газетном отчете отсутствует главное, - возразил Дюпен, - то чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия. Но бог с ним, с этим дурацким листком и его праздными домыслами. Мне думается, загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, которое помогает ее решить: я имею в виду чудовищное, что наблюдается здесь во всем. Полицейских смущает кажущееся отсутствие побудительных мотивов, и не столько самого убийства, сколько его жестокости. К тому же они не могут справиться с таким будто бы непримиримым противоречием: свидетели слышали спорящие голоса, а между тем наверху, кроме убитой мадемуазель Л'Эспанэ, никого не оказалось. Но и бежать убийцы не могли - другого выхода нет, свидетели непременно увидели бы их, поднимаясь по лестнице. Невообразимый хаос в спальне; труп, который кто-то ухитрился затолкать в дымоход, да еще вверх ногами; фантастические истязания старухи - этих обстоятельств вместе с вышеупомянутыми, да и многими другими, которых я не стану здесь перечислять, оказалось достаточно, чтобы выбить у наших властей почву из-под ног, парировать их хваленую догадливость. Они впали в грубую, хоть и весьма распространенную ошибку, смешав необычайное с необъяснимым. А ведь именно отклонение от простого и обычного освещает дорогу разуму в поисках истины. В таком расследовании, как наше с вами, надо спрашивать не "Что случилось?", а "Что случилось такого, чего еще никогда не бывало?". И в самом деле, легкость, с какой я прихожу - пришел, если хотите, - к решению этой загадки, не прямо ли пропорциональна тем трудностям, какие возникают перед полицией?

Я смотрел на Дюпена в немом изумлении.

- Сейчас я жду, - продолжал Дюпен, поглядывая на дверь, - жду человека, который, не будучи прямым виновником этих зверств, должно быть, в какой-то мере способствовал тому, что случилось. В самой страшной части содеянных преступлений он, очевидно, не повинен. Надеюсь, я прав в своем предположении, так как на нем строится мое решение всей задачи в целом. Я жду этого человека сюда, к нам, с минуты на минуту. Разумеется, он может и не прийти, но, по всей вероятности, придет. И тогда необходимо задержать его. Вот пистолеты. Оба мы сумеем, если нужно будет, распорядиться ими.

Я машинально взял пистолеты, почти не сознавая, что делаю, не веря ушам своим, а Дюпен продолжал, словно изливаясь в монолог. Я уже упоминал о присущей ему временами отрешенности. Он адресовался ко мне и, следовательно, говорил негромко, но что-то в его интонации звучало так, точно он обращается к кому-то вдалеке. Пустой, ничего не выражающий взгляд его упирался в стену.

- Показаниями установлено, - продолжал Дюпен, - что спорящие голоса, которые свидетели слышали па лестнице, не принадлежали обеим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам Л'Эспанэ убила дочь, а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом, лишь чтобы показать ход своих рассуждений: у мадам Л'Эспанэ не хватило бы, конечно, сил засунуть труп дочери в дымоход, где он был найден, а истязания, которым подверглась она сама, исключают всякую мысль о самоубийстве. Отсюда следует, что убийство совершено какой-то третьей стороной, и спорящие голоса с полной очевидностью принадлежали этой третьей стороне. А теперь обратимся не ко всей части показаний, касающихся обоих голосов, а только к известной их особенности. Скажите, вас ничто не удивило?

- Все свидетели, - отвечал я, - согласны в том, что хриплый голос принадлежал французу, тогда как насчет визгливого или резкого, как кто-то выразился, мнения разошлись.

- Вы говорите о показаниях вообще, - возразил Дюпен, - а не об их отличительной особенности. Вы не заметили самого характерного. А следовало бы заметить! Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса; тут полное единодушие. Что же до визгливого голоса, то удивительно не то, что мнения разошлись, а что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз - все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. При этом каждый отсылает нас не к нации, язык которой ему знаком, а как раз наоборот. Французу слышится речь испанца: "Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский". Для голландца это был француз; впрочем, как записано в протоколе, "свидетель по-французски не говорит, допрашивается через переводчика". Для англичанина это звучит как речь немца; кстати, он "по-немецки не понимает". Испанец "уверен", что это англичанин, причем сам он "по-английски не знает ни слова" и судит только по интонации, - "английский для него чужой язык". Итальянцу мерещится русская речь - правда, "с русскими говорить ему не приходилось". Мало того, второй француз, в отличие от первого, "уверен, что говорил итальянец"; не владея этим языком, он, как и испанец, ссылается "на интонацию". Поистине, странно должна была звучать речь, вызвавшая подобные суждения, речь, в звуках которой ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого, родного! Вы скажете, что то мог быть азиат или африканец. Правда, выходцы из Азии или Африки нечасто встречаются в Париже, но, даже не отрицая такой возможности, я хочу обратить ваше внимание на три обстоятельства. Одному из свидетелей голос неизвестного показался "скорее резким, чем визгливым". Двое других характеризуют его речь как торопливую и неровную. И никому не удалось разобрать ни одного членораздельного слова или хотя бы отчетливого звука.

- Не знаю, - продолжал Дюпен, - какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелюсь утверждать, что уже из этой части показаний - насчет хриплого и визгливого голоса - вытекают законные выводы и догадки, предопределяющие весь дальнейший ход нашего расследования. Сказав "законные выводы", я не совсем точно выразился. Я хотел сказать, что это единственно возможные выводы и что они неизбежно ведут к моей догадке, как к единственному результату. Что за догадка, я пока умолчу. Прошу лишь запомнить, что для меня она столь убедительна, что придала определенное направление и даже известную цель моим розыскам в старухиной спальне.

Перенесемся мысленно в эту спальню. Чего мы прежде всего станем в ней искать? Конечно, выхода, которым воспользовались убийцы. Мы с вами, естественно, в чудеса не верим. Не злые же духи, в самом деле, расправились с мадам и мадемуазель Л'Эспанэ! Преступники - заведомо существа материального мира, и бежали они согласно его законам. Но как? Тут, к счастью, требуются самые несложные рассуждения, и они должны привести нас к прямому и точному ответу. Рассмотрим же последовательно все наличные выходы. Ясно, что, когда люди поднимались по лестнице, убийцы находились в старухиной спальне либо, в крайнем случае, в смежной комнате, - а значит, и выход нужно искать в этих пределах. Полицейские добросовестно обследовали пол, стены и потолок. Ни одна потайная дверь не укрылась бы от их взгляда. Но, не полагаясь на них, я все проверил. Обе двери из комнат в коридор были надежно заперты изнутри. Обратимся к дымоходам. Хотя в нижней части, футов на восемь - десять от выхода в камин, они обычной ширины, но выше настолько сужаются, что в них не пролезть и упитанной кошке. Итак, эти возможности бегства отпадают. Остаются окна. Окна в комнате на улицу в счет не идут, так как собравшаяся толпа увидела бы беглецов. Следовательно, убийцы должны были скрыться через окна спальни. Придя к такому логическому выводу, мы, как разумные люди, не должны отказаться от него на том основании, что это, мол, явно невозможно. Наоборот, мы постараемся доказать, что "невозможность" здесь не явная, а мнимая.

В спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено и видно сверху донизу. Другое снизу закрыто спинкой громоздкой кровати. Первое окно закреплено изнутри. Все усилия поднять его оказались безуспешными. Слева в оконной раме проделано отверстие, и в нем глубоко, чуть ли не по самую шляпку, сидит большой гвоздь. Когда обратились к другому окну, то и там в раме нашли такой же гвоздь. И это окно тоже не поддавалось попыткам открыть его. Указанные обстоятельства убедили полицию, что преступники не могли бежать этим путем. А положившись на это, полицейские не сочли нужным вытащить оба гвоздя и открыть окна.

Я не ограничился поверхностным осмотром, я уже объяснил вам почему. Ведь мне надлежало доказать, что "невозможность" здесь не явная, а мнимая.

Я стал рассуждать *a posteriori* [В обратном порядке (франц.)]. Убийцы, несомненно, бежали в одно из этих окон. Но тогда они не могли бы снова закрепить раму изнутри, а ведь окна оказались наглухо запертыми, и это соображение своей очевидностью давило на полицейских и пресекало их поиски в этом направлении. Да, окна были заперты. Значит, они запираются автоматически. Такое решение напрашивалось само собой. Я подошел к свободному окну, с трудом вытащил гвоздь и

попробовал поднять раму. Как я и думал, она не поддалась. Тут я понял, что где-то есть потайная пружина. Такая догадка, по крайней мере, оставляла в силе мое исходное положение, как ни загадочно обстояло дело с гвоздями. При внимательном осмотре я действительно обнаружил скрытую пружину. Я нажал на нее и, удовлетворясь этой находкой, не стал поднимать раму.

Я снова вставил гвоздь в отверстие и стал внимательно его разглядывать. Человек, вылезший в окно, может снаружи опустить раму, и затвор сам собой защелкнется - но ведь гвоздь сам по себе на место не станет. Отсюда напрашивался вывод, еще более ограничивший поле моих изысканий. Убийцы должны были бежать через другое окно. Но если, как и следовало ожидать, затвор в обоих окнах одинаковый, то разница должна быть в гвозде или, по крайней мере, в том, как он вставляется на место. Забравшись на матрац и перегнувшись через спинку кровати, я тщательно осмотрел раму второго окна; потом, просунув руку, нащупал и нажал пружину, во всех отношениях схожую с соседкой. Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как его товарищ, и тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку.

Вы, конечно, решите, что я был озадачен. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления - умозаключение от факта к его причине. Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. Я шел по верному следу. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена, я проследил ее всю до конечной точки - и этой точкой оказался гвоздь. Я уже говорил, что он во всем походил на своего собрата в соседнем окне, но что значил этот довод (при всей его убедительности) по сравнению с моей уверенностью, что именно к этой конечной точке и ведет путеводная нить. "Значит, гвоздь не в порядке", - подумал я. И действительно, чуть я до него дотронулся, как шляпка вместе с обломком шпательки осталась у меня в руке. Большая часть гвоздя продолжала сидеть в отверстии, где он, должно быть, и сломался. Излом был старый; об этом говорила покрывавшая его ржавчина; я заметил также, что молоток, вогнавший гвоздь, частично вогнал в раму края шляпки. Когда я аккуратно вставил обломок на место, получилось впечатление, будто гвоздь целый. Ни малейшей трещинки не было заметно. Нажав на пружинку, я приподнял окно. Вместе с рамой поднялась и шляпка, плотно сидевшая в отверстии. Я опустил окно, опять впечатление целого гвоздя.

Итак, в этой части загадка была разгадана: убийца бежал в окно, заставленное кроватью. Когда рама опускалась - сама по себе или с чьей-нибудь помощью, - пружина закрепляла ее на месте; полицейские же действие пружины приняли за действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований.

Встает вопрос, как преступник спустился вниз. Тут меня вполне удовлетворила наша с вами прогулка вокруг дома. Футах в пяти с половиной от проема окна, о котором идет речь, проходит громоотвод. Добраться отсюда до окна, а тем более влезть в него нет никакой возможности. Однако я заметил, что ставни на пятом этаже принадлежат к разряду ferrades, как называют их парижские плотники; они давно вышли из моды, но вы еще частенько встретите их в старых особняках где-нибудь в Лионе или Бордо. Такой ставень напоминает обычную дверь - одностворчатую, - с той, однако, разницей, что верхняя половина у него сквозная, наподобие

кованой решетки или шпалеры, за нее удобно ухватиться руками. Ставни в доме мадам Л'Эспанэ шириной в три с половиной фута. Когда мы увидели их с задворок, они были полуоткрыты, то есть стояли под прямым углом к стене. Полицейские, как и я, возможно, осматривали дом с тылу. Но, увидев ставни в поперечном разрезе, не заметили их необычайной ширины, во всяком случае - не обратили должного внимания. Уверенные, что преступники не могли ускользнуть таким путем, они, естественно, ограничились беглым осмотром окон. Мне же сразу стало ясно, что, если до конца распахнуть ставень над изголовьем кровати, он окажется не более чем в двух футах от громоотвода. При исключительной смелости и ловкости вполне можно перебраться с громоотвода в окно. Протянув руку фута на два с половиной (при условии, что ставень открыт настежь), грабитель мог ухватиться за решетку. Отпустив затем громоотвод и упершись в стену ногами, он мог с силой оттолкнуться и захлопнуть ставень, а там, если предположить, что окно открыто, махнуть через подоконник прямо в комнату.

Итак, запомните: речь идет о совершенно особой, из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический номер. Я намерен вам доказать, во-первых, что такой прыжок возможен, а во-вторых, - и это главное, - хочу, чтобы вы представили себе, какое необычайное, почти сверхъестественное проворство требуется для такого прыжка.

Вы, конечно, скажете, что "в моих интересах", как выражаются адвокаты, скорее скрыть, чем признать в полной мере, какая здесь нужна ловкость. Но если таковы нравы юристов, то не таково обыкновение разума. Истина - вот моя конечная цель. Ближайшая же моя задача в том, чтобы вызвать в вашем сознании следующее сопоставление: с одной стороны, изумительная ловкость, о какой я уже говорю; с другой - крайне своеобразный, пронзительный, а по другой версии - резкий голос, относительно национальной принадлежности которого мнения расходятся; и при этом невнятное лопотание, в котором нельзя различить ни одного членораздельного слога...

Под влиянием этих слов какая-то смутная догадка забрезжила в моем мозгу. Казалось, еще усилие, и я схвачу мысль Дюпена: так иной тщетно напрягает память, стараясь что-то вспомнить. Мой друг между тем продолжал:

- Заметьте, от вопроса, как грабитель скрылся, я свернул на то, как он проник в помещение. Я хотел показать вам, что то и другое произошло в одном и том же месте и одинаковым образом. А теперь вернемся к помещению. Что мы здесь застали? Из ящиков комода, где и сейчас лежат носильные вещи, многое, как нас уверяют, было похищено. Ну не абсурд ли? Предположение, явно взятое с потолка и не сказать чтобы умное. Почему знать, может быть, в комод и не было ничего, кроме найденных вещей? Мадам Л'Эспанэ и ее дочь жили затворницами, никого не принимали и мало где бывали, - зачем же им, казалось бы, нужен был богатый гардероб? Найденные платья по своему качеству явно не худшие из того, что могли носить эти дамы. И если грабитель польстился на женские платья, то почему он оставил как раз лучшие, почему наконец не захватил все? А главное, почему ради каких-то тряпок отказался от четырех тысяч золотых?

А ведь денег-то он и не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил мосье Миньо, осталось в целости и валялось в мешочках на полу. А потому выбросьте из головы всякую мысль о побудительных мотивах - дурацкую мысль, возникшую в голове у полицейских под влиянием той части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. Совпадения вдесятеро более разительные, чем доставка денег на дом и последовавшее спустя три дня убийство получателя, происходят ежечасно у нас на глазах, а мы их даже не замечаем. Совпадения - это обычно величайший подвох для известного сорта мыслителей, и слыхом не слыхавших ни о какой теории вероятности, - а ведь именно этой теории обязаны наши важнейшие отрасли знания наиболее славными своими открытиями. Разумеется, если бы денег недосчитались, тот факт, что их принесли чуть ли не накануне убийства, означал бы нечто большее, чем простое совпадение. С полным правом возник бы вопрос о побудительных мотивах. В данном же случае счесть мотивом преступления деньги означало бы прийти к выводу, что преступник - совершеннейшая разиня и болван, ибо о деньгах, а значит, о своем побудительном мотиве, он как раз и позабыл.

А теперь, твердо помня о трех обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание, - своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотивов в таком исключительном по своей жестокости убийстве, - обратимся к самой картине преступления. Вот жертва, которую задушили голыми руками, а потом вверх ногами засунули в дымоход. Обычные преступники так не убивают. И уж, во всяком случае, не прячут таким образом трупы своих жертв. Представьте себе, как мертвое тело заталкивали в трубу, и вы согласитесь, что в этом есть что-то чудовищное, что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже считая, что здесь орудовало последнее отребье. Представьте также, какая требуется невероятная сила, чтобы затолкнуть тело в трубу - снизу вверх, когда лишь совместными усилиями нескольких человек удалось извлечь его оттуда сверху вниз...

И, наконец, другие проявления этой страшной силы! На каминной решетке были найдены космы волос, необыкновенно густых седых волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна сила, чтобы вырвать сразу даже двадцать - тридцать волосков! Вы, так же как и я, видели эти космы. На корнях - страшно сказать! - запеклись окровавленные клочки мяса, содранные со скальпа, - красноречивое свидетельство того, каких усилий стоило вырвать одним махом до полумиллиона волос. Горло старухи было не просто перерезано - голова начисто отделена от шеи; а ведь орудием убийце послужила простая бритва. Вдумайтесь также в звериную жестокость этих злодеяний. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Л'Эспанэ. Мосье Дюма и его достойный коллега мосье Этьенн считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием, - и в этом почтенные эскулапы не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая, куда тело выбросили из окна, заставленного кроватью. Ведь это же проще простого! Но полицейские и это проморгали, как проморгали ширину ставней, ибо в их герметически закупоренных мозгах не могла возникнуть мысль, что окна все же отворяются.

Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить невероятную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся

чуждыми представителям самых различных национальностей, а также с речью, лишенной всякой членораздельности. Какой же напрашивается вывод? Какой образ возникает перед вами?

Меня прямо-таки в жар бросило от этого вопроса.

- Безумец, совершивший это злодеяние, - сказал я, - бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома.

- Что ж, не так плохо, - одобрительно заметил Дюпен, - в вашем предположении кое-что есть. И все же выкрики сумасшедшего, даже в припадке неукротимого буйства, не отвечают описанию того своеобразного голоса, который слышали поднимавшиеся по лестнице. У сумасшедшего есть все же национальность, есть родной язык, а речи его, хоть и темны по смыслу, звучат членораздельно. К тому же и волосы сумасшедшего не похожи на эти у меня в руке. Я едва вытащил их из судорожно сжатых пальцев мадам Л'Эспанэ. Что вы о них скажете?

- Дюпен, - воскликнул я, вконец обескураженный, - это более чем странные волосы - они не принадлежат человеку!

- Я этого и не утверждаю, - возразил Дюпен. - Но прежде чем прийти к какому-нибудь выводу, взгляните на рисунок на этом листке. Я точно воспроизвел здесь то, что частью показаний определяется как "темные кровоподтеки и следы ногтей" на шее у мадемуазель Л'Эспанэ, а в заключении господ Дюма и Этьенна фигурирует как "ряд сине-багровых пятен - по-видимому, отпечатки пальцев".

- Рисунок, как вы можете судить, - продолжал мой друг, кладя перед собой на стол листок бумаги, - дает представление о крепкой и цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. Каждый из них сохранял, очевидно, до последнего дыхания жертвы ту чудовищную силу, с какой он впился в живое тело. А теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображенные здесь отпечатки.

Тщетные попытки! Мои пальцы не совпадали с отпечатками.

- Нет, постойте, сделаем уж все как следует, - остановил меня Дюпен. - Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея округлой формы. Вот полence примерно такого же радиуса, как шея. Наложите на него рисунок и попробуйте еще раз.

Я повиновался, но стало не легче, а труднее.

- Похоже, - сказал я наконец, - что это отпечаток не человеческой руки.

- А теперь, - сказал Дюпен, - прочтите этот абзац из Кювье. То было подробное анатомическое и общее описание исполинского бурого орангутанга, который водится на Ост-Индских островах. Огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию у этих млекопитающих общеизвестны.

- Описание пальцев, - сказал я, закончив чтение, - в точности совпадает с тем, что мы видим на вашем рисунке. Теперь я понимаю, что только описанный здесь орангутанг мог оставить эти отпечатки. Шерстинки ржаво-бурого цвета подтверждают сходство. Однако как объяснить все обстоятельства катастрофы? Ведь свидетели слышали два голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу.

- Совершенно справедливо! И вам, конечно, запомнилось восклицание, которое чуть ли не все приписывают французу: "mon Dieu!" Восклицание это, применительно к данному случаю, было удачно истолковано одним из свидетелей (Монтани, владельцем магазина) как выражение протеста или недовольства. На этих двух словах и основаны мои надежды полностью решить эту загадку. Какой-то француз был очевидцем убийства. Возможно, и даже вероятно, что он не причастен к зверской расправе. Обезьяна, должно быть, сбежала от него. Француз, должно быть, выследил ее до места преступления. Поймать ее при всем том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилен. Обезьяна и сейчас на свободе. Не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь догадки, и те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны, что недостаточно убеждают даже меня и тем более не убедят других. Итак, назовем это догадками и будем соответственно их расценивать. Но если наш француз, как я предполагаю, непричастен к убийству, то объявление, которое я по дороге сдал в редакцию "Монд" - газеты, представляющей интересы нашего судоходства и очень популярной среди моряков, - это объявление наверняка приведет его сюда.

Дюпен вручил мне газетный лист. Я прочел:

"Пойман в Булонском лесу - ранним утром - такого-то числа сего месяца (в утро, когда произошло убийство) огромных размеров бурый орангутанг, разновидности, встречающейся на острове Борнео. Будет возвращен владельцу (по слухам, матросу мальтийского судна) при условии удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу: дом N... на улице... в Сен-Жерменском предместье; справиться на пятом этаже".

- Как же вы узнали, - спросил я, - что человек этот матрос с мальтийского корабля?

- Я этого не знаю, - возразил Дюпен. - И далеко не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, посмотрите, как она засалена, да и с виду напоминает те, какими матросы завязывают волосы, - вы знаете эти излюбленные моряками queues [Здесь: косицы; буквально: хвосты (франц.)]. К тому же таким узлом мог завязать ее только моряк, скорее всего мальтиец. Я нашел эту ленту под громоотводом. Вряд ли она принадлежала одной из убитых женщин. Но даже если я ошибаюсь и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в своем объявлении. Если я ошибся, матрос подумает, что кто-то ввел меня в заблуждение, и особенно задумываться тут не станет. Если же я прав - это козырь в моих руках. Как очевидец, хоть и не соучастник убийства, француз, конечно, не раз подумает, прежде чем пойдет по объявлению. Вот как он станет рассуждать: "Я не виновен; к тому же человек я бедный; орангутанг и вообще-то в большой цене, а для меня это целое состояние, зачем же терять его из-за пустой мнительности. Вот он рядом, только руку протянуть. Его нашли в Булонском лесу, далеко от места, где произошло убийство. Никому и в голову не придет, что такие страсти мог натворить дикий зверь. Полиции ввек не догадаться, как это случилось. Но хотя бы обезьяну и выследили - попробуй докажи, что я что-то знаю; а хоть бы и знал, я не виноват. Главное, кому-то я уже известен. В объявлении меня так и называют владельцем этой твари. Кто знает, что этому человеку еще про меня порассказали. Если я не приду за моей собственностью, а ведь она больших денег стоит, да известно, что хозяин - я, на обезьяну падет подозрение. А мне ни к чему навлекать подозрение что на себя, что на эту бестию. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу орангутанга и спрячу, пока все не порастет травой".

На лестнице слышались шаги.

- Держите пистолеты наготове, - предупредил меня Дюпен, - только не показывайте и не стреляйте - ждите сигнала.

Парадное внизу было открыто; посетитель вошел, не позвонив, и стал подниматься по ступенькам. Однако он, должно быть, колебался, с минуту постоял на месте и начал спускаться вниз. Дюпен бросился к двери, но тут мы услышали, что незнакомец опять поднимается. Больше он не делал попыток повернуть. Мы слышали, как он решительно топает по лестнице, затем в дверь постучали.

- Войдите! - весело и приветливо отозвался Дюпен.

Вошел мужчина, судя по всему матрос, - высокий, плотный, мускулистый, с таким видом, словно сам черт ему не брат, а в общем, приятный малый. Лихие бачки и mustachio [Усы (итал.)] больше чем наполовину скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку, по-

видимому, единственное свое оружие. Матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера; говорил он по-французски чисто, разве что с легким невшательским акцентом; но по всему было видно, что это коренной парижанин.

- Садитесь, приятель, - приветствовал его Дюпен. - Вы, конечно, за орангутангом? По правде говоря, вам позавидуешь: великолепный экземпляр, и, должно быть, ценный. Сколько ему лет, как вы считаете?

Матрос вздохнул с облегчением. Видно, у него гора свалилась с плеч.

- Вот уж не знаю, - ответил он развязным тоном. - Годика четыре-пять - не больше. Он здесь, в доме?

- Где там, у нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозничий двор на улице Дюбур, совсем рядом. Приходите за ним завтра. Вам, конечно, нетрудно будет удостоверить свои права?

- За этим дело не станет, мосье!

- Прямо жалко расстаться с ним, - продолжал Дюпен.

- Не думайте, мосье, что вы хлопотали задаром, - заверил его матрос. - У меня тоже совесть есть. Я охотно уплачу вам за труды, по силе возможности, конечно. Столкнемся!

- Что ж, - сказал мой друг, - очень порядочно с вашей стороны. Дайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А впрочем, не нужно мне денег; расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг.

Последнее он сказал негромко, но очень спокойно. Так же спокойно подошел к двери, запер ее и положил ключ в карман; потом достал из бокового кармана пистолет и без шума и волнения положил на стол.

Лицо матроса побагровело, казалось, он борется с удушьем. Инстинктивно он вскочил и схватился за дубинку, но тут же рухнул на стул, дрожа всем телом, смертельно бледный. Он не произнес ни слова. Мне было от души его жаль.

- Зря пугаетесь, приятель, - успокоил его Дюпен. - Мы ничего плохого вам не сделаем, поверьте. Даю вам слово француза и порядочного человека: у нас самые добрые намерения. Мне хорошо известно, что вы не виновны в этих ужасах на улице Морг. Но не станете же вы утверждать, будто вы здесь совершенно ни при чем. Как видите, многое мне уже известно, при этом из источника, о котором вы не подозреваете. В общем, положение мне ясно. Вы не сделали ничего такого, в чем могли бы себя упрекнуть или за что вас можно было бы привлечь к ответу. Вы даже не польстились на чужие деньги, хоть это могло сойти вам с рук. Вам нечего скрывать, и у вас нет оснований скрываться. Однако совесть обязывает вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Арестован невинный человек; над ним тяготеет подозрение в убийстве, истинный виновник которого вам известен.

Слова Дюпена возымели действие: матрос овладел собой, но куда девалась его развязность!

- Будь что будет, - сказал он, помолчав. - Расскажу вам все, что знаю. И да поможет мне бог! Вы, конечно, не поверите - я был бы дураком, если б надеялся, что вы мне поверите. Но все равно моей вины тут нет! И пусть меня казнят, а я расскажу вам все как на духу.

Рассказ его, в общем, свелся к следующему. Недавно пришлось ему побывать на островах Индонезийского архипелага. С компанией моряков он высадился на Борнео и отправился на прогулку в глубь острова. Им с товарищем удалось поймать орангутанга. Компаньон вскоре умер, и единственным владельцем обезьяны оказался матрос. Чего только не натерпелся он на обратном пути из-за свирепого нрава обезьяны, пока не доставил ее домой в Париж и не посадил под замок, опасаясь назойливого любопытства соседей, а также в ожидании, чтобы у орангутанга зажила нога, которую он занозил на пароходе. Матрос рассчитывал выгодно его продать.

Вернувшись недавно домой с веселой пирушки, - это было в ту ночь, вернее, в то утро, когда произошло убийство, - он застал орангутанга у себя в спальне. Оказалось, что пленник сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадили для верности, чтобы не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться в подражание хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распорядиться, матрос в первую минуту растерялся. Однако он привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив это, орангутанг кинулся к двери и вниз по лестнице, где было, по несчастью, открыто окно, - а там на улицу.

Француз в ужасе побежал за ним. Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливалась, корчила рожи своему преследователю и, подпустив совсем близко, снова от него убегала. Долго гнался он за ней. Было около трех часов утра, на улицах стояла мертвая тишина. В переулке позади улицы

Морг внимание беглянки привлек свет, мерцавший в окне спальни мадам Л'Эспанэ, на пятом этаже ее дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась наверх, схватилась за открытый настежь ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. Весь этот акробатический номер не потребовал и минуты. Оказавшись в комнате, обезьяна опять пинком распахнула ставень.

Матрос не знал, радоваться или горевать. Он вознадеялся вернуть беглянку, угодившую в ловушку, бежать она могла только по громоотводу, а тут ему легко было ее поймать. Но как бы она чего не натворила в доме! Последнее соображение перевесило и заставило его последовать за своей питомицей. Вскрабкаться по громоотводу не представляет труда, особенно для матроса, но поравнявшись с окном, которое приходилось слева, в отдалении, он вынужден был остановиться. Единственное, что он мог сделать, это, дотянувшись до ставня, заглянуть в окно. От ужаса он чуть не свалился вниз. В эту минуту и раздались душераздирающие крики, всполошившие обитателей улицы Морг.

Мадам Л'Эспапэ и ее дочь, обе в ночных одеяниях, очевидно, разбирали бумаги в упомянутой железной укладке, выдвинутой на середину комнаты. Сундучок был раскрыт, его содержимое лежало на полу рядом. Обе женщины, должно быть, сидели спиной к окну и не сразу увидели ночного гостя. Судя по тому, что между его появлением и их криками прошло некоторое время, они, очевидно, решили, что ставнем хлопнул ветер.

Когда матрос заглянул в комнату, огромный орангутанг держал мадам Л'Эспанэ за волосы, распущенные по плечам (она расчесывала их на ночь), и, в подражание парикмахеру, поигрывал бритвой перед самым ее носом. Дочь лежала на полу без движения, в глубоком обмороке. Крики и сопротивление старухи, стоившие ей вырванных волос, изменили, быть может, и мирные поначалу намерения орангутанга, разбудив в нем ярость. Сильным взмахом мускулистой руки он чуть не снес ей голову. При виде крови гнев зверя перешел в неистовство. Глаза его пылали, как раскаленные угли. Скрежеща зубами, набросился он на девушку, вцепился ей страшными когтями в горло и душил, пока та не испустила дух. Озираясь в бешенстве, обезьяна увидела маячившее в глубине над изголовьем кровати помертвелое от ужаса лицо хозяина. Остервенение зверя, видимо не забывшего о грозном хлысте, мгновенно сменилось страхом. Чувствуя себя виноватым и боясь наказания, орангутанг, верно, решил скрыть свои кровавые проделки и панически заметался по комнате, ломая и опрокидывая мебель, сбрасывая с кровати подушки и одеяла. Наконец он схватил труп девушки и затолкал его в дымоход камина, где его потом и обнаружили, а труп старухи не долго думая швырнул за окно.

Когда обезьяна со своей истерзанной ношей показалась в окне, матрос так и обмер и не столько спустился, сколько съехал вниз по громоотводу и бросился бежать домой, страшась последствий кровавой бойни и отложив до лучших времен попечение о дальнейшей судьбе своей питомицы. Испуганные восклицания потрясенного француза и злобное бормотание разъяренной твари и были теми голосами, которые слышали поднимающиеся по лестнице люди.

Вот, пожалуй, и все. Еще до того, как взломали дверь, орангутанг, по-видимому, бежал из старухиной спальни по громоотводу. Должно быть, он и опустил за собой окно.

Спустя некоторое время сам хозяин поймал его и за большие деньги продал в *Gardine des Plantes* [Ботанический сад (франц.)]. Лебона сразу же освободили, как только мы с Дюпенем явились к префекту и обо всем ему рассказали (Дюпен не удержался и от кое-каких комментариев). При всей благосклонности к моему другу, сей чинуша не скрыл своего разочарования по случаю такого конфуза и даже отпустил в наш адрес две-три шпильки насчет того, что не худо бы каждому заниматься своим делом.

- Пусть ворчит, - сказал мне потом Дюпен, не удостоивший префекта ответом. - Пусть утешается. Надо же человеку душу отвести. С меня довольно того, что я побил противника на его территории. Впрочем, напрасно наш префект удивляется, что загадка ему не далась. По правде сказать, он слишком хитер, чтобы смотреть в корень. Вся его наука сплошное верхоглядство. У нее одна лишь голова, без тела, как изображают богиню Ла-верну или в лучшем случае - голова и плечи, как у трески. Но что ни говори, он добрый малый; в особенности восхищает меня та ловкость, которая стяжала ему репутацию великого умника. Я говорю о его манере "de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas" [Отрицать то, что есть, и распространяться о том, чего не существует (франц.)].

Тайна Мари Роже

(Дополнение к "Убийству На Улице Морг")

Перевод И. Гуровой

[Примечание: "Мари Роже" впервые была опубликована без примечаний, поскольку тогда они казались излишними; однако со времени трагедии, которая легла в основу этой истории, прошли годы, а потому появилась нужда и в примечаниях, и в небольшом вступлении, объясняющем суть дела. В окрестностях Нью-Йорка была убита молодая девушка Мэри Сесилия Роджерс, и хотя это убийство вызвало большое волнение и очень долго оставалось в центре внимания публики, его тайна еще не была раскрыта в тот момент, когда был написан и опубликован настоящий рассказ (в ноябре 1842 г.). Автор, якобы описывая судьбу французской гризетки, на самом деле точно и со всеми подробностями воспроизвел основные акты убийства Мэри Роджерс, ограничиваясь параллелизмами в менее существенных деталях.

"Тайна Мари Роже" писалась вдали от сцены зверского убийства, и, расследуя его, автор мог пользоваться только сведениями, опубликованными в газетах. В результате от него ускользнуло многое из того, чем он мог бы воспользоваться, если бы лично побывал на месте происшествия. Тем не менее будет, пожалуй, нелишним указать, что признания двух лиц (одно из них выведено в рассказе под именем мадам Дюлюк), сделанные независимо друг от друга и много времени спустя после опубликования рассказа, полностью подтвердили не только общий вывод, но и абсолютно все основные предположения, на которых был этот вывод построен.]

Параллельно с реальными событиями существует идеальная их последовательность. Они редко полностью совпадают. Люди и обстоятельства обычно изменяют идеальную цепь событий, а потому она кажется несовершенной, и следствия ее равно несовершенны. Так было с реформацией - взамен протестантства явилось лютеранство.

Новалис. Взгляд на мораль

Мало какому даже самому рассудочному человеку не случалось порой со смутным волнением почти уверовать в сверхъестественное, столкнувшись с совпадением настолько поразительным, что разум отказывается признать его всего лишь игрой случая. Подобные ощущения (ибо смутная вера, о которой я говорю, никогда полностью не претворяется в мысль) редко удается до конца подавить иначе, как прибегнув к доктрине случайности или - воспользуемся специальным ее наименованием - к теории вероятности. Теория же эта является по самой своей сути чисто математической; и, таким образом, возникает парадокс - наиболее строгое и точное из всего, что дает нам наука, прилагается к теням и призракам наиболее неуловимого в области мысленных предположений.

Невероятные подробности, которые я призван теперь сделать достоянием гласности, будучи взяты в хронологической их последовательности, складываются в первую ветвь необычайных совпадений, а во второй и заключительной их ветви все читатели, несомненно, узнают недавнее убийство в Нью-Йорке Мэри Сесилии Роджерс.

Когда в статье, озаглавленной "Убийство на улице Морг", я год назад попытался описать некоторые примечательные особенности мышления моего друга шевалье С.-Огюста Дюпена, мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь вновь вернусь к этой теме. Именно это описание было моей целью, и она нашла свое полное осуществление в рассказе о прихотливой цепи происшествий, которые позволили раскрыться особому таланту Дюпена. Я мог бы привести и другие примеры, но они не доказали бы ничего, кроме уже доказанного. Однако удивительный поворот недавних событий неожиданно открыл мне новые подробности, которые облакаются в подобие вынужденной исповеди. После того, что мне довелось услышать совсем недавно, было бы странно, если бы я продолжал хранить молчание относительно того, что я слышал и видел задолго перед этим.

Раскрыв тайну трагической гибели мадам Л'Эспанэ и ее дочери, шевалье тотчас выбросил все это дело из головы и возвратился к привычным меланхолическим раздумьям. Его настроение вполне отвечало моему неизменному тяготению к отрешенности, и, как прежде замкнувшись в нашем тихом приюте в предместье Сен-Жермен, мы оставили Будущее на волю судьбы и предались безмятежному спокойствию Настоящего, творя грезы из окружающего нас скучного мира.

Но эти грезы время от времени нарушались. Нетрудно догадаться, что роль моего друга в драме, разыгравшейся на улице Морг, не могла не произвести значительного впечатления на парижскую полицию. У ее агентов имя Дюпена превратилось в присловье. Того простого хода рассуждений, который помог ему раскрыть тайну, он, кроме меня, не сообщил никому - даже префекту, - а потому не удивительно, что непосвященным эта история представлялась истинным чудом, и аналитический талант шевалье принес ему славу провидца. Если бы он отвечал на любопытные расспросы с достаточной откровенностью, это заблуждение скоро рассеялось бы, но душевная леность делала для него невозможным какое бы то ни было возвращение к теме, которая давно уже перестала интересовать его самого. Вот почему взгляды полицейских постоянно устремлялись к нему и префектура вновь и вновь пыталась прибегнуть к его услугам. Одна из наиболее примечательных таких попыток была вызвана убийством молоденькой девушки по имени Мари Роже.

Это случилось года через два после жуткого события на улице Морг. Мари (поразительное совпадение ее имени и фамилии с именем и фамилией злополучной продавщицы сигар сразу бросается в глаза) была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Ее отец умер, когда она была еще младенцем, и вплоть до последних полутора лет перед убийством, о котором пойдет речь в этом повествовании, мать и дочь жили вместе на улице Паве-Сент-Андре [Нассау-стрит.] Мадам Роже содержала пансион, а Мари ей помогала. Так продолжалось до тех пор, пока Мари не исполнилось двадцать два года - а тогда ее редкая красота привлекла внимание парфюмера, снимавшего лавку в нижнем этаже Пале-Рояля и числившего среди своих клиентов почти одних только отчаянных искателей легкой наживы, которыми кишит этот квартал. Мосье Леблан [Андерсон.] отлично понимал, что присутствие красавицы Мари в его лавке может принести ему немалые выгоды, и его щедрые посулы сразу же прельстили девушку, хотя ее маменька выказала гораздо больше нерешительности.

Надежды парфюмера вполне сбылись, и его заведение благодаря чарам бойкой гризетки скоро приобрело значительную популярность. Мари уже служила у мосье Леблана около года, когда она внезапно исчезла из его лавки, повергнув своих поклонников в большое смятение. Мосье Леблан не знал, чем объяснить ее отсутствие, а мадам Роже была вне себя от тревоги и страшных опасений. Происшествие попало в газеты, и полиция уже собиралась начать серьезное расследование, как вдруг в одно прекрасное утро ровно через неделю Мари вновь появилась на своем обычном месте за прилавком, живая и здоровая, хотя как будто и погрузневшая. Официальное расследование было, конечно, немедленно прекращено, а на все расспросы мосье Леблан по-прежнему отговаривался полным неведением, мадам же Роже и Мари отвечали, что прошлую неделю она гостила у родственницы в деревне. На том дело и кончилось, а затем и вовсе изгладилось из памяти публики, тем более что девушка, желая, по-видимому, избежать назойливого внимания любопытных, вскоре навсегда покинула парфюмера и вернулась в материнский дом на улице Паве-Сент-Андре.

Примерно через три года после возвращения Мари к матери ее друзья были встревожены новым внезапным исчезновением девушки. Три дня о ней ничего не было известно. На четвертый день ее

труп обнаружили в Сене [Гудзон.] - у берега, противоположного тому, на котором находится квартал Сент-Андре, в пустынных окрестностях заставы Дюруль [Уихокен.].

Столь зверское убийство (в том, что это - убийство, никаких сомнений быть не могло), молодость и красота жертвы, а главное, ее недавняя известность пробудили живейший интерес падких до сенсаций парижан. Я не припомню никакого другого происшествия, которое вызвало бы столь всеобщее и сильное волнение. В течение нескольких недель эта тема была злобой дня, заслонившей даже важнейшие политические события. Префект усердствовал больше обыкновенного, и парижская полиция, разумеется, совсем сбилась с ног.

Когда труп нашли, все были убеждены, что немедленно предпринятые поиски убийцы увенчаются самым скорым результатом. И только через неделю наконец сочли нужным предложить награду за его поимку, но даже и тогда сумма была ограничена всего лишь тысячью франками. Следствие тем временем велось весьма энергично, если не всегда разумно, очень много разных людей подверглось ни к чему не приведшим допросам, и отсутствие даже самых слабых намеков на разгадку тайны все больше и больше подогревало интерес к ней. На десятый день пришлось удвоить обещанную награду, а когда по истечении второй недели дело не сдвинулось с места и недовольство полицией, никогда не угасающее в Париже, успело несколько раз привести к уличным беспорядкам, префект лично предложил награду в двадцать тысяч франков "за изобличение убийцы" или же, если бы участников преступления оказалось несколько, "за изобличение кого-либо из убийц". В объявлении об этой награде, кроме того, содержалось обещание полного помилования любому сообщнику, который донес бы на своих соучастников; и к нему, где бы оно ни вывешивалось, присовокуплялось объявление комитета частных граждан, обещавшего добавить десять тысяч франков к сумме, назначенной префектом. Таким образом, в целом награда составляла тридцать тысяч франков: сумма неслыханная, если вспомнить более чем скромное положение девушки и то обстоятельство, что в больших городах подобные возмутительные преступления отнюдь не редкость.

Теперь уже никто не сомневался, что тайна этого убийства будет немедленно раскрыта. И правда, были произведены два-три ареста, однако никаких улик против подозреваемых обнаружить не удалось и их пришлось тут же освободить.

Как ни удивительно, мы с Дюпенем впервые услышали об этом событии, столь взволновавшем общественное мнение, только когда миновала третья неделя после обнаружения трупа - неделя, также не бросившая никакого света на происшедшее. Мы были всецело поглощены одним исследованием и более месяца не выходили из дома, не принимали посетителей и едва проглядывали политические статьи в ежедневно доставлявшейся нам газете. И первое известие об убийстве Мари Роже нам принес сам Г. Он зашел к нам днем 13 июля 18... года и просидел у нас до поздней ночи. Ему было крайне досадно, что все его усилия разыскать убийц ни к чему не привели. На карту поставлена, заявил он с чисто парижским жестом, его репутация. Более того - его честь! К нему прикованы глаза всего общества, и нет жертвы, которую он не принес бы ради раскрытия тайны. Свою несколько витиеватую речь он заключил комплиментом касательно того,

что соизволил назвать "тактом" Дюпена, и обратился к моему другу с прямым и, бесспорно, щедрым предложением, о котором я не считаю себя вправе сообщить что-либо, но которое не имеет ни малейшего отношения к непосредственной теме моего повествования.

Комплимент мой друг по мере сил отклонил, но на предложение тотчас согласился, хотя его выгоды оставались пока условными. Покончив с этим, префект немедленно принялся излагать свою собственную точку зрения, уснащая объяснение многочисленными рассуждениями, касавшимися обстоятельств дела, о которых мы еще ничего не знали. Он говорил долго, проявляя, без сомнения, немалую осведомленность, я иногда осмеливался высказать скромное предположение, а дремотные часы ночи проходили один за другим. Дюпен неподвижно сидел в своем кресле, как истое воплощение почтительного внимания. На нем были очки, и, исподтишка заглядывая под их зеленые стекла, я вновь и вновь убеждался, что мой друг крепко спит, - ничем себя не выдав, он так и проспал все семь свинцово-медлительных часов, по истечении которых префект наконец удалился.

Утром я получил в префектуре полное изложение всех собранных фактов, а в газетных редакциях - экземпляры всех газет, в которых были опубликованы какие бы то ни было сведения об этой трагедии. Очищенная от всех безусловно опровергнутых выдумок, история выглядела следующим образом.

Мари Роже вышла из дома своей матери на улице Паве-Сент-Андре около девяти часов утра в воскресенье 22 июня 18... года. Уходя, она сообщила некоему мосье Жаку Сент-Эсташу [Пейн.] - и только ему, - что намерена провести день у своей тетки, которая живет на улице Дром. Узенькая, короткая, но оживленная улица Дром находится неподалеку от берега Сены, и от пансиона мадам Роже ее отделяют две с лишним мили, даже если идти кратчайшим путем. Сент-Эсташ был официальным женихом Мари и не только столовался, но и жид в пансионе. Он должен был зайти за своей невестой под вечер и проводить ее домой. Однако во второй половине дня полил сильный дождь, и, полагая, что Мари предпочтет переночевать у тетки (как она уже не раз делала при подобных обстоятельствах), он не счел нужным сдержать свое обещание. Вечером мадам Роже (больная семидесятилетняя старуха) выразила опасение, что она "уже больше никогда не увидит Мари", но тогда никто не обратил на ее слова особого внимания.

В понедельник выяснилось, что Мари вообще не заходила к тетке, и когда к вечеру она не вернулась, ее с большим запозданием принялись искать в тех местах города и окрестностей, где она могла бы оказаться. Однако узнать о ней что-то определенное удалось только на четвертый день с момента ее исчезновения. В этот день (в среду 25 июня) некий мосье Бове, [Кроммелин.] который вместе с приятелем наводил справки о Мари в окрестностях заставы Дюруль на противоположном берегу Сены, услышал, что рыбаки только что доставили на берег труп, который плыл по реке. Увидев тело, Бове после некоторых колебаний опознал бывшую продавщицу из парфюмерной лавки. Его приятель опознал ее сразу же.

Лицо мертвой было налито темной кровью, которая сочилась изо рта. Пены, какая бывает у обыкновенных утопленников, заметно не было. На горле виднелись синяки и следы пальцев. Согнутые в локтях и скрещенные на груди руки окостенели. Пальцы правой были сжаты в кулак, пальцы левой полусогнуты. На левой кисти имелись два кольцевых рубца, как будто оставленные веревками или одной веревкой, но обвитой вокруг руки несколько раз. На правой кисти имелись ссадины, так же как и на всей спине - особенно в области лопаток. Чтобы доставить труп на берег, рыбаки захлестнули его веревкой, но она никаких рубцов не оставила. Шея была сильно вздута. На теле не было заметно ни порезов, ни синяков, причиненных ударами. Шея была перехвачена обрывком кружев, затянутым так туго, что складки кожи совершенно скрывали его от взгляда. Он был завязан узлом, находившимся под левым ухом. Одного этого было достаточно, чтобы вызвать смерть. Протокол медицинского осмотра не оставлял ни малейших сомнений в целомудрии покойной. Она, указывалось в нем, подверглась грубому насилию. Состояние трупа в момент его обнаружения позволяло легко опознать его.

Одежда была сильно изорвана и приведена в полнейший беспорядок. Из верхней юбки от подола к талии была вырвана полоса дюймов в двенадцать шириной, но не оторвана совсем, а трижды обернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом. Вторая юбка была из тонкого муслина, и от нее была оторвана полоса шириной дюймов в восемнадцать - оторвана полностью и очень аккуратно. Эта полоса муслина была свободно обернута вокруг шеи и завязана неподвижным узлом. Поверх этой муслиновой полосы и обрывка кружев проходили ленты шляпки. Эти ленты были завязаны не бантом, как их завязывают женщины, а морским узлом.

После опознания труп против обыкновения не был увезен в морг (это сочли излишней формальностью), а поспешно погребен неподалеку от того места, где его вытащили на берег. Благодаря усилиям Бове дело, насколько это было возможно, замяли, и прошло несколько дней, прежде чем оно привлекло внимание публики. Затем, однако, им занялась еженедельная газета [Нью-йоркская "Меркюри".], труп был эксгумирован и вновь подвергнут осмотру, но ничего, помимо вышеописанного, обнаружено не было. Правда, на этот раз платье, шляпку и прочее предъявили матери и знакомым покойной, и они без колебаний опознали в них одежду, в которой девушка ушла из дома в то утро.

Тем временем возбуждение публики росло с каждым часом. Несколько человек было арестовано, но отпущено. Главное подозрение падало на Сент-Эсташа, и вначале он не сумел достаточно убедительно объяснить, как он провел роковое воскресенье. Однако вскоре он представил мосье Г. в письменном виде точные сведения о том, где и когда он был в этот день, подкрепленные надежными свидетельскими показаниями. По мере того как дни проходили, не принося никаких новых открытий, по городу начали распространяться тысячи противоречивых слухов, а журналисты принялись строить всевозможные догадки и предположения. Среди этих последних наибольший интерес вызвало утверждение, будто Мари Роже жива, а из Сены был извлечен труп какой-то другой несчастной девушки. Я считаю своим долгом познакомить читателя с отрывками из статьи, содержащей вышеуказанное предположение и опубликованной в "Этуаль" [Нью-йоркская "Бразер Джонатан".] - газете достаточно солидной.

"Мадемуазель Роже ушла из материнского дома утром в воскресенье 22 июня 18... года, объявив, что намерена навестить тетку или какую-то другую родственницу, проживающую на улице Дром. С этого момента, насколько удалось установить, ее никто не видел. Она исчезла бесследно, и ее судьба остается неизвестной... До сих пор не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее в тот день после того, как за ней закрылась дверь материнского дома... Итак, хотя мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после девяти часов утра воскресенья 22 июня, у нас есть неопровержимые доказательства, что до этого часа она была жива и здорова. В среду в двенадцать часов дня в Сене у заставы Дюруль был обнаружен женский труп. Это произошло - даже если предположить, что Мари Роже бросили в реку не позже чем через три часа после того, как она ушла из дому, - всего лишь через трое суток после ее ухода, через трое суток час в час. Однако было бы чистой водой считать, будто убийство (если она действительно была убита) могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи. Те, кто творит столь гнусные преступления, предпочитают ночной мрак свету дня... Другими словами, если тело, найденное в реке, это действительно тело Мари Роже, оно могло пробыть в воде не более двух с половиной или - с большой натяжкой - ровно трех суток. Как показывает весь прошитый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения пойдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть - десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды. Итак, мы должны задать себе вопрос, что в этом случае вызвало отклонение от обычных законов природы? ...Если же изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц. Кроме того, представляется сомнительным, чтобы труп всплыл так скоро, даже если его бросили в реку через два дня после убийства. И далее, весьма маловероятно, чтобы злодеи, совершившие убийство, вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило бы ни малейшего труда".

По мнению автора статьи, этот труп должен был пробыть в воде "не каких-то трое суток, а впятеро дольше", поскольку разложение зашло так далеко, что Бове не сразу его опознал. Однако этот довод был полностью опровергнут. Затем в статье говорилось:

"Так каковы же факты, ссылаясь на которые мосье Бове утверждает, будто убитая - без сомнения, Мари Роже? Он разорвал рукав платья убитой и теперь заявляет, что видел особые приметы, вполне его удовлетворившие. Широкой публике, конечно, представляется, что под этими особыми приметами подразумеваются шрамы или родинки. На самом же деле он потерял руку и обнаружил - волоски! На наш взгляд, трудно найти менее определенную примету, и убедительна она не более, чем ссылка на то, что в рукаве обнаружилась рука! В этот вечер мосье Бове не вернулся в пансион, а в семь часов послал мадам Роже известие, что расследование касательно ее дочери все еще продолжается. Если даже допустить, что преклонный возраст и горе мадам Роже не позволяли ей самой побывать там (а допустить это очень нелегко!), то, несомненно, должен был найтись кто-то, кто считал бы необходимым поспешить туда и принять участие в расследовании, если они были уверены, что это действительно тело Мари. Но никто туда не отправился. Обитателям дома на улице Паве-Сент-Андре вообще ничего не было сказано, и они даже не слышали о том, что произошло. Мосье Сент-Эташ, поклонник и жених Мари, живший в пансионе ее матери, показал

под присягой, что про обнаружение тела своей нареченной он узнал только на следующее утро, когда к нему в спальню вошел мосье Бове и рассказал ему о событиях прошлого вечера. Нам кажется, что, учитывая характер новости, она была принята весьма спокойно и хладнокровно".

Вот так газета стремилась создать впечатление, что близкие Мари оставались равнодушными и бездеятельными - картина, несовместимая с предположением, будто они верили, что найден действительно ее труп. Эти инсинуации вкратце сводились к следующему: Мари при пособничестве своих друзей покинула город по причинам, бросающим тень на ее добродетель, и когда из Сены был извлечен труп, имевший некоторое сходство с исчезнувшей девушкой, указанные друзья воспользовались этим, чтобы внушить всем мысль, будто она мертва. Однако "Этуаль" опять излишне поторопилась. Выяснилось, что равнодушие и бездеятельность целиком относятся к области вымыслов, что старушка действительно была очень слаба и волнение лишило ее последних сил, что Сент-Эташ не только не выслушал это известие с полным хладнокровием, но совсем обезумел от горя, и мосье Бове, увидя его отчаяние, убедил кого-то из его родственников остаться с ним и помешать ему отправиться на экзгумацию. Более того, хотя "Этуаль" объявила, что труп был вторично погребен на общественный счет, что близкие Мари Роже наотрез отказались оплатить даже очень дешевые похороны и что никто из них не присутствовал на церемонии, - хотя, повторяю, "Этуаль" утверждала все это для подкрепления впечатления, которое она стремилась создать у своих читателей, каждое из перечисленных утверждений было решительным образом опровергнуто. В одном из последующих номеров этой газеты была предпринята попытка бросить подозрение на самого Бове. Редактор в своей статье заявил:

"И вот все изменяется. Нам сообщают, что однажды, когда в роме мадам Роже находилась мадам Б., мосье Бове, собиравшийся уходить, сообщил ей, что они ждут жандарма и что она, мадам Б., не должна ничего говорить жандарму до его возвращения, а предоставить все объяснения ему... В настоящий момент, насколько можно заключить, мосье Бове хранит в своей голове все обстоятельства дела. Без мосье Бове буквально нельзя и шагу ступить, ибо, куда ни поворачиваешь, обязательно натыкаешься на него... По какой-то причине он твердо решил не позволять никому другому принимать участие в расследовании и, как утверждают родственники мужского пола, он оттер их в сторону самым странным образом. Он, как кажется, всячески старался воспрепятствовать тому, чтобы родственники увидели труп".

Нижеследующий факт как будто подтверждает подозрения, брошенные на Бове этой статьей. За несколько дней до исчезновения девушки какой-то посетитель, оставшись один в конторе Бове, заметил в замочной скважине розу, а на висевшей поблизости грифельной доске было написано "Мари".

Общее мнение, однако, насколько мы могли судить по газетам, склонялось к тому, что Мари стала жертвой шайки бандитов, которые увезли ее на тот берег реки, надругались над ней и убили. Однако "Коммерсьель", [Нью-йоркская "Джорнел оф коммерс".] газета весьма влиятельная, всячески оспаривала это предположение. Я приведу несколько абзацев с ее страниц.

"Мы убеждены, что следствие все это время в той мере, в какой оно занималось заставой Дюруль, шло по ложному следу. Невозможно предположить, чтобы кто-нибудь, столь известный публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала, а увидевшие ее люди не забыли бы об этом, так как ею интересовались все, кому она была известна. И вышла она из дома в час, когда улицы были полны народа... Прежде чем она достигла бы заставы Дюруль или улицы Дром, ее неизбежно узнали бы два десятка прохожих, и все же не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее после ухода из дому, и, кроме сообщения о выраженных ею намерениях, мы не располагаем никакими доказательствами того, что она действительно покинула материнский дом именно тогда. Ее платье было разорвано, полоса материи была обмотана вокруг ее тела и завязана так, что труп можно было нести, точно узел. Если убийство произошло возле заставы Дюруль, не было бы никаких причин проделывать все это. То обстоятельство, что тело было обнаружено в реке неподалеку от заставы, вовсе не показывает, где именно оно было брошено в воду... От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Прделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками".

Однако за день-два до появления у нас префекта полиция получила важные сведения, которые, по-видимому, опровергли большую часть рассуждений "Коммерсьель". Два мальчика, сыновья некоей мадам Дюлюк, гуляя в лесу, неподалеку от заставы Дюруль, обнаружили в густом кустарнике сооруженное из трех-четырех больших камней сиденье со спинкой и приступкой для ног. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором - шелковый шарф. Поблизости были затем найдены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была вышита метка "Мари Роже". На ветвях колючих кустов висели лоскутки материи. Земля была утоптана, кусты поломаны - все там свидетельствовало об отчаянной борьбе. Далее, в изгородях, находящихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве показывали, что тут волочили что-то тяжелое.

Еженедельник "Солей", повторяя мнение всей парижской прессы, оценил эти находки следующим образом:

"Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель; под действием дождя они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк на зонтике был толстым, но складки его склеились, а верхняя сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда его раскрыли, он весь расползся... Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину - шесть. Один оказался куском нижней оборки со штоккой, а другой был вырван из юбки гораздо выше оборки. Они выглядели так, словно были оторваны, и висели на терновнике в футах над землей... Не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено".

Это открытие помогло получить новые сведения. Мадам Дюлюк показала, что она содержит небольшой трактир на берегу Сены неподалеку от заставы Дюруль. Места вокруг пустынные, можно даже сказать - глухие. Добраться туда от Парижа можно только на лодке. Их облюбовало для воскресных развлечений городское отребье. В роковое воскресенье примерно в три часа дня в трактир зашла молодая девушка, которую сопровождал смуглый молодой человек. Они пробыли там некоторое время, а потом учили, направившись к расположенному по соседству густому лесу. Мадам Дюлюк хорошо заметила платье девушки, потому что оно напомнило ей платье одной ее недавно скончавшейся родственницы. Особенно хорошо она рассмотрела шарф. Вскоре после ухода молодой пары в трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начало смеркаться, и переправились на другой берег как будто в большой спешке.

В тот же вечер, вскоре после того как совсем стемнело, мадам Дюлюк и ее старший сын слышали женские крики неподалеку от трактира. Крики были очень громкими, но вскоре оборвались. Мадам Д. опознала не только шарф, но и платье, которое было на трупе. Кучер омнибуса, по фамилии Баланс [Адам.] теперь также показал, что видел в это воскресенье, как Мари переправлялась через Сену в обществе смуглого молодого человека. Он, Баланс, знал Мари и ошибиться не мог. Предметы, найденные в чаще, все были опознаны родственниками Мари.

Сведения, которые я таким образом извлек по просьбе Дюпена из газетных статей, включали, кроме вышеперечисленных, только один факт - но факт этот представлялся весьма многозначительным. После того, как в чаще были обнаружены шарф и прочие вещи, неподалеку от того места, которое теперь все считали местом убийства, было обнаружено безжизненное иди почти безжизненное тело Сент-Эсташа, жениха Мари. Возле валялся пустой флакон - на ярлычке было написано "опиум". Дыхание Сент-Эсташа указывало, что он действительно принял этот яд. Он умер, не приходя в сознание. В кармане у него была найдена записка: коротко упомянув о своей любви к Мари, он сообщил, что намерен наложить на себя руки.

- Мне, разумеется, незачем говорить вам, - сказал Дюпен, внимательно прочитав мои заметки, - что это куда более запутанное дело, чем убийство на улице Морг, от которого оно отличается в одном очень важном отношении, так как представляет собой хотя и зверски-жестокое, но ординарное преступление. В нем нет ничего выходящего за рамки обычного. Заметьте, что по этой причине все полагали, будто раскрыть его окажется нетрудно, тогда как именно его заурядность и составляет главный камень преткновения. Вначале ведь даже не сочли нужным назначить награду. Мирмидоняне префекта сразу же представили себе, как и почему могло быть совершено это гнусное преступление. Их воображение было способно нарисовать способ - много способов - его совершения, а также и побудительный мотив - много мотивов. И потому, что какие-то из этих способов и этих мотивов могли оказаться подлинными, им представилось само собой разумеющимся, что один из них и окажется подлинным. Однако легкость, с которой возникали эти различные предположения, и их правдоподобность свидетельствовали о том, что правильное решение найти будет не только не просто, но, наоборот, очень трудно. Я не раз замечал, что в поисках истины логика нащупывает свой путь по отклонениям от обычного и заурядного и что в

случаях, подобных этому, следует спрашивать не "что произошло?", а "что произошло необыкновенного, такого, чего не случилось прежде?". Ведя следствие в доме мадам Л'Эспанэ [См.: "Убийство на улице Морг".] агенты Г. растерялись из-за необычности случившегося, в то время как верно направленный интеллект именно в этой необычности усмотрел бы залог успеха; и тот же самый интеллект с глубоким отчаянием убедился бы в видимой заурядности обстоятельств исчезновения продавщицы парфюмерных товаров, хотя подчиненные префекта как раз в ней увидели обещание легкой победы.

В деле мадам Л'Эспанэ и ее дочери мы с самого начала твердо знали, что речь идет об убийстве. Возможность самоубийства исключалась безусловно. Здесь самоубийство также исключается. Вид трупа, обнаруженного неподалеку от заставы Дюруль, не оставляет никаких сомнений в этом важном вопросе. Однако высказывается предположение, что труп этот - не труп Мари Роже, за поимку убийцы или убийц которой назначена награда и которой касается наш уговор с префектом. Мы оба прекрасно знаем этого господина. И знаем, что слишком доверять ему не следует. Если мы начнем наше расследование с трупа и, отыскав убийцу, тем не менее установим, что это труп какой-то другой женщины, а не Мари, или если мы сразу предположим, что Мари жива и отыщем ее - отыщем целой и невредимой, - то в обоих случаях наши труды пропадут даром, поелику мы имеем дело с мосье Г. Поэтому в наших собственных интересах, если не в интересах правосудия, мы должны с самого начала удостовериться, что найденный в Сене труп - это действительно труп пропавшей Мари Роже.

Доводы "Этуаль" произвели впечатление на публику, да и сама газета убеждена в их неопровержимости, о чем свидетельствует первая строка одной из напечатанных в ней заметок, посвященных делу Мари Роже. "Несколько утренних газет, - начинается эта заметка, - обсуждают исчерпывающую статью в номере "Этуаль" от понедельника". На мой взгляд, эта статья исчерпывающе доказывает только рвение ее автора. Вообще следует помнить, что наши газеты думают главным образом о том, как создать сенсацию, а не о том, как способствовать обнаружению истины. Последнее становится их задачей, только если это способствует достижению первой и главной их цели. Когда печать всего лишь следует общему мнению (каким бы обоснованным оно ни было), она не обеспечивает себе успеха у толпы. Большинство людей считает мудрецом только того, кто высказывает предположение, идущее вразрез с принятыми представлениями. В логических рассуждениях, не менее чем в литературе, наибольшим и незамедлительным успехом пользуется эпиграмма, и в обоих случаях она стоит меньше всего.

Я хочу сказать, что предположение, будто Мари Роже еще жива, было подсказано "Этуаль" неожиданностью и мелодраматичностью подобной идеи, а вовсе не ее правдоподобием - и по той же причине она нашла столь благосклонный прием у публики. Давайте разберем по пунктам рассуждения этой газеты, освободив их от той бессвязности и непоследовательности, с какой они изложены в статье.

Прежде всего ее автор стремится доказать, что между исчезновением Мари и обнаружением в реке плывущего трупа прошло слишком мало времени, а потому это не мог быть ее труп. Для

достижения своей цели он стремится елико возможно сократить этот интервал. Такое опрометчивое стремление заставляет его сразу же пустить в ход абсолютно безосновательное предположение. "Было бы чистойшей нелепостью считать, - утверждает он, - будто убийство (если она действительно была убита) могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи". Мы немедленно задаем естественный вопрос: почему? Почему было бы нелепостью предположить, что девушку убили через пять минут после того, как она вышла из дома? Убийства случались во всякое время суток. Но если бы это убийство произошло в течение воскресенья в любую минуту между девятью часами утра и до без четверти двенадцать ночи, убийцы все-таки успели бы "бросить тело в реку до полуночи". Следовательно, произвольная предпосылка автора статьи, в сущности, сводится к тому, что убийство вообще в воскресенье не произошло, а если мы позволим "Этуаль" исходить из такой предпосылки, то должны будем прощать ей любые вольности. Фраза, начинающаяся словами: "Было бы чистойшей нелепостью считать..." - и т.д., независимо от того, в каком виде она появилась на страницах "Этуаль", была порождена следующей мыслью своего творца: "Было бы чистойшей нелепостью считать, будто убийство (если речь действительно идет об убийстве) могло совершиться настолько быстро после ухода девушки из дома, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи; было бы нелепостью, утверждаем мы, предположить все это и в то же время предположить (как мы твердо решили сделать), что тело было брошено в реку только после полуночи", - фраза достаточно непоследовательная, но далеко не столь абсурдная, как та, которая появилась в статье.

- Если бы, - продолжал Дюпен, - я хотел просто опровергнуть именно это место в рассуждениях "Этуаль", - то мог бы спокойно ограничиться уже сказанным. Однако нас интересует не "Этуаль", а истина. Рассматриваемая фраза в ее настоящем виде имеет лишь одно содержание, и это содержание я изложил с полной беспристрастностью, но нам важно, не ограничиваясь только словами, проникнуть в мысль, которую эти слова явно должны были выразить, хотя и не выразили. Журналист хотел сказать, что, независимо от того, утром, днем или вечером в воскресенье было совершено это убийство, убийцы вряд ли осмелились бы доставить труп к реке раньше полуночи. И именно в этих словах прячется та произвольная предпосылка, которую я ставлю ему в упрек. Он без каких-либо оснований исходит из предположения, будто убийство было совершено в таком месте и при таких обстоятельствах, что труп обязательно надо было доставлять к реке. А ведь оно могло произойти на берегу или даже на самой реке - тогда труп мог быть брошен в воду в любое время суток, так как это был бы наиболее легкий и естественный способ избавиться от него. Вы, конечно, понимаете, что я вовсе не считаю наиболее вероятной именно эту возможность и не высказываю своего мнения. Пока еще я не касаюсь реальных фактов дела, а только хочу предостеречь вас против самого тона предположения "Этуаль", обратив ваше внимание на то, что они с самого начала носят характер *ex-parte* [Односторонний, предвзятый (лат.)].

И вот, предписав ограничение, удобное для ее собственных предвзятых идей, предположив, что этот труп, если он был трупом Мари, мог пробыть в воде лишь очень незначительное время, газета заявляет:

"Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в воду вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения пойдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть - десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды".

С этими утверждениями безмолвно согласились все парижские газеты, за исключением "Монитор" [Нью-йоркская "Коммерциэл адвертайзер".], которая пытается опровергнуть лишь то место, которое относится к "утопленникам", ссылаясь на пять-шесть случаев, когда тела заведомых утопленников всплывали до истечения срока, указанного "Этуаль". Однако в этой попытке "Монитор" опровергнуть общее утверждение "Этуаль" ссылками на конкретные противоречащие ему примеры есть что-то глубоко нефилософское. Сошлись "Монитор" не на пять, а на пятьдесят трупов, всплывших через двое-трое суток, все равно эти пятьдесят примеров следовало бы считать лишь исключением из правила, установленного "Этуаль", до тех пор, пока не было бы доказано, что само это правило неверно. А если признавать правило ("Монитор" же его не отрицает и только указывает на исключения), то рассуждения "Этуаль" сохраняют полную силу, поскольку они касаются всего лишь вероятности того, что труп всплывет до истечения трех суток; и эта вероятность будет свидетельствовать в пользу "Этуаль" до тех пор, пока количество примеров, на которые по-детски ссылаются противники ее выводов, не возрастет до той степени, когда уже можно будет говорить о противоположном правиле.

Как вы могли заметить, все рассуждения касательно этого пункта должны строиться так, чтобы опровергнуть указанное правило, а для этой цели нам следует рассмотреть его рациональную основу. Начнем с того, что в среднем человеческое тело немногим тяжелее или легче воды Сены; другими словами, удельный вес человеческого тела в обычных условиях примерно равен удельному весу пресной воды, которую вытесняет это тело. Тела тучных, дородных людей с тонкими костями и тела подавляющего большинства женщин легче, чем тела худощавых крупно костных мужчин; а на удельный вес речной воды оказывает влияние наличие морской воды, поступающей в реки с приливной волной. Но даже отбросив это наличие морской воды, все-таки можно утверждать, что даже в пресной воде при отсутствии дополнительных причин тонут лишь немногие человеческие тела. Упавший в реку человек почти никогда не пойдет ко дну, если он позволит весу своего тела прийти в соответствие с весом вытесненной им воды - другими словами, если он погрузится в воду почти целиком. Для людей, не умеющих плавать, наиболее правильной будет вертикальная позиция идущего человека, причем голову слезет откинуть и погрузить в воду так, чтобы над ней оставались только рот и нос. Приняв подобную позу, вы обнаружите, что без всяких усилий и труда держитесь у самой поверхности. Однако совершенно очевидно, что вес человеческого тела и воды, которую оно вытесняет, находятся лишь в весьма хрупком равновесии, так что достаточно ничтожного пустяка, чтобы оно нарушилось в ту или иную сторону. Например, рука, поднятая над водой и тем самым лишенная ее поддержки, представляет собой добавочный вес, которого достаточно, чтобы голова ушла под воду целиком, тогда как случайно схваченный даже небольшой кусок дерева позволит вам приподнять голову и оглядеться. Человек, не умеющий плавать, обычно начинает биться в воде, вскидывает руки и старается держать голову, как всегда, прямо. В результате рот и ноздри оказываются под водой, которая при попытке вздохнуть проникает в легкие. Кроме того, большое ее количество попадает в желудок, и все тело становится тяжелее настолько, насколько вода тяжелее воздуха,

наполнявшего эти полости прежде. Как правило, этой разницы достаточно для того, чтобы человек пошел ко дну, но только не в тех случаях, когда речь идет о людях с тонкими костями и излишком жира на теле. Такие люди, и утонув, продолжают держаться на поверхности.

Труп, опустившийся на дно реки, останется там до тех пор, пока по какой-то причине его вес опять не станет меньше веса вытесняемой им воды. Это может быть связано с разложением или с чем-либо еще. В процессе разложения образуется газ, расширяющий клетки в тканях и все полости, что придает мертвым телам ту вздутость, которая производит столь жуткое впечатление. Когда такое расширение приводит к заметному увеличению объема трупа без соответствующего увеличения его массы или веса, он становится легче вытесняемой им воды и всплывает. Однако процесс разложения определяется множеством факторов, он убыстряется или замедляется по множеству причин - тут могут играть роль жара и холод, количество растворенных в воде минеральных веществ, большая или меньшая глубина, наличие или отсутствие течения, температура тела, а также и состояние здоровья человека перед смертью. Таким образом, совершенно очевидно, что мы не можем даже приблизительно указать срок всплытия трупа в результате разложения. В некоторых условиях это произойдет менее чем через час, а в других - не произойдет вовсе. Есть химикалии, способные полностью и навсегда предохранить животные ткани от гниения, - к ним, например, принадлежит двухлористая ртуть. Однако и помимо разложения в желудке в результате брожения растительной массы (или же в других полостях по другим причинам) может образовываться - и обычно образуется - газ, который вызывает расширение тела, достаточное для того, чтобы оно всплыло на поверхность. Пушечный выстрел просто производит сильную вибрацию, которая либо высвобождает труп из ила - и он всплывает, потому что был уже почти готов всплыть, либо разрушает какую-то часть уже сгнившей клеточной ткани, препятствовавшей расширению полостей под воздействием газа.

Итак, ознакомившись с философской основой этого предмета, мы с ее помощью легко можем проверить справедливость утверждения "Этуаль". "Как показывает весь прошлый опыт, - заявляет эта газета, - тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть - десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успевают извлечь из воды".

Теперь весь этот абзац выглядит мешаниной натяжек и несуразностей. Весь прошлый опыт отнюдь не показывает, что телу утопленника обязательно требуется шесть - десять дней, прежде чем оно разложится настолько, чтобы всплыть. И наука, и практический опыт свидетельствуют, что период, предшествующий всплытию, должен быть самым неопределенным - каковым он и является. Если же труп всплывает в результате выстрела из пушки, то он "опускается вновь на дно, если его не успевают извлечь из воды" не "вскоре", а только тогда, когда разложение продвинуется настолько далеко, что образовавшийся в теле газ найдет выход наружу. Но я хотел бы обратить ваше внимание на различие, сделанное между "телами утопленников" и "телами жертв убийства, брошенных в реку вскоре после наступления смерти". Хотя автор признает это различие, он тем не менее относит и те и другие тела к одной категории. Я уже объяснил, как именно тело тонущего

приобретает больший удельный вес, чем вода, и показал вам, что такой человек не утонул бы, если бы не начал бить руками, высовывая их из воды, и не захлебывался бы, пытаясь вздохнуть, в результате чего в его легкие вместо воздуха попадает вода. Но тело, "брошенное в реку вскоре после наступления смерти", рук не вскидывает и не захлебывается. Следовательно, в этом случае труп, как правило, вообще не утонет - факт, о котором "Этуаль", по-видимому, не осведомлена. Только когда разложение зайдет очень далеко, когда в значительной мере обнажатся кости, только тогда, но не ранее, он скроется под водой.

Так как же должны мы теперь оценивать довод, что найденный труп - это не труп Мари Роже, ибо он плыл по реке, хотя со времени исчезновения девушки прошло всего три дня? Если бы она утонула, то, будучи женщиной, могла вообще не пойти ко дну, а если и пошла, то ее тело могло всплыть меньше чем через сутки. Но ведь никто не высказывает предположения, будто она утонула, а раз ее бросили в воду уже мертвой, тот факт, что тело плыло по реке, ни о каком сроке не говорит: оно и не должно было опускаться на дно.

Но, утверждает "Этуаль", "если изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц". Здесь в первый момент трудно распознать, куда клонит автор. На самом же деле он хочет предвосхитить возможное возражение против его теории - а именно, что тело оставили лежать двое суток на берегу, где оно разлагалось быстро, быстрее, чем под водой. Он предполагает, что в этом случае оно могло бы всплыть уже в среду, и считает, что всплыть оно могло только при подобных обстоятельствах. А поэтому он торопится показать, что на берегу его не оставляли, ибо тогда "в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц". Полагаю, ваша улыбка вызвана столь неожиданной причинной связью. Вам непонятно, каким образом одна лишь длительность пребывания трупа на берегу могла способствовать умножению следов, оставленных убийцами. Непонятно это и мне.

"И далее, весьма маловероятно, - продолжает наша газета, - чтобы злодеи, совершившие убийство вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило бы никакого труда". Заметьте, какая смехотворная путаница мыслей! Никто - ни даже "Этуаль", - не оспаривает, что женщина, чей труп был извлечен из Сены, была убита. Признаки насильственной смерти слишком уж очевидны. Наш автор ставит себе всего лишь одну цель: убедить читателей, что эта убитая - не Мари. Он стремится доказать не то, что не была убита женщина, чей труп найден, а что не была убита Мари. Однако этот его довод может служить только доказательством первого. Перед нами труп, к которому не привязано никакого груза. Убийцы, бросая его в воду, обязательно привязали бы к нему груз. Отсюда следует, что убийцы его в воду не бросали. Больше ничего подобный аргумент не доказывает - если он вообще что-либо доказывает. Вопрос о личности убитой даже не затрагивается, а "Этуаль" пускается тут в сложные рассуждения всего лишь для того, чтобы опровергнуть собственное признание, которое было сделано несколькими строчками выше. "Мы твердо убеждены, - говорится в них, - что найденное тело - несомненно, труп убитой женщины".

И это - отнюдь не единственный случай, когда наш автор невольно опровергает сам себя даже только в этой части своих рассуждений. Он, как я уже говорил, несомненно ставит себе целью елико возможно сократить промежуток между исчезновением Мари и обнаружением трупа. Тем не менее он настойчиво подчеркивает, что с той минуты, когда девушка вышла из материнского дома, ее никто не видел. "Итак, - говорит он, - мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после девяти часов утра воскресенья 22 июня". Поскольку его довод явно ex-parte, ему следовало бы по меньшей мере вовсе не упоминать об этом обстоятельстве, так как вышеупомянутый промежуток заметно сократился бы, если бы кто-нибудь видел Мари в понедельник или, например, во вторник, и, согласно его собственным рассуждениям, вероятность того, что был найден труп именно красавицы-гризетки, заметно уменьшилась бы. Очень забавно наблюдать, как "Этуаль" настойчиво обращает внимание своих читателей на эту подробность в глубокой уверенности, что таким образом она подкрепляет общий ход своих рассуждений.

Теперь перечитайте ту часть статьи, где рассказывается о том, как труп был опознан Бове. В вопросе о волосках "Этуаль" проявила большую неуклюжесть. Мосье Бове, не будучи идиотом, при опознании трупа вряд ли привел бы в качестве доказательства просто волоски на руке. Волоски есть на любой руке. Неопределенность выражения, употребленного "Этуаль", искажает слова свидетеля. Он, без сомнения, указал на какое-то своеобразие этих волосков - особый цвет, густоту, длину или расположение.

"Ее нога, - пишет газета, - была маленькой, как и тысячи других женских ног. Ее подвязка не может служить серьезным доказательством, как и ботинки - ведь ботинки и подвязки продаются тысячами одинаковых пар. То же можно сказать о цветах на ее шляпе. Мосье Бове особенно упирает на то, что застежка на подвязке переставлена. Это просто ничего не значит, так как женщины почти всегда предпочитают, купив подвязки, затем подогнать их дома, нежели примерять подвязки в лавке перед покупкой". Трудно предположить, что автор утверждает это серьезно. Если бы мосье Бове, разыскивая Мари, нашел труп женщины, сложением и внешностью схожей с исчезнувшей девушкой, он имел бы все основания (вообще не рассматривая одежды) счесть, что его поиски увенчались успехом. А если, кроме общего сходства, он обнаружил бы на руке умершей те своеобразные волоски, которые видел на руке Мари, его уверенность с полным правом могла бы возрасти в степени, прямо пропорциональной необычности этой приметы. Если ноги Мари были маленькими и ноги трупа - тоже, уверенность в том, что это труп именно Мари, возросла бы не в арифметической, но в геометрической прогрессии. Добавьте ко всему этому ботинки, такие же, какие были на ней в день исчезновения, и пусть даже эти ботинки "продаются тысячами одинаковых пар", вы доведете вероятность уже почти до степени абсолютной несомненности. То, что само по себе не является точной приметой, теперь благодаря своему месту в целом ряду других признаков становится почти неопровержимым доказательством. Добавьте еще цветы на шляпе, такие же, какие носила исчезнувшая девушка, и опознание можно считать полным. Достаточно было бы и одного цветка. Но что, если их два, или три, или больше? Каждый из них не просто дополняет нашу уверенность, но стократ ее умножает. А теперь обнаружим на покойнице такие же подвязки, какие носила живая девушка, - и всякие дальнейшие поиски становятся просто нелепыми. Но оказывается, застежки на этих подвязках были переставлены, чтобы подогнать их по ноге, - точно так, как Мари затянула свои подвязки незадолго до ухода. После этого сомневаться может только сумасшедший или лицемер. Эластичная природа подвязок уже указывает на необычность такой перестановки застежки. Если предмет способен

укорачиваться сам, то дополнительное его укорачивание по необходимости не может не быть редким. То, что подвязки Мари потребовали такой переделки, было случайностью в самом строгом смысле слова. Одних этих подвязок было бы вполне достаточно, чтобы точно установить ее личность. Но ведь на трупе не просто нашли подвязки исчезнувшей девушки, или ее ботинки, или ее шляпку, или цветы с ее шляпки, не просто оказалось, что ноги убитой такие же маленькие, или что у нее такие же волоски на руке, или что она напоминает Мари сложением и внешностью, - нет, труп имел все эти приметы до единой. Если бы удалось доказать, что редактор "Этуаль" при таких обстоятельствах все же продолжает искренне сомневаться в личности убитой, его можно было бы объявить сумасшедшим и без заключения медицинской комиссии. Он решил, что будет очень хитро с его стороны прибегнуть к профессиональному языку адвокатов, которые по большей части удовлетворяются повторением прямолинейных юридических понятий. Кстати, многое из того, что суды отказываются считать доказательствами, является для острого ума наиболее убедительным доказательством. Ибо суд руководствуется общими принципами, определяющими, что составляет доказательство, а что - нет, то есть руководствуется признанными, записанными в кодексах принципами и не склонен отступать от них в конкретных случаях. Несомненно, такое неуклонное следование принципу и полное игнорирование противоречащих ему исключений в конечном счете представляет собой верный способ обнаружения максимума поддающейся обнаружению истины. Следовательно, в целом такая практика вполне философически оправдана, однако верно и то, что она приводит ко множеству индивидуальных ошибок ["Теория, опирающаяся на качества какого-либо предмета, препятствует тому, чтобы он раскрывался согласно его целям; а тот, кто располагает явлениями) исходя из их причин, перестает оценивать их согласно их результатам. Посему юриспруденция любой страны показывает, что закон, едва он становится наукой и системой, перестает быть правосудием. Нетрудно убедиться в ошибках, к которым слепая преданность принципу классификации приводила обычное право, проследив, как часто законодательным органам приходилось вмешиваться и восстанавливать справедливость, которую оно успевало утратить" (Лендор).].

Что касается инсинуаций, направленных против Бове, вы, конечно, отбросите их без долгих размышлений. Истинный характер этого господина вам, разумеется, уже ясен. Это романтический и не очень умный любитель совать нос в чужие дела. Каждый человек подобного типа в действительно серьезных случаях обычно ведет себя так, что вызывает подозрение у излишне проницательных или нерасположенных к нему людей. Мосье Бове (как вытекает из ваших заметок) имел личную беседу с редактором "Этуаль" и задел его самолюбие, настаивая на том, что труп, вопреки теории редактора, все-таки и без всяких сомнений труп Мари Роже. "Он, - говорит газета, - упрямо утверждает, что это труп Мари, но не может сослаться в подтверждение ни на какие более убедительные для других приметы, кроме тех, которые мы уже обсудили". Не возвращаясь к вопросу о том, что "более убедительные для других приметы" найти вообще невозможно, надо указать на следующее: в подобного рода делах человек вполне может быть твердо убежден сам и в то же время не располагать никакими доводами, убедительными для других. Впечатление, которое вы храните о личности того или иного человека, очень трудно поддается определению. Каждый человек узнает своих знакомых, но весьма редко кто бывает способен логически объяснить, каким образом он их узнает. Редактор "Этуаль" не имеет права обижаться на мосье Бове за его нерассуждающую уверенность.

Связанные с ним подозрительные обстоятельства куда легче объяснить, исходя из моего представления о нем как о романтическом любителе совать нос в чужие дела, чем из виновности, которую обиняком пытается ему приписать автор статьи. Если мы будем исходить из более милосердного предположения, то легко пойдем и розу в замочной скважине, и "Мари" на грифельной доске, и "оттирание в сторону родственников мужского пола", и нежелание, чтобы они увидели труп, и предостережение, с которым он обратился к мадам Б., указывая, что ей не следует ничего говорить жандарму до его (Бове) возвращения, и, наконец, его твердую решимость "не позволять никому другому принимать участие в расследовании". Мне представляется безусловным, что Бове был поклонником Мари, что она с ним кокетничала и что он стремился внушить всем, будто пользуется ее особым доверием и расположением. Больше я ничего об этом говорить не стану, а поскольку факты полностью опровергают утверждение "Этуаль" относительно равнодушия матери Мари и других ее родственников - равнодушия, которое ставило бы под сомнение искренность их убеждения, что найден действительно труп Мари, - мы будем далее исходить из того, что вопрос об установлении личности убитой разрешен к полному нашему удовлетворению.

- А что вы умеете, - спросил я, - о предположениях "Коммерсьель"?

- Я думаю, что по своему духу они заслуживают значительно большего внимания, чем все прочие мнения, высказанные об этом деле. Выводы из предпосылок философски верны и остроумны, однако по меньшей мере в двух случаях предпосылки опираются на неточные наблюдения. "Коммерсьель" дает понять, что Мари неподалеку от дома ее матери схватила шайка негодяев. "Невозможно предположить, - настаивает газета, - чтобы кто-нибудь, столь известный публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала". Такую мысль мог высказать лишь мужчина, коренной парижанин, видный член общества, который, как правило, ходит только по определенным улицам в деловой части города. Он по опыту знает, что ему редко удастся пройти пять кварталов от своей конторы без того, чтобы его кто-нибудь не узнал и не заговорил с ним. Он знает обширность своих знакомств и, сравнивая собственную известность с известностью продавщицы из парфюмерной лавки, не обнаруживает существенной разницы, а потому тут же приходит к заключению, что и ее на улице должны узнавать не реже, чем его. Но так могло бы быть только, если бы она, подобно ему, ходила одним и тем же неизменным путем в пределах четко ограниченной части города. Он проходит туда и обратно в определенные часы, и его маршрут пролегает по улицам, где ему на каждом шагу встречаются люди, интересующиеся им из-за общности их занятий. Мари же в своих прогулках вряд ли придерживалась какого-либо определенного маршрута. А в данном случае наиболее вероятным будет предположение, что она избрала путь, как можно более отличавшийся от обычных. Сопоставление, которое, как мы полагаем, подразумевала "Коммерсьель", оказалось бы справедливым, только если бы два сопоставляемых индивида прошли через весь город. В этом случае, при условии равной обширности круга их знакомств, были бы равны и их шансы на равное число встреч со знающими их людьми. Я же считаю не только возможным, но и гораздо более вероятным, что Мари могла в любое заданное время проследовать по какому-либо из многочисленных путей, соединяющих ее жилище и жилище ее тетки, не встретив ни единого человека, который был бы ей известен или которому была бы известна она. Рассматривая этот вопрос наиболее полно и правильно, мы должны все время помнить о колоссальном несоответствии между кругом знакомств даже самого известного парижанина и всем населением Парижа.

Если предположение "Коммерсьель" тем не менее еще сохраняет некоторую силу, нам следует вспомнить час, в который Мари вышла из дома. "И она вышла из дома в час, - утверждает "Коммерсьель", - когда улицы были полны народа". Однако дело обстояло по-другому. Это произошло в девять часов утра. Действительно, в девять часов утра улицы бывают полны народа в любой день недели, кроме воскресенья. В воскресенье же в девять часов утра горожане обычно бывают дома, собираясь идти в церковь. Любой наблюдательный человек, несомненно, замечал особую пустынность городских улиц в воскресное утро с восьми до десяти часов. Между десятью и одиннадцатью часами их действительно заполняют прохожие, но не ранее, не в час, о котором идет речь.

Наблюдательность изменила "Коммерсьель" и в другом случае. "От одной из нижних юбок злосчастной девушки, - указывает газета, - был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут. Из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Прделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками". Насколько это предположение основательно само по себе, мы рассмотрим позже, но во всяком случае под "субъектами, не располагающими носовыми платками", автор подразумевает бродяг самого низшего разбора. Однако именно у них всегда бывают платки, даже у тех, у кого и рубашки нет. Вероятно, вы заметили, что за последние годы платки превратились в обязательную принадлежность всего городского отребья.

- А как следует оценить статью в "Солей"? - спросил я.

- Очень жаль, что ее сочинитель не родился попугаем - в этом случае он, несомненно, стал бы самым знаменитым попугаем на свете. Он всего-навсего повторяет отдельные положения из того, что уже было высказано кем-то другим, разыскивая их с похвальным трудолюбием на страницах чужих газет. "Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырёх недель, и не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено". Факты, которые тут вновь перечисляет "Солей", моих сомнений отнюдь не рассеивают, и подробнее мы о них поговорим позднее, в связи с еще одним аспектом этой темы.

А пока нам следует заняться другими вопросами. Вы, несомненно, обратили внимание на чрезвычайную небрежность осмотра трупа. Да, конечно, личность убитой была установлена достаточно быстро, но многое осталось невыясненным. Был ли труп ограблен? Надела ли убитая, выходя из дому, какие-нибудь дорогие украшения? А если да, то были ли они найдены на ее теле? На эти весьма важные вопросы материалы расследования не дают никакого ответа, без внимания остались и другие, столь же существенные моменты. Мы должны попробовать сами восполнить эти пробелы. Необходимо заново рассмотреть роль Сент-Эсташа. У меня нет против него никаких подозрений, но нам следует действовать систематически. Мы придирчиво проверим его письменное показание о том, где и когда он был в то воскресенье. Такого рода показания нередко оказываются весьма ненадежными. Но если мы не обнаружим в них никаких противоречий, то

больше Сент-Эташем заниматься не будем. Однако его самоубийство, хотя оно и усугубило бы подозрения против него в случае, если бы нам удалось доказать лживость этих показаний, вполне объяснимо, если они верны, а потому из-за него нам незачем изменять обычные методы анализа.

Я предлагаю пока не заниматься непосредственно самим трагическим событием, а сосредоточить наше внимание на предшествовавших и сопутствовавших ему обстоятельствах. Одна из частых и отнюдь не наименьших ошибок подобного рода расследований заключается в том, что расследуется только самый факт, а все опосредствованно или косвенно с ним связанное полностью игнорируется. Суды совершают значительный промах, ограничивая рассмотрение улик и свидетельских показаний лишь темп, связь которых с делом представляется непосредственной и очевидной. Однако, как не раз показывал прошлый опыт и как всегда покажет истинная философия, значительная, если не подавляющая часть истины раскрывается через обстоятельства, на первый взгляд совершенно посторонние. Именно дух, если не буква этого принципа, лежит в основе решимости современной науки опираться на непредвиденное. Но, возможно, вам непонятны мои слова. История накопления человеческих знаний непрерывно доказывает одно: наибольшим числом самых ценных открытий мы обязаны сопутствующим, случайным или непредвиденным обстоятельствам, а потому, в конце концов, при обзоре перспектив на будущее стало необходимым отводить не просто большое, но самое большое место будущим изобретениям, которые возникнут благодаря случайности и вне пределов предполагаемого и ожидаемого. Теперь стало несовместимым с философией строить прогнозы грядущего, исходя только из того, что уже было. Случай составляет признанную часть таких построений. Мы превращаем случайность в предмет точных исчислений. Мы подчиняем непредвиденное и невообразимое научным математическим формулам.

Как я уже говорил, наибольшая часть истины была открыта благодаря побочным обстоятельствам; и в соответствии с духом принципа, стоящего за этим фактом, я в данном случае перенесу расследование с истоптанной и до сей поры неплодородной почвы самого события на обстоятельства, ему сопутствовавшие. Вы будете проверять истинность показаний, подтверждающих, где и когда был в то воскресенье Сент-Эташ, а я тем временем проштудирую газеты не столь целенаправленно, как сделали это вы. Пока мы лишь произвели предварительную разведку, но будет весьма странно, если широкое ознакомление с прессой, которое я намерен предпринять, не откроет какие-нибудь второстепенные подробности, которые, в свою очередь, подскажут нам, в каком направлении надо вести расследование.

Выполняя поручение Дюпена, я скрупулезно изучил вышеупомянутые показания и убедился в их истинности, а следовательно, и в невиновности Сент-Эташа. Тем временем мой друг с тщанием, которое представлялось мне совершенно излишним, просматривал одну газетную подшивку за другой. Через неделю он положил передо мной следующие выдержки:

"Примерно три с половиной года назад волнение, весьма напоминающее нынешнее, было вызвано исчезновением той же самой Мари Роже из парфюмерной лавки мосье Леблана в Пале-Рояль. Однако неделю спустя она вновь появилась за своим прилавком, живая и невредимая, хотя,

правда, чуть более бледная, чем прежде. Мосье Леблан и ее мать заявили, что она просто уезжала к какой-то подруге в деревню, и дело быстро замяли. Мы полагаем, что и нынешнее исчезновение вызвано сходной причиной и что по истечении недели или, быть может, месяца мы снова увидим ее среди нас".

("Вечерняя газета" [Нью-йоркская "Экспресс"]., понедельник 23 июня.)

"Одна из вечерних газет сослалась вчера на первое таинственное исчезновение мадемуазель Роже. Известно, что ту неделю, пока ее не было в лавке мосье Леблана, она провела в обществе молодого морского офицера, имеющего репутацию кутилы и повесы. Полагают, что вследствие ссоры она, к счастью, вернулась домой вовремя. Нам известно имя этого Лотарио, находящегося в настоящее время в Париже, но по понятным причинам мы не предаем его гласности".

("Меркюри" [Нью-йоркская "Геральд"]., вторник 24 июня, утренний выпуск.)

"Позавчера в окрестностях нашего города было совершено возмутительнейшее преступление. Некий господин в сумерках нанял шестерых молодых людей, которые катались на лодке по Сене, перевезти его с женой и дочерью через реку. Когда лодка причалила к противоположному берегу, трое пассажиров высадились и успели отойти на такое расстояние, что река скрылась из виду, но тут дочь заметила, что забыла в лодке зонтик. Она вернулась за ним, но негодяи схватили ее, заткнули ей рот кляпом, вывезли на середину реки, учинили над ней зверское насилие и в конце концов высадили на берег примерно там же, где она вошла в лодку со своими родителями. Преступники скрылись, но полиция напала на их след, и кое-кто из них скоро будет арестован".

("Утренняя газета" [Нью-йоркская "Курьер энд инквайер"]., 25 июня.)

"Мы получили несколько писем, цель которых - доказать, что виновником недавнего зверского преступления был Менэ [Менэ был одним из тех, кого вначале арестовали по подозрению, но затем отпустили за полным отсутствием улик.], но поскольку после официального расследования он был полностью оправдан, а доводы этих наших корреспондентов продиктованы более желанием обнаружить преступника, нежели фактами, мы на считаем возможным опубликовать их".

("Утренняя газета", 28 июня.)

"Мы получили несколько гневных писем, по-видимому, принадлежащих перу разных лиц, которые дышат уверенностью, что злополучная Мари Роже стала жертвой одной из многочисленных бандитских шаек, которые по воскресеньям наводняют окрестности города. Это предположение полностью соответствует нашему собственному мнению. Несколько позже мы попробуем найти место для некоторых из этих писем на наших страницах".

("Вечерняя газета" ["Нью-Йорк ивнинг пост".] вторник 30 июня.)

"В понедельник один из лодочников, служащих в налоговом управлении, заметил пустую лодку, плывущую вниз по Сене. Паруса лежали свернутыми на дне лодки. Лодочник отбуксировал ее к своей пристани. На следующее утро ее забрали оттуда без ведома местного начальства. Ее руль находится в конторе пристани".

("Дилижанс" [Нью-йоркская "Стандард".], вторник 26 июня.)

Я прочел эти разнообразные выдержки, и они не только показались мне совершенно не связанными между собой, но я не мог вообразить, какое отношение они имели к делу, которым мы занимались. И я стал ждать объяснений Дюпена.

- Пока, - сказал он, - я не намерен останавливаться на первой и второй вырезках. Я дал их вам главным образом для того, чтобы показать всю степень непростительной небрежности нашей полиции, которая, насколько я понял из слов префекта, даже не потрудилась хотя бы навести справки об этом морском офицере. А ведь утверждать, что между первым и вторым исчезновением Мари невозможно хотя бы предположительно усмотреть никакой связи, по меньшей мере глупо. Допустим, что первое бегство из дома закончилось ссорой и обманутая девушка вернулась к матери. Теперь мы готовы рассмотреть второе бегство (если нам известно, что это именно бегство) скорее как свидетельство того, что обманщик возобновил свои ухаживания, чем как результат новых предложений кого-то еще, - нам легче счесть его возобновлением старого романа после примирения, чем началом нового. Десять шансов против одного, что прежний возлюбленный, однажды уже уговоривший Мари бежать с ним, уговорил ее снова, а не нашелся кто-то другой, кто обратился к ней с таким же предложением. И тут разрешите мне привлечь ваше внимание к тому факту, что время, миновавшее менаду первым, несомненным, бегством, и вторым, предполагаемым, лишь на несколько месяцев превышает обычный срок дальнего плаванья наших военных кораблей. Быть может, соблазнитель в первый раз не сумел привести в исполнение свое низкое намерение, так как должен был уйти в море, и, едва вернувшись, вновь приступил к осуществлению своего незавершенного гнусного плана - во всяком случае, не завершено им самим? Об этом нам ничего не известно.

Однако вы возразите, что во втором случае бегства с любовником не было. Безусловно так - но возьмемся ли мы утверждать, что оно и не предполагалось? Кроме Сент-Эсташа и, быть может, Бове, у Мари, насколько нам известно, не было признанных поклонников, ухаживавших за ней открыто и с честными намерениями. Ни о ком другом мы не находим никаких упоминаний. Так кто же этот тайный возлюбленный, о котором родственники (во всяком случае, большинство из них) не знают ничего, но с которым Мари встречается утром в воскресенье и которому она так доверяет, что без опасения остается в его обществе до тех пор, пока вечерний сумрак не окутывает пустынные рощи неподалеку от заставы Дюруль? Кто этот тайный возлюбленный, спрашиваю я, о ком, во всяком случае, большинство родственников ничего не знает? И что означает странное пророчество мадам Роже, произнесенное утром в воскресенье после ухода Мари? Это ее "боюсь, я уже больше никогда не увижу Мари"?

Но если мы не можем вообразить, что мадам Роже знала о предполагаемом бегстве, то разве непозволительно будет допустить, что сама девушка такие планы строила? Уходя, она сказала, что идет навестить тетку, и попросила Сент-Эсташа зайти за ней вечером на улицу Дром. На первый взгляд это обстоятельство как будто опровергает мое предположение. Однако поразмыслим. Точно известно, что она с кем-то встретилась и что она отправилась с этим человеком за реку, оказавшись в окрестностях заставы Дюруль в три часа дня, то есть через несколько часов после ухода из дома. Но, согласившись отправиться туда с этим неизвестным (неважно, ради какой цели, с ведома или без ведома матери), Мари не могла не подумать о том, как она объяснит свой уход, а также об удивлении ее нареченного, Сент-Эсташа, и о подозрениях, которые его охватят, когда, явившись за ней в назначенный час на улицу Дром, он узнает, что она там даже не появлялась, а затем, воротившись в пансион с этой тревожной вестью, не найдет ее и там. Конечно, она не могла не подумать обо всем этом. Она должна была предвидеть отчаяние Сент-Эсташа и подозрения, которые ее исчезновение вызовет у всех. После такой эскапады ей было бы трудно вернуться домой, но мысль об этом не стала бы ее смущать, если, допустим, она с самого начала не собиралась возвращаться в дом матери.

Мы можем предположить, что она рассуждала примерно так: "Я должна встретиться с таким-то человеком, чтобы бежать с ним - или ради какой-то другой цели, известной мне одной. Надо устроить так, чтобы мне не помешали, надо выиграть время, чтобы избежать погони, а потому я скажу, что собираюсь провести день у тетушки на улице Дром, и попрошу Сент-Эсташа, чтобы он не заходил за мной, пока не стемнеет. Таким образом, до начала вечера мое отсутствие ни у кого не вызовет ни беспокойства, ни подозрений, и я выиграю времени больше, чем любым другим способом. Если я попрошу Сент-Эсташа зайти за мной, когда стемнеет, он раньше туда не явится, но если я не скажу ему ничего, то выиграю времени гораздо меньше, так как меня будут ждать дома в более ранний час и мое отсутствие скорее вызовет тревогу. Если бы я собиралась вернуться - если бы я хотела только прогуляться с тем человеком, - то я не попросила бы Сент-Эсташа зайти за мной, поскольку в этом случае он наверняка узнал бы, что я его обманула, тогда как мне ничего не стоило бы скрыть от него это, если бы я ничего ему не сказала, вернулась бы домой до сумерек, а потом объявила бы, что была в гостях у тетушки на улице Дром. Но раз я вообще не намерена возвращаться - во всяком случае, не ранее чем через несколько недель или же только после принятия некоторых мер предосторожности, - мне следует думать лишь о том, как выиграть побольше времени, и ни о чем другом".

Как вы указываете в своих заметках, с самого начала общее мнение касательно этого печального происшествия склонялось к тому, что Мари Роже стала жертвой шайки хулиганов. Ну, а при определенных обстоятельствах общее мнение не следует игнорировать. Когда оно возникает само собой - когда оно появляется строго самопроизвольно, - его следует рассматривать как аналогию той интуиции, которой бывают наделены гениальные люди. И в девяноста девяти случаях из ста я соглашусь с ним. Но необходимо твердо знать, что оно никем и ничем не подсказано. Это мнение должно быть строго мнением самого общества, но такое различие часто бывает довольно трудно уловить и объяснить. В данном случае я вижу, что это "общее мнение" о шайке возникло из-за сходного случая, который подробно описан в третьем из моих извлечений. Весь Париж неистовствует из-за того, что найден труп Мари - молодой, красивой девушки, уже привлекавшей к себе внимание публики. На трупе обнаружены следы насилия, и он был вытаскен из реки. Но тут же становится известно, что тогда же или примерно тогда же, когда была убита Мари Роже, другая девушка подверглась такому же надругательству, как и покойная, хотя и с менее трагическими последствиями, попав в лапы шайки молодых негодяев. Стоит ли удивляться, что достоверные сведения о возмутительном преступлении подействовали на общественное мнение и в связи о другим преступлением, о котором ничего достоверного пока не известно? Общественное мнение искало виновных, и они были услужливо подсказаны ему обстоятельствами другой драмы! Ведь Мари нашли в реке - в той же самой, на которой разыгралась эта вторая драма. Связь этих двух событий на первый взгляд представляется абсолютно очевидной, и было бы поразительно, если бы публика не заметила этого сходства и не ухватилась за него. Однако в действительности подобное преступление скорее доказывает, что второе, совершенное примерно в то же время, носило совсем иной характер. Если бы оказалось, что пока одна шайка мерзавцев в таком-то месте совершала чрезвычайно редкое по гнусности преступление, еще одна такая же шайка в тех же окрестностях того же города при таких же обстоятельствах, прибегнув к таким же ухищрениям, творила точно такую же гнусность точно в то же время, - это вышло бы за пределы вероятного и могло бы называться чудом! А ведь общественное мнение, сложившееся под воздействием внушения, требует, чтобы мы поверили именно в эту невероятную цепь совпадений.

Прежде чем идти дальше, поговорим о предполагаемом месте убийства - о чаще неподалеку от заставы Дюруль. Эта чаща, хотя и густая, находится возле проезжей дороги. В ее глубине были найдены три-четыре больших камня, сложенные в виде сиденья со спинкой и подножкой. На верхнем камне была найдена белая нижняя юбка, на втором - шелковый шарф. Там же были обнаружены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была метка "Мари Роже". На ветках вокруг висели лоскутки платья. Земля была истоптана, кусты переломаны, и повсюду виднелись признаки отчаянной борьбы.

Какую бы важность ни придавали газеты этим находкам, с каким бы единодушием ни было решено, что место преступления наконец обнаружено, тем не менее есть немало веских причин для сомнения. Я могу верить или не верить, что преступление было совершено именно там, но существуют весьма веские причины для сомнения. Если бы, как предположила "Коммерсьель", преступление совершилось где-то неподалеку от улицы Паве-Сент-Андре, его участники, если они остались в Париже, естественно, пришли бы в ужас оттого, что внимание публики оказалось направленным в верную сторону, и у людей определенного умственного склада немедленно

возникло бы стремление что-то предпринять, чтобы отвлечь это внимание. А поскольку чаша у заставы Дюруль уже вызывала некоторые подозрения, это могло подсказать им мысль подбросить вещи девушки в то место, где они и были затем найдены. Вопреки убеждению "Солей" нет никаких реальных доказательств того, что вещи пролежали в чаше более трех-четырёх дней, тогда как многие косвенные данные свидетельствуют, что они не могли бы остаться там незамеченными в течение тех двадцати суток, которые протекли между роковым воскресеньем и вечером, когда их обнаружили мальчики. "Под действием дождя, - утверждает "Солей", повторяя другие газеты, - они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг них выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк зонтика был толстым, но складки его склеились, а верхняя, сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда ее раскрыли, он весь распозлся". Что касается травы, которая "выросла вокруг них", и стеблей, "кое-где проросших и сквозь них", то эти факты могли быть почерпнуты только из рассказа, а следовательно, из впечатлений двух маленьких мальчиков, так как эти мальчики унесли все найденные ими вещи домой и никто третий в чаше их не видел. Однако в такую теплую и влажную погоду, какая стояла со времени убийства, трава порой вырастает на два-три дюйма в сутки. Зонтик, положенный среди молодой травки, через неделю может быть уже полностью скрыт от взгляда ее вытянувшимися стеблями. Ну а плесень, на которую редактор "Солей" ссылается с таким упорством, что в двух-трех фразах, процитированных мной, он трижды ее упоминает, - неужели этот господин и правда не знает, какова ее природа? Неужели ему надо объяснять, что это одна из разновидностей грибов, а грибам свойственно вырастать и сгнивать на протяжении двадцати четырех часов.

Таким образом, мы сразу видим, что наиболее торжественно преподносимое свидетельство пребывания этих вещей в чаше "не менее трех-четырёх недель" абсолютно ничем этого факта не доказывает. С другой стороны, очень трудно поверить, что эти вещи могли пролежать в указанной чаше дольше недели, то есть дольше, чем от одного воскресенья до другого. Людям, знакомым с окрестностями Парижа, хорошо известно, насколько трудно отыскать там укромное местечко - разве только в большом отдалении от предместий. В этих лесках и рощах просто нельзя вообразить не только уединенного уголка, но даже такого, который посещался бы не очень часто. Пусть-ка любитель природы, прикованный своими обязанностями к пыли и жаре этой огромной столицы, пусть-ка такой человек попробует даже в будний день утолить свою жажду одиночества среди окружающих ее прелестных естественных пейзажей. Их очарование ежеминутно будет нарушаться голосом, а то и появлением какого-нибудь бродяги или же веселящейся компании городских оборванцев. И он тщетно будет искать уединения в гуще деревьев и кустов. Именно там собираются неумытые в наибольшем числе, именно эти храмы подвергаются наибольшему поруганию. И с тоской в сердце такой скиталец устремится назад в оскверненный Париж, ибо в этом средоточии скверны она все же менее бросается в глаза. Но если окрестности города столь многолюдны в будние дни, насколько больше переполнены они народом в воскресенье! Именно тогда, освободившись на день от необходимости трудиться или же на тот же срок лишившись возможности совершать обычные преступления, подонки города устремляются за его черту не из любви к сельской природе, которую они в глубине души презирают, но чтобы освободиться от уз и запретов, налагаемых на них обществом. Их манит не столько чистый воздух и зелень деревьев, сколько отсутствие какого-либо надзора. Где-нибудь в придорожном трактире или под пологом лесной листвы, вдали от чужих глаз, они в компании собутыльников предаются тому, что сходит у них за веселье - дикому разгулу, порождению безнаказанности и спиртных напитков. И повторяя, что в любой чаше под Парижем означенные вещи могли бы пролежать никем не замеченные

дольше, чем от воскресенья до воскресенья, только если бы произошло чудо, я утверждаю лишь то, с чем не может не согласиться любой непредубежденный наблюдатель.

К тому же существует достаточно других оснований подозревать, что вещи эти были подброшены в чашу у заставы с целью отвлечь внимание от настоящего места преступления. И в первую очередь я хотел бы, чтобы вы заметили, какого числа были найдены вещи. Сопоставьте это число с числом, которым помечено мое пятое извлечение из газет. Вы обнаружите, что открытие это последовало почти немедленно за сообщением вечерней газеты о полученных ею "гневных письмах". Эти письма, различавшиеся по содержанию и, по-видимому, исходившие от разных лиц, все клонили к одному и тому же, а именно - называли виновниками преступления шайку негодяев и указывали на заставу Дюруль как на место, где оно было совершено. Разумеется, никак нельзя считать, что мальчики отправились в чашу и отыскивали там вещи Мари Роже вследствие этих писем и того внимания, которое они к себе привлекли; однако может представляться и представляется вполне вероятным, что мальчики не отыскивали этих вещей раньше, так как раньше этих вещей в чаше не было, та. что их оставили там, только когда газета сообщила о письмах (или же незадолго до этого), сами же виновные авторы указанных писем.

Эта чаша - очень своеобразная чаша, весьма и весьма своеобразная. Она чрезвычайно густа. А внутри между стенами кустов находятся необычные камни, образующие сиденье со спинкой и подножкой. И эта-то чаша, такая необычная, находилась совсем рядом, всего в нескольких сотнях шагов, от жилища мадам Дюлюк, чьи сыновья имели обыкновение обшаривать все соседние кусты, собирая кору сасафрасса. Можно ли будет назвать неразумным пари, если я поставлю тысячу франков против одного, что не проходило дня, чтобы хотя бы один из мальчуганов не забирался в тенистую естественную беседку и не восседал на каменном троне? Те, кто откажутся предложить такое пари, либо никогда сами не были мальчиками, либо забыли свое детство. И я повторяю: почти невозможно понять, как эти вещи могли бы пролежать в чаше больше двух дней и остаться незамеченными; а поэтому есть достаточно оснований заподозрить, что, вопреки дидактичному невежеству "Солей", они были подброшены туда, где их нашли, относительно недавно.

Однако существуют еще более веские основания полагать, что их именно подбросили, - куда более веские, чем все, о чем я упоминал до сих пор. Позвольте мне теперь указать вам на чрезвычайно искусственное расположение вещей. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором - шелковый шарф, а вокруг были разбросаны зонтик, перчатки и носовой платок с меткой "Мари Роже". Именно такое расположение им, естественно, придал бы не слишком умный человек, желая разбросать эти вещи естественно. На самом же деле это выглядит далеко не естественно. Было бы уместнее, если бы все они валялись на земле и были бы истоптаны. В тесноте этой полянки юбка и шарф едва ли остались бы лежать на камнях, если там шла какая-то борьба - их обязательно смахнули бы на землю. "Земля была утоптана, кусты поломаны - все там свидетельствовало об отчаянной борьбе", - утверждает газета, однако юбка и шарф были аккуратно разложены, словно на полках. "Лоскутки, вырванные из платья коллочками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину - шесть. Один оказался куском нижней оборки со штопкой. Они выглядели так, словно были оторваны". Здесь "Солей" случайно употребила весьма

подозрительный глагол. Действительно, судя по описанию, эти лоскутки кажутся оторванными - но сознательно, человеческой рукой. Лишь в чрезвычайно редких случаях колючка "отрывает" лоскут от подобной одежды. Эти ткани по самой своей природе таковы, что колючка или гвоздь, запутавшиеся в них, рвут их под прямым углом, образуя две перпендикулярные друг к другу прорехи, сходящиеся там, где колючка вонзилась в ткань, но трудно вообразить "оторванный" таким способом лоскуток. Мне этого видеть не приходилось. Да и вам тоже. Для того, чтобы оторвать лоскуток такой ткани, необходимо почти в любом случае приложить две отдельные силы, действующие в разных направлениях. Если ткань имеет два края - если, например, вы захотите оторвать полоску от носового платка, - тогда и только тогда достаточно будет приложения одной силы. Но в данном случае речь идет о платье, имеющем один край. Чтобы колючки вырвали лоскут где-то выше, где нет краев, необходимо чудо, а одна колючка вообще этого сделать не может. Но даже и у нижнего края для этого требуется не меньше двух колючек, причем они должны действовать в двух сильно различающихся направлениях. Но и это относится лишь к неподрубленному краю ткани. Если же он подрублен, то опять-таки ничего подобного произойти не может. Итак, мы видим, сколько существует серьезных, почти непреодолимых препятствий к тому, чтобы лоскуток был "вырван" просто "колючками", а нас просят поверить, что было вырвано несколько лоскутков! Причем "один оказался куском нижней оборки"! А второй "был вырван из юбки гораздо выше оборки", то есть колючки не оторвали его от края, а вырвали из внутренней части ткани! Да, человека, отказывающегося поверить в это, вполне можно извинить, но, взятые в целом, эти улики все же дают, пожалуй, меньше основания для подозрения, чем одно-единственное поразительное обстоятельство, а именно - тот факт, что вещи вообще были оставлены среди кустов убийцами, у которых хватило хладнокровия унести труп. Однако вы поймете меня неверно, если предположите, будто моя цель доказать, что преступление не было совершено в этой чаще. Оно могло произойти там, или же, что вероятнее, какая-то несчастная случайность привела к нему под кровлей мадам Дюлюк, но этот факт имеет второстепенное значение. Мы пытаемся установить, не где было совершено убийство, а кто его совершил. Мои рассуждения, несмотря на их обстоятельность, имели только целью, во-первых, показать всю нелепость решительных и опрометчивых выводов "Солей" и, во-вторых, что гораздо важнее, наиболее естественным путем подвести вас к вопросу о том, было ли убийство совершено шайкой или нет.

Мы возобновим рассмотрение этого вопроса, кратко коснувшись отвратительных подробностей, сообщенных полицейским врачом на следствии. Достаточно сказать, что его опубликованное заключение, касающееся числа преступников, вызвало заслуженные насмешки всех видных анатомов Парижа, как неверное и абсолютно безосновательное. Конечно, он не предположил ничего невозможного, но никаких реальных оснований для такого предположения у него не было. Однако нельзя ли найти достаточных оснований для какого-нибудь другого предположения?

Займемся теперь "следами отчаянной борьбы". Позвольте мне спросить, свидетельством чего были сочтены эти следы? Свидетельством присутствия шайки. Но разве на самом деле они не свидетельствуют совсем об обратном? Какая борьба могла завязаться - какая борьба, настолько яростная и длительная, что она оставила "следы" повсюду, - между слабой беззащитной девушкой и предполагаемой шайкой негодяев? Да они просто схватили бы ее, и все было бы кончено в одно мгновение и без всякого шума. У жертвы не хватило бы сил вырваться из их грубых рук, и она оказалась бы в полной их власти. Но помните одно: доводы против того, что местом преступления

является именно эта чаша, в подавляющем большинстве справедливы, только если считать, что преступников было несколько. Если же предположить, что насильник был один, то тогда - и только тогда - можно представить себе такую яростную и упорную борьбу, которая оставила бы пресловутые "следы".

И еще одно. Я уже упомянул, насколько подозрительным представляется тот факт, что вещи вообще были оставлены там, где их нашли. Почти невозможно вообразить, что их случайно забыли в чаше. У преступников достало хладнокровия (так, по крайней мере, считается) унести труп, и тем не менее улики куда более очевидные, чем сам труп (который мог вскоре быть изуродован разложением до неузнаваемости), остаются на месте преступления - я имею в виду носовой платок с именем и фамилией убитой. Если это произошло случайно, то такая случайность исключает шайку. Она могла произойти, только если преступник был один. Будем рассуждать. Человек совершил убийство. Он стоит один перед трупом своей жертвы. Он испытывает глубокий ужас, глядя на неподвижное тело. Бурная вспышка страстей угасла, и его сердцем овладевает естественный страх перед содеянным. Его не подбадривает присутствие сообщников. Он здесь один с убитой. Он трепещет и не знает, как поступить. Но труп необходимо как-то скрыть. Он тащит мертвое тело к реке и оставляет в чаше другие свидетельства своей вины, так как унести все сразу было бы очень трудно или даже вообще невозможно, но он полагает, что вернуться за остальным будет легко. Однако, пока он пробирается к реке, его страх удесятряется. Со всех сторон до него доносятся звуки, свидетельствующие о близости людей. Много раз он слышит - или ему чудится, что он слышит, - шаги непрошеного свидетеля. Даже огни города пугают его. Но вот после долгих, исполненных ужаса остановок он достигает реки и избавляется от своей жуткой ноши - быть может, воспользовавшись для этого лодкой. Но какой страх перед воздаянием может понудить одинокого убийцу вернуться теперь по трудной и опасной тропе в чашу, полную ужасных воспоминаний? Ни за какие сокровища мира он не решится пойти туда еще раз, чем бы это ему ни грозило. Он не мог бы вернуться, даже если бы хотел. Сейчас он думает только об одном: бежать отсюда, бежать как можно скорее. Он навсегда поворачивается спиной к этим страшным кустам и обращается в паническое бегство.

Ну, а если бы там действовала шайка? Их многочисленность придала бы им уверенности - закоренелым негодьям ее вообще не занимать стать. Подобные же шайки составляются именно из закоренелых негодяев. Их многочисленность, повторяю я, избавила бы их от растерянности и слепого ужаса, парализующего рассудок одинокого убийцы, о котором я говорил. Если бы не спохватился первый, второй, даже третий из них, четвертый исправил бы их промах. Они ничего не оставили бы в кустах, потому что легко могли бы унести все сразу. Возвращаться им не было бы нужды.

Теперь вспомните, что из верхней юбки, надетой на трупе, была вырвана от подола к талии "полоса дюймов в двенадцать шириной, но не оторвана совсем, а трижды обернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом". Сделано это было несомненно для того, чтобы облегчить переноску трупа. Но зачем нескольким мужчинам могло понадобиться такое приспособление? Трои-четверым было бы проще и удобнее нести тело за руки и за ноги. Такая "ручка" могла понадобиться только человеку, которому предстояло перетаскивать тело одному, а это подводит

нас к тому обстоятельству, что "в изгородях, находившихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве указывали, что тут волочили что-то тяжелое". Но неужели несколько мужчин стали бы ломать изгородь, чтобы протащить сквозь нее труп, когда им ничего не стоило бы в одно мгновение перекинуть его через любую ограду? Неужели несколько мужчин стали бы волочить тело по земле, оставляя следы-улики?

И тут нам следует обратиться к одному из замечаний "Коммерсьель", о котором я уже говорил. "От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под подбородком и затянутая узлом у затылка. Прodelано это, возможно для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками".

Я уже указывал, что бродяги, воры и другие темные личности всегда имеют при себе носовой платок. Но теперь меня интересует другое. Платок, брошенный в чащу, неопровержимо доказывает, что не отсутствие носового платка побудило бы преступника воспользоваться этой повязкой для цели, которую ему приписала "Коммерсьель"; и предназначалась повязка отнюдь не для того, чтобы "помешать ей кричать" - для этого ведь он располагал гораздо более надежным средством. Однако в протоколе осмотра трупа говорится о полосе муслина, "свободно обвернутой вокруг шеи и завязанной неподвижным узлом". Это - довольно неопределенное описание, но оно существенно отличается от того, что мы находим в "Коммерсьель". Полоса шириной в восемнадцать дюймов, пусть даже муслиновая, представляет собой довольно крепкую веревку, если скрутить ее в продольном направлении. А она была скручена именно так. Я делаю из этого следующий вывод: одинокий убийца протащил труп несколько десятков шагов (в чаще у заставы или в другом месте - значения не имеет), держа его на весу за повязку, закрепленную скользящим узлом на талии жертвы, но обнаружил, что такая ноша слишком тяжела для него. Он решил дальше волочить ее - следы на земле свидетельствуют, что труп именно волочили. Для этого необходимо привязать веревку к шее жертвы или к ее ногам. Шея представляется ему более удобной, так как подбородок не даст веревке соскользнуть. Тут убийца, несомненно, подумал о повязке, уже охватывающей пояс жертвы. Но чтобы воспользоваться ею, надо распутать скользящий узел, размотать ее и оторвать от корсажа. Проще оторвать еще одну такую полосу ткани от нижней юбки. Он отрывает такую полосу, завязывает ее на шее мертвой девушки и волочит свою жертву к реке. Тот факт, что была использована "повязка", которую можно было изготовить только ценой определенных усилий и задержки, причем она довольно плохо отвечала своему назначению, ясно показывает, что прибегнуть к ней пришлось под давлением каких-то обстоятельств в тот момент, когда носового платка рядом уже не было, то есть, как мы уже предположили, когда убийца выбрался из чащи (если все произошло именно там) и находился на полпути между чащей и рекой.

Однако, скажете вы, показания мадам Дюлюк (!) не оставляют никаких сомнений, что в час, когда было совершено убийство, или примерно в этот час неподалеку от чащи бродила какая-то шайка. Да, конечно. Вполне возможно, что в момент трагедии или примерно в то же время неподалеку от заставы Дюруль шлялось даже полдесятка шаек вроде описанной мадам Дюлюк. Но шайка, привлекая к себе особое внимание благодаря довольно запоздалым и весьма подозрительным

показаниям мадам Дюлюк, - это единственная шайка, которая, по словам этой честной и щепетильной дамы, ела ее пироги и пила ее пиво, не побеспокоившись заплатить за них. Et hinc illae irae? [Не отсюда ли этот гнев? (лат.)]

Но что именно показала мадам Дюлюк? "В трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начинало смеркаться, и переправились на другой берег как будто в большой спешке".

Эта "большая спешка" могла представиться мадам Дюлюк особенно большой потому, что она оплакивала судьбу своих пирогов и пива и, возможно, все еще таила слабую надежду получить причитающиеся ей деньги. Иначе почему она с такой настойчивостью указывала на их "большую спешку", хотя уже начинало смеркаться? Неужели следует удивляться, что даже эта буйная компания спешила вернуться домой? Ведь собиралась гроза, приближалась ночь, а им еще предстояло переправиться через широкую реку в маленьких лодках.

Я говорю - "приближалась ночь", так как еще не стемнело. Ведь неприличная торопливость этих "хулиганов" оскорбила трезвый взор мадам Дюлюк, когда только-только начинало смеркаться. Однако нам сообщают, что в тот же самый вечер мадам Дюлюк и ее старший сын "слышали женские крики неподалеку от трактира". Какими же словами мадам Дюлюк обозначила тот час вечера, когда раздались эти крики? Она их услышала "после того, как совсем стемнело". Но "совсем стемнело" означает поднято темноту, а "начинало смеркаться" подразумевает дневной свет. Следовательно, шайка покинула окрестности заставы Дюруль до того, как мадам Дюлюк услышала (?) крики. Но, хотя во всех сообщениях о показаниях мадам Дюлюк эти обозначения времени неизменно приводятся именно в тех словах, которые я повторил сейчас в беседе с вами, пока еще ни газеты, ни полицейские агенты не обратили внимания на грубое противоречие, которое в них содержится.

Я приведу еще только один довод против предположения, что в деле замешана шайка, но этот один довод, на мой взгляд, неопровержим. Раз за поимку преступников предложена большая награда и обещано полное прощение тому, кто их выдаст, среди членов такой шайки уж непременно нашелся бы предатель. Каждый член шайки, оказавшись в подобном положении, не столько думает о награде или о возможности избежать кары, сколько опасается предательства со стороны своих сообщников. Он торопится донести на них первым, чтобы другой не успел донести на него. И то, что тайна остается нераскрытой, вернее всего свидетельствует о том, что это - действительно тайна. Подробности этого гнусного преступления известны только одному человеку - или, в крайнем случае, двум людям - и богу.

Теперь подведем итоги скудных, но, во всяком случае, верных выводов из нашего долгого анализа. Он показал нам, что либо в трактире мадам Дюлюк произошел несчастный случай, либо в чаще у заставы Дюруль было совершено убийство, причем совершил его любовник покойной

девушки или, во всяком случае, ее близкий и тайный знакомый. Про него мы знаем, что он - "смуглый" молодой человек. Эта смуглота, пресловутый "скользящий узел", а также "морской узел", которым были завязаны ленты шляпки, указывают на моряка. Его отношения с покойной - разбитной, но разборчивой девушкой - позволяют сделать вывод, что он не мог быть простым матросом. Это подтверждается и хорошо написанными гневными письмами, адресованными в газеты. Обстоятельства первого бегства, упомянутые "Меркюри", заставляют связать этого моряка с тем "морским офицером", который, как известно, один раз уже увлек несчастную девушку на гибельный путь.

И здесь весьма уместно вспомнить о том, что этот смуглый молодой человек до сих пор никак не заявил о себе. Я немного отвлекусь и замечу, что он смугл до черноты - эта смуглость настолько необычна, что и Баланс, и мадам Дюлюк обратили внимание только на нее и никаких других его примет не указали. Но почему этот молодой человек исчез? Может быть, шайка его убила? Но в этом случае почему сохранились только следы убийства девушки? Естественно предположить, что убить их должны были бы в одном и том же месте. И где его труп? Убийцы скорее всего избавились бы от них обоим одинаковым способом. Но можно предположить, что он жив и не хочет обнаружить себя, опасаясь обвинения в убийстве. Такое соображение имеет определенный вес сейчас, на этом позднем этапе, поскольку свидетели видели его с Мари, но в то время, когда произошло убийство, оно не имело никакой силы. Ни в чем не повинный человек поспешил бы сообщить о случившемся и помог бы розыску преступника. Такое поведение было бы самым разумным. Его видели в обществе убитой. Он переехал с ней через реку на открытом пароме. Даже идиот понял бы, что обличение убийц было бы наиболее верным и к тому же единственным способом очистить себя от подозрений. А предположить, что вечером в воскресенье он был и неповинен в совершенном преступлении, и ничего о нем не знал, невозможно. Однако только в этом случае он, если он остался жив, мог бы не объявить об убийстве и не обличить убийц.

А какими средствами мы располагаем, чтобы узнать истину? Мы обнаружим, что средства эти умножаются и становятся все более верными по мере того, как мы будем продвигаться в нужном направлении. Давайте до конца выясним все подробности первого побега. Давайте познакомимся со всеми обстоятельствами жизни этого "офицера", узнаем, где он сейчас и где находился в час убийства. Давайте тщательно сравним все письма, присланные в вечернюю газету с целью обвинить в преступлении шайку. Затем сравним эти письма - их стиль и почерк - с письмами, которые ранее присылались в утреннюю газету и содержали столь настойчивые обвинения по адресу Менэ. После чего сравним все эти письма с какими-нибудь письмами "офицера". Попробуем вновь допросить мадам Дюлюк, ее сыновей и кучера омнибуса, чтобы узнать другие приметы "смуглого молодого человека". Искусно составленные вопросы непременно помогут кому-нибудь из вышеперечисленных свидетелей вспомнить такую примету (или еще что-нибудь), хотя сейчас он даже не отдает себе отчета, что ему что-то известно. И давайте проследим лодку, которая утром в понедельник была найдена плывущей вниз по Сене, а затем еще до обнаружения трупа кем-то забрана - без ведома начальника пристани и без руля. Соблюдая необходимые предосторожности и действуя настойчиво, мы, без всяких сомнений, разыщем эту лодку, потому что ее не только может опознать лодочник, доставивший ее к пристани, но еще и потому, что в наших руках находится ее руль. Человек, которому нечего опасаться, не оставит на произвол судьбы руль от парусной лодки. И тут я кстати задам вопрос. О найденной лодке не было дано никакого объявления. Она была отбуксирована к пристани и на следующее утро уже исчезла. Но

каким образом ее владелец или наниматель к утру вторника без помощи объявления уже узнал, куда отогнали лодку, найденную в понедельник? Этого нельзя было объяснить, не предположив какой-нибудь связи с соответствующим ведомством, какого-нибудь обмена мелкими новостями на основе общих интересов.

Когда я описывал, как убийца один волок свою жертву к реке, я уже упоминал, что затем он, возможно, воспользовался лодкой. Теперь мы можем считать, что тело Мари Роже действительно было брошено в реку с лодки. Произойти иначе это не могло. Кто рискнул бы оставить труп на мелководье у берега? Странные рубцы на спине и плечах жертвы заставляют вспомнить о шпангоутах на дне лодки. Подтверждается это предположение еще и тем, что труп был брошен в воду без груза. Если бы его бросали в воду с берега, к нему обязательно привязали бы груз. Такой недосмотр убийцы мы можем объяснить, только предположив, что второпях он забыл захватить с собой в лодку что-нибудь подходящее. Когда он выбрасывал тело за борт, то, конечно, обнаружил свой недосмотр, но уже не мог его исправить. Он готов был пойти на любой риск, лишь бы не возвращаться к этому проклятому берегу. Избавившись от своего жуткого балласта, убийца, без сомнения, поспешил к городу. Там он выпрыгнул на какую-нибудь темную пристань. Но лодка? Привязал ли он ее? Нет, он слишком торопился, чтобы тратить время на привязывание лодки. Кроме того, он почувствовал бы, что, привязывая ее к пристани, тем самым оставляет там страшную улику против себя. Ему, естественно, хотелось избавиться от всего, что было связано с его преступлением. Он не только сам бежал без оглядки от этой пристани, но никак не мог оставить там лодку. Конечно же, он пустил ее плыть по течению. Последуем и дальше за игрой нашего воображения. Утром негодяй с ужасом узнает, что лодку поймали и отвели туда, где он имеет обыкновение бывать чуть ли не ежедневно, туда, где он, возможно, обязан бывать по долгу службы. В эту же ночь, не посмеяв взять из конторы руль, он забирает лодку. Итак, где теперь находится эта лодка, лишенная руля? Вот что нам надо узнать прежде всего. Первые сведения о ней будут нашим первым шагом к верному успеху. Эта лодка с быстротой, которая удивит даже нас самих, приведет нас к тому, кто плыл на ней в полночь этого рокового воскресенья. Одно подтверждение последует за другим, и убийца будет обнаружен.

(По причинам, которые мы не будем называть, но которые многие наши читатели поймут без всяких объяснений, мы взяли на себя смелость изъять из врученной нам рукописи подробности того, как были использованы немногочисленные улики, обнаруженные Дюпенем. Мы считаем необходимым лишь вкратце сообщить, что цель была достигнута и что префект добросовестно, хотя и с большой неохотой, выполнил условия своего договора с шевалье. Статья мистера По завершается следующим образом. - Ред. [Из журнала, в котором впервые была напечатана эта статья.]

Само собой разумеется, что я говорю тут только о совпадениях, и ни о чем другом. Того, что я сказал об этом выше, должно быть достаточно. В моем собственном сердце нет веры в сверхъестественное. Ни один мыслящий человек не станет отрицать двоицы - Природы и ее Бога. Бесспорно и то, что последний, творя первую, может по своей воле управлять ею и изменять ее. Я говорю - "по своей воле", ибо речь здесь идет о воле, а не о власти, как это предполагает безумие логики. Конечно, Всевышний может менять свои законы, но мы оскорбляем его, выдумывая

необходимость такого изменения. Эти законы с самого начала были созданы так, чтобы обнять любые возможности, какие только таило в себе будущее. Для Бога все - только теперь.

И я повторяю, что рассматриваю все, о чем здесь шла речь, только как совпадения. И далее: вдумываясь в мой рассказ, нетрудно усмотреть, что между судьбой злополучной Мэри Сесилии Роджерс - насколько эта судьба известна - и историей некой Мари Роже вплоть до определенного момента существует параллелизм, поразительная точность которого приводит в смущение рассудок. Да, усмотреть это нетрудно. Но не следует полагать, будто я продолжил грустную историю Мари после упомянутого выше момента и проследил весь путь раскрытия тайны ее смерти с задней мыслью, желая намекнуть на дальнейшие совпадения или даже давая понять, что меры, принятые в Париже для обнаружения убийцы хорошенькой гризетки, или меры, опирающиеся на сходный анализ, привели бы и здесь к таким же результатам.

Ведь следует помнить, что при таком ходе рассуждений даже самое крохотное различие в фактах того и другого случая могло бы привести к колоссальному просчету, потому что тут обе цепи событий начали бы расходиться. Точно так же в арифметике ошибка, сама по себе ничтожнейшая, в ходе вычислений после ряда умножений может дать результат, чрезвычайно далекий от истинного. К тому же не следует забывать, что та самая теория вероятности, на которую я ссылался, налагает запрет на всякую мысль о продолжении такого параллелизма - налагает с решительностью, находящейся в прямой зависимости от длительности и точности уже установленного параллелизма. Это одна из тех аномалий, которые, хотя и чаруют умы, далекие от математики, тем не менее полностью постижимы только для математиков. Например, обычного читателя почти невозможно убедить, что при игре в кости двукратное выпадение шестерки делает почти невероятным выпадение ее в третий раз и дает все основания поставить против этого любую сумму. Заурядный интеллект не может этого воспринять, он не может усмотреть, каким образом два броска, принадлежащие уже прошлому, могут повлиять на бросок, существующий еще пока только в будущем. Возможность выпадения шестерки кажется точно такой же, как и в любом случае - то есть зависящей только от того, как именно будет брошена кость. И это представляется настолько очевидным, что всякое возражение обычно встречается насмешливой улыбкой, а отнюдь не выслушивается с почтительным вниманием. Суть скрытой тут ошибки - грубейшей ошибки - я не могу объяснить в пределах места, предоставленного мне здесь, а людям, искушенным в философии, никакого объяснения и не потребуется. Тут достаточно будет сказать, что она принадлежит к бесконечному ряду ошибок, которые возникают на пути Разума из-за его склонности искать истины в частностях.

Остров феи

Перевод В. Рогова

Nullus enim locus sine gemo est.

Servius (1)

"La musique, - пишет Мармонтель в тех "Contes Moraux" (2), которым во всех наших переводах упорно дают заглавие "Нравственные повести", как бы в насмешку над их истинным содержанием,

- la musique est le seui des talents qui joiissent de lui- meme; tous les autres veulent des temoins" (3).
Здесь он смешивает наслаждение, получаемое от нежных звуков, со способностью их творить. Талант музыкальный, не более всякого другого, в силах доставлять наслаждение в отсутствие второго лица, способного оценить упражнения в нем. И то, что он создает эффекты, коими вполне можно наслаждаться в одиночестве, лишь роднит его с другими талантами. Идея, которую писатель не то не сумел ясно выразить, не то принес в жертву присущей его нации любви к острой фразе, - несомненно, вполне разумная идея о том, что музыку самого высокого рода наилучшим образом можно оценить, когда мы совсем одни. С положением, выраженным таким образом, немедленно согласится всякий, кто любит музыку и ради ее самой, и ради ее духовного воздействия. Но есть одно наслаждение, еще доступное падшему роду человеческому, - и, быть может, единственное, - которое даже в большей мере, нежели музыка, возрастает, будучи сопутствуемо чувством одиночества. Разумею счастье, испытываемое от созерцания природы. Воистину человек, желающий узреть славу божию на земле, должен узреть ее в одиночестве. По крайней мере, для меня жизнь - не только человеческая, но в любом виде, кроме жизни безгласных зеленых существ, произрастающих из земли, - портит пейзаж и враждует с духом - покровителем местности. Говоря по правде, я люблю рассматривать темные долины, серые скалы, тихо улыбающиеся воды, леса, что вздыхают в непокойной дремоте, и горделивые, зоркие горы, на все вззирающие свысока, - я люблю рассматривать их как части одного огромного целого, наделенного ощущениями и душою, - целого, чья форма (сферическая) наиболее совершенна и всеобъемлюща; чья тропа пролегает в семье планет; чья робкая прислужница - луна; чей покорный богу властелин - солнце; чья жизнь - вечность; чья мысль - о некоем божестве; чье наслаждение - в познании; чьи судьбы теряются в бесконечности; чье представление о нас подобно нашему представлению об animalculae (4), кишаших у нас в мозгу, - вследствие чего существо это представляется нам сугубо материальным и неодушевленным, подобно тому как, наверное, мы представляемся этим animalculae.

Наши телескопы и математические исследования постоянно убеждают нас - невзирая на нужные рацеи наиболее невежественной части духовенства, - что пространство и, следственно, объем имеют важное значение для Всевышнего. Звезды движутся по циклам, наиболее годным для вращения наибольшего количества тел без их столкновения. Тела эти имеют в точности такую форму, дабы вместить наивозможно большее количество материи в пределах данной поверхности; а сама поверхность расположена таким образом, дабы разместить на ней большее количество насельников, нежели на той же самой поверхности, расположенной иначе. И бесконечность пространства - не довод против мысли о том, что бога заботит объем, ибо для его заполнения может существовать бесконечное количество материи. И так как мы ясно видим, что наделение материи жизненной силою является принципом, и, насколько мы можем судить, ведущим принципом в деяниях божества, то вряд ли будет логичным предполагать, будто принцип этот ограничивается пределами малого, где мы каждый день усматриваем его проявление, и не распространяется на великое.

Если мы обнаруживаем циклы, до бесконечности вмещающие другие циклы, но все имеющие некий единый отдаленный центр коловращения - божество, то не можем ли мы по аналогии представить себе существование жизней в жизнях, меньших в больших, и все в пределах божественного духа? Коротко говоря, мы в своей самонадеянности заблуждаемся до безумия, когда предполагаем, будто человек в своей временной или грядущей жизни значит во вселенной больше, нежели те "глыбы долины", которые он возделывает и презирает, отказываясь видеть в них душу, лишь на том основании, что он действий этой души не замечал (5).

Эти и им подобные мысли всегда придавали моим раздумьям, когда я находился в горах или в лесах, на речном или на морском берегу, оттенок того, что будничным мир не преминул бы назвать фантастическим. Мои скитания по таким местностям были многочисленны, исполнены любознательности и часто велись в одиночестве; и любопытство, с каким я блуждал по многим тенистым, глубоким долинам или созерцал небеса, отраженные во многих ясных озерах, было любопытство, во много раз усугубленное мыслью о том, что я блуждаю и созерцаю один. Какой это насмешливый француз (6) сказал относительно известного произведения Циммермана, что "la solitude est une belle chose; mais il faut queiqu'un pour vous dire que la solitude est une belle chose" (7) Остроумие этой фразы нельзя отрицать: но подобной необходимости и нет.

Во время одного из моих одиноких странствий по далекому краю гор, краю печально вьющихся рек и уныло дремлющих озер мне довелось набрести на некий ручей и остров. Порою июньского шелеста листвы я неожиданно наткнулся на них и распростерся на дерне под сенью ветвей благоухающего куста неизвестной мне породы, дабы предаться созерцанию и дремоте. Я почувствовал, что видеть окружающее дано было мне одному - настолько оно походило на призрачное видение.

По всем сторонам - кроме западной, где начинало садиться солнце, - поднимались зеленые стены леса. Речка, которая в этом месте делала крутой поворот, казалось, не могла найти выхода и поглощалась на востоке густой зеленой листвой, а с противоположной стороны (так представлялось мне, пока я лежал растянувшись и смотрел вверх) беззвучно и непрерывно низвергался в долину густой пурпурно-золотой каскад небесных закатных потоков.

Примерно посередине небольшого пространства, которое охватывал мой мечтательный взор, на водном лоне дремал круглый островок, покрытый густою зеленью.

Так тень и берег слиты были,

Что словно в воздухе парили, -

чистая вода была так зеркальна, что едва было возможно сказать, где именно на склоне, покрытом изумрудным дерном, начинаются ее хрустальные владения.

С того места, где я лежал, я мог охватить взглядом и восточную и западную оконечности острова разом и заметил удивительно резкую разницу в их виде. К западу помещался сплошной лучезарный гарем садовых красавиц. Он сиял и рдел под бросаемыми искоса взглядами солнца и прямо-таки смеялся цветами. Короткая, упругая, ароматная трава пестрела асфоделиями. Было что-то от Востока в очертаниях и листве деревьев - гибких, веселых, прямых, ярких, стройных и грациозных, с корою гладкой, глянцевитой и пестрой. Все как бы пронизывало ощущение полноты жизни и радости; и хотя с небес не слетало ни дуновения, но все колыхалось - всюду порхали бабочки, подобные крылатым тюльпанам (8).

Другую, восточную часть острова окутывала чернейшая тень. Там царил суровый, но прекрасный и покойный сумрак. Все деревья были темного цвета; они печально клонились, свиваясь в мрачные, торжественные и призрачные очертания, наводящие на мысли о смертельной скорби и безвременной кончине. Трава была темна, словно хвоя кипариса, и никла в бессилии; там и сям среди нее виднелись маленькие неказистые бугорки, низкие, узкие и не очень длинные, похожие на могилы, хотя и не могилы, и поросшие руттой и розмарином. Тень от деревьев тяжко ложилась на воду, как бы погружаясь на дно и пропитывая мраком ее глубины. Мне почудилось, будто каждая тень, по мере того как солнце опускалось ниже и ниже, неохотно отделялась от

породившего ее ствола и поглощалась потоком; и от деревьев мгновенно отходили другие тени вместо своих погребенных предтеч.

Эта идея, однажды поразив мою фантазию, возбудила ее, и я погрузился в грезы. "Если и был когда-либо очарованный остров, - сказал я себе, - то это он. Это приют немногих нежных фей, переживших гибель своего племени. Их ли это зеленые могилы? Расстаются ли они со своею милою жизнью, как люди? Или, умирая, они скорее грустно истаивают, мало-помалу отдавая жизнь богу, как эти деревья отделяют от себя тень за тенью, теряя свою субстанцию? И не может ли жизнь фей относиться к поглощающей смерти, как дерево - к воде, которая впитывает его тень, все чернея и чернея?"

Пока я, полузакрыв глаза, размышлял подобным образом, солнце стремительно клонилось на отдых, и скорые струи кружились вокруг острова, качая большие, ослепительно белые куски платановой коры, которые так проворно скользили по воде, что быстрое воображение могло превратить их во что угодно, - пока я размышлял подобным образом, мне представилось, что фигура одной из тех самых фей, о которых я грезил, медленно перешла во тьму из освещенной части острова. Она выпрямилась в удивительно хрупком челне, держа до призрачности легкое весло. В медливших погаснуть лучах облик ее казался радостным - но скорбь исказила его, как только она попала в тень. Плавно скользила она и, наконец, обогнув остров, вновь очутилась в лучах. "Круг, только что описанный феей, - мечтательно подумал я, - равен краткому году ее жизни. То были для нее зима и лето. Она приблизилась к кончине на год; ибо я не мог не заметить, что в темной части острова тень ее отпала от нее и была поглощена темною водою, от чего чернота воды стала еще чернее".

И вновь показался челн и фея на нем, но в облике ее сквозили забота и сомнение, а легкая радость уменьшилась. И вновь она всплыла из света во тьму (которая мгновенно сгустилась), и вновь ее тень, отделяясь, погрузилась в эбеновую влагу и поглотилась ее чернотой. И вновь и вновь проплывала она вокруг острова (пока солнце поспешно отходило ко сну), и каждый раз, выходя из темноты, она становилась печальнее, делалась более слабой, неясной и зыбкой, и каждый раз, когда она переходила во тьму, от нее отделялась все более темная тень, растворяясь во влаге, все более черной. И наконец, когда солнце совсем ушло, фея, лишь бледный призрак той, какою была до того, печально всплыла в эбеновый поток, а вышла ли оттуда - не могу сказать, ибо мрак объял все кругом, и я более не видел ее волшебный облик.

1) - Ибо нет места без своего духа-покровителя. Сервий

(лат).

2) - Могаух - здесь производное от моеугс и означает "о

нравах"

3) - Музыкальность - единственный талант, который

довольствуется сам собою; все остальные требуют

второго лица (фр.)

- 4) - микроскопических существах (лат.).
- 5) - Говоря о приливах, Помпонию Мела в своем трактате "De situ orbis" утверждает, что "или мир - огромное животное, или..." и т. д. (Прим. авт.)
- 6) - Бальзак; передаю общий смысл - точных слов не помню.
(Прим. авт.)
- 7) - Одиночество - прекрасная вещь; но ведь необходимо, чтобы кто-то вам сказал, что одиночество - прекрасная вещь (фр.).
- 8) - Florem putares nare per liquidum aethere. - P.
Commire. (Ты полагаешь, что цветок рождается из
Текучего эфира. Отец Коммир; лат.).